

В.О.
КЛЮЧЕВСКИЙ

В.О.КЛЮЧЕВСКИЙ

СОЧИНЕНИЯ

8

В.О.КЛЮЧЕВСКИЙ

СОЧИНЕНИЯ

В ВОСЬМИ ТОМАХ

ИЗДАТЕЛЬСТВО
социально-экономической литературы
МОСКВА
1959

В.О.КЛЮЧЕВСКИЙ

СОЧИНЕНИЯ

**ТОМ
VIII**

**ИССЛЕДОВАНИЯ,
РЕЦЕНЗИИ, РЕЧИ
|1890-1905|**

**ИЗДАТЕЛЬСТВО
социально-экономической литературы
МОСКВА
1959**

СОСТАВ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА НА ЗЕМСКИХ СОБОРАХ ДРЕВНЕЙ РУСИ

(Посвящается Б. Н. Чичерину)

Земские соборы древней Руси не особенно давно начали привлекать к себе внимание исследователей нашей государственной старины; но они не перестают служить для последних предметом усиленного внимания с тех пор, как было замечено и оценено их значение для понимания всего строя Московского государства. Ученому, которому посвящается настоящая статья, принадлежит едва ли не первое по времени цельное и превосходное изображение устройства, деятельности и значения земских соборов, основанное на изучении актов этого учреждения, какие были известны в то время¹. После этого образцового опыта ряд других исследователей продолжал изучение земских соборов, оспаривал, поправлял или подтверждал взгляд на них, высказанный г. Чичериным, пересматривая те же самые акты. Мы разумеем здесь почтенные труды Беляева и Костомарова, гг. Сергеевича, Владимирского-Буданова, Загоскина, Платонова. В последнее время литература о земских соборах пополнилась ценными вкладами, разъяснившими с помощью новооткрытых документов, между прочим, действовавший в XVII в. порядок созыва и выбора земских представителей на собор². Благодаря этим работам теперь можно составить себе довольно отчетливое представление о том, как и для чего созывались земские соборы, из каких элементов они составлялись, какие вопросы предлагались им на обсуждение и как эти вопросы обсуждались, как составлялся соборный приговор, какое влияние оказывали соборы на за-

конодательство и образ действий правительства и т. п. Сделаны были даже попытки оценить общее значение земских соборов в складе и ходе жизни Московского государства, взвесить их политический голос и указать их связь с тем направлением, в каком устанавливались и развивались внутренние политические отношения Московской Руси в XVI и XVII вв.

Впрочем, предмет нельзя считать исчерпанным: в нем остаются еще неясные пункты; иначе было бы меньше разногласия в суждениях о характере и значении земских соборов. В нашей литературе можно уловить два взгляда на земские соборы. Одни видят в них только вспомогательное орудие администрации, никогда не выступавшее деятельным и самостоятельным двигателем политической жизни, никогда не имевшее собственного направления и потому не оказавшее никакого влияния на ход управления и законодательства; отыграв свою кратковременную и малозначительную роль, земские соборы сами собою исчезли вследствие внутреннего ничтожества, чрезмерной слабости представительного начала в древней России. Другие расположены придавать им важное политическое значение как органу народной оппозиции: служа орудием непосредственного общения государя с землей, представляя интересы народа, соборы, собственно земские выборные, являвшиеся на соборах, противодействовали высшим классам, боярам и духовным властям, которые и уговорили царя Алексея Михайловича не созывать больше соборов; но, прежде чем эти сторонние влияния успели вытеснить их из государственной жизни, земские соборы оказали значительное влияние на законодательство и правительство в оппозиционном противобоярском направлении.

Оба эти взгляда неудобны тем, что трудно решить, который из них верен и даже верен ли который-нибудь из них. Это не значит, что земским соборам приписываются свойства, которых они, может быть, вовсе не имели; но трудно признать верной и ту характеристику, которая составлена из черт нехарактерных, несущественных, хотя и действительных. Оба взгляда исходят из одной мысли, что для изображения истинного характера такого представительного учреждения, как земский собор, необходимо показать, в какой степени оно было

послушно или оппозиционно. Но почему это необходимо? Правда, представительные учреждения Западной Европы, соответствовавшие нашим земским соборам, характеризуются преимущественно с этой стороны, что совершенно понятно. Представительные собрания средневековой Западной Европы были вызваны к жизни политической борьбой и ею же воспитаны. Средневековое западноевропейское государство было сословною федерацией, союзом нескольких державных сословий, державшимся на таком же договоре, каким определяются взаимные отношения союзных государств. Народное представительство служило наиболее обычным средством установки и поддержания союзного *modus vivendi* в таком государстве. Здесь каждое свободное сословие должно было завоевывать или отстаивать свое место в государстве, и верховная власть принуждена была приравниваться к изменчивому соотношению соперничавших политических сил: она то мирила их друг с другом, то поддерживала одни из них в борьбе с другими, то защищалась от их разрозненных либо совокупных нападений. При таких условиях представительные собрания получали тем большее политическое значение, чем чаще и откровеннее сословные представители показывали на них зубы друг другу или правительству. Потому прочность политических гарантий, точная определенность конституционных догматов и обрядов как цель и неутолимая политическая притязательность, строгая, неуступчивая оппозиционная дисциплина как средство являются наиболее характерными чертами западноевропейского представительства.

Очевидно, допытываясь в древнерусских земских соборах таких же боевых качеств, мы становимся на точку зрения, указанную не самими соборами, а заимствованную со стороны, у исследователей западноевропейского представительства, поставленных на такую точку характером всей политической организации, в состав которой входили западноевропейские представительные собрания. Легко понять, что при другом складе политических отношений и представительные собрания получали другое значение, усвоили иной характер, потому что при различных сочетаниях политических сил неодинаковы и потребности, удовлетворить которым призывается народное представительство, неодинаково

и его назначение. Сообразно с этим должна изменяться и точка зрения наблюдателя: нельзя искать одинаковых свойств в учреждениях, вызванных различными потребностями и имевших неодинаковое назначение. Но как угадать эти потребности и это назначение? В этом вопросе скрыт ключ к разгадке исторического значения и характера известного представительного учреждения; в нем же и вся трудность этой разгадки.

В древней Руси было очень мало публицистов, людей, которые старались уяснить себе и растолковать другим смысл действовавших при них учреждений. Лишенный таких живых указаний, исследователь, изучающий древнерусские учреждения, испытывает неловкость, похожую на ту, какая чувствуется среди старинных, давно покинутых зданий. Все здесь говорит о каком-то исчезнувшем складе жизни, о потребностях и привычках, не похожих на те, какие знакомы наблюдателю; но он уже не находит живых следов этого житейского порядка; среди опустелых построек не уцелело даже достаточно сора, по которому можно было бы догадываться как жили и о чем думали люди, некогда двигавшиеся среди этих немых стен. Приходится вглядываться в расположение всего здания и в конструкцию его отдельных частей, чтобы угадать их назначение. Именно важнейшие государственные учреждения древней Руси, к которым бесспорно можно причислить земские соборы, и заставляют исследователя с особенною силой испытывать это затруднение. В них вообще нелегко уловить побуждения, вызвавшие их к жизни, и действие, какое они производили на общество и государственный порядок, уловить то, что можно назвать историческою идеей учреждения, а в этой идее все, чем переставшее действовать учреждение может возбуждать научный исторический интерес. Погибшее учреждение не воскреснет, как не загорится вновь угасшая индивидуальная жизнь; но его идея, как живучее семя, притаится где-нибудь в складках общественной жизни и, постепенно перерождаясь, пустит от себя росток в каком-нибудь понятии или привычке, о которых при поверхностном взгляде трудно и подумать, что они имеют историческое родство с учреждением, когда-то действовавшим. Кажется, это затруднение более всего и вынуждало исследователей изучать древнерусские земские соборы сравнительно

с западноевропейскими представительными собраниями, чтобы аналогией восполнить недостаток прямых туземных и современных указаний.

Действительно, сравнивая наши земские соборы с представительными учреждениями Западной Европы, давно заметили в первых резкие и важные особенности. На земских соборах не бывало и помину о политических правах; еще менее допускалось их вмешательство в государственное управление; характер их всегда оставался чисто совещательным; созывались они, когда находило то нужным правительство; на них не видим ни инструкций, данных представителям от избирателей, ни обширного изложения общественных нужд, ни той законодательной деятельности, которою отличались западные представительные собрания; на соборах не встречаем общих прений: часто из соборных совещаний даже не выходило никакого постановления, а подавались только отдельные мнения выборных по заданным правительством вопросам. Вообще земские соборы являются крайне скудными и бесцветными даже в сравнении с французскими генеральными штатами, которые из западноевропейских представительных учреждений имели наименьшую силу³.

Таким образом, оказывается, что наиболее характерные особенности земских соборов все суть их крупные недостатки. Можно было бы ничего не иметь против таких отрицательных выводов аналогии, если бы они не производили впечатления, очень неблагоприятного для успешного изучения предмета. В развитии нашего исторического самосознания не раз повторялось одно прискорбное недоразумение. Какое-либо крупное явление отечественной истории, первоначально возбуждавшее в нас живейшее любопытство, тотчас теряло интерес в наших глазах, как скоро в нем не оказывалось свойств однородного с ним или соответствовавшего ему явления западноевропейского. Здесь можно не напоминать о тех неурядицах общественного сознания, которые породили такое своенравное мышление. Происходило ли это от слабости воображения, привыкшего представлять важные явления только в известных, затверженных образах, или от уныния при мысли, что на суде истории отечественное прошлое не выдержит состязательного испытания с прошлым Западной Европы,

об этом могут быть разные мнения. Во всяком случае бесспорно то, что аналогия нередко вносила в наше отношение к изучаемым явлениям отечественной истории разочарование, которым ослаблялась энергия изучения. Такой оборот исторической любознательности испытал и вопрос о земских соборах. От значительного количества основательных исследований в общем обороте наших исторических сведений много ли отложилось ясных представлений о древнерусских земских соборах, много ли уцелело даже простого любопытства к этому учреждению, прежде так живо возбуждавшему нашу историческую любознательность? Мы никого не хотим обидеть, сказав, что немного, и именно потому, что отрицательные выводы аналогии врезались в общественном сознании прежде и глубже других, ослабляя охоту знать о соборах что-нибудь больше. В этом отношении земские соборы разделили участь явлений, которые, не оправдав преувеличенных ожиданий, потом не удостоиваются и заслуживаемого внимания. Отражение этого поворота можно найти и в нашей исторической литературе. Покойного Костомарова трудно упрекнуть в недостатке внимательности к историческим явлениям, в которых можно заметить участие общества. Его статья о земских соборах была написана после значительного ряда исследований, в которых вопрос о соборах поставлен был вполне серьезно и разъяснено много подробностей в их устройстве и деятельности. Однако автор статьи счел возможным связать созвание первого земского собора вопреки указанию источника непосредственно с московским бунтом 1547 г. и выставить причиной этой меры трусость царя Ивана, испуганного народным мятежом, даже утверждать, повторяя давнюю обмолвку К. Аксакова, что этот собор происходил на Красной площади, а не в царских палатах. На вопрос, как возникли земские соборы, автор отвечает, что прежде существовали веча, народные собрания по землям, но теперь, когда Москва подчинила себе такие широкие пространства русских земель, немислимо было уже сходиться на общий совет людям за 300 или 500 верст, и отсюда неизбежно вытекало, «что если призывать на совет Русского государства людей, то надобно в областях выбирать нескольких и отправлять в столицу в качестве послов или представителей своей области».

Значит, земское представительство, которое и по идее, и по организации надобно причислить к самым сложным политическим явлениям и до которого народы, и то не все, дорабатывались с большим трудом, путем усиленной внутренней борьбы, у нас возникло само собою из неудобства географических расстояний, было делом почтового соображения. Поясняя или поправляя свою догадку, автор в конце статьи замечает, что к мысли созывать соборы пришли, кажется, «главным образом по причине всеобщей малограмотности в оное время»; если бы в XVII в. издавались у нас журналы и газеты, не нужно было бы созывать земских соборов, т. е. последние были для правительства средством узнавать мнения и настроение общества⁴. Такие суждения возможны только со стороны писателя, который видит в соборах вспомогательное правительственное орудие очень невысокой степени и случайного происхождения и в своих читателях предполагает доверие и сочувствие такому взгляду. Автор сам вскрывает точку зрения, на которой составился его взгляд на древнерусские земские соборы: он также определяет их сравнительно с западноевропейскими представительными собраниями и определяет чисто отрицательными чертами, не считая возможным видеть в соборах что-нибудь похожее на эти собрания.

Нельзя упрекать исследователей за впечатление, какое производят отрицательные выводы их сравнительного изучения земских соборов, если только они сами не поддаются этому впечатлению и их выводы основательны, а такими надобно признать их если не во всех подробностях, то в основных чертах. Но благодаря заимствованной точке зрения эти выводы страдают недоконченностью, и с этой стороны их можно признать невольной причиной того разочарования, которое, ослабляя интерес к земским соборам, мешает их историческому изучению. В самом деле, полная характеристика явления не может состоять из одних отрицаний; не отвергая последних, насколько они доказаны, надобно поискать другой точки зрения, с которой были бы видны положительные свойства рассматриваемого предмета. Таким образом, предстоит не перерешать вопроса, а только продолжить его решение. Чтобы найти эту дру-

гую точку зрения, можно отправиться прямо от наблюдений, сделанных на прежней.

Общим источником недостатков древнерусского соборного представительства, открывающихся при сравнении его с западноевропейским, признана «чрезмерная слабость представительного начала в Русском государстве»⁵. Итак, ясно, чего не следует искать в земских соборах — ничего, что возможно только при сильном развитии представительного начала. Что такое *представительное начало*? Несмотря на простоту термина, это — довольно сложное политическое явление. В состав его входят как основные элементы способность и потребность всего общества или только некоторых его классов принять деятельное участие в управлении и законодательстве. Но эти элементы в свою очередь питаются двумя условиями: важностью и солидарностью общественных интересов. Необходимо в обществе присутствии и сознание интересов настолько крупных, чтобы для ограждения их в обществе чувствовалась настойчивая потребность принять участие в управлении или чтобы правительство находило полезным призвать общество к такому участию. Притом разные классы общества должны настолько сознавать и признавать эти интересы, настолько чувствовать себя солидарными в них, чтобы не только желать, но и уметь принять совместное и дружное участие в управлении, не превращая представительства в арену гражданской усобицы и не становясь вместо опоры порядка новым источником анархии. Если представительное начало было крайне слабо в Московском государстве XVI в., это значит, что не существовало ни таких крупных интересов, которые возбуждали бы в обществе достаточно настойчивые политические притязания, ни такой солидарности между отдельными классами, которая побуждала бы правительство делать уступки этим притязаниям. Однако при маловажности и раздробленности общественных интересов, — следовательно, при недостатке способности и потребности в обществе деятельно участвовать в управлении, — попытка Грозного повторяется, и повторяется более столетия: соборное представительство входит в правительственный обычай, хотя не утвержденный и не регулированный законом, общество начинает понимать его пользу и, давая ответы на поставленные правитель-

ством вопросы, само обращается чрез своих выборных с ходатайствами и запросами к правительству, не теряя покорного тона, не допуская оппозиционных замашек. В XVII в. встречаем даже у рядовых людей московского общества признаки довольно отчетливого взгляда на компетенцию земского представительства и на его место в государственном управлении⁶. С другой стороны, в истории представительства причины и следствия не везде идут в одном неизменном порядке. Практика представительства питается силой представительного начала как своего источника, но может и сама воспитывать это начало, возникнув из другого источника. Если на Западе общественные классы чувствовали потребность в представительстве для борьбы друг с другом или с правительством, то в других странах само правительство могло чувствовать потребность в представительных учреждениях, чтобы мирить общественные классы и возбуждать их к дружной деятельности. Апатичное общество, разбитое на мелкие, бессильные элементы, открывая широкий простор развитию сильной власти, вместе с тем создает ей много неудобств, затрудняя установку государственного порядка, без которого невозможна прочная власть. Тот же ученый, который наиболее резко выставил недостатки древнерусского земского представительства сравнительно с западноевропейским, ярко изобразил такое состояние древнерусского общества в эпоху возникновения земских соборов и метко указал условия, побуждавшие московское правительство обращаться к содействию разрозненных общественных сил и вызвать к жизни соборное представительство⁷. При таких условиях из земских соборов должен был выработаться особый тип народного представительства, отличный от западных представительных собраний. На соборе, разумеется, трудно встретить сословных представителей, вооруженных оппозиционной дисциплиной, чувствовавших за собой крепко сплоченные, непривычные к уступкам корпорации, готовые поддерживать своих уполномоченных во имя важных интересов, защита которых им доверена. Подобные особенности политического быта могли быть воспитаны в древнерусском обществе разве только продолжительною и непрерывною практикой соборного представительства. Таким образом, явления, бывшие на Западе

причинами успехов представительства, у нас могли быть лишь следствиями его успешной деятельности. Очевидно, соборное представительство выросло из политической почвы, мало похожей на ту, какая растила западные представительные собрания; но связь древнерусских земских соборов с выросившей их почвой, с туземными учреждениями представляется недостаточно ясно. Причина этого заключается в одном пробеле, какой остается в изучении соборного устройства: недостаточно уяснен состав представительства на земских соборах. Изображая устройство земского собора, исследователи сосредоточивают свое внимание на его деятельности и на обстановке, в какой он действовал; касаясь состава собора, они обыкновенно останавливаются прямо на том моменте, когда земские выборные занимали свои места в палате соборных заседаний, причем ограничиваются чисто статистическими наблюдениями, пересчитывают, сколько явилось на собор бояр и духовных лиц, сколько выборных от других классов. Изредка излагаются некоторые подробности избирательной процедуры; но очень мало говорят или совсем умалчивают о составе избирательных обществ и об отношении их к своим представителям. Какие общественные миры посылали на соборы этих представителей, когда возникли и как были устроены эти миры, кого и почему выбирали они своими представителями, — потому ли, что в минуту выбора избранные пользовались наибольшим личным доверием избирателей, или по каким-либо иным, менее капризным причинам, какую ответственность и какие ожидания возлагали избиратели на своих выборных, — все эти вопросы далеко нельзя признать разрешенными. Благодаря тому в устройстве соборного представительства остается много подробностей, возбуждающих недоумение. Укажем для примера на одну из них. В XVII в. призывали на собор представителей от дворян и детей боярских каждого уезда и от тяглых посадских людей каждого уездного города. Это заставило признать уезд избирательным округом при выборе соборных представителей провинциального населения. Но составляли ли тогда дворяне и дети боярские каждого уезда одну цельную корпорацию? Почему от дворянства каждого уезда являлось на собор обыкновенно по два депутата, а от уездных городов — по одному и почему от дворян-

ства Рязанского уезда встречаем на соборах 4 или 8 представителей, когда другие уезды посылали по 2 депутата? Признание уезда избирательным округом не дает ответа на эти вопросы. Связь соборного представительства с устройством древнерусских земских миров и общественных классов — вот та другая точка зрения, с которой, может быть, видны будут особенности земских соборов, остающиеся незаметными при сопоставлении их с западными представительными собраниями. Рассматриваемые без этой связи, сами соборы представляются политической неожиданностью и даже политическим излишеством: не отдаешь себе отчета в том, кому и для чего надобились эти соборы, зачем их редкими и суетливыми созывами прерывалось спокойное и ровное течение боярского законодательства и приказной администрации, соответствовали ли начала соборного представительства общим основаниям действовавшего государственного порядка, — одним словом, были ли земские соборы нормальным завершением земского строя, или только временною пристройкой в исключительных случаях?

С указанным сейчас пробелом в изучении земских соборов связан вопрос, касающийся, так сказать, перспективы в истории соборного представительства: имело ли это учреждение какое-либо развитие, исторический рост или оно замерло таким же, каким родилось, оставшись политическим недоростком? В исследованиях о земских соборах трудно найти отчетливый ответ на этот вопрос. Замечали, что не все соборы были похожи друг на друга по своему социальному составу и политическому значению: одни представляли преимущественно столицу, другие отличались более широким земским составом; одни имели более решительный голос, чем другие. Но были ли это случайные колебания, отступления от нормы, вынужденные обстоятельствами, или этими колебаниями обозначались успехи последовательной выработки соборной организации? В исследованиях можно заметить склонность различать соборы по политическим категориям, а не по историческим моментам; соборы делят на избирательные и совещательные, на полные и неполные; находят возможным признать даже фиктивные соборы. Но, если не изменяет нам память, не видят существенного различия в складе и

характере представительства между соборами XVI и XVII вв. Таким образом, прилагая к земским соборам довольно сложную, даже несколько изысканную политическую классификацию, отказывают им в историческом движении. В этом отношении все соборы с первого до последнего рассматриваются под одинаковым углом зрения и если не все освещаются одинаковым светом, то оттенки объясняются внешними обстоятельствами, при которых созывались отдельные соборы, а не внутренним ростом соборного представительства; эти оттенки набрасывались обстановкой, а не постановкой учреждения. Проверая такой взгляд, можно спросить, всегда ли одни и те же земские миры посылали на соборы своих представителей и с одинаковыми представительными полномочиями или сфера представительства и состав представительных собраний изменялись в разное время, изменяя и характер самого представителя? Все это разъяснится, как скоро восстановлена будет связь соборного представительства с учреждениями, среди которых действовали соборы. Если эти соборы имели свою историю, фазы их развития прежде и заметнее всего должны были отразиться на составе соборного представительства и характере выборных как представителей, т. е. на их отношении к избиравшим их мирам и на источнике и свойствах полномочий, какие они получали от этих миров.

Изучая соборное представительство с этой стороны, в связи с туземными учреждениями, исследователь неминуемо встретится с вопросом о происхождении земских соборов: почему они появляются именно с половины XVI в. и появляются как-то вдруг и неожиданно, по видимому, без всякой подготовки, без политических преданий и привычек? Если они не были случайною механическою накладкой на существовавший правительственный и общественный строй, в этом строе около того времени должны были произойти перемены, вызвавшие потребность в земском представительстве. Здесь прежде всего любопытно зарождение самой мысли о земском представительстве; как возникла в московском обществе того времени такая сложная политическая идея, из каких понятий сложилась она при своем возникновении и откуда взялись эти понятия, незаметные прежде?

Были сделаны попытки объяснить побуждения, вызвавшие первый земский собор 1550 г. По мнению одних, этот собор был созван царем для борьбы с боярами, против которых Грозный искал опоры в народе⁸. Это мнение не поддерживается историческими свидетельствами. Напротив, именно в 1550 г. царь всего менее мог думать о борьбе с боярством. К тому времени при посредничестве митрополитов Макария и Сильвестра он сблизился с лучшими людьми из боярства и составил из них круг советников и сотрудников, которые помогали ему в его смелых внешних и внутренних предприятиях. Чувствуя это затруднение, другие исследователи поправляют догадку, прибавляя, что первый земский собор дал царю твердую почву для *будущей* борьбы с боярством⁹. Но когда настала эта ожидаемая борьба, царь не искал опоры в твердой почве земского собора, а создал для этого новое учреждение совершенно противоземского характера, опричнину. Все, что известно о целях первого земского собора от самого верховного виновника и руководителя его, также не поддерживает догадки о боевых демократических побуждениях, будто бы его вызвавших. В речи на Красной площади, которою публично, в присутствии собравшегося народа, по-видимому, открыты были заседания этого собора, царь призывал толпившихся перед ним «людей божиих» не к борьбе с боярами, а ко взаимному прощению и примирению, молил их «оставить друг другу вражды и тяготы свои» и обращался к митрополиту с мольбой помочь ему в этом деле общего земского примирения. Смысл этого воззвания объясняется другою речью царя, прочитанной в следующем году на церковном Стоглавом соборе. Можно с полною уверенностью думать, что царь разумел предложение, сделанное им на земском соборе 1550 г., когда в речи своей напоминал отцам Стоглавого собора, что в предыдущее лето он приказал своим боярам, приказным людям и кормленщикам «помирится на срок» во всех прежних делах со всеми христианами своего царства. Все это может показаться идиллией и в таком кажущемся идиллическом смысле повторялось иными повествователями. Трудно только представить себе, каким порядком и в какой форме могло совершиться предписанное царем примирение, и притом срочное примирение, целых классов общества

друг с другом. Но не следует забывать, что речи царя на обоих соборах — ораторские произведения, в которых под торжественными метафорическими оборотами надобно искать простых действительных явлений, имевших свой простой, будничныи язык. Переводя ораторские выражения царя на этот простой деловой язык тогдашнего управления, открываем очень любопытный и малозаметный в других памятниках того времени факт, которым сопровождался первый земский собор и которым ярко освещаются некоторые побуждения, вызвавшие этот первый опыт земского представительства в Московском государстве. Известно, что для сдержки злоупотреблений областных управителей, наместников и волостелей управляемым ими обществам предоставлялось право жаловаться на них высшей власти в Москве. Еще задолго до первого земского собора московское законодательство старалось установить порядок принесения и разбора таких жалоб, назначая для того известные сроки. В Судебнике 1550 г. царь Иван подтвердил важнейшие постановления своих предшественников по этому предмету. Тяжбы, возникавшие в силу этого права, принадлежали к наиболее характерным явлениям древнерусской жизни; то были не политические процессы демократии с аристократией, а простые гражданские тяжбы о переборах в *кормах и пошлинах*, т. е. в прямых и косвенных налогах, взимавшихся в пользу управителей, о проторях и убытках, какие терпели обыватели от административных и судебных действий кормленщика, казавшихся им неправильными. Эти иски велись или отдельными лицами или целыми обществами через старост и мирских ходоков, с обычными приемами тогдашнего искового процесса, с приставными памятьми, свидетельскими показаниями, крестоцелованиями и т. д. Время малолетства Грозного было, по-видимому, особенно обильно такими тяжбами, длившимися иногда многие годы, и московские приказы были завалены ими. Эти тяжбы и имел в виду царь, приказав на соборе 1550 г. всем служилым людям, против которых они были направлены, *помириться* с своими истцами «на срок»; велено было покончить все накопившиеся против областной администрации иски и покончить не обычным исковым, формальным, а мировым порядком, полюбовно. Срок для этой судебно-административной ликвида-

ции назначен был довольно короткий, вероятно, годовой, потому что в 1551 г. царь мог уже сообщить отцам церковного собора, что бояре, приказные люди и кормленщики во всяких делах помирились со всеми землями в назначенный срок. Жалобы земских миров обращались не против бояр как общественного класса, а против должностных лиц областного управления, большинство которых принадлежало к другим слоям военнослужилого сословия, помещавшимся в общественном складе государства ниже боярства, а на соборе 1550 г., если о его составе можно судить по составу дальнейших соборов XVI в., решительное большинство выборных принадлежало к тем же не боярским слоям служилого сословия. В ком же и против кого мог царь найти опору на соборе с таким составом? Царь, говорят, созвал земский собор, чтобы найти в народе опору против бояр, говоря проще, чтобы возбудить народ против бояр, а на соборе предложил боярам и другим кормленщикам помириться с народом; средством возбуждения народа против бояр должно было служить собрание, на котором, надобно думать, было очень мало представителей народа и огромное большинство которого состояло из служилых людей, вполне солидарных в вопросе о кормленщиках с боярами. Эти несообразности приводят к тому заключению, что на первом земском соборе шло дело не о возбуждении социально-политической борьбы, а об устранении одного судебного-административного затруднения, и молодой царь выступил на нем не демократическим агитатором, а просто умным и добросовестным правителем. Легко догадаться, что и мысль о боевом противобоярском происхождении собора 1550 г. навеяна явлениями из истории западных представительных собраний. Наконец, если бы первый земский собор имел враждебное боярству происхождение, следовало бы ожидать и со стороны этого влиятельного тогда класса враждебного отношения к земским соборам. Напротив, в самых горячих поборниках боярских интересов второй половины XVI в. это учреждение встречало не только признание, но и полное одобрение. Князь Курбский, который хорошо помнил собор 1550 г., когда писал направленную против Грозного историю этого царя, не только не упрекает его за этот собор в своем произведении, но только не видит ничего вредного в земском

представительстве, но даже прямо настаивает на необходимости для царя искать доброго и полезного совета не у одних советников-бояр, но и у «всенародных человек», а составляя свой памфлет, автор знал, что всенародные люди уже дважды собирались в Москве по зову царя, чтобы дать ему добрый и полезный совет. Современник князя Курбского, другой публицист, автор *Валаамской беседы* о монастырском землевладении, памфлета, горячо отстаивавшего правительственное и землевладельческое значение боярства, даже предлагает сделать земский собор ежегодным и всесловным представительным собранием, которое помогало бы правительству в надзоре за областною администрацией, доводя до сведения царя о действиях областных управителей и вообще «о всяком деле мира». Не будет лишним отметить еще одну особенность, какую отличается рассматриваемая причина созыва первого собора, состоявшая будто бы в потребности царя найти народную опору против бояр: эта причина долго существовала, не производя своего действия, и долго действовала, перестав существовать. Столкновения московского государя с боярством становятся заметны с конца XV в. и до половины следующего столетия не пробуждали в московских государях потребности призвать к себе на помощь земское представительство. При царях Михаиле и Алексее таких столкновений, которые сколько-нибудь заслуживали бы названия борьбы, совсем незаметно, и, однако ж оба эти царя продолжают созывать земские соборы; первый из них созывал их даже чаще, чем кто-либо из его предшественников и преемников.

Другие исследователи указывают другие причины созыва первого земского собора; эти причины повторяют иногда как подкрепление своей догадки и сторонники противобоярского происхождения этого собора. То были: возникшая с объединением Руси Москвой потребность в общем органе для всей Русской земли, при помощи которого она могла бы заявлять о своих нуждах и желаниях перед образовавшеюся общеою верховною властью, необходимость дать общее направление интересам и стремлениям отдельных земщин Московского государства, чтобы могло выработаться сознание целостной общерусской земщины, необходимость для царя вступить в союз с землею, отстранив бояр с пути, кото-

рый вел к единению царя и земли, ясно понятая царем необходимость непосредственного общения своего с народом, чтобы иметь в нем твердую опору в правительственной деятельности, и т. п.¹⁰ Нельзя не признать того удобства этих соображений, что они касаются происхождения соборного представительства вообще, а не первого только собора; трудно объяснить происхождение первого собора отдельно от дальнейших, особенно когда для суждений о первом соборе так мало данных. Но эти соображения страдают туманностью и как отвлеченные формулы, подобно соборным речам царя Ивана, должны быть переложены на простой конкретный язык московского государственного порядка XVI в., чтобы стать понятными. Притом и эти соображения не решают всей задачи, не дают достаточно прямого ответа на вопрос о том, как возникло соборное представительство в Московском государстве. Положим, могло государство чувствовать потребность в общем органе для заявления нужд и желаний земли, мог и государь понять необходимость непосредственного общения своего с народом; но остается неясным, как и почему таким органом и средством такого общения явился земский собор, учреждение еще небывалое на Руси, и явился именно с таким, а не иным составом и характером. Сказать, что земский собор был созван вследствие понятой царем необходимости общения с народом, значит указать только первое смутное побуждение, завязку мысли о земском соборе; но чтобы исторически объяснить его происхождение, надобно показать, как эта мысль развилась в целую систему представительства, как сложился самый план учреждения. Представительное собрание нельзя проектировать отвлеченно как математическое построение или канцелярию, штат и регламент которой зависят от соображений и потребностей учредителя. Как бы ни зародилась в уме царя Ивана мысль о земском соборе, он мог строить его только из наличных политических материалов, и, если он обладал политическим глазомером, он не мог не сообразовать своих целей и побуждений со складом управляемого им общества и взаимными отношениями разных его классов. Значит, дело не столько в том, что думал или чего желал царь, созывая первый земский собор, сколько в том, как сложились самые формы, усвоенные земскими соборами XVI в., какую

связь имели их состав и вся организация с правительственным и общественным складом государства. Так и вопрос о происхождении земских соборов ставит нас на ту же точку зрения, которая сама собою представилась нам при мысли о способе полнее определить характер и значение соборного представительства: она покажет, как и в каком виде могло возникнуть это представительство из всей системы государственных учреждений XVI в.

Сказанным объясняется задача настоящего очерка. Он предпринят с мыслью, что нет нужды в общем пересмотре вопроса о древнерусских земских соборах. Наша историография достигла многих прочных выводов в изучении судьбы и характера этого учреждения. Достаточно выверен политический вес земских соборов сравнительно с западными представительными учреждениями, рассказана история их деятельности и отчасти разъяснено их значение в истории русского законодательства. Доказано, что наши земские соборы никогда не пользовались такими политическими обеспечениями, какими на Западе поддерживалось постоянное и деятельное участие представительных учреждений в законодательстве и управлении; ни закон, ни правительственная практика не давали таких обеспечений земскому представительству в Московском государстве. В этом отношении земские соборы далеко отставали даже от Боярской думы московских государей: ей сообщали известную политическую прочность не только вековой обычай, но и закон, прямо выраженный в *Судебнике* 1550 г., по одной статье которого новые законы издаются «с государева доклада и со всех бояр приговора». Простое хронологическое сопоставление первого и последнего собора отнимает возможность оспаривать, что земские соборы вызывались потребностями, не имевшими продолжительного действия: соборы не созывались до 1550 г. и перестали собираться полтора столетия спустя. Отсюда же можно заключить, что эти временные потребности не были и настолько настойчивы, чтобы самое соборное представительство сделать политической потребностью, ввести его в состав устойчивого обычая, способного держаться самим собою, без поддержки первоначальных условий, его создавших. Земские

соборы созывались вообще довольно редко, не были постоянно напряженной пружиной государственного механизма и потому их деятельность не проходит ровной и непрерывной нитью в ткани московского законодательства, какую проходила деятельность Боярской думы. После полуторавекового прерывистого существования земские соборы прекратились, не оказав заметного действия на дальнейший рост правительственных учреждений; видеть в кодификационных комиссиях XVIII в., даже в самой шумной и нарядной из них, в комиссии 1767 г., прямое продолжение земских соборов, слышать в них отзвук замиравшего соборного предания едва ли не значит преувеличивать некоторые наружные признаки сходства в учреждениях, построенных на совершенно различных началах и вызванных совсем не одинаковыми побуждениями. Сказанное сейчас о земских соборах неоднократно доказывалось и если не всеми охотно признается за доказанное, то довольно редко оспаривается. обстоятельно исследованы и многие подробности устройства соборов, особенно соборного делопроизводства; но здесь именно и остаются еще заметные пробелы. Выше отмечены те из пробелов, которые нам кажутся наиболее важными; чтобы по возможности восполнить их, попытаемся разобрать три тесно связанные друг с другом вопроса: о составе соборного представительства в связи с устройством местных миров и общественных классов, представители которых призывались на соборы, о происхождении земских соборов, насколько можно судить о том по первоначальному их составу, и о развитии соборного представительства, как оно отражалось в постепенном изменении этого состава. Таким образом, состав соборного представительства является основным вопросом, от решения которого зависит ответ на остальные, а связь соборного представительства с правительственным и общественным строем государства послужит общей точкой зрения, которая укажет путь к решению всех их. Если сопоставление земских соборов с представительными учреждениями других стран достаточно уяснило, чем *не были* эти соборы, то сопоставление их с туземными учреждениями поможет объяснить, чем они *были*.

І. Собор 1566 г.

Изображая состав соборного представительства, мы обыкновенно руководствуемся соборными актами XVII в. в молчаливом предположении, что точно такой же состав имели и соборы XVI в., что соборное представительство и на свет явилось с таким составом. Это предположение доселе остается не оправданным и не опровергнутым. Акты соборов XVI в. и известия о них, уцелевшие в других памятниках, таковы, что по ним трудно сообразить, какая система представительства принята была для этих соборов, была ли эта система та же, какую руководствовались при созыве земских чинов в XVII в., или какая-либо иная. Но, не зная этой системы, мы не имеем в руках ключа к решению вопросов о происхождении и развитии земских соборов. Это заставляет нас с особенным вниманием остановиться на соборах XVI в. и рассмотреть сохранившиеся указания на их состав.

О цели созыва и о деятельности первого земского собора 1550 г. в нашей литературе высказано несколько предположений и догадок. В дальнейшем изложении, говоря о происхождении соборного представительства, мы увидим, что в памятниках XVI в. остались довольно ясные указания на важные вопросы государственного устройства, которые обсуждались на этом соборе и обсуждение которых, по всей вероятности, служило целью его созыва. Таким образом, есть возможность отметить некоторые следы, оставленные в законодательстве собором 1550 г. Но этот собор надобно пока считать потерянным фактом в истории устройства соборного представительства XVI в. О составе его сохранилось краткое и неясное известие, которое гласит, что царь Иван на двадцатом году своей жизни повелел собрать «свое государство из городов *всякого чина*»¹¹. Если даже понимать эти слова вполне в буквальном смысле и предполагать, что действительно были созваны в столицу выборные от всех чинов, тогда существовавших, состав собора объяснится очень мало, потому что неизвестно, какие *чины* тогда существовали. То было переходное время в образовании московской государственной иерархии: дворцовые должности удельного управления превращались в служебные звания, не

соединенные с определенными должностными занятиями, а экономические состояния становились служебными рангами, обязанными исполнять известные правительственные поручения. Так складывалась московская иерархия чинов. Полную табель этих чинов можно составить по памятникам первой половины XVII в., когда эти крайне мелкие разряды, на которые дробилось население в Московском государстве по роду и размерам падавших на него повинностей, уже начинали смыкаться в несколько крупных классов с характером сословий. Но к половине XVI в. многие из этих чинов еще не успели образоваться, по крайней мере еще не носили технических названий, какие позднее усвоила им чиновная терминология. Так, в памятниках того времени незаметно еще следов деления высшего московского купечества на *гостей* и торговых людей *гостиной* и *суконной сотен* с периодическими наборами в эти звания низших торговых людей столичных и областных; следы такого деления становятся заметны не раньше царствования Феодора Иоанновича. Точно так же не видно, чтобы ко времени первого земского собора успела установиться иерархия чинов высшего столичного дворянства, носивших в XVII в. названия *стольников*, *стряпчих*, *дворян московских* и *жильцов*: некоторые из этих званий еще не получили значения чинов, оставаясь придворными должностями, т. е. должностями дворцовой администрации. Можно думать, что выработка служебной дворянской иерархии началась несколько раньше купеческой, следы ее заметны уже в царствование Грозного. В разрядной книге полоцкого похода 1563 г. перечисляются столичные служилые чины *стольников*, *стряпчих*, *жильцов* и *дворян выборных*¹². В этом перечне нет еще коренного столичного чина *дворян московских*, если только не этот чин обозначен в книге названием с *Москвы дворовых*, а *дворяне выборные*, причисляемые в книге к столичному дворянству в позднейших служилых списках, являются первым чином дворянства *городового*, т. е. провинциального. Значит, еще много лет после собора 1550 г. лестница и терминология чинов не получали окончательной установки. Итак, о составе соборного представительства в 1550 г. можно судить только по составу дальнейших земских соборов XVI в.

Второй собор был созван в 1566 г. во время войны

с Литвой за Ливонию. Царь хотел узнать мнения чинов о том, мириться ли с Литвой на условиях, предложенных литовским королем. От этого собора сохранилась приговорная грамота, полный протокол с поименным перечнем всех членов собора. Но этот перечень во многих отношениях представляется загадкой. В нем поименовано 374 члена собора. По общественному положению их можно разделить на 4 группы. Во-первых, на соборе присутствовало 32 духовных лица, то были: архиепископы, епископы, архимандриты, игумены и монастырские старцы. В этой группе едва ли были выборные люди: ее составляли лица, одни из которых явились на собор по своему сану как его неперменные члены, другие, вероятно, были приглашены правительством как сведущие люди, уважаемые обществом и могущие подать полезный совет или усилить нравственный авторитет собрания. Вторая группа состояла из 29 бояр, окольников, государевых дьяков, т. е. статс-секретарей, и других высших сановников, да из 33 простых дьяков и приказных людей. Здесь не могло быть выборных представителей: это были все сановники и дельцы высшего центрального управления, члены Боярской думы, начальники и секретари московских приказов, приглашенные на собор в силу своего правительственного положения. Третью группу составляли 97 дворян первой статьи, 99 дворян и детей боярских второй статьи, 3 торопецких и 6 луцких помещиков — это группа военнослужилых людей. Наконец, в состав четвертой группы входили 12 гостей, т. е. купцов высшего разряда, соответствовавшего нынешнему званию коммерции советников, 41 человек простых московских купцов, «торговых людей москвичей», как они названы в соборной грамоте, и 22 человека смольнян — это люди торгово-промышленного класса.

Состав и значение двух последних групп и являются загадкой, благодаря своеобразной социальной терминологии соборного акта и необычной группировке членов собора в их перечне. Позднее, когда установилась иерархия служилых чинов, в ней не находим дворян и детей боярских первой и второй статьи. Что такое были эти 196 дворян и детей боярских обеих статей, кого они представляли на соборе и даже представляли ли кого-нибудь, были ли выборными от каких-нибудь обществен-

ных миров? Не находя в соборной грамоте прямых ответов на эти вопросы и видя рядом с дворянами и детьми боярскими, неизвестно кого представлявшими, помещиков луцких и торопецких, некоторые исследователи признали состав собора ненормальным, неполным. Этот состав некогда даже вызвал небольшой спор в нашей исторической литературе. Не находя достаточного количества областных депутатов на соборе 1566 г., Соловьев не решался признать за ним значения земского представительного собрания. К. Аксаков возражал, признавая этот собор неполным и сравнивая его с молодым деревом, из которого со временем вырастет ветвистый дуб, — другими словами, подтверждал мнение противника, заменяя историческое возражение поэтическим сравнением¹³. Присутствие на соборе помещиков двух уездов и торговых людей одного областного города, разумеется, не могло сообщить ему значения земского собрания, представительства всей земли. Появление этих немногих местных областных представителей объясняли довольно искусственно. На соборе обсуждался вопрос о том, отступить ли от порубежных ливонских городов, которые литовский король удерживал за собою. Вопрос этот обсуждался преимущественно с точки зрения торговых интересов Пскова, Новгорода и других западных коммерческих центров Московского государства¹⁴. Обсуждая этот вопрос, правительство, значит, хотело выслушать мнения представителей тех областей, которых он преимущественно касался. Выходит нечто довольно неожиданное из этих соображений: обсуждали вопрос преимущественно с точки зрения торговых интересов Пскова и Новгорода и не позвали ни одного представителя ни псковского, ни новгородского; ни Торопец, ни Великие Луки не принадлежали к числу коммерческих центров в Московском государстве XVI в., и, однако, из их уездов вызвали 9 представителей. Но и это объяснение не касается 196 дворянских представителей обеих статей, их представительное значение остается загадочным. Так как местное происхождение областных дворянских депутатов, хотя и очень немногочисленных, только луцких и торопецких, прямо обозначено в соборном акте, то г. Чичерин высказал предположение, что дворяне и дети боярские обеих статей, местное происхождение которых не обозначено, были представители не

областного, а столичного, московского дворянства¹⁵. Впоследствии столичное дворянство, составлявшее высший слой служилого класса, нечто похожее на гвардию, распалось, как сказано, на чины *стольников*, *стряпчих*, *дворян московских* и *жильцов*, и каждый чин выбирал на соборы особых представителей. Если предположить, что обе статьи, на которые разделены были перечисленные в соборном акте дворяне и дети боярские, имели в XVI в. значение служилых московских чинов, соответствовавших позднему более дробному чиновному делению столичного дворянства, останется непонятным, зачем понадобилось такое огромное, небывалое впоследствии количество соборных представителей того и другого чина.

Есть возможность распутать этот узел и объяснить представительный характер загадочных 196 дворян и детей боярских, присутствовавших на соборе 1566 г. Эти дворяне и дети боярские вместе с 9 торопецкими и луцкими помещиками представляли на соборе многочисленный военный служилый класс, если только представляли кого-нибудь, и, кроме них, не видим других представителей этого класса в составе собора. Их было 205 человек на 374 члена собора, т. е. почти 55% всего личного состава собрания. Значит, представители дворянства образовали самый многочисленный элемент этого состава. Незадолго до собора, в 1550-х годах, московское правительство приняло ряд важных мер с целью организовать этот класс, устроить его землевладельческое положение и порядок отбывания лежавших на нем служебных обязанностей. Первою известною мерой из этого ряда был закон 3 октября 1550 г. Царь приговорил с боярами набрать по разным областям государства тысячу лучших служилых людей и, у кого из набранных не окажется земельных имений близ Москвы, не далее 70 верст от столицы, тем дать поместья под Москвою на таком же от нее расстоянии. Вместе с простыми служилыми людьми на одинаковых условиях велено было испоместить и бояр, и других высших сановников, также не имевших под Москвою ни вотчин, ни поместий. Все эти новые подмосковные помещики назначались на постоянную службу в столице и обязаны были всегда быть готовыми «в посылки» для исполнения различных правительственных поручений. Служилые люди, набран-

ные по этому закону из разных уездов, разделялись на три *статьи*, или разряды, по размерам назначенных им поместных наделов (по 300, по 225 и по 150 десятин пахотной земли). Составлен был список сановников и простых служилых людей, которых предположено было в силу закона 3 октября поместить под Москвой, с обозначением уездов, из которых взяты служилые люди, т. е. в которых находились у них недвижимые имения или к которым они были приписаны по службе до закона 3 октября. Этот список, получивший название *Тысячной книги*, дошел до нас¹⁶. Сличая его с перечнем дворян и детей боярских, присутствовавших на соборе 1566 г., получаем возможность уяснить представительное значение последних.

Очень многие имена, помещенные в Тысячной книге 1550 г., повторяются и в соборном перечне 1566 г.; нередко в последнем обозначен сын служилого человека, записанного в первой. Сличение обоих этих документов приводит к любопытным наблюдениям. Рассматривая Тысячную книгу, замечаем, что статьи, на которые она делит служилых людей, имеют генеалогическое основание. Из них две первые сравнительно немногочисленны, заключают в себе всего 112 имен; но это все имена первостепенной или второстепенной знати, будущих сановников. Третья статья, самая многочисленная, отличается смешанным составом: и здесь встречаются родовитые люди; но огромное большинство записанных в эту статью принадлежало к рядовому дворянству. Очевидно, новобранцев столичной службы старались наделить подмосковными поместьями в меру их служебной годности, которая измерялась тогда прежде всего степенью родовитости, «отечеством». Этим именно делением Тысячной книги, установленным законом 3 октября, руководился составитель соборного перечня при распределении на статьи дворян и детей боярских, присутствовавших на соборе 1566 г. По Тысячной книге в первой статье обозначен кн. Ю. И. Кашин; в соборном перечне дворянином той же статьи является сын его, кн. Д. Ю. Кашин, заместивший своего отца, который немного лет спустя после набора 1550 г. из столичных дворян произведен был в бояре. Это не значит, что столичные дворяне набора 1550 г. или сыновья их, попавшие на собор в 1566 г., и здесь оставались в тех же

статьях, в которые они или их отцы записаны были по Тысячной книге. Статьи эти не были замкнутыми, безысходными кругами, не допускавшими иерархического движения: дворянин, в 1550 г. по своей служебной годности зачисленный в третью статью и потому получивший поместный надел под Москвой в 150 десятин пашни, потом за служебные заслуги получал прибавки к этому наделу до 225 или до 300 десятин и таким образом поднимался во вторую и в первую статьи. Вот почему почти все дворяне, зачисленные по книге 1550 г. во вторую или третью статью и присутствовавшие на соборе 1566 г., в соборном перечне являются дворянами второй или первой статьи. Следя за связью генеалогического значения столичных дворян с их служебным положением и общественным весом, насколько эта связь открывается путем сличения обоих рассматриваемых документов, замечаем в дворянском составе собора 1566 г. одну черту, которая при первом взгляде кажется непонятной. При такой связи следовало бы ожидать, что из каждой статьи столичного дворянства на собор явятся наиболее родовитые люди. Сличая Тысячную книгу с соборным перечнем дворян обеих статей, этого не находим. Многие дворяне знатных фамилий, успешно проходившие служебный путь, почему-то не попали на собор, а весьма многие совсем неродовитые люди попали. Не было на соборе ни кн. П. Д. Пронского, вскоре пожалованного в бояре, ни Д. А. Бутурлина и кн. Ю. И. Токмакова, которые через несколько лет после собора являются в Боярской думе окольными; между тем представителями дворянства записаны в соборном списке люди такого скромного происхождения, как Бортенев, Волуев, Коуров, Кобяков, Рясин, Чихачев, Чубаров и множество других, фамилии которых никогда не появлялись в думских списках. Значит, дворянские представители на соборе подбирались не по одной родовитости, но и по другим каким-то соображениям. Этот подбор и заставляет обратить внимание на местное происхождение дворян, имена которых обозначены в соборном перечне обеих статей.

Тысячная книга дает возможность проследить местное происхождение очень многих дворянских представителей на соборе 1566 г.; как было замечено выше, в ней обозначено, по каким уездам служили дворяне, взятые на

столичную службу в 1550 г. Параллельное изучение обоих списков, тысячного 1550 г. и соборного 1566 г., приводит к таким наблюдениям. Из 196 соборных представителей дворянства обеих статей можно определить местное происхождение 101: имена их или их отцов встречаем и в Тысячной книге, а по закону 3 октября 1550 г. дворянина, выбывшего из набранной тысячи, должен был замещать его сын, если таковой был и оказывался годным к столичной службе. Прибавив к этому числу 9 луцких и торопецких помещиков, местное происхождение которых указано в самом соборном перечне, получим из 205 дворянских представителей 110 таких, о которых несомненно известно, по каким уездам служили они или их отцы в 1550 г., когда их записали на столичную службу. Спрашивается, кто такие были остальные 95 представителей? Судя по большинству их, принадлежавшему к добрым или средним дворянским фамилиям, они также входили в состав столичного дворянства. Но ни их самих, ни их отцов не находим в Тысячной книге. Это могло произойти от двух причин. Во-первых, в Тысячной книге записаны далеко не все дворяне, состоявшие на столичной службе в 1550 г., а только те зачисленные тогда на эту службу новобранцы и те из старых столичных служак, у которых не было подмосковных поместий и вотчин и которых тогда же предписано было вновь испоместить под Москву. Просматривая росписи служебных назначений 1550-х годов, сведенные в *разрядной книге*, встречаем очень много дворян, которых нет в Тысячной книге, но которые исполняли одинаковые с записанными в ней поручения столичной службы; некоторых из них встречаем на соборе 1566 г. в числе дворян и детей боярских первой и второй статьи¹⁷. Во-вторых, по закону 3 октября 1550 г. дворянин, выбывший из новобранной столичной тысячи, заменялся другим, сторонним служилым человеком, если не имел сына, годного к столичной службе. Распределив 110 дворянских представителей по месту их происхождения, найдем, что они принадлежали к 38 уездам¹⁸. Из неполного распределения, захватывавшего немного более половины всего количества дворянских представителей на соборе, нельзя вывести никаких надежных заключений ни о том, все ли уезды государства с дворянско-землевладельческим населением были пред-

ставлены на соборе, ни о том, было ли установлено нормальное число представителей от каждого уезда. Можно только заметить, что около половины всего количества уездов, представители которых известны, принадлежали к западной полосе государства, на границах которой шла вызвавшая собор война, а большинство остальных — к центральным областям, окружавшим столицу; всего менее встречаем уездов южных и восточных. Число представителей от каждого уезда колеблется от 1 до 6; только от уездов Московского и Можайского было на соборе по 9 дворян. Все это приводит к догадке, что дворянских представителей подбирали на собор, между прочим, по их местному значению, по их положению среди служилых землевладельцев тех уездов, где находились их вотчины или поместья и к которым они или их отцы были приписаны по службе до набора 1550 г. Если это так, то становится возможно объяснить, почему на собор не попали некоторые знатные дворяне, а многие незнатные попали: в иных уездах родовитых дворян, которые могли явиться представителями на соборе, было больше, чем требовалось для представительства, а в других их было мало или совсем не было. Но сличением соборного акта со списком 1550 г. вскрывается еще одна подробность, всего яснее указывающая на то, что присутствовавшие на соборе дворяне обеих статей явились сюда с местным значением как представители дворянских обществ известных уездов. Из числа этих дворян в соборном перечне торопецкие и луцкие помещики выделены в две особые группы, которые подали на соборе отдельные мнения, хотя эти мнения были очень сходны с заявлениями дворян обеих статей и дословно повторяли некоторые их выражения. Но эти торопецкие и луцкие помещики были такие же служилые люди московской столичной службы, как и дворяне первой и второй статьи: в числе их встречаем несколько человек, поименованных и в Тысячной книге 1550 г. Группа торопецких помещиков состояла из Рябинина, Алексея Чеглокова и Хрипунова; но А. Чеглоков и Хрипунов записаны и в Тысячной книге как столичные дворяне третьей статьи. Зато в числе дворян первой статьи соборный перечень пометил Невзора и Михаила Чеглоковых, которые также были торопецкие помещики и по книге 1550 г. были записаны в число столичных дворян вместе

с Алексеем Чеглоковым и Хрипуновым и по одной с ними статье. Значит, из Торопецкого уезда на соборе присутствовали не три, а пять помещиков. Все они были дворяне столичной службы; но двое из них в соборной грамоте не попали в одну группу с земляками, потому что не принадлежали уже к одному с ними служебному рангу, успели до собора подняться в первую статью, тогда как их земляки оставались в прежней низшей статье. Другими словами, в соборном перечне 9 луцких и торопецких помещиков отделены от 196 дворян первой и второй статьи потому, что они, не принадлежа ни к той, ни к другой статье и образуя особые местные группы, подавали на соборе мнения отдельно от дворян обеих высших статей. Из этого следует, что дворянские представители на соборе распределялись по статьям только при обсуждении предложенных собору вопросов и при подаче мнений; но это распределение не выражало их представительного значения¹⁹. По своему служебному положению они все принадлежали к высшему столичному дворянству, делившемуся на три ранга или статьи, но представляли на соборе не одно это дворянство: они явились на собор представителями местных миров, уездных дворянских обществ, с которыми были связаны, несмотря на свою принадлежность к столичному дворянству. Что это были за общества, какое отношение имели к ним столичные дворяне и почему последние являлись их соборными представителями — в этом главный узел вопроса о составе представительства на соборе 1566 г. Самый подбор уездов, к которым принадлежало по месту землевладения большинство дворянских представителей на этом соборе, по-видимому, указывает путь, которым надобно идти к решению этого вопроса. Мы видели, что за немногими исключениями это были уезды западной и центральной полосы государства, откуда шла наибольшая масса боевых сил на войну, вызвавшую собор 1566 г. Здесь необходимо припомнить некоторые особенности нашего старинного военного строя.

В Московском государстве всякая армия, большая или малая, выступала в поход обыкновенно пятью отрядами или корпусами, носившими название *полков*, это были: большой полк, правая рука, передовой и сторожевой полки и левая рука. Каждый полк, смотря по величине армии, составлялся из большего или меньшего

количества территориальных рот, уездных *сотен*, составившихся каждая из служилых людей одного какого-либо уезда²⁰. Во главе полка становилось несколько воевод, двое или более, смотря также по численному составу полка. Первый воевода был главный командир полка; но при этом он непосредственно командовал одною из частей или дивизий, на которые делился полк; непосредственными начальниками остальных дивизий были его товарищи, воеводы второй, третий и т. д. У каждого дивизионного воеводы было под руками по несколько *голов*, начальствовавших над сотнями. Эти сотенные головы в XVII в. назначались либо из лучших дворян тех сотен, во главе которых они становились, либо из столичного дворянства. Последнее бывало чаще в тех уездных сотнях, которые не имели в своей среде служилых людей, по своей служебной состоятельности способных занимать офицерские должности, быть «в головстве». Благодаря тому значительное количество столичных дворян было постоянно занято службой «в начальных людях у служилых людей», т. е. командованием уездными территориальными отрядами. При этих назначениях в XVII в. не принималось в расчет, имел ли столичный дворянин какую-либо поземельную связь с тем территориальным отрядом, во главе которого он становился. Но сотенные головы из уездных дворян имели тесную корпоративную связь со своими сотнями. Назначение таких голов принадлежало воеводам полковым или городовым. Но по закону воеводы обязаны были назначать их из сотенных знаменщиков, а этих последних выбирали сами уездные дворяне из верхнего слоя своего общества, который носил название *выбора* или *выборных дворян*, «лутчих и полных людей, которым служба за обычаем». Но в XVI в., когда корпус столичного дворянства не был еще вполне сформирован, дворяне выборные, как мы видели, причислялись к столичному, а не провинциальному дворянству; по всей вероятности, первоначально это звание носили именно дворяне, набранные из уездов на столичную службу в силу закона 3 октября 1550 г. Потому и подбор голов для уездных дворянских сотен в XVI в. совершался несколько иначе, однообразнее, чем в XVII: головами уездных сотен назначались обыкновенно столичные дворяне, но по месту землевладения принадлежавшие к одним с ними уездам. Этим

объясняются некоторые черты всенной московской летописи второй половины XVI в. В 1557 г. царь Иван послал на Ливонию большую рать, в состав которой вошли все служилые люди новгородские и псковские с отрядами из центральных уездов. Осенью 1558 г. двинуты были против магистра Ордена три корпуса, составленные исключительно из служилых людей Псковского уезда и Шелонской пятины. Сотенные головы, упоминаемые в летописном рассказе об этой войне, почти все помещики тех же уездов, зачисленные в 1550 г. в состав столичного дворянства; из них 8 человек были депутатами на соборе 1566 г.²¹

В 1559 г. выставлена была большая армия на южной границе против крымских татар, угрожавших нападением. Большой полк находился под начальством четырех воевод. В состав четырех дивизий, на которые разделялся этот полк, входили и отряды новгородских помещиков, находившиеся под начальством 16 голов. Все эти головы были новгородские же помещики; но если не все они, то шестеро из них, наверное, были в то же время столичные дворяне: имена их находим в Тысячной книге²². Этим объясняется значение той особенности в составе дворянского представительства на соборе 1566 г., что не меньше половины всего количества дворянских представителей, местное происхождение которых можно определить, принадлежало уездам западной полосы государства: это были уезды наиболее близкие к театру Ливонской войны, откуда, как надобно думать, шло наибольшее количество военно-служилых землевладельцев в состав действовавших на этом театре московских армий. Таким образом, дворянский представитель являлся на собор с двойственным значением, которому и был обязан своими представительными полномочиями: как землевладелец, он не выступал из корпорации военно-служилых землевладельцев известного уезда, несмотря на свою принадлежность к столичному дворянству; как столичный дворянин, он становился на походе во главе дворянского отряда своего уезда; наконец, в том и другом качестве он являлся естественным представителем на соборе уездной дворянской корпорации, которой предводительствовал на походе. В разрядной книге отмечен один случай, в котором довольно явно выразилось такое значение дворянских представителей

на соборе. Осенью 1564 г. московская рать взяла приступом город Озерище (ныне местечко в Городецком уезде, Витебской губ.). Один из штурмовавших отрядов, состоявший из служилых людей Юрьевского уезда (ныне Владимирской губ.), взял в плен самого ротмистра польского пана Островецкого, защищавшего город. В разрядной книге XVI в. уездные отряды обозначались обыкновенно именами их командиров, голов. Этим объясняется форма, в какой разрядная книга отметила подвиг юрьевского отряда: «А ротмистра королева, который в городе сидел, пана Мартына Островецкого в городе *взяли* сын боярской юрьевец Карп Иванов сын Жеребятичев»²³. Этого самого Карпа Иванова Жеребятичева встречаем на соборе 1566 г. в числе дворян и детей боярских второй статьи. Значит, он принадлежал к столичному дворянству, не разрывая служебной связи и с областной дворянской корпорацией, к которой принадлежал по месту землевладения, не переставая быть «сыном боярским юрьевцем». Как столичный дворянин, он был назначен головой дворянского отряда своего уезда, а как голова, был призван представителем этого отряда на соборе.

Впрочем, было бы очень поспешным заключение, что все обозначенные в соборном перечне дворяне и дети боярские обеих статей были такими представителями уездных дворянских обществ, которыми они предводительствовали в походах. Рассматривая служебные военно-административные назначения 1551—1566 гг., отмеченные в разрядной книге, почти на каждой странице встречаем имена столичных дворян, большую часть из числа занесенных в Тысячную книгу: они являются самыми деятельными орудиями военно-походного управления, исполняют разнообразные «посылки», особые поручения главных воевод или центрального правительства. Всего чаще назначали их годовыми воеводами в пограничные города, где требовалось постоянное присутствие военной силы для бдительного надзора за движениями неприятеля и для отражения его внезапных нападений. Правда, и в этих назначениях можно заметить стремление правительства сообразоваться с местными отношениями назначаемых: так, воеводами в города рязанской украины, в Пронск, Михайлов, Рязск, очень часто назначали Сунбуловых,

Коробьиных, Сидоровых, а это были все состоявшие на столичной службе рязанские дворяне, потомки старинных бояр бывшего Рязанского княжества. Но гораздо чаще встречаем назначения, в которых незаметно таких соображений: в городах на западной границе, в Смоленске, Пскове, Великих Луках, Ржеве, даже в Полоцке и Юрьеве Ливонском, встречаем воеводами или городничими кн. Шуйского, Прозоровского, Гундорова, Татева, Бутурлиных, столичных дворян из таких центральных уездов, как Суздальский, Переяславский, Стародубский-на-Клязьме, Московский. Столичные дворяне, сейчас упомянутые, воеводствовали по городам в 1565 и 1566 гг. и присутствовали на соборе 1566 г. Подобно дворянским представителям, которые были головами уездных отрядов, эти дворяне-воеводы явились на собор прямо с театра войны; но те и другие едва ли имели одинаковое представительное значение. Первые как походные уездные *предводители* дворянства в буквальном значении этого слова пришли на собор уполномоченными от уездных дворянских отрядов, которыми они предводительствовали; вторые едва ли имели такие полномочия: это было бы возможно только при условии, если бы существовало правило ставить гарнизоны в пограничные города дворянские отряды одних уездов с назначаемыми в эти города воеводами или, говоря точнее, назначать городскими воеводами голов тех же уездных отрядов, которые ставились гарнизоны в эти города. Но не находим прямых указаний на действие подобного правила. Такие городские воеводы, не командовавшие дворянскими отрядами своих уездов, являлись на собор по правительственному призыву в качестве сведущих людей, непосредственно знакомых с военным положением границ, где шла война. Надобно думать, что число таких экспертов, не имевших представительного значения, было в составе собора довольно значительно: ограничиваясь только отмеченными в разрядной книге военно-административными назначениями 1565 и 1566 гг., насчитываем до 50 присутствовавших на соборе дворян, которые по характеру возложенных на них военно-административных поручений едва ли были уполномоченными от уездных дворянских обществ. Во всяком случае сопоставление соборного списка с разрядной книгой вскрывает ту характерную особенность в составе этого

собора, что бывшие на нем дворяне в большинстве явились прямо с похода. На эту особенность указали в своем мнении и представители торопецких помещиков на соборе. Они писали, что предпочитают сложить свои головы за одну десятину Полоцкого и Озерического повета, «чем в Полоцке помереть запертым», прибавив к этому: «Мы, холопы его государские, ныне на конех сидим и мы за его государское с коня помрем».

Итак, члены собора из дворянства все принадлежали к столичным дворянам и детям боярским трех статей, на которые тогда делилось по служебной годности столичное дворянство. Служа исполнителем разнообразных военно-административных поручений, из которых тогда слагалась столичная дворянская служба, это дворянство вместе с тем еще не порвало служебных связей с уездами, где у него находились земельные имущества, с теми провинциальными дворянскими обществами, из которых оно набиралось: став столичными, эти дворяне не переставали быть уездными. На собор, созванный по вопросу о продолжении войны, они явились с двояким значением: одни пришли как командиры мобилизованных для войны уездных дворянских отрядов; другие были призваны, потому что были комендантами или помощниками комендантов пограничных городов, близких к театрам военных действий. Были ли те и другие дворянскими представителями на соборе в точном значении слова, *выборными* людьми, специально уполномоченными представлять избирателей, выражать их мнения на этом только соборе и только по вопросу, для обсуждения которого он был созван? Относительно городских воевод или комендантов это очень сомнительно, относительно сотенных голов или отрядных командиров только вероятно. Но в то время это едва ли считалось существенным условием, необходимым для того, чтобы сообщить головам уездных дворянских сотен характер уездных дворянских представителей: выбор как специальное полномочие на отдельный случай тогда не признавался необходимым условием представительства. Столичный дворянин, командовавший дворянами своего уезда, считался их представителем по *положению*, а не по выбору, повторявшемуся в каждом отдельном случае, и потому даже без выбора мог представлять их во всех

случаях, требовавших представительного полномочия. Правительство ли призывало голову уездной дворянской сотни представителем на собор или сама сотня выбирала его своим депутатом, это было в сущности все равно, как скоро то и другое совершалось в силу взгляда на сотенного голову как на естественного и неременного представителя сотни во всех случаях, когда она нуждалась в представителе; как корпоративный выбор ничего не прибавлял к представительному значению избранного, так и правительственный призыв не отнимал такого значения у призванного. Столичный дворянин из переяславских или юрьевских помещиков являлся на собор представителем переяславских или юрьевских дворян потому, что он был головой переяславской или юрьевской сотни, а головой он становился потому, что был столичный дворянин; столичным же дворянином он становился потому, что был одним из лучших переяславских или юрьевских служилых людей «по отечеству и по службе», т. е. по породе и по служебной исправности. Превосходство породы при тогдашних генеалогических понятиях обеспечивало ему как предводителю уездного дворянства почет и повиновение со стороны поставленных под его команду дворян, служебная исправность обеспечивала правительству неоплошное несение дворянином сопряженных со званием сотенного головы военно-административных тягостей, а то и другое служило ручательством за успех порученной дворянину команды. Таким образом, представительное значение сотенного головы не создавалось волей предводимой им дворянской корпорации, а вытекало само собою как последствие из целого ряда условий, не зависевших от личного отношения к представителю каждого из представляемых и даже мало зависевших от личных качеств и взглядов самого представителя. Совокупность этих условий составляла служебную годность сотенного головы, которая и была первичным источником его представительного значения на соборе. Потому, вероятно, и в XVI в., как это было в XVII, назначение сотенных голов представлялось не самим дворянам уезда, а полковым или городским воеводам, хотя в XVII в. и дворянство уезда имело косвенное влияние на это назначение, выбирая сотенных знаменщиков, из среды которых воеводы обязаны были назначать голов²⁴.

Из всего сказанного становится ясно, как понимали московские люди XVI в. соборного представителя, с каким политическим обликом являлся он на соборе. Согласно с первичным источником его представительного значения, служебную годностью, необходимым политическим его качеством считалось не доверие к нему представляемого общества, а доверие правительства. Существенным и неперенным условием представительства считали не корпоративный выбор представителя, а известное административное его положение, соединенное с властью и ответственностью начальника. Представитель являлся на собор не столько ходатаем известного общества, уполномоченным действовать по наказу доверителей, сколько правительственным органом, обязанным говорить за своих подчиненных; его призывали на собор не для того, чтобы выслушать от него заявление требований, нужд и желаний его избирателей, а для того, чтобы снять с него, как с командира или управителя, обязанного знать положение дел на месте, показывая о том, что хотело знать центральное правительство, и обязать его исполнять решение, принятое на соборе; с собора он возвращался к своему обществу не для того, чтобы отдать ему отчет в исполнении поручения, а для того, чтобы проводить в нем решение, принятое правительством на основании собранных на соборе справок. Такой тип представителя складывался практикой соборного представительства в XVI в., сколько можно судить о том по дворянскому составу собора 1566 г. Представителя-челобитчика «обо всяких нуждах своей братии», каким преимущественно являлся выборный человек на земских соборах XVII в., совсем еще незаметно в дворянине, бывшем на соборе 1566 г. Этому практическому типу соборного представителя отчасти соответствовал и литературный, как он обрисован в *Беседе валаамских чудотворцев*, известном памфлете второй половины XVI в., направленном против монастырского землевладения. Автор памфлета советует московскому царю «безпрестанно всегда держати погодно при себе ото всяких мер (чинов) всякых людей и на всяк день их добре и добре распросити царю самому про всякое дело мира», и тогда, прибавляет публицист в заключение своего совета, «объявлено будет теми людьми всякое дело пред царем»²⁵.

Значение соборного представителя, открывающееся из служебного положения дворянских представителей, присутствовавших на соборе 1566 г., помогает уяснить и состав представительства городского торгово-промышленного населения. Этот состав также возбуждает много недоумений. Кого или что представляли призванные на собор 1566 г. 12 гостей, 41 человек торговых людей москвичей и 22 человека смолян? Что значило такое обилие представителей столичного купечества и почему из городского провинциального населения на соборе оказались только смоляне и притом в таком значительном количестве? Разъясняя эти недоумения, прежде всего надобно остановить внимание на иерархическом делении высшего столичного купечества по соборному перечню. На соборе 1566 г. присутствовали *гости* и *торговые люди москвичи*; на дальнейшие соборы призывались обыкновенно *гости* и торговые люди *гостиной* и *суконной сотен*. Если московских гостей можно приравнять к нынешним коммерции советникам, то сотни гостиная и суконная были очень похожи на нынешние первую и вторую гильдии. Соборный акт 1566 г. не знает этих сотен — знак, что к этому году еще не успела установиться иерархия чинов, на которые несколько позднее делилось столичное купечество. С другой стороны, высшее московское купечество в XVII в. отличалось сборным составом, набиралось из разживавшихся простых торговых людей столицы и из провинциальных купцов или городских посадских людей: «Гости, гостиная и суконная сотни полнятся всеми городами и слободами — лучшими людьми», — так писали в 1649 г. сотские и старосты московских торговых сотен и слобод в своей мирской челобитной²⁶. Признаки такого же сборного состава заметны и в высшем столичном купечестве XVI в.: судя по прозваниям, которыми обозначены в акте собора 1566 г. некоторые из торговых людей москвичей, в числе соборных представителей московского купечества находились два переяславца, один угличанин и один костромитин. Из всего этого можно заключить, что уже в XVI в. завязывалась та самая организация высшего столичного купечества, какую встречаем в памятниках XVII в.; только ко времени собора 1566 г. она еще не успела получить окончательной выработки и тех форм, с какими она является позд-

нее. Это дает возможность объяснить значение и тех 22 представителей купечества, которые в акте собора 1566 г. названы *смольнянами*. Исстари на Руси купечество, ведшее заграничную торговлю и носившее общее название *гостей*, разделялось на разряды, называвшиеся или по заграничным рынкам, с которыми купцы имели дела, или по роду товаров, которыми они торговали. Так в XII в. русские купцы, торговавшие с греками, назывались *гречниками*; точно также в XIV в. московские купцы, имевшие дела с черноморскими и азовскими рынками, татарскими и генуэзскими, назывались *суро-жанами*, вероятно, по имени Сурожа (Судака), торгового города на южном берегу Крыма, где в то время господствовали генуэзцы, или по имени Азовского моря, называвшегося тогда на Руси Сурожским. Летописная повесть о взятии Москвы Тохтамышем в 1382 г., перечисляя составные элементы московского купечества, говорит о «сурожданах, суконниках и прочих купцах».

Великий князь Димитрий, отправляясь в 1380 г. из Москвы против Мамай, взял с собою 10 человек «сурождан гостей», которые могли дать нужные в походе указания как люди бывалые, знакомые с делами и обычаями дальних земель ордынских и фряжских²⁷. Есть основание думать, что и под *смольнянами* соборный акт 1566 г. разумел не купцов г. Смоленска, а особый разряд столичного московского купечества, называвшийся так, может быть, потому, что принадлежавшие к нему купцы вели торговлю с Западною Русью и Литвой через Смоленск. Впоследствии купцы высших торговых сотен или гильдий, гостиный и суконной, торговали в московском Китай-городе особыми рядами, которые назывались по именам сотен и память о которых доселе сохранилась в известной исторической поговорке о *суконном* рыле, которое некстати лезет в *Гостиный* ряд чай пить: это — запоздалый отзвук старинной гильдейской спеси и гостинодворского чиновничья. В XIV в. высшее московское купечество, нося общее звание *гостей*, разделялось на два разряда, на *сурождан* и *суконников*. В XVII в. гости составляли особый первый разряд, или чин, в составе высшего столичного купечества, которое делилось еще на две сотни, *гостиную* и *суконную*. Со значением такого первого чина купеческой иерархии гости являются и на соборе 1566 г.; но за ними в этой иерархии высшего

купечества следовали тогда, сколько можно о том судить по чиновной терминологии соборного акта, торговые люди *москвичи* и *смольяне*, или, как еще делит их этот акт, *купцы* и *смольяне*. По-видимому, эти два разряда соответствовали позднейшим сотням гостиной и суконной, впрочем, уже носившим эти самые названия на соборе 1598 г. Может быть, на эту связь *смольян* соборного акта 1566 г. с суконною сотней последующего времени указывает и одна черта рядской номенклатуры нынешнего Китай-города. Современные нам названия недавно сломанных китайгородских торговых рядов в большинстве старинного происхождения и встречаются уже в актах XVI и XVII вв. В числе этих рядов один доселе называется (т. е. назывался до сломки) *Московским суконным*, а другой *Смоленским суконным* рядом. Позднейшие разряды гостей и торговых людей гостиной и суконной сотен были *чины*, т. е. служебные звания, которые государь жаловал за службу. Сличая списки представителей высшего купечества на соборах 1566 и 1598 гг., замечаем, что разряды, на которые акт первого собора делит это купечество, имели значение точно таких же чинов, какими являются позднее звания гостей и торговых людей гостиной и суконной сотен. Соборный акт 1598 г., сказали мы, знает уже это последнее деление. Трое из представителей купечества, поименованные в этом акте с званием гостей, присутствовали и на соборе 1566 г.; но тогда они не носили еще этого высшего звания служебной купеческой иерархии, с каким являются 32 года спустя: один из них, И. Чуркин, поименован в соборном акте 1566 г. в числе торговых людей *москвичей*, стоявших ниже гостей, а двое других, Аф. Юдин и Ст. Котов, в числе *смольян*, следовавших по нисходящей линии за москвичами. В одном хронографе рассказывается, что в 1567 г. царь Иван послал за границу восемь купцов с разными поручениями. Из них шестеро были членами собора 1566 г. и в том числе двое, Т. Смывалов и Аф. Глядов, в соборном перечне помещены в разряде *смольян*; но хронограф называет их просто купцами одинаково с их товарищами, которые в соборном акте значатся «москвичами торговыми людьми»²⁸. Значит, *смольяне*, присутствовавшие на соборе 1566 г., не группа купеческих представителей уездного города, имя которого они носили, а один из разрядов, или чинов,

столичного купечества, ступень иерархической лестницы, по которой шло служебное движение торгово-промышленного класса, подобное тому, какое военно-служилый класс совершал по лестнице своих служилых чинов.

Итак, представительство городского торгово-промышленного класса на соборе 1566 г. было устроено совершенно одинаково с представительством служилого класса. На собор были призваны представители только из среды столичного дворянства и столичного купечества; но эти столичные дворяне и купцы не представляли собою исключительно столичного дворянства и купечества. Как столичные дворяне-представители явились на собор выразителями мнений уездных дворянских обществ, так и мнения уездных торгово-промышленных миров нашли себе выражение в голосе высшего купечества столицы. Мы видели, почему столичные дворяне получили на соборе такое широкое представительное значение. Они были ближайшими руководителями военного строя, рассыпанного по государству в виде уездных дворянских обществ, которые поднимались в походы территориальными отрядами. Столичные дворяне становились такими руководителями уездного дворянства потому, что были столичные дворяне, а столичными дворянами они делались потому, что были лучшими уездными дворянами, которых самое положение, т. е. генеалогическое происхождение и хозяйственное состояние, ставило во главе дворянства их уездов. Это был генеральный штаб армии Московского государства, составленный из уездных предводителей дворянства, составляющего рядовую массу этой армии. Подобное этому значению, только в другой сфере государственного управления, имело уже в XVI в. высшее купечество столицы. Расширяя по мере роста государственных потребностей источники своих доходов, московская казна постепенно сосредоточила в своем ведомстве много финансовых операций, значительно усложнивших государственное хозяйство. Взимая косвенные налоги, *пошлины*, с различных народнохозяйственных оборотов, она в то же время сама принимала непосредственное участие в этих оборотах, ведя монопольную продажу питей и соли, торгуя дорогими мехами и проч. Сбор косвенных налогов и ведение этих торгово-промышленных предприятий требовали торговой опытности, некоторых

технических знаний, которыми не обладали приказные люди, коренные органы управления. Правительство старалось восполнить этот недостаток, возлагая ведение таких казенных операций на опытных в торговом деле людей из высшего купечества. Так люди, неслужилые по происхождению, привлекались к государственной службе. Это вызывалось требованием не только казенного интереса, но и политической логики. Издавна гости, перво-статейные купцы, пользовались на Руси правом земельной собственности. С образованием Московского государства установилось правило, что все земельные собственники обязаны нести государственную службу, ратную или приказную, административную. Высшее купечество сообразно со своими занятиями и общественным положением всего успешнее могло нести службу по финансовому ведомству, заменяя служилых и приказных людей, непривычных к торгово-промышленным делам. С течением времени, но еще до конца XVI в., эта повинность высшего купечества, осложняясь, разрослась в целую систему казенных поручений, исполнение которых правительство, не имея для того своих специальных исполнительных органов среди служилых людей, возлагало на неслужилые земские классы. Это была так называвшаяся *верная* (присяжная) служба по сбору казенных пошлин, по надзору за исполнением натуральных государственных повинностей и по ведению казенных торгово-промышленных предприятий.

С высшего купечества эта служба распространена была и на другие классы земского тяглого населения, с тою только разницей, что первое ставило агентов для исполнения казенных поручений по очереди или назначению правительства, а вторые — по мирскому выбору, подкрепляемому мирскою порукой за избранника. Но высшее столичное купечество сохраняло в этой службе такое же руководящее значение, какое в службе ратной имело столичное дворянство. Верная служба дала организацию высшему столичному купечеству, определила самый его состав. Эта служба была безмездная, но в высшей степени ответственная. Так как этою ответственностью охранялась казенная прибыль, то главным обеспечением ответственности рядом с *верой*, присягой как гарантией добросовестности должна была служить имущественная состоятельность агента, материальная

способность его возместить причиненный им казне убыток. Со степенью такой способности соразмерялась трудность и ценность казенных поручений, а трудности и ценности поручений соответствовали права и льготы, какими казна вознаграждала своих агентов за успешное ведение порученных им дел. Так высшее купечество распалось на несколько служебных разрядов, или *чинов*, различавшихся между собою степенью тяжести и ответственности падавшей на каждый из них казенной службы и размерами предоставленных им за то прав и льгот. Около времени собора 1566 г., как видно из соборного акта, эти разряды носили названия *гостей* и торговых людей *москвичей* и *смолян*, а 32 года спустя представители их явились на новый собор уже со званиями *гостей* и торговых людей *гостиной* и *суконной сотен*; эти последние звания высшее купечество столицы удерживает и во весь XVII в. В то же самое время подобная перемена произошла и в чиновной терминологии столичного дворянства: на соборе 1566 г. оно делилось еще просто по статьям, как делил его закон 1550 г., а на соборе 1598 г. столичные дворяне различались уже званиями *стольников*, *дворян* (московских), *стряпчих* и *жильцов*, и это деление упрочилось за ними в XVII в. Отсюда можно заключить, что оба класса, имевшие руководящее значение в двух различных областях управления как ближайшие органы правительства, во второй половине XVI в. еще только складывались и устроились. Они и складывались одинаковым образом. Зерно столичного дворянства, его первичные кадры составились из старинного московского боярства удельного времени. Потом в эти кадры вошла молодежь знатных титулованных фамилий, бывших прежде владельческими и перешедших на московскую службу из упраздненных уделов. Первоначально и высшее купечество, носившее звание гостей, состояло из богатейших купцов, рассеянных по наиболее промышленным городам государства, в том числе и столичных, и не составляло цельной корпорации. Но потом всех провинциальных гостей стали зачислять в состав высшего столичного купечества, а около половины XVII в., во времена Уложения, закон обязывал их иметь и местожительство в столице. Однако такое корпоративное сосредоточение класса гостей оказалось недостаточным. С тех пор как звание гостя получило значение слу-

жебного чина, приобретаемого исполнением казенных поручений, и по мере того, как самая служба по казенным поручениям, усложняясь все более, требовала все большего количества опытных и состоятельных безмездных органов, усиливалась потребность от времени до времени пополнять состав высшего столичного купечества годными к казенной службе людьми из низших слоев торгово-промышленного населения. И как в ряды столичного дворянства по примеру 1550 г. вводились лучшие служилые силы, поднимавшиеся из глубины провинциальной служилой массы, так и в сжимавшийся круг высшего московского купечества постоянно приливали лучшие промышленные дельцы из столичных рядовых или черных сотен, из дворцовых и церковных слобод и из рядового купечества областных городов. Это были настоящие рекрутские наборы купечества в казенную службу, наиболее тяжелую и ответственную, производившиеся по казенному наряду, даже против воли тех, кого таким образом возводили в высшие чины торгово-служилой иерархии. Из одного дела 1649 г. о пополнении людьми гостиной и суконной сотен можно заключить, что такие наборы начались в царствование Грозного; по крайней мере о наборах более раннего времени в Москве не помнили в половине XVII в.²⁹ Мы отметили выше признаки такого сборного состава высшего московского купечества и в списке его представителей на соборе 1566 г. В том же деле 1649 г. приведен и перечень наборов за первую половину XVII в., повторявшихся через год, через 2, 4, 5 и более лет. Но вводимые, часто даже поневоле, в состав высшего столичного купечества, «лучшие люди из городов» не порывали связей с местными городскими обществами, к которым прежде принадлежали, напротив, становились во главе их с новым авторитетом. Их записывали в столичные гильдии, потому что они были на местах влиятельными торговцами по своей зажиточности и оборотливости; но как скоро они попадали в столичные гости или суконники, правительство возлагало на них ведение наиболее важных казенных операций обыкновенно в тех же местностях, с хозяйственным бытом которых они были хорошо знакомы по своим собственным оборотам. Таким образом, тузы местных рынков становились ответственными агентами центрального финансового управления. Этим объяс-

няется, почему в XVI и в первой половине XVII в. гости обозначались еще нередко по именам местностей, где имели постоянное местожительство или недвижимое имущество, хотя они все числились уже в составе высшего столичного купечества. В числе столичных гостей, бывших на соборе 1598 г., упомянут в списке некто Иван Юрьев. Может быть, это тот Иван Юрьев сын Петров, о котором вместе с его братом Никифором Писцовая книга 1577 г. замечает, что за этими «коломенскими гостями» старая их вотчина в Коломенском уезде. Упомянутый выше акт 1649 г. называет в числе московских гостей Григория Никитникова, который был взят в эту столичную корпорацию из ярославских купцов, как это видно из одной меновой грамоты Троицкого Сергиева монастыря 1618 г., в которой этот самый Никитников назван «Ярославля Большого государевым гостем»³⁰. Это сборное высшее купечество столицы и стало в такое же отношение к областным торгово-промышленным мирам в делах казенного управления, какое в военном управлении существовало между таким же сборным столичным дворянством и уездными обществами рядовых служилых людей, носивших звания «городовых дворян и детей боярских». Как московские дворяне рассылались из столицы, по выражению Котошихина, «для всяких дел» по областям, править городами в звании наместников и городских воевод, командовать полками или их частями в звании полковых воевод или сотенных голов, производить под руководством боярина смотры и разборы городским дворянам и детям боярским, верстая их поместьями и денежными окладами «по отечеству и по службе», вообще руководить рядовым провинциальным дворянством, так точно и московских гостей и торговцев гостиной и суконной сотен рассылали из столицы по областным городам в звании верных голов и целовальников направлять наиболее ценные казенные операции, питейные, таможенные и другие. Как ближайшие орудия правительства в управлении провинциальным торгово-промышленным населением, они иногда становились к последнему в отношении доверенных и полномочных руководителей; так, московских гостей посылали в областные города верстать местных посадских людей податными окладами; им иногда поручали выбор торговых людей провинциальных городов на дол-

жности местных верных голов кабацких и таможенных, не доверяя этого местным городским обществам³¹. Таким образом, высшее московское купечество было, если можно так выразиться, финансовым штабом правительства, составленным из сосредоточенных в столице местных капиталистов, руководивших областными рынками и торгово-промышленными мирами.

Так подбор представителей от купечества на соборе 1566 г. заставляет только повторить те заключения о московском взгляде XVI в. на соборного представителя, к каким раньше привел нас разбор состава дворянского на том же соборе. В соборном представителе видели не столько *уполномоченного* какой-либо сословной или местной корпорации, сколько *призванного* правительством от такой корпорации. Он являлся на собор не для того, чтобы заявить перед властью о нуждах и желаниях своих избирателей и потребовать их удовлетворения, а для того, чтобы отвечать на запросы, какие ему делает власть, дать совет, по какому делу она его требует, и потом воротиться домой ответственным проводником решения, принятого властью на основании наведенных справок и выслушанных советов. Чтобы обеспечить себе точность справок, основательность советов и надежное исполнение принятых решений, власть призывала на собор не людей, пользовавшихся доверием общества по своим личным качествам и отношениям, а людей, стоявших во главе общества и имевших возможность знать его дела и мнения. Потому источником полномочий соборного представителя было не *поручение*, возложенное на него по личному к нему доверию избирателей, а доверие правительства, основанное на общественном *положении* доверенного представителя. Такое положение среди местных обществ, дворянских служилых и городских торгово-промышленных, занимали столичное дворянство и высшее столичное купечество: это были верхушки провинциальных обществ, снятые правительством и сосредоточенные в столице. Но, оставаясь и после такой пересадки во главе местных обществ, оба столичные класса становились благодаря ей исполнительными орудиями правительства по делам, касавшимся тех же обществ. Таким образом, собор 1566 г. был в точном смысле *совещанием правительства со своими собственными агентами*. Таков пер-

вичный тип земского представительства в России: это было ответственное представительство по административному положению, а не полномочное представительство по общественному доверию. Этим, между прочим, объясняется такое количество присутствовавших на соборе дьяков. Земского представителя как доверенного выразителя нужд и желаний известного класса или местного общества, повторим, не знали и не понимали в Московском государстве XVI в. Этим же объясняется две наиболее существенные особенности представительства на соборе 1566 г., состоявшие в том, что все представители принадлежали к столичным корпорациям и ни из чего не видно, были ли они выбраны какими-либо обществами или прямо приглашены правительством.

Не будет лишним отметить, в каком направлении изложенный взгляд на собор 1566 г. уклоняется от взглядов, выраженных в упомянутом споре Соловьевым и Аксаковым. Первый, видя на соборе рядом с представителями столицы депутатов только от двух уездов и только от одного областного города, не соглашался признать его земским, т. е. всеземским собранием, а второй признавал его таким в идее, или потенциально; но оба они готовы были признать его представительным собранием и в членах его из дворянства и купечества предполагали депутатов в настоящем смысле слова, т. е. выборных. Наша речь, напротив, клонится к той мысли, что собор 1566 г. можно признать скорее земским собранием, чем представительным в этом смысле: дворянские и купеческие представители на соборе были земские люди и даже руководители земства, но *могли* и не быть выборными, специально уполномоченными представлять своих избирателей на этом соборе. Соловьев утверждал, что собор не был земским, не был собором всей России, потому что представлял *столицу*, а не *землю*. Состав собора заставляет признать, что он представлял *землю посредством столицы* и самую столицу представлял лишь настолько, насколько она представляла землю; потому и низшее тяглое население столицы, *черные сотни* и *слободы*, не имело особых представителей на соборе, а вместе с тяглым населением областных городов было представлено высшим столичным купечеством. Столичное дворянство и купечество имели тогда значение представителей земли

по своему государственному *положению*, хотя такое представительство не исключало возможности и выборной процедуры. Впрочем, *представительство по положению* могут признать выражением, соединяющим несовместимые понятия, и тогда собор 1566 г. нельзя признавать ни земским, ни представительным собранием и употребление самого слова *представительство* в применении к нему надобно считать злоупотреблением, допущенным в настоящем опыте по неумению автора подобрать соответствующий предмету термин.

Итак, часть в составе собора 1566 г., имевшая по крайней мере некоторое подобие представительства, состояла из военных губернаторов и военных предводителей уездного дворянства, которыми были столичные дворяне, и из финансовых приказчиков правительства, которыми были люди высшего столичного купечества. Что за причудливый состав представительства, как могла родиться мысль о таком составе и на что могло понадобиться представительство, так составленное? Это вопросы, касающиеся происхождения земских соборов.

II. Собор 1598 г.

Прежде чем отвечать на вопрос о происхождении земских соборов, поставленный в конце первой статьи настоящего опыта, надобно удостовериться, что основания соборной организации, замеченные нами при разборе соборного акта 1566 г., сохранялись и в составе дальнейших соборов. Если же этого не было, если эти основания в дальнейших соборах сменились другими, то в соборном акте 1566 г. можно искать указаний на происхождение только этого собора, который потому останется исключительным, одиноким явлением в развитии московского государственного порядка. Можно пожалеть, что и для изучения состава дальнейших соборов XVI в. нет другого средства, кроме микроскопических наблюдений, которые приводят к выводам только вероятным, но не разъясняющим дела с достаточной очевидностью.

После собора 1566 г. царь Иван уже не созывал более земских собраний, подобных тем, какие были созваны в этом и в 1550 гг. Думают, что вскоре по смерти

Грозного в 1584 г. был созван земский собор, который избрал на престол царя Феодора. Это мнение опирается, между прочим, на известие одного иностранца, шведа Петрея, писавшего несколько позднее, в начале XVII в.: этот иностранец говорит об единодушном *избрании* царя Феодора как высшими, так и низшими сословиями. По русским известиям трудно составить себе отчетливое представление о характере того государственного акта, при котором совершилось воцарение Феодора. Они гласят, что по смерти Грозного «приидоша» к Москве из всех городов и «молиша со слезами» царевича Феодора, чтоб сел на престоле отца своего, или что поставлен был на царство Феодор Иоаннович митрополитом и «всеми людьми Русския земли»³². Конечно, молить сына покойного царя о вступлении на престол отца еще не значит избирать на царство, и посылка депутаций с такой мольбой не дает еще основания предполагать созыв земских уполномоченных в государственное представительное собрание. Но надобно отличать известие о факте от самого факта: возможно и то, что русские повествователи, рассказывая об избирательном соборе, применялись к обычному тогдашнему порядку отношений общества к государю, а соборное представительство еще не входило в этот порядок, знакомый только с челобитным обращением подданных к верховной власти. Два косвенных указания склоняют к мысли о земском соборе, подтвердившем вступление Феодора на престол отца. Котошихин ведет появление избирательных царей на московском престоле прямо от смерти Грозного, молчаливо включая в ряд таких царей и его преемника³³. Англичанину Горсею, жившему тогда в Москве и описавшему воцарение Феодора, этот съезд «изо всех городов к Москве именитых людей», как выразился один русский повествователь, почему-нибудь показался похожим на «парламент», составленный из высшего духовенства и «всей знати». Это выражение *вся знать* (all the nobility) есть самая любопытная черта известия: она показывает, что земский собор 1584 г., если только это был собор, по составу своему очень походил на собор 1566 г., который состоял из высшего духовенства, из сановников высшего центрального управления и из представителей служилого класса, принадлежавших к высшему столич-

ному дворянству; представители столичного купечества составляли малозаметный элемент в административно-дворянском составе этого собора.

Известны обстоятельства, при которых собрался другой избирательный собор, возведший на престол боярина Бориса Годунова в 1598 г. Сохранился полный акт этого собора с перечислением его членов. Но, разбирая состав собора, встречаем и в этом акте затруднения не меньше тех, какие представляет протокол собора 1566 г. Первое из них состоит в определении числа членов собора. У четырех писателей находим три различных счета: Соловьев считает 474 члена, Беляев — 456, гг. Загоскин и Латкин — 457³⁴. Причина такого разногласия заключается в составе соборного акта 1598 г. Это — «утвержденная грамота», или соборный приговор, об избрании Бориса Годунова на царство в окончательной редакции, помеченной 1 августа 1598 г.³⁵ Но заседания избирательного собора начались еще 17 февраля того года. Личный состав собора указан в двух поименных перечнях, из которых один включен в самый текст грамоты с оговоркой, что поименованные в нем лица присутствовали вместе с патриархом Иовом при избрании царя, а другой составил из подписей, или рукоприкладств, какие делали члены собора на оборотной стороне грамоты. Очевидно, наблюдали, чтобы члены собора подписывались в том порядке, как они поименованы в первом перечне; однако в некоторых местах допущены были значительные отступления от этого порядка. Но самая важная разница между обоими перечнями та, что в каждом из них есть имена, которых нет в другом: в списке присутствовавших на соборе при избрании царя значится много лиц, которые не оставили своих подписей на грамоте; зато подписалось немало таких лиц, которые не поименованы в перечне избирателей. Некоторые исследователи определяют численный состав собора только по внесенному в текст грамоты списку избирателей, которых действительно обозначено в нем 457 человек; но и имена подписавшихся на грамоте, которых нет в этом списке, несомненно, принадлежали членам собора, потому что только члены собора были призваны, как гласит грамота, «руки свои приложить на большое утверждение и единомышление». Почему их нет в списке

избирателей? В этом и состоит затруднение. Для устранения его необходимо объяснить происхождение этой разницы между обоими перечнями и их отношение друг к другу, необходимо тем более, что эти подробности проливают лишний луч света на состав соборного представительства в XVI в.

До нас дошла не подлинная утвержденная грамота 1 августа об избрании царя Бориса с подлинными рукоприкладствами членов-избирателей, а ее копия с позднейшими прибавками, переменами в обоих перечнях членов собора и даже с ошибками в воспроизведении имен некоторых рукоприкладчиков³⁶. Это мешает точно обозначить некоторые моменты деятельности собора. Так, например, трудно определить, когда составлен был список членов, внесенный в текст грамоты, и когда члены прикладывали руки к грамоте. По-видимому, между обоими этими актами лег значительный промежуток времени. По смыслу оговорки, предпосланной в грамоте первому списку, он был составлен в начале деятельности собора и в него внесены имена членов, которые присутствовали на первых февральских и мартовских заседаниях собора, посвященных делу избрания царя и обсуждению ближайших последствий этого дела. Но деятельность собора не ограничивалась избранием царя и не кончилась этим актом. В апреле начались обширные сборы в поход на юг для защиты государства от ожидавшегося вторжения крымского хана. В разрядной книге этого похода отмечена военно-административная мера, предложенная собором во время этих сборов и принятая царем³⁷. Разрешая местнический спор, затеянный дворянином Полевым против окольного М. Г. Салтыкова, Борис сказал: «Били мне челом патриарх Иев и весь собор, и бояре, и приказные люди, и воеводы, и дворяне все, чтоб яз пожаловал, велел бояром и воеводам, и вам, дворяном, быти без мест на нашей службе; и ты почему так воуруешь?» Большинство служилых членов собора вместе с новоизбранным царем отправилось в поход. Деятельность собора возобновилась по окончании похода в июле, и плодом ее была утвержденная грамота 1 августа, скрепленная подписями членов. Но к тому времени наличный состав собора изменился: некоторые члены, бывшие на первых заседаниях собора, по делам

службы не вернулись в Москву из похода и не приложили своих рук к грамоте 1 августа или должны были покинуть столицу, прежде чем успели приложить свои руки; зато другие, не поспевшие на первые заседания собора, присутствовали на последних и успели подписаться под соборною грамотой. Такова одна причина, которой можно объяснить разницу обеих членских перечней в дошедшей до нас копии соборной грамоты; но была и другая. В списке членов, внесенном в текст грамоты, нет имен 11 московских протопопов, которые, однако, подписались на грамоте. Многие члены не попали в соборный список потому, что не успели на первые заседания собора из дальних мест, куда были посланы призывные повестки, а составители списка не знали, приедет ли оттуда кто-нибудь и кто именно. Пропуск московских протопопов в списке не мог произойти от подобной причины. Очевидно, первоначально их не думали приглашать на собор и пригласили уже после составления соборного списка. Значит, состав собора не был окончательно определен до его открытия и пополнялся постепенно в продолжение его деятельности. Это наблюдение пригодится при решении вопроса о том, успел ли земский собор к концу XVI в. стать учреждением с твердо установившимся общественным составом.

Изложенные подробности показывают, как надобно пользоваться членскими подписями на соборной грамоте для определения численного состава собора: из числа членов собора, обозначенных в перечне рукоприкладств, следует выделить тех, которых нет в соборном списке, и прибавить их к поименованным в этом списке 457 членам. Таких мы насчитали 55 человек, *следовательно, собор 1598 г. состоял из 512 членов.*

Классификация этих членов в соборном акте гораздо сложнее той, какую мы видели в соборном протоколе 1566 г. И теперь, как в 1566 г., на собор приглашено было высшее духовенство с архимандритами, игуменами, соборными монастырскими старцами и даже московскими протоиереями, которых не видим на соборе 1566 г.; всех духовных лиц было на соборе 1598 г. 109. В состав собора вошли, разумеется, Боярская дума в числе 52 членов, бояр, окольничих, думных дворян и думных дьяков; призваны были, как в 1566 г.,

дьяки из московских приказов, теперь в числе 30 человек; но теперь к этим органам центрального государственного управления присоединены были и органы дворцовой администрации, 2 бараша и 16 дворцовых ключников, которых не встречаем на соборе 1566 г. Людей военно-служилых явилось на собор 1598 г. 267 человек; в составе собора они образовали теперь немного меньший процент, чем в 1566 г., именно 52%, вместо прежних 55%. Зато теперь они представляли гораздо более дробную иерархию. На соборе 1566 г. люди этого класса, дворяне и дети боярские, распались на три статьи; соборный акт 1598 г. делит их на *стольников, дворян, стряпчих, голов стрелецких, жильцов и выбор из городов*³⁸. Наконец, представителями торгово-промышленного класса явились на соборе 21 человек гостей и 15 старост и сотских московских сотен *гостиной, суконной и черных*. Эти старосты и сотские явились на собор 1598 г. вместо многочисленных представителей столичного купечества, обозначенных в соборном акте 1566 г. званьями *торговых людей москвичей и смольнян*. Таким образом, в составе собора 1598 г. можно явственно различить те же четыре группы членов, какие обозначались и на прежнем соборе и которые представляли собою церковное управление, высшее управление государственное, военно-служилый класс и класс торгово-промышленный. Состав первых двух групп мало изменился, но в составе двух последних произошли значительные перемены, которые необходимо рассмотреть, чтобы увидеть, в какой степени и в каком направлении изменились к концу XVI в. состав соборного представительства и значение представителя.

Столичное дворянство и на соборе 1598 г. сохранило численное преобладание над всеми прочими элементами соборного представительства, вместе взятыми. Соборный акт разделил его представителей на чины *стольников, дворян, стряпчих и жильцов*. Это новое чиновное деление, заменившее собою прежнее статейное, образовалось во второй половине XVI в., и столичные дворяне удерживали его в продолжение всего следующего века. Оно усвоило себе некоторые особенности прежнего деления. В нем, как и в прежнем, можно заметить генеалогическое основание: чинами *стольника* и *дворянина* начиналось служебное поприще людей знатных фамилий,

тогда как менее родовитые лица столичного дворянства наполняли собою списки стряпчих и жильцов. В новой чиновной иерархии, как и в прежней статейной, допускалось движение с низшей ступени на высшую: провинциальных дворян и жильцов «за услуги» жаловали в стряпчие и дворяне, стряпчих и дворян возводили в звание стольников. Но удержало ли столичное дворянство в своей новой организации корпоративную связь с уездными дворянскими обществами, какую оно имело еще на соборе 1566 г.? Не решив этого вопроса, нельзя ничего сказать о представительном значении, с каким явились на собор 1598 г. многочисленные стольники, дворяне, стряпчие и жильцы, поименованные в соборном акте.

На соборе 1598 г. присутствовали 46 стольников и более сотни столичных дворян. Этого слишком много, чтобы видеть в них выборных представителей своих чиновных корпораций, и слишком мало, чтобы предполагать поголовный призыв на собор всех стольников и столичных дворян, подобно тому как призывались на собор члены Боярской думы. В XVII в., когда служилые люди являлись на собор с значением выборных представителей своих чиновных или местных корпораций, считалось вообще достаточным не более 20 представителей для «больших статей», т. е. крупных многолюдных избирательных категорий, и на соборе 1642 г. встречаем всего 10 стольников и 22 столичных дворянина. С другой стороны, стольники и другие чины столичного дворянства, бывшие на соборе 1598 г., далеко не составляли и большинства своих чиновных разрядов, сколько можно о том судить по спискам, близким по времени к этому собору. Так, по списку 1577 г. числилось до 240 московских дворян, и то не всех, а только служивших в том году «из выбора», т. е. отобранных для специальных поручений по случаю царского похода в Ливонию, а по списку 1616 г. стольников числилось 116, московских дворян 295 и 53 стряпчих, которых на соборе 1598 г. было 22 человека³⁹. Чтобы понять значение, с каким явились на собор многочисленные лица столичного дворянства, надобно искать указаний на их положение в служилом обществе вне собора. Несколько таких указаний дает разрядная книга упомянутого выше царского похода летом 1598 г.⁴⁰ На высшие предводи-

тельские должности корпусных командиров и их товарищей в этом походе согласно с заведенным порядком древней московской военной администрации назначены были члены Боярской думы. Второстепенные места по штабу и по командованию отдельными частями мобилизованных корпусов, должности рынд и поддатней к ним, разного рода голов и ясоулов розданы были стольникам, стряпчим, дворянам московским, жильцам, дворцовым ключникам, которые также причислялись к столичному дворянству. Из 130 лиц этого дворянства, поименованных в разрядной росписи похода, 73 человека были членами собора, выбиравшего на царство Бориса Годунова. Следя за служебными назначениями бывших на этом соборе лиц столичного дворянства по разрядным книгам 1598 г. и ближайших к нему лет, можно заметить, что они принадлежали к тому, что мы назвали бы генеральным штабом, или служили главными исполнительными органами высшего военно-гражданского управления. Из 238 представителей столичного дворянства на соборе 1598 г. присутствовало не менее 90 таких, которые только по разрядной книге этого года выполняли подобные штабные или военно-административные поручения, а в этой разрядной книге отмечены далеко не все, на кого возложены были в том году такие поручения. Особенно часто назначались лица столичного служилого корпуса в пограничные города воеводами или осадными головами, т. е. гарнизонными командирами; в походах они превращались в походных предводителей своих уездных полков или городских гарнизонов, двинутых в поле. На собор 1598 г. призваны были 15 московских дворян, служивших воеводами в городах по южной окраине; четверо из них в царский поход того года назначены были «головами у крайних городов», т. е. командирами мобилизованных уездных отрядов южной украины⁴¹. В упомянутой утвержденной грамоте об избрании царя Бориса и других официальных актах того времени, касавшихся избирательного собора 1598 г., воеводы даже прямо обозначены как особый разряд членов в составе этого собора.

По всем этим указаниям можно подумать, что чины столичного дворянства уже к концу XVI в. образовали особый служилый корпус, собственный «государев двор», как он назывался на придворном языке XVII в., и что

на него уже тогда легли разнообразные служебные обязанности, которые он нес в продолжение всего этого века: он составлял «государев полк», гвардию, и в то же время исполнял обязанности генерального штаба; он служил обер-офицерским запасом для отрядов провинциального дворянства и ставил дельцов на второстепенные должности по центральному и областному управлению. Но сохраняли ли чины столичного дворянства и теперь служебную связь с дворянскими обществами тех уездов, где они владели поместьями и вотчинами, и в силу этой связи представляли ли они эти общества в качестве их предводителей и на соборе 1598 г., как это было на соборе 1566 г.? Неожиданно косвенный ответ на этот вопрос дает новый элемент в составе собора 1598 г., обозначенный в соборном акте словами *из городов выбор.*

Во второй половине XVI в., подобно столичному дворянству, и провинциальные дворяне, и дети боярские получили новую организацию, стали делиться на чины по степени своей родовитости и военно-служебной годности. Высший чин служилой провинциальной иерархии получил название *выбора* или *выборных дворян*. После набора тысячи провинциальных служилых людей на столичную службу в 1550 г. правительство от времени до времени по нуждам этой службы вызывало лучших слуг из провинциального дворянства в подкрепление столичного служилого корпуса. Это были временные вызовы, не вырывавшие вызываемых из состава местных дворянских корпораций, к которым они принадлежали. Этим положено было в некоторых уездах начало особому постоянному разряду служилых людей, который занял первое место в чиновном распорядке уездного дворянства. Разрядная книга полоцкого похода 1563 г. уже отмечает в составе двинутых тогда в поле полков *дворян выборных*, помещая их в порядке служилых чинов непосредственно после столичных чинов стольников, стряпчих и жильцов и как бы даже причисляя их к столичному дворянству⁴². Выборные дворяне действительно служили связующим звеном между дворянством столичным и провинциальным, городовым. Любопытное указание на их служилое значение находим в записках известного капитана Маржерета, состоявшего на московской службе в самом начале XVII в.;

по его словам, кроме дворян, постоянно живших в Москве, каждый город по возможности присылал от 16 до 30 лучших поместных владельцев, которые назывались *выборными дворянами*; по прошествии трех лет они сменялись другими⁴³. Отправляя очередную службу в столице, городской выбор вместе с тем служил постоянным запасом, из которого пополнялось столичное дворянство: лучших слуг этого разряда возводили в столичные чины. В XVII в., когда установилась выборная система соборного представительства, уездное дворянство обыкновенно посылало на земские соборы представителей из выборных дворян своих городов. В официальных актах о таком представителе писали, что он «на Москве от города *в выборе*»⁴⁴. Таким образом, различные понятия выражались одним термином. Недоразумение, в какое может ввести такая двусмысленная терминология, становится тем возможнее, что различные значения, какие выражались словом *выбор*, часто соединялись в одном лице: *выборный* представитель уездного дворянства на земском соборе обыкновенно был по своему служилому чину *выборный* дворянин своего уезда.

В соборном списке 1598 г. поименовано 34 представителя в звании *из городов выбора*. Скорее всего можно было бы подумать, что эти члены собора совмещали в себе оба значения этого двусмысленного звания, что это были выборные представители уездного дворянства на соборе, которые и сами принадлежали к тому же уездному дворянству и «служили из выбору», как обыкновенно обозначались в служилых списках XVI в. уездные дворяне, носившие чин городского выбора. Но, сличая соборный перечень с указанным выше списком 1577 г., узнаем, что 10 человек из 34 членов избирательного собора, причисленных в перечне к *выбору* из городов, еще за 20 лет до этого собора принадлежали к столичному дворянству, именно один носил чин жильца, а остальные значились в списке дворян московских. Отсюда следует, что соборный список группировал членов собора не исключительно по служебным чинам, какие они носили, и, поместив в группе городского *выбора* людей разных чинов, придавал этому званию значение не служебного чина, а именно выборного представительства на соборе. Из этого сами собою выходят два ука-

зания на состав изучаемого собора. Во-первых, если дворяне московские, бывшие на соборе выборными представителями провинциального дворянства, в соборном перечне выделены из своего чиновного списка и помещены в другой группе, надобно из этого заключить, что люди столичных чинов, обозначенные в перечне своими чинами, не были на соборе выборными представителями провинциального дворянства, а явились по призыву правительства в силу своего военно-административного положения как воеводы городов или командиры уездных дворянских отрядов. С другой стороны, столичное дворянство, очевидно, еще не порвало своей корпоративной связи с провинциальными дворянскими обществами, установленной землевладельческим соседством: звание столичного дворянина не мешало уездным дворянам и детям боярским выбрать земляка по вотчине или поместью своим представителем на земском соборе. Эта связь сквозит и в других явлениях того или близкого к тому времени. Жильцы принадлежали к столичному дворянству, составляя младший его чин. Но в начале XVII в. случалось, что иной жилец просил зачислить его в походе в уездную дворянскую сотню или позволить ему служить «по выбору», т. е. в чине выборного дворянина, вместе с дворянами известного уезда, по месту землевладения, и правительство уважало такие просьбы; иногда жильцы, несмотря на свой столичный чин, оставались в списках городских дворян и детей боярских и служили вместе с ними. Областная администрация также держалась того привычного взгляда, что служилые люди столичных чинов, стряпчие, жильцы и дворяне московские в случае внешней опасности обязаны защищать тот город, в уезде которого находятся их поместья и вотчины, наряду с городовыми дворянами и детьми боярскими этого уезда. В конце XVI в. по городу Брянску служило целое гнездо Зубовых. Один из них, Гр. И. Зубов дослужился до столичного чина жильца и в этом чине присутствовал на соборе 1598 г. В 1613 г. московский земский собор послал польскому правительству список разного звания русских людей и в том числе городских дворян, захваченных поляками, требуя их возвращения в отечество; в списке брянских городских дворян названо несколько Зубовых и между ними Гр. И. Зубов, жилец и член собора 1598 г.⁴⁵

Значит, столичный служилый чин в то время был еще совместим с званием городского дворянина и, таким образом, можно было одновременно принадлежать к тому и другому дворянству, к столичному и провинциальному. Этим объясняется одна черта в составе собора 1598 г., непонятная при первом взгляде. Сохранился помеченный 1607 г. список бояр, окольных и прочих думных и столичных служилых чинов, а также «из городов выбора» по 36 уездам⁴⁶. Некоторые из перечисленных здесь городских дворян выборного чина присутствовали на соборе 1598 г. и в соборном перечне помещены среди выбора из городов. Но шесть дворян из числа членов этого собора, продолжавших и в 1607 г. служить дворянами-выборными в разных уездах и значащихся в этом чине по упомянутому списку, в соборном перечне носят столичные звания жильцов, стряпчих и дворцовых ключников.

Все эти указания заставляют думать, что на собор 1598 г. призвано было много столичных дворян с тем же самым представительным значением, с каким их предшественники, столичные дворяне и дети боярские, присутствовали на соборе 1566 г.: те и другие не были выборными представителями уездных дворянских обществ на соборе, но представляли их по своему должностному положению, как их военные предводители, назначенные правительством из землевладельцев тех же уездов. Некоторые явления в составе собора 1598 г. поддерживают ту мысль, что столичное дворянство и в это время еще сохраняло прежнюю связь своего соборного представительства с местом землевладения. Член этого собора, дворцовый ключник Т. Змеев, по этому званию принадлежавший к столичному дворянству, был землевладельцем в одном из южных украинских уездов; в летнем царском походе того года он является в числе голов «с украин», начальников уездных отрядов с южной украины. Другим головой с той же украины был в этом походе мещевский землевладелец П. Гр. Совин, присутствовавший на соборе в числе *дворян московских*. Следы той же связи заметны еще в начале XVII в. в акте избирательного собора 1613 г. По списку 1577 г. П. Наумов служил дворянином по г. Вязьме; сын его принадлежал уже к столичному дворянству и в чине жильца присутствовал на соборе

1598 г.; внук также был жильцом и под соборным актом 1612 г. подписался за выборных вяземских дворян. Беяница Зюзин в чине жильца также был членом собора 1598 г., а на соборе 1613 г. явился в числе выборных дворян — представителей казанского дворянства, хотя уже за 14 лет до этого собора носил столичный чин⁴⁷. Можно объяснить, почему так мало было на соборе 1598 г. выборных представителей уездного дворянства. В соборном списке их поименовано 34 человека; трудно определить количество представленных ими уездов⁴⁸. Многие уезды представлены были без выборов лицами, которые призваны были на собор в силу их должностного положения как предводители уездных служилых отрядов. Впрочем, можно думать, что и выборных представителей городского дворянства было на соборе больше, чем сколько их поименовано в соборном списке. В числе членов собора, не поспевших на первые его заседания и не попавших в соборный список, было шестеро, которые подписались на соборной грамоте после всех дворян вместе с московскими купцами. Их подписи, затерявшиеся в конце рукоприкладств, воспроизведены в изданном списке соборной грамоты, по-видимому, без всяких перемен и вскрывают некоторые новые черты в составе дворянского представительства. Никита Львов подписался: «и в Воцкие пятины место», Дартуша Дивов: «и во всех Ржевич место», А. Ивашев: «и во всех Белян место». Это представители дворянских обществ Вотской пятины Новгородской области и уездов Ржевского (ныне Тверской губ.) и Бельского (Смоленской губ.); не находим никаких указаний, которые заставляли бы считать этих представителей столичными дворянами. Н. Мотолов (Мотовилов) подписался: «и во всех Ярославля Малаго сотни»; это был представитель сотни или роты, состоявшей из дворян и детей боярских Малоярославецкого уезда, может быть, ее командир, сотенный голова, по должности призванный на собор, или же выборный служебный представитель на месте. Такие местные служебные представители уездных дворянских обществ, называвшиеся *окладчиками*, выбирались всем уездным дворянством и составляли в каждом уезде коллегию ответственных присяжных посредников между правительством и дворянским обществом уезда: когда бывал смотр уездного

дворянства, окладчики под присягою давали присланным из столицы ревизорам показания о служебной годности служилых людей своего уезда и вместе с тем ручались за них в исправном отбывании ими падавших на них военно-служебных обязанностей. В числе упомянутых запоздалых членов собора 1598 г. подписался на соборной грамоте Второй Тыртов «во всей Шоломенские пятины (место)». По новгородскому списку 1601 г. встречаем этого самого Второго Тыртова в числе 8 окладчиков Шелонской пятины. Если он один из всей коллегии был послан на собор, надобно думать, что он получил свои представительные полномочия по выбору всего дворянского общества пятины. Значит, он совмещал в себе двоякое значение: был выборным присяжным представителем шелонского дворянства на месте и по выбору же представлял это дворянство на соборе⁴⁹. Таким образом, обнаруживается, что названные члены собора представляли собою местные дворянские общества и сами, по всей вероятности, входили в их состав, не принадлежа к столичному дворянству. Они представляли эти общества как военно-служилые корпорации и по крайней мере некоторые были их выборными представителями на соборе, хотя и без того стояли во главе этих обществ как выборные и ответственные пред правительством показатели их военно-служебной годности.

Присутствие представителей местных дворянских обществ из их же среды есть новая черта в составе собора 1598 г., незаметная в составе собора 1566 г., на котором провинциальное дворянство было представлено только столичными дворянами. Этого нового областного элемента совсем не находим и теперь в представительстве городского торгово-промышленного класса, как не нашли мы его и на прежнем соборе. Зато теперь именно в составе представительства этого класса особенно явственно обнаружился основной принцип земских соборов XVI в. — представительство по должностному правительственному положению, а не по общественному выбору. На собор 1566 г. были призваны, кроме 12 гостей, еще 63 представителя столичного купечества, обозначенные в соборном акте неясными званиями торговых людей *москвичей* и *смольнян*. Не видно, были ли призваны на собор лица этих званий пого-

ловно, кого можно было призвать, или с известным разбором, основанным на каких-либо признаках. В соборном списке 1598 г. очень резко выступает правило, которым руководились при решении вопроса, кого призвать представителями столичного торгово-промышленного класса: призваны были на собор 21 человек гостей, старосты двух высших купеческих *сотен* или гильдий, *гостиной* и *суконной*, и сотские 13 черных сотен и их частей, полусотен и четвертей сотен, которые можно назвать промысловыми цехами древней Руси. Гости, очевидно, были призваны на собор поголовно по своему званию, сколько можно было их тогда призвать: их и в XVII в. бывало немного, обыкновенно десятка два-три; все они были казенно-служилые люди, главные комиссионеры казны, и не составляли особой ответственной корпорации, связанной круговою поручкой членов друг за друга. Такими корпорациями были сотни, на которые делилось остальное торгово-промышленное население столицы, и его представителями были призваны или посланы на собор люди, и вне собора стоявшие во главе этих корпораций, выборные старосты и сотские. Как ответственные головы своих обществ, они занимали должности по выбору сотен; как их выборные представители, они призывались или посылались на собор по своим должностям.

Изложенные наблюдения, кажется, дают возможность несколько уяснить себе состав избирательного собора 1598 г. Этот собор по составу не вполне был похож на прежний, собиравшийся в 1566 г.: к составным элементам, присутствовавшим на этом последнем, теперь прибавились некоторые новые. На избирательный собор, как и на прежний, явились два высшие правительственные учреждения, церковное и государственное, Освященный собор и Боярская дума. Многие члены думы с некоторыми стольниками и дворянами московскими и с 30 дьяками представляли еще на соборе центральные судебно-административные учреждения, приказы, во главе которых они стояли. Многие стольники и люди других столичных чинов были призваны на собор как органы областного управления, городские воеводы. Все это были представители управления, правительственных учреждений, не общества. Из общественных классов всего сильнее представлено

было служилое сословие, если можно назвать сословием совокупность многочисленных чинов столичных и провинциальных, на которые распался к концу XVI в. служилый класс. Трудно сказать, в какой мере это преобладание усложнялось степенью корпоративной организованности столичного и провинциального дворянства сравнительно с другими классами. Представительство этого класса по источнику представительных полномочий было двойное, должностное и выборное. Многие лица столичного дворянства были призваны на собор как военные командиры, головы уездных дворянских отрядов, находившихся тогда на положении мобилизованных. С таким же значением явились на собор 7 голов стрелецких, вероятно, командовавших стрелецкими полками, расположенными в столице⁵⁰. Наиболее выдающимся новым элементом в составе собора 1598 г. надобно признать присутствие на нем *выборных* представителей уездных дворянских обществ, и притом из их же среды. На соборе 1566 г. уездное дворянство было представлено только столичными дворянами, хотя и вышедшими из его среды; притом ни из чего не видно, получили ли они свои представительные полномочия по выбору дворян своих уездов или прямо были призваны на собор по должности их военных предводителей. На соборе 1598 г. несомненно выборных представителей провинциального дворянства было 40 человек; из них десятеро принадлежали к столичному дворянству, остальные не носили столичных чинов, но те и другие входили по службе и землевладению в состав уездных дворянских обществ, которые они представляли на соборе. Некоторые из них по своей состоятельности, местному влиянию и служебной исправности могли также получать команду над дворянскими сотнями своих уездов или принадлежали к коллегиям выборных окладчиков и этому были обязаны своим избранием в соборные представители. Во всяком случае присутствие выборных представителей впервые становится заметно на последнем земском соборе XVI в. и первым классом, которому досталось такое представительство, было провинциальное дворянство. По крайней мере нет оснований считать выборными бывших на этом соборе представителей столичного купечества: гости были призваны на собор все по своему званию,

а старосты и сотские московских сотен по должности. Не вполне ясно положение на соборе столичного дворянства, составлявшего самый многочисленный элемент в его составе: его было на соборе 248 человек, что составляет почти половину всего числа членов собора. Столичные дворяне явились на этот собор с довольно разнообразным значением: одни представляли столичные правительственные учреждения, приказы как их начальники, другие — областное управление как городовые воеводы, третьи — уездное дворянство как голы его уездных сотен или как его выборные депутаты; наконец, некоторые отмечены в сборном списке как начальные люди в отряде жильцов. Но представляло ли столичное дворянство само себя, были ли на соборе в числе стольников, стряпчих, дворян московских и жильцов выборные представители своих чиновных корпораций? Не находим никаких указаний, которые бы отвечали на этот вопрос, и на него, кажется, следует дать отрицательный ответ. Таких представителей столичного дворянства не находим даже на соборе 1613 г., на котором выборное представительство является в таком широком развитии; восьми-девяти десятков подписавшихся на грамоте этого собора стольников, стряпчих и дворян московских слишком много, чтобы их можно было признать за выборных депутатов чиновных корпораций столичного дворянства. Распавшись на чины, это дворянство еще не успело вполне обособиться от провинциального, которым оно пополнялось, и не утратило своего прежнего значения его представителя, какое оно имело на соборе 1566 г. С другой стороны, как генеральный штаб, оно исполняло самые разнообразные военно-административные поручения, которые разбрасывали его по разным городам и углам государства, так что его трудно было и собрать в достаточно полном числе для выбора соборных представителей.

Одна русская повесть, близкая по времени составления к собору 1598 г., написанная каких-нибудь 8 лет спустя после него и чрезвычайно враждебная царю Борису, описывает хитросплетенную агитацию, какую устроили «злосоветники и рачители» Годунова, чтобы подготовить и обеспечить его избрание на престол. Повинуясь указаниям своего главы, они по всем сотням

и слободам столицы и по всем городам внушали народу, чтобы «на государство всем миром просили Бориса». Подбитый агитаторами, народ волей-неволей молил его «пред бояры и властями и вельможи и пред царскими синклиты» принять скипетр. Но лукавый проныра не тотчас поддался на народные мольбы и много раз отказывался, «достойных на се избирати повелевая». Но достойные того большие бояре, «от корени скипетродержавных и сродники» царю Феодору, «на се не изволиша поступити и между себя избрати, но даша на волю народу»⁵¹. Этот тенденциозный рассказ дает понять, что агитация, затеянная клеветами Годунова, ведена была прямо в народной массе мимо собора и не коснулась его состава, не имела целью подбора его членов, подтасовки голосов. Но она заставила собор выпустить из своих рук решение вопроса и отдать его на волю народа, поднятого агентами Годунова. Подстроен был ход дела, а не состав собора. План сторонников Годунова состоял не в том, чтобы обеспечить его избрание на царство подтасованным составом собора, а в том, чтобы вынудить правильно составленный собор уступить народному движению. Годунов, по-видимому, придавал одинаково законное и важное значение и голосу возбужденной народной толпы, и приговору земского собора: если он сам настаивал на созыве земского избирательного собора, то в официальных актах его царствования с ударением повторялось напоминание, что он принял скипетр «по прошению всего московскаго и российскаго *народства*». В составе избирательного собора нельзя подметить никакого следа выборной агитации или какой-либо подтасовки членов. В этом отношении собор и в 1598 г. сохранил ту же физиономию, какую он имел в 1566 г. И теперь, как тогда, на соборе сошлись разностепенные носители власти, органы управления, а не уполномоченные общества; это было представительство по служебному положению, а не по общественному доверию. Но это было по понятиям того времени все-таки представительное собрание, хотя в своем роде, не в современном смысле. За собором предполагалось нечто, что только в этом собрании находило себе выражение. На это предполагаемое нечто указывает частью эпитет *вселенский*, как иногда назывался земский собор в официальных московских актах.

Вселенский церковный собор по своей идее — собрание пастырей и учителей всех поместных церквей. Прилагая этот термин к московскому земскому собору, хотели тем выразить представление о собрании руководителей всех частей государственного управления, представителей всех ведомств, действовавших вне собора раздельно, в кругу своих особых задач. Значит, в земском соборе видели, как бы сказать, представительство государственной организации, соединение того, из чего складывался и чем поддерживался государственный порядок. То живое содержание, которое жило и работало в рамках этой организации, — управляемое общество — рассматривалось не как политическая сила, способная говорить на соборе устами своих уполномоченных, не как гражданство, а как паства, о благе которой должны были сообща подумать ее настоятели. Собор был органом ее интересов, но не ее воли, которая за ним не признавалась; члены собора представляли собою общество, насколько управляли им. Такой общей физиономии соборного представительства не изменяло присутствие на соборе 1598 г. выборных депутатов провинциального дворянства, если только можно признать доказанной нашу мысль, что члены собора, названные в соборном списке *выбором из городов*, были выборные депутаты провинциального дворянства, а не провинциальные дворяне *выборного* чина, прямо призванные на собор по должностному положению, какое они занимали в минуту призыва. Таких депутатов выбирали уездные дворянские корпорации, в данную минуту почему-либо не имевшие у себя во главе предводителей, которых можно было бы призвать на собор, и выбирали либо из столичных дворян, своих земляков, либо из окладчиков, либо, наконец, из своих дворян выборного чина, т. е. из таких лиц, из среды которых и правительство назначало походных предводителей уездного дворянства. Притом, оба источника представительных полномочий — и общественный выбор, и правительственный призыв по должности — тогда не противопоставлялись один другому как враждебные начала; напротив, один служил вспомогательным средством для другого: призывая на собор по должностному положению, правительство не обходило и выборных должностей. Так, соборными представителями столичных торгово-

промышленных сотен видим их выборных старост и сотских.

Итак, состав представительства на соборе 1598 г. сложнее, дробнее сравнительно с собором 1566 г. В этом отношении последний собор XVI в. отразил в себе перемены, происшедшие в организации общества при царе Иоанне и еще не успевшие обнаружиться в составе второго земского собора, им созванного. Но значение представителя и основания представительства остались прежние, и некоторые из этих оснований на соборе 1598 г. выступили даже явственнее, чем выступали на соборе 1566 г. Это дает возможность при разборе вопроса о происхождении земских соборов рассматривать оба собора XVI в., состав которых известен, как однородные явления, вызванные одинаковыми условиями.

III. Происхождение земских соборов

Состав представительства на соборах 1566 и 1598 гг. помогает разглядеть и те условия, которым земские соборы обязаны своим происхождением. Превосходный ответ на вопрос об этих условиях находим в одном из сочинений г. Чичерина⁵². Попытаемся в немногих строках изложить основные мысли, общий план этого ответа, развиваемого автором с последовательностью и ясностью, которые трудно воспроизвести.

При кочевой жизни населения в древней Руси долго не могли установиться крепкие общественные союзы, долго не могли завязаться корпоративные связи, которые сомкнули бы людей одинакового общественного положения в плотные классы, в сословия с крепкими сословными правами. При отсутствии таких классов не могло возникнуть из жизни и сословное представительство, требующее связности и дружной деятельности сословий. Дело соединения разрозненных общественных сил должна была взять на себя государственная власть, смыкая разобщенные общественные элементы в корпорации, в сословные и местные союзы не правами, а обязанностями, строя весь государственный быт на начале повинности, на государственном тягле. В этом деле власть не могла обойтись без содействия самого общества, не имея достаточно своих

средств, не располагая ни достоверными сведениями о положении народа, ни надежными исполнителями своих мероприятий. Для этого она соединяет население в прочные союзы и посредством выборного начала призывает их к участию в государственных делах, сперва в местной администрации и суде, а потом и в высшем центральном управлении в форме земских соборов. Таким образом, земское представительство возникло у нас из потребностей государства, а не из усилий общества, явилось по призыву правительства, а не выработалось из жизни народа, наложено было на государственный порядок действием сверху, механически, а не выросло органически, как плод внутреннего развития общества.

Изложенный взгляд на происхождение земских соборов — схема, метко схваченная со всего хода древнерусской жизни. Воспроизводя этот ход, автор привел в связь с ним появление земских соборов, отметил исторический момент, когда они появились, и обозначил общие условия, их вызвавшие. Эта схема останется прочным научным достоянием нашей исторической литературы. Как всякая схема, воспроизводящая закономерный, геометрически правильный план жизни, изложенный взгляд нуждается в реализации: задача специального изучения указать конкретные явления, с видимо хаотического потока которых снят этот стройный план, обозначить те частные интересы, борьбой или взаимодействием которых созданы были общие условия, вызвавшие к жизни земские соборы.

Земские соборы, по крайней мере обыкновенные, не избирательные, являвшиеся в исключительных случаях, созывались не по требованию общества, а по нуждам правительства, которое через них надеялось получить от общества недостававшие ему средства для устройства государства и помимо их не имело других способов найти эти средства. Разумеется, оно созывало соборы в таком составе, какой находило наиболее соответствующим цели их созыва. Нуждами, заставлявшими правительство обращаться к помощи земских соборов, в значительной степени, если не преимущественно, указываем был и их состав. Таким образом, вопрос о происхождении земских соборов сводится к вопросу о том, что могли они дать правительству, чем

могли помочь ему в том составе, в каком они созывались в XVI в. При недостатке прямых указаний в уцелевшей от того века письменности на происхождение земских соборов состав их остается единственным надежным, хотя и косвенным, указателем причин, вызвавших к жизни это учреждение, указателем государственных нужд, заставлявших правительство созывать их, и услуг, каких ожидало от них правительство. Рассматривая состав земских соборов с этой стороны, прежде всего предстоит выяснить, воспользовалось ли правительство при созыве первых соборов каким-либо готовым образцом или ему пришлось при этом создавать учреждение, какого на Руси еще не бывало. Если существовал такой образец, он должен был, сколько то было возможно, навязать свой склад земским соборам XVI в., и в таком случае состав последних мог отражать в себе насущные нужды и наличные цели московского правительства того времени лишь в такой мере, в какой способно было отражать их учреждение, рассчитанное на нужды и цели другого времени и другого порядка.

Еще в 1857 г. покойный Соловьев, полемизируя с К. Аксаковым, убедительно доказал в статье *Шлецер и антиисторическое направление*, что земские соборы в Московском государстве не имели никакой исторической связи с древними областными вечами, от которых они отделены веками⁵³. Объясняя происхождение земских соборов, скорее можно припомнить обычай наших древних князей советоваться с своею дружиной, со всей или только со старшей, с боярами, что бывало чаще. Этот более частый обычай потом, в московский период, превратился в особое правительственное учреждение, в Боярскую думу. Нашел ли и более редкий обычай совещаться со всею дружиной соответствующее выражение в системе московских государственных учреждений? Когда немногочисленная дружина древнего князя разрослась в многотысячный класс слуг московского государя, совещаться с этим классом стало возможно только при посредстве его представителей. В составе земских соборов XVI в. можно, пожалуй, даже найти некоторую поддержку этой мысли об их связи с древними дружинными советами: мы видели, что подавляющее большинство на этих соборах принадлежало служилому

классу. Трудно сказать, помнил ли царь Иоанн этот обычай своих давних предков и участвовало ли это историческое воспоминание в созыве и в определении состава обоих земских соборов его царствования. Как бы то ни было, в состав земских соборов XVI в. входил элемент, которого не было ни в дружинных советах древних князей, ни в Боярской думе московских государей. Как древний дружинник, так и думный московский человек XVI в. никого не представлял в своем лице, имел значение в глазах своего государя сам по себе, по своим личным качествам или генеалогическому происхождению, а не по своей связи с каким-либо классом или местным обществом. В составе земского собора далеко не все члены имели такое непосредственное политическое значение. Весь состав собора по положению его членов в управлении можно разделить на два разряда, на две неравные половины. К одной половине принадлежали члены Боярской думы, начальники и дьяки московских приказов: это все были руководители центрального управления. Другую половину составляли все те служилые люди, которые призывались на собор по их должностному положению: городских воевод, командиров местных дворянских отрядов и стрелецких полков, или как выборные депутаты уездного дворянства, также гости и старосты московских торгово-промышленных сотен: это были органы местного управления или представители отдельных местных обществ, те органы и представители тех обществ, которым приходилось исполнять распоряжения центральных властей. Первая половина представляла в управлении элемент распорядительный, вторая — исполнительный. Эта исполнительная половина собора и имела представительное значение, какого не видим ни в дружинах древних князей, ни в Боярской думе московских государей.

В эту классификацию членов земского собора не вводим очень видного элемента в его составе, Освященного собора, который имел свое устройство и особое отношение к государственному управлению. Впрочем, и в его составе можно различить те же два разряда членов: распорядительный, состоявший из иерархов с епископским саном, и исполнительный, к которому принадлежали лица, носившие иерейский сан. Этим сходством возбуждается вопрос, не имел ли влияния

как пример и образец на зарождение мысли о земском соборе и на самую его организацию совет иерархов, являвшийся во главе русского церковного управления с тех пор, как оно устроилось, и занимавший первенствующее положение на земском соборе, так как члены его писались и подписывались выше других на соборном акте? Это влияние более чем вероятно, только трудно определить его степень и указать его следы. Первый земский собор был созван в то время, когда церковная иерархия в лице митрополита Макария и священника Сильвестра стояла особенно близко к престолу и ее советы с особенным вниманием выслушивались молодым царем. Освященный собор в 1550 г. в составе земского собора и в 1551 г. отдельно от него призываем был царем к прямому и деятельному участию в предпринятых правительством работах по законодательству и устройству местного управления. В самом устройстве земского собора XVI в. была, кроме указанной, еще одна черта сходства с Освященным: в состав того и другого входили лица *по положению* в местном управлении, церковном или государственном, каковыми были обычные непрременные члены церковного собора, епархиальные архиереи, к которым иногда присоединялись архимандриты и игумены со старцами монастырских соборов, т. е. управители монастырей. Из церковного языка заимствован эпитет *все-ленский*, который иногда прилагался к земскому собору. Наконец, самое название *собора*, усвоенное нашему собранию государственных и земских чинов, имело в древней Руси значение специального термина церковного управления и усвоилось повремено действовавшим коллегиальным учреждением церковного происхождения или с участием духовенства⁵⁴. Все это указывает на некоторую генетическую связь земского собора с Освященным, нити которой живо чувствовались в древней Руси, но уже трудно уловимы для нас. Во всяком случае Освященный собор как авторитетный образец мог содействовать осуществлению практической разработки мысли, решать важнейшие государственные вопросы с помощью подобного ему по составу земского собрания, как скоро родилась такая мысль; но она родилась из государственных потребностей, возникших в XVI в. и только тогда заставивших обратить

внимание на Освященный собор как на образец, могущий помочь при изыскании средств их удовлетворения. Московское правительство в ту эпоху вообще стремилось установить соответствие и взаимодействие между церковным и государственным управлением, устроая то и другое по одному плану и приучая их помогать друг другу в общих делах, насколько допускалось это различием основ и задач того и другого. Особенно явно обнаружилось это стремление в начертанном Стоглавым собором плане епархиального управления с его поповскими старостами и другими выборными органами из среды духовенства, которые поставлены были рядом с земскими старостами и целовальниками и в некоторых случаях действовали совместно с ними. Но этот самый план показывает, что тогдашние преобразователи стремились не столько приноровить государственное управление к церковному, сколько ввести в то и другое новые силы.

Эти силы надеялись вызвать к действию привлечением местных обществ к участию в управлении. На земских соборах XVI в. эти силы являлись в лице тех органов местного управления и депутатов местных обществ, которые составляли вторую исполнительную половину собора и которым можно придавать представительное значение. Органы местного управления, призывавшиеся на собор правительством, и депутаты, которых посылали туда по выбору местные общества, конечно, черпали свои представительные полномочия из различных источников: для одних этим источником служила правительственная должность, т. е. доверие правительства, для других — общественный выбор, т. е. доверие общества. Но в то время между этими источниками не было такого антагонизма, какой существует теперь. Во второй половине XVI в. правительство старалось подбирать на должности по местному управлению людей, которые и независимо от своей правительственной должности имели связь с управляемым обществом. Подбор офицеров для уездных дворянских отрядов из лучших дворян тех же уездов был обычным явлением, если не был правилом; нередко воеводой города назначался дворянин, принадлежавший к дворянскому обществу того же города или имевший землю в его уезде. Такой правитель получал двустороннее

значение органа — правительственного и общественного: правительство доверяло ему управление как влиятельному члену управляемого общества, а общество тем охотнее слушалось своего земляка, что он пользовался доверием правительства. Но если даже не существовало корпоративной связи у городского воеводы с дворянством управляемого им уезда, между ними устанавливалась связь служебная: в случае похода городской воевода становился главным предводителем уездного дворянства. Таким образом, представительное значение на соборе и должностных и выборных представителей местных обществ слагалось из двух элементов: из должностной ответственности перед правительством за управляемое общество и из корпоративной солидарности с последним. В одних соборных представителях, например в городских воеводах, не имевших корпоративной связи с дворянством управляемых ими городов, эти элементы разделялись, в других, например в предводителях уездного дворянства из его же среды, совмещались. Связь призыва на собор с положением призываемого в местном управлении и обществе особенно явственно обозначилась появлением на соборе 1598 г. старост и сотских московских торгово-промышленных сотен: они были *призывные*, а не выборные представители на соборе; их призвали на собор по должности как правителей их обществ, но они явились на собор настоящими представителями своих обществ, потому что получили должность по их выбору. Совмещение тех же двух значений можно заметить и в выборных депутатах этого собора. Местные дворянские общества выбирали их из столичных дворян, знакомых им по походной команде или землевладельческому соседству, из коллегий своих присяжных окладчиков, наконец, из высшего слоя своего состава, из разряда, называвшегося *выбором*: все это были классы, или разряды лиц, из которых и самим правительством назначались органы местного управления, военного и гражданского. При таком отношении обеих сторон, правительства и общества, не могло возникнуть и вопроса о сравнительном значении столь разнородных источников представительных полномочий, как правительственный призыв по должности и общественный выбор по доверию; вопрос, с которой стороны представителю

получить свои полномочия, разрешался соображениями административного удобства, а не требованиями политического принципа, как скоро обе стороны и для назначения и для выбора представителей пользовались одним и тем же социальным материалом.

В условиях, установивших такое отношение между правительственным назначением и общественным выбором, и надобно искать зарождение мысли о соборном представительстве. Чтобы призывать на собор в качестве представителей местных обществ их управителей и предводителей, назначенных правительством, надо было и назначать таких управителей и предводителей, которые могли быть и выборными представителями местных обществ, т. е. при должностных отношениях к последним имели и корпоративную связь с ними. Трудно сказать, в какой степени выдерживалась эта связь в той половине состава земских соборов XVI в., которую мы назвали исполнительной; по крайней мере она явственно выступает, как мы видели, в некоторых группах, принадлежавших к этой половине соборного состава. Эта связь еще настойчивее проводилась в местном управлении: с половины XVI в. оно перестраивалось по правилу, чтобы во главе местных земских миров становились люди из их среды на место прежних управителей, которые на короткие сроки «наезжали» на свои округа со стороны, обыкновенно не имея никакой постоянной связи с ними. Таким образом, обнаруживается некоторое родство соборного представительства с реформой местного управления в XVI в. Это родство состояло в том, что в происхождении и соборного представительства, и нового устройства местного управления участвовала одна политическая идея, практическая разработка которой принадлежит к числу любопытнейших процессов в устройении Московского государства: это была мысль об устройстве ответственности местного управления.

Чтобы объяснить происхождение этой мысли, надобно припомнить некоторые черты того управления, которое господствовало в удельные века, продолжало действовать с некоторыми изменениями в эпоху московского объединения Великороссии и только в царствование Грозного подверглось коренному преобразованию. Особенности этого управления, наиболее уча-

ствовавшие в возникновении означенной мысли, связаны были с древнерусскою системой кормлений. *Кормлением* называлось управление, функции которого соединены были с доходами в пользу управителя. Эти доходы состояли или из *кормов* в собственном смысле, особых урочных сборов в пользу кормленщика, или из *пошлин* свадебных, торговых, судебных, писчих — за составление письменных документов, или из доли общих казенных налогов и пошлин, которая в дворцовом ведомстве называлась *путем*. Родом и разнообразными сочетаниями этих доходов различались кормления высшие и низшие. В руках крупных кормленщиков, бояр путных, наместников и волостелей, соединялись разнообразные административные и судебные дела и связанные с ними доходы, тогда как мелкий кормленщик ведал одно какое-либо дело, одну доходную статью; иной получал какой-нибудь незначительный налог в известном округе или часть этого налога с условием самому собирать его, в чем и состояла его административная функция. Значит, в кормлении правительственные функции и охраняемые ими интересы общественного порядка отдавались в частное пользование из-за соединенных с ними доходов или, что то же, отдавались в такое пользование казенные доходы с теми правительственными функциями, посредством которых они получались. Таким непосредственным соединением правительственного дела с вознаграждением за него надеялись, вероятно, всего легче согласить и уравновесить интересы управителей и управляемых. Но по самой конструкции такого управления сторона кормленщиков должна была получить перевес: такая связь правительственного дела с кормом вела к тому, что не корм служил средством и поощрением к лучшему исполнению правительственного дела, а это дело становилось только средством или поводом к получению корма. Кормления давались служилым людям, но сами не считались службой. Служба, именно военная, была обязанностью, а кормление правом, приобретающимся службой, за которую жаловали кормлением. Потому служилый человек мог отказаться от назначенного ему кормления, мог съехать с него, когда хотел, не испрашивая отставки. Как право, не уравновешенное обязанностями и ответственностью, кормление поощряло управителя к произволу. Издавна приняты

были меры с целью предупредить этот произвол и урегулировать аппетит кормленщиков. Кормленщику при назначении на должность давали *доходный*, или *наказный*, список с точною таксою дозволенных ему поборов; подробно указан был порядок сбора кормов; при съезде управителя с кормления производился скрупулезный бухгалтерский учет корма, следующего ему «по исправе», т. е. по времени управления и по количеству действительно исполненной им правительственной работы⁵⁵. Трудно сказать, с какого времени установился для поддержания этих мер и способ контроля кормлений, состоявший в праве управляемых жаловаться высшему правительству на незаконные действия управителей. Это право подтверждалось в уставных грамотах с конца XV в., и из него ко времени первого земского собора развился своеобразный порядок должностной ответственности кормленщиков. Почин в деле контроля местного управления предоставлен был самому местному населению. По окончании кормления обыватели могли обычным гражданским порядком жаловаться центральному правительству на действия кормленщика, которые находили неправильными. Обвиняемый правитель в этой тяжбе являлся простым гражданским ответчиком, обязанным вознаградить своих бывших подвластных за причиненные им неправды и обиды, если истцы умели надлежащими средствами тогдашнего гражданского процесса оправдать свои претензии, а правительство становилось между обеими сторонами беспристрастным и как бы даже равнодушным третейским судьей, только потому принужденным решать такие сторонние для него споры, что к нему обращались с ними. Таким образом, частный интерес становился блюстителем правительственного порядка и преследование административных злоупотреблений заменялось исками обиженных о возмещении убытков, причиненных местному обществу или отдельным его членам неправильными действиями органов управления. Конечно, это была для кормленщиков своего рода ответственность, и так как кормленщик отвечал не перед властью, а перед гражданскими истцами только в присутствии власти, то такую ответственность можно назвать *гражданской*. Может быть, она и устраняла какие-нибудь неудобства, которые могли произойти от

несдерживаемого ничем произвола управителей, но в свою очередь рождала множество новых затруднений, которые очень ярко изображены в памятниках XVI в. Установившийся способ защиты управляемых обществ от произвола управителей послужил источником бесконечного сутяжничества. Съезд с должности кормленщика, не умевшего ладить с управляемыми, был сигналом ко вчинению запутанных исков о переборах и других обидах. Изображая положение дел перед реформой местного управления, летописец в своем изложении закона 1555 г. о кормлениях и о службе говорит, что наместники и волостели своими злокозненными делами опустошили много городов и волостей, были для них не пастырями и учителями, но гонителями и разорителями, что с своей стороны и «мужичье» тех городов и волостей натворило кормленщикам много коварств и даже убийств их людям: как съедет кормленщик с кормления, мужики ищут на нем многими исками, и при этом происходит много «кровопролития и осквернения душам», так что многие наместники и волостели лишились и старого своего стяжания, движимого и недвижимого, «животов и вотчин»⁵⁶. Значит, эти тяжбы «мужиков», как называет летописец тяглых земских людей, сопровождались тяжкими имущественными потерями для тех кормленщиков, которые их проигрывали. Слова летописца о кровопролитии и «осквернении душам» указывают на то, что в этих тяжбах приводились в действие самые сильные средства тогдашнего гражданского процесса, крестоцелование и даже судебный поединок. Литвин Михалон, знакомый с современными ему московскими порядками половины XVI в., прямо подтверждает этот намек московской летописи, с сочувствием рассказывая, что управители в Московском государстве могут быть привлечены управляемыми к суду и, осужденные за взятки, принуждены бывают драться на дуэли с обиженными, хотя бы последние принадлежали к низшему сословию, или ставить на поединок вместо себя других, т. е. своих людей, о которых говорит наша летопись; в случае поражения на поединке обвиняемый управитель платил пеню⁵⁷.

Таким образом, установившийся в Московском государстве порядок административной ответственности

поверг местное управление в состояние судебной борьбы управителей с управляемыми, запутывавшейся все более вследствие краткосрочности кормлений и частых смен кормленщиков. Как бы ни был беспристрастен и строг суд по таким делам и какими тяжкими последствиями ни грозил бы он недобросовестному кормленщику, добрые плоды так устроенной ответственности по управлению покупались на счет общественной дисциплины и порядка; умалчивая о другом, достаточно припомнить судебные драки на площади, которыми разрешались административные споры между бывшими управителями и управляемыми, чтобы представить себе, как эти соблазнительные зрелища должны были спутывать понятия о значении власти и о ее отношении к обществу. Потребность вывести местное управление из такого состояния привела к мысли о новом порядке ответственности его органов, который проводился бы в движение непосредственно высшею властью во имя общего, а не частного интереса. Политические понятия, которые могли служить материалом для устройства такого порядка, были уже готовы к половине XVI в. События, так глубоко изменившие положение московского государя с половины XV в., приподняли и его политическое сознание. По мере того как он становился единственным хозяином Великороссии и уяснял себе свое национальное значение, его *государево дело*, т. е. государственный интерес, также становилось выше всех частных интересов. Складывалось требование, чтобы все общество поддерживало это дело всеми своими наличными силами. Трудно уловимым для нас процессом политических умозаключений и практических соображений установилось такое распределение государственного дела между правительством и обществом: первое с своими непосредственными органами взяло в свои руки всю организацию внешней народной обороны и распорядительную часть по устройству внутреннего порядка; вся подготовительная и исполнительная часть управления должна была лечь на общество, которое, таким образом, становилось не только производителем, но и поставщиком средств, необходимых правительству для устройства внешней обороны. Так как прежние правительственные органы местного управления, кормленщики, признаны были

неудовлетворительными, а других *своих* органов не было в распоряжении правительства, то все местные дела и некоторые общегосударственные, преимущественно дела финансовые исполнительного характера, переданы были земству. Но, оставаясь в местном управлении без рук, без собственных орудий, правительство тем более хотело, чтобы местные земские органы постоянно чувствовали на себе его глаз. И государственная важность дел, входивших в состав местного управления, и земское происхождение его новых органов требовали строгой отчетности, надежного обеспечения исправности и добросовестности их действий. Между тем прежние средства этого обеспечения не могли действовать при новом порядке местного управления по самому его устройству. В кормлениях такими средствами служили собственная выгода кормленщиков и потом их страх перед управляемыми: так как правительственные дела соединены были с доходом для управителя, то за небрежность и упущения он наказывал сам себя потерей дохода, а за недобросовестность и притеснения его могли наказать потерпевшие иском и судебным взысканием. Земское управление налагалось на общество как повинность и не могло быть соединено с кормом. С другой стороны, неудобно было ограничивать контроль местного управления правом обиженных искать на обидчиках-управителях, выбранных миром и в выборе которых они сами участвовали, и это было тем неудобнее, что в делах общегосударственных, составлявших главное содержание земского управления, истцом прежде всего могла быть сама казна. Потому прежний порядок ответственности местных управителей не мог быть применен к новому управлению и должен был уступить место другому порядку. Но именно казенный интерес, получивший господствующее значение в ведомстве земских управителей, заставил воспользоваться для его обеспечения старинным институтом, которым прежде обеспечивалась исправность податных сборов, — круговую порукой земских обществ. Теперь этот институт был распространен на все функции земского управления и на самый состав его, потому что земство должно было взять на себя и поставку органов этого управления и отвечать за нее. Так, когда приступили к реформе

местного управления, сами собою выяснились элементы нового порядка ответственности его органов — элементы, послужившие основаниями и самой реформы: 1) управление как охрана общественного блага не может быть орудием частного интереса; 2) дела, входящие в состав местного управления, должны вести правительственные органы из среды местных же обществ; 3) ответственность за это управление должна падать не на одни его органы, но и на управляемые ими общества. Из этих понятий, вошедших в запас важнейших политических идей века и выработанных им с большим трудом под гнетом насущных нужд государства, сложился взгляд на ответственность по управлению, существенно отличавшийся от прежнего: неуправляемые миры или их члены ищут на органах управления перед правительством за нарушение своих интересов, а правительство взыскивает не только с органов управления, но и с самих управляемых миров за действия мирских управителей, противные интересам общего блага. Такую ответственность в отличие от прежней гражданской можно назвать *политической*. Необходимыми средствами для установления такой ответственности были мирской выбор органов местного управления и мирская порука за выборных управителей.

Ход самой реформы местного управления достаточно известен; но не будет излишним напомнить некоторые его моменты, которые особенно ясно показывают, с какою осторожною, истинно московскою постепенностью складывалась и проводилась в преобразуемых учреждениях новая мысль о политической ответственности по управлению. Для этого правительство хотело воспользоваться наличными зачатками земского самоуправления. Издавна в местном управлении удельных княжеств рядом с непосредственными проводниками княжеской власти, кормленщиками, существовал другой ряд учреждений, представлявших собою местные земские миры и служивших вспомогательными орудиями управления при его княжеских руководителях: то были выборные старосты, сотские, дворские и другие земские власти, ведомство которых простиралось только на тяглое население, их выбиравшее, городское и сельское, и состояло преимущественно из хозяйственных дел земских обществ. По мере успехов

политического объединения Великороссии московское правительство стало обращать все более заботливое внимание на эти земские учреждения, дотоле скромно и малозаметно действовавшие под властною и своекорыстною рукой княжеских кормленщиков. С конца XV в. эти учреждения заметно поднимаются: их авторитет растет, компетенция расширяется. Между прочим, по уставным грамотам конца XV в. старосты и «лучшие люди» являются на суде наместников и волостелей как обязательные ассистенты — наблюдатели, следившие за правильностью их судопроизводства. Присутствие таких ассистентов на суде кормленщиков, вероятно, издавна допускавшееся в силу народного обычая, кс времени первого Судебника было установлено законом. Земские миры в то время пользовались уже правом выступить *истцами* перед центральным правительством против кормленщиков, бывших своих управителей, если считали себя обиженными с их стороны; теперь в лице своих судебных заседателей они получали на суде кормленщиков значение правительственных *свидетелей*, которые в случае нужды при проверке дела могли бы дать центральному правительству показания о том, как производился суд. Это был первый шаг в подъеме земства; второй состоял в том, что лучшие люди, простые свидетели дела, случайные понятые, ко времени второго Судебника превратились в *целовальников*, постоянных присяжных заседателей с более деятельным участием в отправлении правосудия, с правом блюсти судебный порядок и справедливые интересы сторон в качестве носителей мирской совести. Таким образом, земство в местном управлении и суде последовательно становилось в различные положения, из которых в каждом дальнейшем все яснее выступала из-за права обязанности: сначала частные истцы против обид кормленщиков, потом обязательные правительственные свидетели — наблюдатели их суда, земские миры теперь в лице своих старост и целовальников стали стражами правды на этом суде с нравственную ответственностью. Этим постепенным усилением элемента обязанности в судебном представительстве земства обозначился рост потребности в устройстве местного управления с строгою государственною ответственностью. Оставалось сделать последний шаг — пере-

дать земским мирам самый суд и все местное управление не только с нравственною, но и с формальною ответственностью перед правительством, и тогда на месте служилых кормленщиков с гражданской ответственностью по искам управляемых миров стали бы мирские органы правительства с политической ответственностью самих миров перед правительством по его взысканию.

Около половины XVI в. этот последний шаг стал необходим, но его необходимость условливалась такими нуждами, которые вместе с тем затрудняли его исполнение. Совокупность этих нужд составила вопрос о военной реформе, который разрешался в одно время с реформой местного управления и так запутанно с ней переплетался, что их трудно разделить. До половины XVI в. военно-служилый класс в Московском государстве имел двойственное значение, сложившееся еще в удельное время: он составлял главную боевую силу государства и вместе служил органом управления. В каждом значительном княжестве удельного времени управление, состоявшее из сложной сети мелких и крупных кормлений, давало занятие и доход массе ратных людей. С расширением Московского государства все сильнее стало чувствоваться неудобство такого совмещения двух различных назначений в служилом человеке. Напряжение народной самообороны росло по мере расширения государственной территории и с начала XVI в. чуть не ежегодно поднимались значительные силы на ту или другую границу государства, даже когда не бывало объявленной войны. Мобилизация должна была встречать крайнее затруднение в том, что множество ратных людей было рассеяно по «кормлениям и доводам», по доходным местам в областном управлении, а порядок управления страдал от того, что его органы должны были покидать правительственные дела для похода. Так обе ветви управления мешали одна другой, потому что одни и те же люди действовали в обеих: будучи военными людьми, они становились неисправными управителями, а становясь управителями, переставали быть исправными военными людьми. Затруднение увеличивалось еще тем, что новые потребности общественного порядка, возникавшие в объединенном государстве, все более усложняли задачи управления, требуя от управителей все большей внимательности к интересам государ-

ства и нуждам населения, большей добросовестности и отчетности в делах, а служилые люди искони привыкли и продолжали смотреть на правительственные должности исключительно как на свои кормления, настоящее назначение которых — пополнять исхудалые служилые животы для дальнейшей службы. Отсюда и развились, с одной стороны, те разнообразные злоупотребления управителей, а с другой — то страшное недовольство управляемых, о которых говорят памятники XVI в. Это была превосходная мысль московского правительства Иоанна IV воспользоваться земскими учреждениями одновременно и для лучшего устройства местного управления, и для устранения недостатков военного строя. Попытка Грозного совсем устранить кормленщиков из местного гражданского управления, заменив их выборными и ответственными земскими властями, давала правительству возможность найти более надежные и дешевые органы управления и вместе с тем предоставить служилых людей в беспрепятственное распоряжение военного ведомства, ничем не отвлекая их от их прямого назначения. Самые крупные законодательные меры XVI в. были прямо или косвенно связаны с этой двойною реформой, земскою и военною.

Какие затруднения встретило московское правительство при разработке и проведении земской реформы и как их побеждало, это всего яснее открывается из самого хода его преобразовательных предприятий. Первые известные грамоты о введении губных учреждений, относящиеся к 1539 г., показывают, что мыслью о передаче важных дел местного управления в руки местных обществ правительство занято было еще в малолетство Грозного. Но некоторые колебания, обнаруженные им в устройстве губных учреждений, заставляют думать, что многие подробности в этом деле тогда еще не были решены и обдуманы. Так, не было принято определенного решения по вопросу о том, в какие отношения друг к другу должны стать разные классы местного общества в устройстве охраны общественной безопасности от лихих людей. По первым губным грамотам все городские и сельские обыватели для поимки и казни разбойников выбирают голов из служилых людей, детей боярских, человека по 3 или по 4 на каждую волость, т. е. административный округ, и точно так же в помощь

этим головам выбирают из своей среды старост, десятских и лучших людей. Значит, органам местной полиции, губным головам и их помощникам по источнику их полномочий предполагалось придать всесословный характер. Но по грамоте Соли Галицкой 1540 г. участковые полицейские надзиратели, сотские, пятидесятские и десятские, поставлены были под руководство городского приказчика, т. е. коменданта, который выбирался только служилыми людьми уезда и был, так сказать, предводителем уездного дворянства, как корпорации, обязанной оборонять свой город. Позднее, при преемнике Грозного, выбор губного головы или старосты одним местным дворянством является нередким случаем. Напротив, там, где было малочисленно служилое население или где его вовсе незаметно, руководство губною полицией, как это видно из уставной Двинской грамоты 1556 г., поручалось начальникам общего земского управления, излюбленным головам, выборным судьям, которые выбирались только земским тяглым населением⁵⁸.

В первоначальном устройстве губной полиции еще незаметно намерения не только отменить кормления, но и стеснить права кормленщиков, хотя современники и видели в этом учреждении меру, направленную против наместников⁵⁹. Губным старостам в первое время поручены были такие полицейские дела, которые не входили прямо в компетенцию наместников и волостелей, и власть последних предполагалось точно разграничить с губным ведомством. Так, по губному наказу селам Кириллова монастыря 1549 г. тать, пойманный в первой краже, сначала подвергался простому гражданскому суду и взысканию со стороны кормленщиков, а после того уже поступал в распоряжение губных старост, которые наказывали его кнутом и выгоняли из округа⁶⁰. Речь об отмене кормлений, по-видимому, не заходила и на земском соборе 1550 г., хотя некоторые меры, принятые не без его участия, служили прямою или косвенною подготовкой этой реформы. В Судебнике 1550 г. институт кормленщиков является еще без признаков колебания и их компетенция заботливо ограждается от вмешательства губных старост, которым статья 60 строго предписывает ведать только дела о разбое. Почти несомненно, что с ведома собора присутствие на суде кормленщиков особых присяжных судных мужей, вы-

борных старост и целовальников, «которые у наместников в суде сидят», по Судебнику превращено было в повсеместное обязательное учреждение. По крайней мере в следующем году в речи к отцам Стоглавого собора царь поставил это дело в числе мер, на которые он получил от них благословение «в предыдущее лето», т. е. на земском соборе 1550 г. Обязательным повсеместным введением в суд кормленщиков особой коллегии земских судебных мужей крайне упрощалась отмена кормлений: оставалось только вывести из местного суда самих кормленщиков, передав их функции этой коллегии присяжных земских ассистентов с ее председателем, судебным земским старостой. Распространение института, который вскоре лег в основание земского самоуправления, сопровождалось составлением местных уставных грамот, которыми должны были руководиться кормленщики и их земские ассистенты. Из слов царя на Стоглавом соборе можно заключить, что была даже выработана общая, так сказать, нормальная уставная грамота, «которой в казне быти» и которую царь предложил отцам собора на рассмотрение и утверждение вместе с новоисправленным Судебником. Вероятно, эта общая уставная грамота, предназначенная как образцовая и справочная для хранения в государственном архиве, также относилась к местным, как наказ губным старостам 1571 г. относился к местным губным грамотам, содержала общие нормальные постановления, применявшиеся в отдельных грамотах к местным условиям. Из всего этого можно заключить, что главным предметом занятий собора 1550 г. были вопросы об улучшении местного управления и суда, чему посвящена едва ли не большая часть статей Судебника, пересмотренных и пополненных в 1550 г.; по крайней мере о других предметах занятий этого собрания не сохранилось известий. Нельзя не отметить этой черты деятельности первого земского собора при изучении происхождения земских соборов вообще. Такая законодательная тема указана была собору 1550 г. самим царем в той знаменитой речи его на Красной площади к митрополиту и народу, которой открыта была деятельность собора. Сущность этой речи, как изложил ее потом сам оратор на Стоглавом соборе, состояла в том, что царь «заповедал» своим боярам, приказным людям и кормленщикам помириться «со

всеми хрестьяны» своего царства на срок, т. е. предложил служилым людям покончить не обычным иском, а мировым порядком все возникшие у них из-за кормлений тяжбы с «хрестьянами», с земскими людьми, которыми они управляли. Заповедь царя исполнена была с такою точностью, что в следующем году он мог уже сообщить отцам церковного собора, что бояре, приказные люди и кормленщики «со всеми землями» помирились во всяких делах. Значит, господствующею мыслью, руководившею царем при созыве первого земского собора, было упорядочить местное управление и начать это дело мировую срочную ликвидацией бесконечных тяжб земства с кормленщиками: царь надеялся такую решительную операцией устранить главный недуг, мешавший всякому улучшению местного управления и суда. Ни в самой речи царя, как она записана в летописном сборнике, ни в кратком официальном изложении ее на Стоглавом соборе нет сколько-нибудь уловимого намека на мысль отменить кормления. Между тем только эта мысль и делает понятным предложение царя о срочном окончании тяжб по делам кормлений. Судебник 1550 г. вовсе не предотвращает продолжения таких тяжб, а только подробнее определяет их порядок. Какую цель могла иметь необычная и спешная ликвидация этих дел, когда сам закон допускал их возобновление, оставляя обе борющиеся стороны, кормленщиков и земские миры, в прежних отношениях друг к другу? Остается предположить, что в мере, принятой царем, сказалась впервые смутно почувствованная правительством потребность так или иначе покончить вопрос о кормлениях, но правительство еще недоумевало, какой избрать способ его решения, и пока хотело устранить затруднение, которое мешало разрешить его каким бы то ни было способом. Речь царя бросает некоторый свет и на самый состав собора 1550 г. Если этот собор был создан для того, чтобы при самом открытии своем выслушать заповедь царя кормленщикам — в назначенный короткий срок прекратить миром тяжбы с земскими людьми, и если эта заповедь была в срок исполнена, можно думать, что на собор и призваны были преимущественно кормленщики, люди верхних слоев служилого класса, бывшие ближайшими органами правительства, а таков был, как мы видели, состав и дальнейших земских соборов XVI в.

Может быть, для того и речь царя была произнесена на московской площади, чтобы в лице собравшегося здесь простонародья призвать все земство пойти навстречу кормленщикам в деле примирения, исполняя просьбу царя «оставить друг другу вражды и тяготы свои». Так выясняется несколько политическая физиономия этого загадочного земского собора, оставившего по себе такие неясные следы в исторических памятниках. Собор созван был главным образом для обсуждения средств устранить беспорядки в местном управлении и суде и состоял из лиц, которые, служа орудиями этого управления и суда, должны были взять на себя исполнение мер, принятых правительством по совещанию с собором.

Однако после ликвидации тяжеб с кормленщиками вопрос о кормлениях не долго оставался в нерешительном положении. То было время ускоренного движения внутренних реформ и внешних предприятий. Среди забот о церковных преобразованиях и приготовлений к казанскому походу делались по московской правительственной привычке предварительные опыты над новым порядком местного управления. Известен один из них, сделанный месяца за 3 до казанского похода: 21 марта 1552 г. по просьбе посадских людей и крестьян Важского уезда им дана была грамота, отменявшая у них управление наместника и передававшая управу во всяких делах их излюбленным головам. Вскоре по завоевании Казани правительство с развязанными для внутренних дел руками и с необычайно приподнятым духом принялось за дальнейшую разработку вопроса о кормлениях. Тотчас по возвращении из похода, отправляясь в Троицкий Сергиев монастырь, царь приказал боярам «без себя о казанском деле промышляти, да и о кормлениях сидети», т. е. обсудить в Боярской думе два вопроса: об устройстве новозавоеванного царства и об отмене кормлений. Бояре придавали второму вопросу такое важное значение, что поставили его на первую очередь, «начаша о кормлениях сидети, а казанское строение поотложиша». Мнение думы склонилось в пользу отмены кормлений, так что царь в ноябре 1552 г. мог уже официально объявить о принятом правительством решении устроить местное управление без кормленщиков. Днем Михаила Архангела началось трехдневное торжество по случаю падения Казанского царства. Слу-

жилым людям, героям подвига, розданы были щедрые награды вотчинами, поместьями и деньгами на 48 тыс. рублей (около 2¹/₂ млн. на наши деньги). Не было забыто и неслужилое земство, которое понесло на себе финансовые тяготы похода: «а кормлениями государь пожаловал всю землю». Этому лаконическому известию, однообразно повторенному в разных летописях, трудно придать другой смысл, кроме того, что царь предоставил земским мирам ходатайствовать об освобождении их от кормленщиков или оставаться под их управлением, если они находили это для себя более удобным⁶¹. Эту меру современники считали *пожалованием*, льготой для земства, и значительное количество земских обществ, городских и сельских, которые не замедлили ею воспользоваться, оправдывает этот взгляд. Но может показаться неожиданным то, что эту меру считали для себя выгодной и сами бояре, которые в этом случае были солидарны с прочими кормленщиками. Летопись, рассказывая о приказе царя обсудить в думе вопросы об устройстве Казанского царства и о кормлениях, не без горечи объясняет, почему бояре поставили на очередь второй из этих вопросов и отложили первый: «Они же от великого такого подвига и труда утомишася и мало-го подвига и труда не стерпеша докончати и возжелеша богатства»⁶². Какие богатства могли сулить себе кормленщики от отмены кормлений и как одна и та же мера могла оказаться выгодной для обеих сторон со столь противоположными интересами и с такими враждебными отношениями, в каких стояли тогда друг к другу кормленщики и кормившие их земские общества? Это объясняется условиями, на которых исполнена была земская реформа.

Кормление служилых управителей как *земская повинность* признано было подлежащим выкупу на счет земства. Но переход к управлению выборных земских властей как *право земства* не был сделан для него обязательным, а предоставлен был воле каждого земского мира. Если земское общество возбуждало ходатайство о замене кормления земским самоуправлением, все доходы кормленщиков, им управлявших, как прямые кормы, так и косвенные пошлыны, перекладывались в постоянный государственный оброк, который общество платило прямо в казну. Эта перекладка, называвшаяся

откупом, облегчалась тем, что в подлежащих приказах издавна велись книги с обозначением дохода, какой получался с каждого кормления; на существование этих книг указывает одна статья Судебника 1550 г. Из откупных платежей по мере распространения нового порядка местного управления должен был составиться служилый бюджет: служилые люди получали из нового государственного оброка «праведные уроки», постоянные оклады денежного жалованья, соображенные с «отечеством и дородством» каждого, т. е. с его родovitостью и служебную годность. Вместе с тем предпринято было «строение воинства», общая реорганизация обязательной службы служилых людей: установлена была «уложенная служба», нормальный размер военно-служебных обязанностей, падавших на служилого человека по его землевладению вотчинному и поместному, вырабатывались правила поместного верстания, надела служилых людей поместною землей. Таким образом, административно-судебные кормы заменялись частью доходом, какой сам помещик извлекал из своего поместья, частью казенным денежным жалованьем, средства для которого казна черпала из управляемого земского населения, став здесь на место кормленщиков. Значит, со введением земского самоуправления устанавливалась, как бы сказать, новая, более сложная и правильная канализация содержания служилых людей. Прежде они сами выбирали это содержание из неслужилого населения, главным образом посредством кормлений и в меньшей мере посредством поместного землевладения, которое было развито еще довольно слабо. Теперь средства первого рода притекали к ним в виде готового денежного жалованья, через казну, которая выбирала их из земства посредством земских учреждений, а поместное землевладение, получив усиленное развитие одновременно с отменой кормлений, становилось все более господствующим источником содержания служилых людей и в этом значении занимало место прежних кормлений в устройстве этого содержания. Так было устранено финансовое затруднение, возникавшее из того, что с отменой кормлений закрывался один из главных источников военного бюджета, питавшего служилых людей. Реформа доставляла существенные выгоды обеим сторонам, и земским мирам, и кормленщикам: первых

она освобождала от непосредственного гнета корыстных и часто самовольных управителей, последним давала возможность с большими удобствами, без затруднений и неприятностей, соединенных с кормлениями, получать в виде постоянного оклада жалованья прежний доход и даже больше того. Главное удобство нового порядка состояло в том, что размер этого дохода теперь поставлен был в зависимость не от случайной удачи в получении более или менее сытного кормления, а от условий, находившихся в распоряжении самих служилых людей. Это удобство служилые люди могли почувствовать уже при самом введении реформы.

По генеалогическому достоинству, по личным качествам, продолжительности и исправности службы, размерам вотчинного и поместного владения, вообще по всей совокупности условий, которыми тогда определялась военно-служебная годность, служилые люди были распределены на разряды, *статьи*, с особым окладом денежного жалованья, положенным на каждую статью, и занесены по статьям в служебные книги и списки, или в «подлинные разряды», как еще называет их летописец в изложении указа 20 сентября 1555 г. о кормлениях и о службе. Так как кормления считались *жалованьем* за службу, а денежное жалование заменяло доходы от кормлений, то эти росписи служилых людей стали называться *кормленными книгами* и самые оклады денежного жалованья, положенные взамен кормлений, *кормленными окладами*. Сохранился отрывок одной из таких книг, составленной после издания упомянутого закона 20 сентября и едва ли не бывшей прототипом тех кормленных книг, по которым впоследствии выдавали служилым людям денежное жалованье в приказах, ведавших это дело в *четях* Костромской, Устюжской и других⁶³. Сколько можно судить по отрывку, в котором описаны всего только статьи 11—25, притом еще с пропуском статей 13-й, 14-й и начала 16-й, это — кормленная книга высшего столичного дворянства, служилых людей, служивших «по московскому списку». Отрывок изображает положение кормленщиков и земских обществ в 1555 г., т. е. в момент перехода тех и других к новому порядку, первых — к новому устройству содержания служилых людей, вторых — к земскому самоуправлению. Кормлениями жаловали по-прежнему; но земские общества

одно за другим «давались в откуп», т. е. выпрашивали себе выборное управление, так что иные из пожалованных не успевали «наехать» на свои кормления. В отрывке отмечено до 30 обществ, городских и сельских, перешедших на откуп с 25 марта по 6 декабря 1555 г. Этот 1555 год был временем перелома в ходе земской реформы: убедившись по предварительным опытам, что земство в ней нуждается, правительство решило превратить их в общую меру. Тогда была пересмотрена нормальная уставная грамота, составленная еще в 1550 г., которая была предложена на одобрение Стоглавому собору и предназначена на хранение в казне для справок. Эта грамота еще не имела в виду отмены кормлений и только вводила повсеместно в суд кормленщиков присяжных земских ассистентов. Согласно с дальнейшей разработкой плана реформы эти присяжные земские ассистенты по новому закону превращались в самостоятельную судебную коллегия, а кормленщикам, служилым людям, давалась новая сословная организация с более точным и уравнивающим распределением между ними служебных обязанностей и служебного вознаграждения, как земельного, так и денежного. Официальное указание на новый закон встречаем уже в уставной грамоте, данной 15 августа 1555 г. Рыболовлей слободе в Переяславле, которая, как видно из рассматриваемого отрывка, перешла на откуп 10 июля того же года. В этой грамоте царь говорит, что он велел учинить старост излюбленных «во всех городех и волостех», разумеется, которые этого пожелают. Самый закон дошел до нас не в подлинном виде, а в изложении, помещенном в одном летописном своде и сделанном, по всей вероятности, современным летописцем⁶⁴.

Изучая ход дела в момент перелома, произведенного законом 1555 г., как этот момент изображается в уцелевшем отрывке *кормленной книги*, легко заметить некоторые неудобства системы кормлений и те выгоды нового устройства содержания служилых людей, которые побудили Боярскую думу высказаться за отмену этой системы. Во-первых, кормления отличались чрезвычайною дробностью: рядом с многочисленными распорядительными и исполнительными судебно-административными должностями, соединенными с *кормами* и *пошлинами*, т. е. с окладными и неокладными доходами,

встречаем кормления, которые состояли только в получении одного какого-либо мелкого налога, прямого или косвенного, и не соединены были ни с какою особою ни судебною, ни административною функцией, кроме сбора самого налога. Причиной такой дробности, очевидно, было желание дать кормовые места возможно большему числу служилых людей, нуждавшихся в корме. Тою же причиной объясняется и краткосрочность кормлений: их держали обыкновенно по одному или по два года, очень редко более двух лет и нередко менее года, иногда немногие месяцы. Сами кормленщики сокращали срок своих кормлений, иногда бросая их по своему произволу; иные даже не принимали назначенных им мест. Все это указывает на малоодоходность многих кормлений. Несмотря на то, спрос на корм превышал наличность кормовых мест. Кормления не были непрерывными, кормленщик не переезжал с одного питательного места прямо на другое, кормился с перерывами. Нередко кормовое пожалование состояло только в том, что пожалованному «давали ждати» назначенного ему места, пока его не очистит предшественник, т. е. жаловали только кандидатурой на место. Для многих такие голодные промежутки продолжались два, три, даже четыре года. С другой стороны, в отрывке находим много указаний на отношение доходов от кормлений к новым окладам денежного жалованья, назначенным по закону 1555 г. Служилому человеку давали оклад денежного жалованья «на его голову», смотря по статье, в которую его записывали по его служебной годности, потом жалованье на «уложенных людей с земли», сколько их причиталось по штату с числившейся за ним вотчинной и поместной земли, наконец, добавочные деньги за «передаточных», сверхштатных вооруженных людей, которых он выводил с собой в поход, по расчету в $2\frac{1}{2}$ раза больше против штатных. В отрывке нередко указывается, сколько получал служилый человек с кормления и сколько пришлось ему получать «по новому окладу» в силу закона 20 сентября 1555 г.; из этих сопоставлений можно видеть, что служилый человек при новом порядке обыкновенно получал не меньше прежнего и мог получить значительно больше, если умел и хотел. Этот порядок прямо рассчитан был на исправность, сообразительность и энергию

служилых людей. Притом не надобно забывать, что прежний доход от кормлений был прерывистый, а при новом порядке высшее столичное дворянство, состоявшее на постоянной службе, вместе с лучшими провинциальными дворянами, способными к ежегодной мобилизации, получали денежное жалованье ежегодно по кормленной книге «из чети», как тогда говорили, т. е. из подлежащего приказа в Москве, в отличие от рядового провинциального дворянства, от городских *детей боярских*, которых мобилизовали не каждый год и которые получали денежное жалованье «с городом», т. е. только перед мобилизацией.

Отмена кормлений сопровождалась важными и разнообразными следствиями для обеих сторон, которые она различала, как для служилого класса, так и для тяглого земского мира. В этих следствиях мы отметим только то, что имеет ближайшее отношение к вопросу о происхождении земских соборов. Прежде всего завершилось устройство сословного управления обеих сторон, и в этом завершенном устройстве со строгою последовательностью проведено было то начало, которое легло в основание соборного представительства XVI в., начало ответственности перед государством. Высшее столичное дворянство сомкнулось в цельный гвардейский корпус, пополняясь постоянно лучшими служаками, набираемыми из провинциальных дворян. Разбирая состав собора 1566 г., мы видели, что члены этого корпуса не теряли служебной связи с местным дворянством тех уездов, откуда они набирались или где владели землей. Образую офицерские кадры, столичные дворяне назначались предводителями походных отрядов, составлявшихся из их провинциальных земляков. В свою очередь и провинциальное дворянство сомкнулось в местные уездные общества, связанные землевладельческим и строевым соседством. Каждое такое общество, *город*, как оно тогда называлось, выбирало из своей среды присяжных окладчиков, коллегия которых обязана была знать как семейное и хозяйственное положение, так и боевую готовность всех служилых людей уезда и по ответственным показаниям которых присылавшиеся из столицы военные инспекторы, *разборщики*, верстали служилых людей уезда поместными и денежными окладами, по этим окладам распределяли их на *статьи*, или разряды,

по этим статьям раскладывали между ними тягости службы, вообще устанавливали хозяйственный и военно-служебный строй уездного дворянского общества. Так как служилые люди уезда в случае внешнего нападения на их уездный город составляли его ближайший гарнизон, то они «всем городом», в полном составе своего общества, выбирали из своей среды городского приказчика, который ведал уездный город в качестве его коменданта и полицмейстера и вел текущие дела всего уездного дворянского общества в качестве постоянного местного его предводителя, как столичный дворянин-земляк, часто бывал его временным походным предводителем. Выбор окладчиков и городского приказчика скреплялся порукой избирателей за избранных. Служебное поручительство развилось в сложную систему; это указывает на важное значение, какое придавали ему в местном сословном устройстве. Выбрав окладчиков, дворянское общество должно было дать правительству *выбор* (выборный протокол) *за своими руками*, т. е. взять на себя ответственность за качество выбора; то же было и при избрании городского приказчика. Все члены уездного дворянского общества и между собою были связаны цепью поручительства, имевшего разные виды. При верстании поместными и денежными окладами, при раздаче денежного жалованья каждый член общества должен был представить поруку в том, «что ему государева служба служить, на срок на службу приезжати и до роспуску с службы не съезжати». Обычными общими поручителями были те же окладчики, по должности обязанные знать степень служебной благонадежности своих избирателей; впрочем, у каждого могли быть и свои частные поручители из *рядовых* дворян того же уезда. Кому окладчики «не доверялись в службе и деньгах», тот обязан был представить поручную запись от особого поручителя. В сомнительных случаях, когда окладчики не давали разборщику надежного ответа, «в спорных статьях допрашивали и всего города»; тогда, как и при выборе должностных лиц, все общество принимало на себя ответственность за свое решение. Так устанавливалась своего рода круговая порука уездного дворянского общества. В разнообразии видов поруки, в строгости, с какою правительство ее требовало, выразилась настойчивость, с какою правительство прово-

дило в местном сословном управлении начало *государственной* ответственности. Такая ответственность по взысканию власти за исполнение военно-служебных обязанностей служилыми людьми заменила собой прежнюю *гражданскую*, которой подлежали служилые кормленщики по жалобам обиженных.

То же начало настойчиво и последовательно проводилось во всех отраслях управления, сколько это было возможно. Известно, с какою строгостью требовалась общественная порука в губном и земском управлении как обеспечение личной ответственности выборных властей. Выбрав старосту, целовальников и дьяка, мир должен был протокол выбора, *излюбленный список*, с именами избранных и за руками избирателей прислать в подлежащий московский приказ: здесь этот излюбленный список был нужен, чтобы знать, с кого взыскать, в случае если избранные своими действиями не оправдают ни доверия избирателей, ни ожиданий правительства; сами выборные за недобросовестное или небрежное исполнение своих обязанностей подвергались смертной казни, а их имущество шло на вознаграждение лиц, потерпевших от их неправильных действий, а также тех, кто уличал их в таких действиях. Такие угрозы закона и общественные заручки объясняют слова царя Иоанна, когда он говорил на церковном соборе 1551 г., что, исправив *Судебник* и предприняв улучшение судопроизводства и управления, он «великие заповеди написал», тяжкие взыскания положил за нарушение закона, «чтобы то было прямо и бережно и суд бы был праведен».

Еще явственнее выразилось проводимое правительством начало в особом ведомстве, которое стало складываться также со времени Грозного. Издавна таможенные пошлины и другие доходные казенные статьи отдавались на откуп или в кормление. В то время как правительство стало думать о развитии земских учреждений, начали пробовать новый способ эксплуатации этих финансовых источников, посредством *верного* управления, в чаянии, что этот способ окажется для казны прибыльнее прежнего. Мысль опытов была та, чтобы таможенных пошлин не отдавать на откуп частным предпринимателям, которые, разумеется, платили в казну только часть валового сбора с откупных статей, а выбирать эти доходы целиком, прямо в казну, посредством

даровых и ответственных агентов, которых обязано было ставить земство, которым правительство поручало это дело *на веру*, под присягой и, разумеется, под ручательством ставившего их земского общества. В значительных торговых пунктах руководителями этого дела назначались с званием *верных голов* надежные люди из московского купечества, которым давали несколько присяжных помощников, *целовальников*, выбранных из местного торгового класса. Так, в 1551 г. таможенные сборы в г. Белозерске отданы были на веру двум москвичам и двадцати белозерцам на год. Точно так же в 1571 г. указано было в Новгороде на Торговой стороне собирать таможенные пошлины на веру московским и новгородским гостям и купцам, которых новгородские наместники с дьяком «в головы поставят», и целовальникам, которых они «выберут», т. е. предпишут выбрать новгородскому торговому обществу. Так завязалась новая земская повинность, с течением времени развившаяся в целую сеть верных учреждений и падавшая тяжелым и ответственным бременем на многие земские общества. Новгородская таможенная грамота предостерегает верных голов и целовальников, что если они не будут исполнять ее предписаний, то государь накажет их опалой и пеней, а недобор перед прежними годами велит взыскать с них вдвое. Характер и цель верных учреждений открываются из того способа, как правительство пользовалось обоими порядками эксплуатации доходных казенных статей, откупным и верным, и как переходило от одного порядка к другому. По местам оно пыталось самому откупу придать характер принудительной повинности. В 1554 г. сдана была одной компании весовая пошлина в Великом Новгороде на год. Но тогда же правительство запретило вывоз сала и воска за границу, вследствие чего откупщики не выбрали откупной суммы и по тогдашнему суровому порядку взыскания долгов и казенных недоимок принуждены были стоять на *правеже*, т. е. подвергнуться участи неисправных плательщиков, которых пристава били прутьями по разутым ногам перед присутственным местом, приговорившим их к уплате или взыскивавшим с них недоимку. Откупщики били челом правительству пожаловать их, снять с них откуп по прошествии откупного срока, но просьбы их не уважили, продолжили

откуп и на 1555 г.; только по прошествии второго откупного срока в силу повторенного ходатайства откупщиков отставили и предписали новгородским дьякам выбрать из местного общества людей, которые бы собирали пошлину прямо на царя, т. е. *верным* порядком, но с обязательством собрать не менее той суммы, за какую пошлина была отдана на откуп в 1554 г., именно 233 руб. 39 коп. (не менее 14 тыс. руб. на наши деньги), хотя откупной недобор того года равнялся целой трети этой суммы, именно 77 руб. 39 коп.; если же новые сборщики соберут больше того, то, как гласила царская грамота, «яз их за то пожалую». Здесь казна перешла от откупа к вере, как скоро откупной опыт указал ей на безобидную для нее норму сбора, какой можно было требовать от верных сборщиков и на которую едва ли можно было найти откупщиков-охотников. В других случаях казна поступала наоборот, пользовалась верною системой для определения нормальной откупной суммы. Таможенные пошлины в г. Орешке на 1563 г. отданы были на веру, и верные целовальники собрали 87 руб. 90 коп. (не менее 5 тыс. руб.). На следующий год казна отдала сборы откупщикам с наддачей 42% на собранную верными сборщиками сумму — за 125 руб.⁶⁵ Чтобы прибыльно устроить систему верных доходов по всем значительным торгово-промышленным пунктам в государстве, казне необходимо было иметь под руками достаточно надежный и многочисленный корпус ответственных агентов по неокладным сборам, своего рода финансовый штаб, подобный военно-административному, какой составлен был из столичного дворянства. Заслуживает внимания то обстоятельство, что оба штаба формировались почти одновременно и комплектовались одинаковым способом, посредством набора годных сил в столицу по провинциям. Лучшие торговые люди областных городов, оставаясь на своих местах, зачислялись в штат высшего московского купечества или же прямо *сводились* из своих городов в Москву. Так, новгородский летописец рассказывает, что в 1571 г. одновременно свели из Новгорода в Москву 100 семейств лучших купцов *гостей*. Еще раньше переведена была в Москву партия солидных купцов из Смоленска: «Эти-то «сведенцы смольняне, паны московские», как их величали в знак важного значения, полу-

ченного ими в московской торговой иерархии, положили основание тому классу московского купечества, который в акте земского собора 1566 г. назван *смольнянами*, а ко времени собора 1598 г. превратился в *суконную сотню*, как бы сказать, вторую купеческую гильдию, и от которого, по всей вероятности, пошло название *Смоленского суконного* ряда в московском Китай-городе⁶⁶. На это московское купечество казна и возлагала важнейшие финансовые поручения, требовавшие торгово-промышленной опытности и ловкости и составлявшие настоящую, очень тяжелую и ответственную службу. Высшие его разряды и причислялись к служилым, пользовались известными привилегиями, даже некоторыми правами военно-служилых людей, например правом вотчинного землевладения, получали поместья и могли переходить на приказную службу, бывали дьяками.

Указанные реформы совершенно преобразили как местное управление, так и самый состав местного общества. Прежде служилые люди как правительственный класс противопоставлялись людям земским; теперь провинциальная масса служилых людей вошла в состав земства, сомкнувшись в уездные корпорации, сама становилась земским классом, имея по землевладению и управлению много общих дел с другими классами. Прежде правительство вело местное управление посредством своих собственных органов, но должности, им поручавшиеся как кормления, эксплуатировались ими в свою пользу, служили частному интересу кормленщиков. Теперь взамен кормлений или рядом с их остатками в местном управлении возникло множество таких дел, значением которых было служить государственному интересу, но которые поручались не специальным агентам правительства, а людям из управляемого общества по его выбору и поручались, разумеется, не как награда за службу, подобно кормлениям, а как служебная повинность. И задачи управления и независимое от правительства происхождение его новых органов требовали строгой отчетности, которой не ведали кормленщики, знавшие только гражданскую ответственность по искам отдельных лиц или обществ, которыми они управляли. С проведением частной и общественной поруки в отношения получивших самоуправление местных служилых

и тяглых миров к правительству подо все областное устройство подведено было новое основание, которым послужила государственная ответственность перед центральной властью, контролирующей действия своих органов. Это основание, развившись в сложную и суровую систему взысканий за упущения по службе, стало самую напряженную пружину в механизме местного управления. Как только началась закладка этого основания, возникла потребность провести его и в центральное управление. Этим основанием указан был состав соборного представительства XVI в., а этим составом определилось политическое значение тогдашних земских соборов.

Представительными элементами в составе земских соборов нельзя считать ни церковного Освященного собора, ни Боярской думы, ни начальников и дьяков московских приказов: это было само правительство, а не представительство управляемого общества перед правительством. Такими элементами можно признать городских воевод и приказчиков, походных предводителей уездных дворянских отрядов, выборных депутатов уездного дворянства, впервые заметных на соборе 1598 г., и людей из московского купечества. Можно заметить отношение такого состава соборного представительства XVI в. к тому устройству, какое дано было местному управлению во второй половине этого века.

В этом отношении р. Ока своим изогнутым средним и нижним течением делила государство на две полосы, северную внутреннюю и южную украиную. Сословное самоуправление, служилое и земское, привилось в первой полосе, где было плотнее землевладельческое, земледельческое и торгово-промышленное население, сидевшее на давно насыженных местах. Здесь местными обществами руководили выборные власти, дворянские городовые приказчики, земские излюбленные судьи или старосты и избираемые всеми сословиями губные старосты. За Окой простиралась тогдашняя южная Украина государства с волжским Понизовьем, где шла усиленная земледельческая и военная колонизация и одна за другой вытягивались цепи оборонительных укреплений. В городах, наполняемых военным людом и скудных торгово-промышленным населением, в уездах с крестьянством, еще не обседевшим на помещичьих землях,

не было удобной почвы для земского самоуправления. Сколько известно по памятникам, распространение земских учреждений в XVI в. из всех городов по Оке только три имели их в полном составе, именно — Коломна, Касимов и Муром, а Арзамас был единственным таким городом южнее Оки. В этой боевой полосе все местное управление сосредоточивалось в руках воевод, военных губернаторов, которым были подчинены и выборные дворянские власти. Само тамошнее дворянство, в большинстве пришлое, набиравшееся из разных классов общества, за исключением немногих уездов, имело в своей среде мало значительных людей, которые могли бы править и командовать им в походах. Читая уездные списки заокских служилых людей XVI и начала XVII в., чем дальше от Оки, тем реже встречаешь родословное имя. Поэтому правительство принуждено было посылать туда городскими воеводами и отрядными головами столичных дворян, не имевших корпоративной, землевладельческой связи с дворянскими обществами того края.

Таким образом, местный социально-административный материал, которым могло располагать правительство для устройства ответственного местного управления, был распределен очень неравномерно: во внутренних округах, городах подмосковных и «замосковных», как тогда говорили, было достаточно служилых и земских людей, которые могли стать надежными ответственными агентами местного военного и финансового управления, а в городах заокских, где тех и других требовалось не менее, чем по северную сторону Оки, а первых даже гораздо более, таких агентов было очень мало. Правительство начало собирать эти наличные местные силы и, не порывая их связей с местными обществами, взяло их в свое непосредственное распоряжение, придав им общеземское значение, образовав из них, так сказать, два генеральные штаба, военно-административный и финансовый: так поступило оно в 1550 г., зачислив лучших служак из уездных дворян в столичный дворянский корпус; с тою же целью стягивало оно в столичные гильдии провинциальных капиталистов-гостей. Так нажимом государственных нужд выдавливались из местных миров наиболее крепкие элементы, способные выдержать требования правительства, которое распределяло их по местам, сообразуясь с местными

нуждами и тем восстанавливая равномерность в распределении общественных сил. В текущих делах местного управления государственный интерес обеспечивался личною ответственностью каждого такого агента, скрепленною, где это было можно, порукой избравшего его общества. Но возникали дела чрезвычайные и касавшиеся всего государства, в которых правительству нужно было обеспечить себе дружное и усиленное содействие всех местных обществ. Держась принятого начала государственной ответственности, скрепленной порукою, и пользуясь силами, какие были налицо, правительство в таких делах могло обратиться только к тем же агентам, которые могли, поручившись за исполнимость соборного приговора, принять на себя и провести в местные общества ответственное его исполнение; призыв таких исполнителей на общее совещание был мерой простого административного удобства, не возбуждавшею никаких политических пререканий, не затрагивавшею ни установившихся отношений верховной власти к подданным, ни вообще каких-либо основ государственного порядка. Таково было, по нашему мнению, происхождение соборного представительства XVI в.: оно само собою выросло из начала государственной ответственности, положенного в основание сложного здания местного управления и слагавшегося из личной ответственности местного правителя и из ответственности ручавшегося за него местного общества. Земский собор того века был завершением этого здания, начинавшегося сельскою волостью, и по своему представительному составу служил высшею формой поруки в управлении; только в местном управлении обыкновенно мир ручался за своего мирского управителя, а на земском соборе управитель ручался за свой мир.

Такой поворот поруки против поручителей понятен, когда идет от лица, за которое ручались, которое поручники уполномочили обращать на них свои обязательства. Но каким образом могло ручаться за мир лицо, за которое мир не ручался, которое наслано миру правительством, например городской воевода? Чтобы понять это, надобно войти в понятия древней Руси и припомнить значение представительства и поруки в частных юридических ее отношениях. По этим понятиям лица, состоявшие в юридической связи, вольной или неволь-

ной, обязаны были представлять друг друга в суде, когда не могли искать или отвечать лично. Так обязаны были представлять в суде родственники друг друга, выборные общественные власти своих избирателей, крестьяне своих господ. Точно так же существовала и обязательная порука: обязательно было в случае надобности ручаться за лицо, с которым поручитель волей и неволей находился в какой-либо юридической связи, и подлежащая власть могла даже требовать этой поруки. Землевладелец сажал пришлого крестьянина на пустой участок в своем селе: соседи обязаны были по требованию землевладельца поручиться за пришельца в исполнении им принятых на себя поземельных обязательств, если не могли прямыми, положительными *доводами* оправдать своего отказа; дать такой отказ значило бы самому разорвать с обществом. Такие понятия из частной жизни целиком переносились в круг государственных отношений. Ставя *даточного*, рекрута, сельское общество по требованию наборщика обязано было поручиться, что новобранец будет служить государю и с государевой службы не сбежит. Дворянские выборные окладчики не могли отказать в поруке своим избирателям, если не могли ничего сказать против кого-либо из них в оправдание своего отказа. Такой взгляд на поруку, распространялся и на отношения управляемых к управителю, не только выборному, но и назначенному. Уездное дворянство выбирало городского приказчика и обязано было поручиться за него; полковой воевода назначал командира, сотенного голову тому же дворянству, и оно его принимало; предполагалось, что оно этим самым молчаливо обязывалось ручаться за него, когда это понадобится: *прием* назначенного равнялся *выбору* излюбленного. Иногда правительство само назначало на выборную должность, опасаясь неудобного выбора, и все-таки требовало от общества поруки за назначенного, как за выборного. Так оно предписывало дворянскому обществу выбрать губным старостой лучшего человека из своей среды, записанного в одну из первых «статей» уездного служилого списка, в противном случае приказывало воеводе самому назначить старосту и взискать выборную запись по нем «за руками» с тех, кто должен был выбирать старосту. Мы ничего не пойдем в древнерусском земском соборе, если выпу-

стим из вида эти древнерусские понятия о представительстве и поручке. Теперь они могут показаться недо-разумениями древней политической мысли; тогда они были следствием тяжкой необходимости напрягать на служение государству все наличные силы народа, материальные и нравственные.

По происхождению и составу соборного представительства можно догадываться о тех политических целях или побуждениях, которые заставляли московское правительство созывать соборы именно в таком составе.

Наука государственного права различает несколько видов представительства по различию политических потребностей, которым оно удовлетворяет, и по уровню политического развития, при каком возникает тот или другой вид его. Одним из этих видов признается народное представительство, назначение которого состоит в обеспечении прав и интересов всего народа, всех граждан, даже тех, которые не избирают представителей, не имеют голоса на выборах. Другим видом является представительство сословное, которым ограждаются права и интересы не всего народа, как их понимает представитель, а одного или нескольких сословий, пользующихся властью, как и в каких пределах уполномочен представитель ограждать права и интересы своего сословия. У обоих этих видов представительства общее то, что собрание и народных, и сословных представителей является участником верховной власти, самостоятельной силой в государственном управлении, облечено законодательным авторитетом. Третий вид представляют совещательные собрания, созываемые не в силу закона, а по усмотрению правительства, и действующие как его вспомогательное орудие в пределах, им указанных, всегда не точно обозначенных и обыкновенно очень тесных. Но сходные по политическому весу, совещательные собрания разнятся по политическому употреблению, какое делает из них правительство, и по приноровленной к тому организации. Так, правительство, еще не успевшее запастись достаточными орудиями для изучения состояния народа, может обратиться к совещательному собранию, чтобы узнать народные силы и средства, какими оно может располагать для известного предприятия. В этом случае представительное собрание является заменой статистического бюро при министер-

стве внутренних дел и всего успешнее исполнит свое назначение, если составится не из лиц, пользующихся наибольшим доверием общества, а из сведущих людей, по своему положению имеющих наиболее возможности наблюдать и узнать состояние общества. Но и правительству, располагающему достаточными статистическими сведениями, может понадобиться совещательное собрание, если оно хочет действовать не только сообразно со средствами народа, но и согласно с его желаниями. В таком случае представительство заменяет периодическую печать и тем скорее достигает своей цели, чем большим доверием избирателей пользуются представители, чем более разделяют они нужды и желания народа и чем полнее, следовательно, могут выразить его мнения и настроения. Такое представительство имеет преимущественно нравственное значение, поддерживая взаимное доверие между обществом и правительством и их обоюдное расположение к дружному действию.

Земские соборы древней Руси обыкновенно причисляют к последнему из этих трех видов представительства, видя в них чаще прибор для статистических справок правительства о народе, реже — средство взаимного нравственного сближения обоих. Наиболее крупные и видные черты деятельности соборов оправдывают такую классификацию: они не были постоянным учреждением, не имели ни обязательного для власти авторитета, ни определенной законом законодательной компетенции и потому не обеспечивали прав и интересов ни всего народа, ни отдельных его классов и т. п. Если, забывая общее направление деятельности земских соборов, всмотреться в перечень членов тех из них, которые были созданы в 1566 и 1598 гг., в их составе заметим очень своеобразные черты. В самом деле, что это за представительное собрание, в котором представителями народа являются все должностные, служащие лица? Ведь каждый из бывших на соборе 1566 г. дворян всех статей потому и попал на него, что был исполнителем каких-либо военно-административных поручений редко по выбору дворянского уездного общества, к которому он принадлежал, чаще по назначению правительства, командовал сотней своего уезда, был городовым воеводой или приказчиком и т. п. Каждому из гостей и купцов столицы, подававших мнения на соборе, уже приходилось испол-

нять по очереди казенные поручения правительства и предстояло опять исполнять их, когда приходила очередь. Это были не столько представители народа, земских миров, сколько агенты военных и финансовых учреждений, т. е. представители самого правительства. Источником полномочий соборного представителя служило гораздо более это официальное, должностное его положение в местном обществе, чем выбор последнего. Очевидно, здесь мы встречаемся с таким своеобразным порядком представительства, при котором правительственное назначение и общественный выбор теряли то острое различие, какое обыкновенно им придается. Такое безразличие двух обыкновенно противодействующих источников полномочий объясняется свойством тех правительственных поручений, которые по выбору общества или по назначению правительства возлагались на земских людей и исполнители которых были призываемы на соборы. Эти поручения, как мы видели, были соединены не только с личной, но часто и с мирской ответственностью, что сообщало земскому самоуправлению совершенно особый характер. Если предоставленный земству в XVI в. выбор на должности по местному управлению и можно назвать правом, то это было право очень колючее, обоюдоострое: оно больше обязывало и пугало ответственностью, чем уполномочивало и соблазняло властью. Вот почему далеко не все земские миры воспользовались отданным на их волю самоуправлением: неудобства, какие приносил с собою правитель, назначенный правительством, уравновешивались риском ответственного выборного управления.

Тесная органическая связь соборного представительства с местным управлением, построенным на личной ответственности и мирской поручке, дает понять, для чего понадобилось оно правительству. Земский соборный представитель и помимо собора был ответственным дельцом местного управления. Самая важная для правительства особенность такого дельца заключалась в том, что его правительственная деятельность в своих отправлениях была гарантирована личной ответственностью и общественным поручительством. Соборное представительство входило в число этих отправлений; следовательно, и соборный приговор, был ли он внушен земскими представителями правительству или, наобо-

рот, должен был закрепляться таким же обеспечением, а так как на соборе старались соединить по возможности все облеченное властью, все руководившее в разных отраслях местного управления и в таком значении признанное самим обществом, то и ответственность за исполнение соборного приговора, принятая представителем, распространялась прямо или косвенно и на руководимые представителями местные миры. Значит, общественная порука служила на соборе таким же приводным ремнем, передававшим соборное обязательство представителей их мирам, каким в современном народном представительстве служат выборы, посредством которых народная воля передается избранным, т. е. избиратели заранее обязуются подчиняться закону, принятому депутатами. По-видимому, собор с своими членами из гарантированных земством или гарантировавших волю земства местных управителей только извилистым путем достигал того же, к чему прямее ведут выборы специальных депутатов в народном представительстве. Однако есть разница, происходящая от неодинакового способа передачи представительных полномочий, и эта разница такова, что в ней можно видеть существенное отличие древнерусского земского собора не только от законодательного, но и от совещательного собрания описанных выше видов: в последних существенный момент, выражающий самую цель представительства, состоит в передаче воли или мнения общества представителям посредством выборов, а в первом, наоборот, таким моментом служила передача соборного обязательства представителей обществу посредством общественной поруки. Получив от народного собрания согласие народа на известную меру или только приняв во внимание его мнение, правительство действует уже своими собственными средствами; на земском соборе правительство только для того и спрашивало о мнении представителей, чтобы заручиться средствами исполнения, потому что члены собора именно и были главными исполнителями соборного приговора. Земский собор XVI в. тем существенно и отличался от народного собрания, как законодательного, так и совещательного, что на нем правительство имело дело не с народными представителями в точном смысле слова, а со своими собственными орудиями, и искало не полномочия или совета, как по-

ступить, а выражения готовности собрания поступить так или иначе; собор восполнял ему недостаток рук, а не воли или мысли. Собор XVI в. был конечно, совещательным, но не был вполне народным представительным собранием: это был, повторим еще раз, не столько законодательный совет власти с народом, сколько административно-распорядительный уговор правительства со своими органами, уговор, главную цель которого было обеспечить правительству точное и повсеместное исполнение принятого решения, и такой характер соответствовал его происхождению: он родился не из политической борьбы, а из административной нужды. Поэтому и главную часть соборного протокола можно признать сопровождавшие его рукоприкладства, которыми члены собора подтверждали, что они «на своих речах государю крест целовали», как выразился летописец о соборе 1566 г.: этими подписями, сделанными собственноручно или за неграмотностью по доверенности и приложенными к соборному акту в подлинном виде, либо в систематическом перечне дьяка, закреплялись и существенный момент соборного представительства, и его связь с местным управлением. Как дворяне Коломенского уезда, выбрав из своей среды городского приказчика для города Коломны, подавали о нем правительству «выбор за своими руками», ручаясь за благонадежность выбранного, так и столичный дворянин первой статьи А. Ф. Щепотев, лучший человек и походный предводитель, сотенный голова того же коломенского дворянства, в этом качестве явившись на собор 1566 г., своею подписью под соборным приговором ручался за себя и за предводимое им общество в том, что они готовы понести тягости, какие падут на них в силу этого приговора. Потому в составе соборов XVI в. мало заметен выборный элемент, если только он присутствовал. Первое прямое указание на его присутствие встречаем уже в XVII в. Один жиеший в России иностранец, рассказав в письме 1605 г. о гибели сына царя Бориса, говорит далее, что по распоряжению первого самозванца были созваны *выборные* от народа для засвидетельствования этого печального события и имена выборных были внесены в списки на тот конец, чтобы в случае нужды они могли удостоверить, если бы кто стал выдавать себя за молодого царевича, что они видели его мертвым соб-

ственными глазами⁶⁷. У такого состава собора была и своя особая цель: представительство по должностному положению рассчитано было на то, чтобы призвать на собор *наличных* ответственных исполнителей соборного приговора; призыв выборных имел целью заставить само общество указать *новых* таких исполнителей, когда в них нуждалось правительство. Но при различии целей основа представительства оставалась одна и та же: это порука представителей перед правительством в исполнении того, на чем они дали ему свои руки.

ПОПРАВКА. В конце статьи о составе представительства на земских соборах древней Руси, объясняя, почему в составе соборов XVI в. мало заметен выборный элемент, если только он присутствовал, я прибавил, что первое прямое указание на его присутствие встречаем уже в XVII в. Именно один живший в России иностранец, рассказав в письме 1605 г. о гибели сына царя Бориса, говорит далее, что по распоряжению первого самозванца «были созваны *выборные* от народа для засвидетельствования этого печального события и имена выборных были внесены в списки на тот конец, чтобы в случае нужды они могли удостоверить, если бы кто стал выдавать себя за молодого царевича, что они видели его мертвого собственными глазами». Так гласит русский перевод итальянского письма неизвестного по имени иностранца, напечатанный в издаваемой археографической комиссией Русской исторической библиотеке⁶⁸. Но по справке с подлинником перевод оказался не вполне верным. О составе созванного тогда собрания подлинник говорит: *tutti li principali del popolo si sono chiamati etc.* По указанию знающих итальянский язык, это выражение можно понимать в том смысле, что были созваны все власти или старейшины, вообще лучшие, выдающиеся люди народа. Значит, в этих *li principali del popolo* скорее можно видеть представителей, призванных на собор по должностному положению или общественному значению, чем по специальному *ad hoc* мирскому выбору, и в таком случае это собрание как по составу, так и по цели созыва было совершенно похоже на земские соборы XVI в.: властные или влиятельные люди были призваны, чтобы обязаться засвидетельство-

вать, когда это понадобится, факт, который они видели собственными глазами. Во всяком случае в приведенном свидетельстве нельзя видеть прямого указания на выборный состав собора 1605 г. После этого первым таким указанием остается известное свидетельство капитана Маржерета о другом соборе того же года, созванном неделями тремя позднее, на суд которого самозванец отдал кн. В. Шуйского, обвинявшегося в распространении слухов об его самозванстве. Капитан Маржерет, служивший тогда в Москве, в иноземной гвардии самозванца, пишет, что кн. Шуйский *fut accusé et convaincu en présence de personnes éhoisies de tous états* ⁶⁹. Это известие слишком лаконично, чтобы дать ясное представление о составе судившего кн. Шуйского собора, но бесспорно говорит о присутствии выборных на этом соборе: *лица, выбранные из всех членов или сословий*, едва ли могут значить что-нибудь другое.

ГРУСТЬ

(Памяти М. Ю. Лермонтова, умер 15 июля 1841 г.)

Пятьдесят лет прошло с тех пор, как умер Лермонтов. Воспоминание о смерти поэта, без сомнения, напомнит нам и его поэзию. Да, напомнит, потому что мы успели уже забыть ее. Образцовые стихотворения Лермонтова с разрешения учебного начальства держатся еще в педагогическом обороте, и благодаря тому многие знают наизусть и *Бородино*, и *Ветку Палестины*, и даже *Пророка*. Но поэзия Лермонтова — только наше школьное воспоминание: в нашем текущем житейском настроении, кажется, не уцелело ни одной лермонтовской струны, ни одного лермонтовского аккорда. Жалеть ли об этом? Может быть — да, а может быть — и нет. Ответ зависит от оценки этой давно затихшей песни и от того, запал ли в нас от нее какой-нибудь отзвук, — лучше сказать, была ли она сама отзвуком какого-нибудь ценного общечеловеческого или по крайней мере национального мотива или в ней прозвучало чисто индивидуальное настроение, которое сложилось под влиянием капризных случайностей личной жизни и вместе с ней замерло, обогатив только запас редких психологических возможностей. В последнем случае поэзию Лермонтова едва ли сто́ит вызывать с тихого кладбища учебной хрестоматии.

Педагогический успех поэзии Лермонтова может показаться неожиданным. Приято думать, что Лермонтов — поэт байроновского направления, певец разочарования, а разочарование — настроение, мало приличествующее школьному возрасту и совсем неудобное для

педагога как воспитательное средство. Между тем после старика Крылова, кажется, никто из русских поэтов не оставил после себя столько превосходных вещей, доступных воображению и сердцу учебного возраста без преждевременных возбуждений, и притом не в наивной форме басни, а в виде баллады, легенды, исторического рассказа, молитвы или простого лирического момента. Неожиданно и то, что русский поэт первой половины нашего века стал певцом разочарования. Настроение, которое в поэзии обозначается именем великого английского поэта, сложилось из идеалов, с какими западноевропейское общество переступило через рубеж XVIII в., и из фактов, какие оно пережило в начале XIX в., — из идеалов, подававших надежду на невозможность подобных фактов, и из фактов, показавших полную несбыточность этих идеалов. Байронизм — это поэзия развалин, песнь о кораблекрушении. На каких развалинах сидел Лермонтов? Какой разрушенный Иерусалим он оплакивал? Ни на каких и никакого. В те годы у нас бывали несчастья и потрясения, но ни одного из них нельзя назвать крушением идеалов. Старые верования, исторически сложившиеся и укрепившиеся в общественном сознании, уцелели, а новые идеи еще не успели дозреть до общественных идеалов и свеялись как мечты отдельных умов, неосторожно отважившихся забежать вперед своего общества. Нам не приходилось сидеть на реках вавилонских, оплакивая родные разрушенные святыни, и даже о пожаре Москвы мы вспоминали неохотно, когда вежливою и сострадательною рукой брали Париж.

Поэзия Лермонтова развивалась довольно своеобразно. Поэт не сразу понял себя; его настроение долго оставалось для него самого загадкой. Это отчасти потому, что Лермонтов получил очень раннее и одностороннее развитие, ускорявшееся излишним количеством внешних возбуждений. Рано пробудившаяся мысль питалась не столько непосредственным наблюдением, сколько усиленным и однообразным чтением, впечатлениями, какие навевались поэзией Пушкина, Гейне, Ламартина и особенно «огромной Байрона», с которым он уже на 16 году был неразлучен, по свидетельству Е. А. Хвостовой. Этим нарушена была естественная очередь предметов размышления. То, чем усиленно возбуждалась

ранняя мысль Лермонтова, были преимущественно предметы, из которых слагается жизнь сердца, притом тревожного и притязательного. Может быть, хорошо начинать жизнь такими предметами, но едва ли правильно начинать ими изучение жизни. С трудом разбираясь в воспринимаемых впечатлениях, Лермонтов вдумывался в беспокойное и хаотическое настроение, ими навевавшееся, рядился в чужие костюмы, примерял к себе героические позы, вычитанные у любимых поэтов, подбирал гримасы, чтобы угадать, которые ему к лицу, и таким образом стать на себя похожим. Для этой работы особенно много образов и приемов дала ему манерная и своенравно печальная поэзия Байрона, и в этом отношении ей трудно отказать в сильном влиянии на нашего поэта. От этих театральных ужимок осталось на поэтической физиономии Лермонтова несколько складок, следов беспорядочного литературного воспитания, поддержанного дурно воспитанным общественным вкусом. До конца своего недолгого поприща не мог он освободиться от привычки кутаться в свою нарядную печаль, выставлять гной своих душевных ран, притом напускных или декоративных, трагически демонизировать свою личность, — словом, казаться лейб-гвардии гусарским Мефистофелем. Было бы большою ошибкой видеть во всем этом один бутафорский прибор, только чуждые накладные краски, которые с годами должны были свалиться ветхою чешуей с поэтического подлинника, не оставив на нем своего следа. Эти изысканные приемы поэтического творчества появляются у Лермонтова в такие ранние годы, когда усвоенная манера не столько отражает, сколько направляет настроение души. Поэту уже не вернуть своих юных гордых дней; жизнь его пасмурна, как солнце осени суровой; он умер, душа его скорбит о годах развратных — все это пишет не более как 15-летний мальчик, посвящая друзьям свою поэму, свои «печальные мечты, плоды душевной пустоты». Когда успел пережить все эти нравственные ужасы благовоспитанный и прекрасно учившийся гимназист университетского благородного пансиона? Вторя этому настроению, в *Корсаре*, *Преступнике*, *Смерти* и других пьесах тех лет (1828—1830 гг.) являются все мрачные образы, печальные или ожесточенные; в юношеских тетрадях поэта уцелели наброски задуманных

драм все с ужасными сюжетами, с трагическими положениями. Из этих образов и положений постепенно складывается тип, который так долго владел воображением поэта. Сначала, например в *Портрете*, *Моем демоне* и первом очерке *Демона* (1829 г.), он выступает в неясных общих очертаниях и потом получает определенный облик, даже несколько обликов в целом ряде поэм, драм и повестей, конченных и неконченных. Поэт лелеял этот тип как свое любимое поэтическое детище, всматривался в него, ставил его в разнообразные позы и обстановки, изображал то печальным и влюбленным демоном, то мстительным русским дворовым холопом-пугачевцем, то диким кавказским горцем, то великосветским игроком, то ипохондриком-художником, то, наконец, кавказским офицером-баричем из высшего столичного света, не знающим, куда девать себя от скуки. На всех этих изображениях положена печать той «горькой поэзии», которую, по выражению самого поэта, наш бедный век выжимал из сердца ее первых проповедников; во всех них сказывается то чувство житейской нескладицы, противоречий людской жизни, которое проходит основным мотивом в ранних произведениях Лермонтова. Он с любовью искал этих противоречий и с наслаждением любовался ими, не отворачиваясь даже от самых пошлых, с таким мефистофельским злорадством изображенных им в стихотворении *Что толку жить*. Не даром сам поэт сопоставлял себя с своим «хладным и суровым» демоном, называя себя зла избранником, который в жизни зло лишь испытал и злом веселился; припомним, что первоначально поэт думал изобразить демона торжествующим и жертву его страсти превратить в духа ада, как будто торжество зла тогда более гармонировало с его эстетическим настроением. Из всех этих несродных поэту усилий воображения и сердца он вынес, по его словам, усталую душу, объятую тьмой и холодом, еще далеко не достигнув рубежа молодости. Лермонтов быстро развивался. Согласно с привычным направлением своей мысли, он и этой небеспримерной особенности своего роста придавал трагическое значение. У него сложился взгляд на себя как на человека, рано отцветшего и преждевременно созревшего, успевшего отжить, когда обыкновенно только начинают жить. Любимым образом, к которому он обращался для своей характеристики, был

тощий плод, до времени созревший, который сиротой висит между цветов, не радуя ни глаз, ни вкуса.

Ужасно стариком быть без седины;..

В 1832 г., 18-ти лет от роду, Лермонтов писал в одном дружеском письме: «Все кончено; я отжил, я слишком рано созрел; далее пойдет жизнь, в которой нет места для чувств». Он стал думать, что пора мечтаний для него миновала, что он утратил веру, отцвел для наслаждений и потерял вкус в них; по крайней мере за год до выхода из юнкерской школы (1833 г.), мечтая об офицерских эполетах и рисуя план своей жизни по окончании школьного курса, он писал, что сохранил потребность только в чувственных удовольствиях, в счастье осязательном, в таком, какое покупается золотом и которое можно носить с собою в кармане, как табакерку, чтобы оно только обольщало его чувства, оставляя в бездействии его усталую душу. В этой печальной повести поэта о своем нравственном разорении, конечно, не все действительный житейский опыт, а есть и доля поэтической мечты, есть даже немало заимствованных со стороны, вычитанных образов, принятых за свою собственную мечту. Но мысль, рано и долго питавшаяся такими образами и чувствами, должна была покрыть в глазах поэта людей и вещи тусклым светом; настроение уныния и печали, первоначально навевавшееся случайными, хотя бы даже призрачными впечатлениями, незаметно превращалось в потребность или в «печальную привычку сердца», говоря словами поэта. Это настроение, столь неблагоприятное для нравственного роста поэта, имело, однако, благотворное действие в другом отношении. Утомляемый или возбуждаемый впечатлениями, приносимыми со стороны, он рано начал искать пищи для ума в себе самом, много передумал, о чем редко думается в те годы, выработал то умение наблюдать и по наружным приметам угадывать душевное состояние, которое так ярко уже блестит местами в его ранней и наивной, но необыкновенно живой и бойкой *Повести*. Историю этих ранних и любимых дум своих, смутных, тревожных и настойчивых, он сам рассказал в стихотворении, помеченном 11 июня 1831 г. (*Моя душа, я помню, с детских лет*). Эта пьеса, которую можно назвать одной из первых

глав поэтической автобиографии Лермонтова, показывает, как рано выработалась в нем та неутомимая, вдумчивая, привычная к постоянной деятельности мысль, участие которой в поэтическом творчестве вместе с удивительно послушным воображением придает такую своеобразную энергию его поэзии.

Всегда кипит и зреет что-нибудь
В моем уме...

Было бы очень жаль, если бы чувства и манеры их выражения, рано усвоенные поэтом, дали окончательное направление его поэзии. Эти чувства и манеры были особенностью его поэтического воспитания, а не свойствами его поэтической природы, и послужили только средством для него глубже понять свой талант. Ранние поэтические опыты Лермонтова были пробой пера, предварительною черною работой над своим талантом. Странное дело! Чем настойчивее готовился поэт к собственным похоронам, чем больше накапливался в его уме запас мрачных и печальных дум, тем чаще прорывались в его песне светлые ноты, тем выше поднимался ее тон. Это настроение довольно рано начинает пробиваться из-под прежнего и становится особенно заметно по выходе поэта из юнкерской школы (в 1834 г.), когда он вступил в третье десятилетие своей жизни. Лермонтов иногда возвращался к прежним темам, перепевал свои старые песни под лад нового настроения. Сравните его пьесу 1830 г. *Я не люблю тебя* с пьесой 1837 г. *Расстались мы*. Тема обеих пьес одна и та же — след, оставленный в воспоминании исчезнувшего сильною привязанностью, но мотивы различны. В первой пьесе ее образ, оставшийся в его душе, служит ему только бессильным напоминанием умчавшегося сна страстей и мук; во второй пьесе этот образ сохраняет еще силы своего подлинника над своим носителем, который не может разлюбить его как призрак своих лучших дней; самый момент, схваченный поэтом, оттенен несколько различно в обеих пьесах: в первой это разрыв, во второй — как будто только разлука. Эта перемена настроения сказалась и в новой развязке, какую дал поэт *Демону* в окончательной редакции поэмы: Тамара не достается навсегда духу-искусителю; ей все прощается за то, что она много страдала и любила. Новое настроение выразилось в целом ряде поэтических образов, кото-

рые каждый из нас так хорошо помнит смолоду. Мятажный парус, просящий бури, как будто в бурях есть покой, пустынные пальмы, наскучившие своим спокойным одиночеством и поплатившиеся жизнью за удовлетворенное желание порадовать чей-нибудь благосклонный взор, дубовый листок, оторвавшийся от родной ветви и на далекой чужбине напрасно просящий приюта у молодой избалованной чинары, одинокий старый утес, тихонько плачущий в пустыне после разлуки с погостившей у него золотой тучкой, наконец, этот двойной Сон, поражающий красотой скрытой в нем печали, в котором он, одиноко лежа в знойной долине Дагестана с пулей в груди, видит во сне, как ей среди веселого пира грезится его труп, истекающий кровью в долине Дагестана, — как непохожи эти образы на прежде ласкавшую воображение поэта дикую картину бурного океана, замерзшего с поднятыми волнами, в театральном виде мертвленного движения и беспокойства! В этих образах и жажда тревог и волнений без цели, без мысли о счастье, просто как привычная потребность беспокойного сердца, и грустная ирония жизни над горделивым и самолюбивым желанием стать источником счастья и радостей для других, и уединенная грусть о мимолетно скользнувшем счастье, и упрек бессердечному самодовольству счастливых людей, и безмолвная без жалоб обоюдосторонняя заочная скорбь разрываемого смертью взаимного счастья без возможности утешить друг друга в минуту разлуки — все мотивы, мало отвечающие эпопее бурных страстей, самодовольной тоски и гордого страдания, которыми проникнуты ранние произведения поэта. Наконец, ряд надменных и себялюбивых героев, все переживших и передумавших, брезгливых носителей скуки и презрения к людям и жизни, у которой они взяли все, что хотели взять, и которой не дали ничего, что должны были дать, завершается спокойно грустным библейским образом пророка, с беззлойною скорбью ушедшего от людей, которым он напрасно проповедовал любви и правды чистые ученья. Демонические призраки, прежде владевшие воображением поэта, потом стали казаться ему «безумным, страстным, детским бредом». То был не перелом в развитии поэтического творчества, а его очищение от наносных примесей, углубление таланта в самого себя. Новые образы постепенно выступали

из беспорядочных и смутных юношеских видений, новые мотивы складывались из нестройных порывистых впечатлений по мере того, как зревшая мысль очищала их от тяжелого бреда неустановившейся фантазии. Лермонтов не выращивал своей поэзии из поэтического зерна, скрытого в глубине его духа, а, как скульптор, вырезывал ее из бесформенной массы своих представлений и ощущений, отбрасывая все лишнее. У него не ищите того поэтического света, какой бросает поэт-философ на мироздание, чтобы по-своему осветить соотношение его частей, их стройность или нескладицу, у него нет поисков смысла жизни; но в ее явлениях он искал своего собственного отражения, которое помогло бы ему понять самого себя, как смотрятся в зеркало, чтобы уловить выражение своего лица. Он высматривал себя в разнообразных явлениях природы, подслушивал себя в нестройной разноголосице жизни, перебирал один поэтический мотив за другим, чтобы угадать, который из них есть его собственный, его природная поэтическая гамма, и, подбирая сродные звуки, поэт слил их в одно поэтическое созвучие, которое было отзвуком его поэтического духа. Это созвучие, эта лермонтовская поэтическая гамма — грусть как выражение не общего смысла жизни, а только характера личного существования, настроения единичного духа. Лермонтов — поэт не мирозерцания, а настроения, певец *личной грусти*, а не *мировой скорби*.

Мировая скорбь и личная грусть — между этими настроениями больше разницы, чем между словами, их выражающими. В лексиконе это синонимы, в психологии — почти антитезы. Психический процесс, который вводит в состояние мировой скорби, чаще всего называют разочарованием. Разочароваться — значит утратить веру в свой идеал, не самый идеал, а только веру в него, выйти из его обаяния. Идеал как мыслимый и желаемый порядок или поэтический обзор остается, только исчезает вера в его действительность или осуществимость. Можно сохранять убеждение в пригодности известного идеала для людей вообще и при этом потерять уверенность, годятся ли *эти* люди для *такого* идеала. Когда разрушается самый идеал, т. е. сознается его нелепость, тогда наступает не разочарование, а отрезвление. Но последнее состояние не может быть источником никакой скорби. Отрезвленный радуется торже-

ству здравого смысла над нелепою мечтой; разочарованный скорбит о торжестве нелепой действительности над разумным стремлением. Грусть — ни то, ни другое; ее источник — не торжество рассудка и не поражение идеала. Грусть — чувство довольно простое само по себе; но, как все такие чувства, она тем труднее поддается анализу. Ее понимаешь, пока чувствуешь, и перестаешь чувствовать, как только начнешь разбирать. По крайней мере, что такое грусть Лермонтова? Он был поэтом грусти в полном художественном смысле этого слова: он создал грусть как поэтическое настроение, из тех разрозненных ее элементов, какие нашел в себе самом и в доступном его наблюдению житейском обороте. Потому не психологию надобно призывать для объяснения его поэзии, а его поэзия может пригодиться для психологического изучения того настроения, которое служило ей источником.

Грусть стала звучать в песне Лермонтова, как только он начал петь:

И грусти ранняя на мне печать; . .

Она проходит непрерывающимся мотивом по всей его поэзии; сначала заглушаемая звуками, взятыми с чужого голоса, она потом становится господствующею нотой, хотя и не освобождается вполне от этих чуждых звуков. Некоторыми наружными признаками и переходными моментами своей поэзии Лермонтов близко подходил к разным скорбным мирозерцаниям, философским или поэтическим, и к разочарованному презрению жизни и людей, и к пессимизму, который относится к мировому порядку, как брюзгливый учитель к торопливому экспромту рассеянного школьника, и к желчной спазматической тоске Гейне, для которой мир — досадно расстроенный музыкальный инструмент, а жизнь — раздражающая логика противоречий. Но все это — целые мирозерцания, создающие скорбное настроение. Поэзия Лермонтова — только настроение без притязания осветить мир каким-либо философским или поэтическим светом, расширяться в цельное мирозерцание. Притом некоторыми частями своего психологического состава это настроение существенно отличается от всех видов скорби. Скорбь есть грусть, обостренная досадой на свою причину и охлажденная снисходительным сожалением

о ней. Грусть есть скорбь, смягченная состраданием к своей причине, если эта причина — лицо, и согретая любовью к ней. Скорбеть значит прощать того, кого готов обвинять. Грустить — значит любить того, кому страдаешь. Еще дальше грусть от мировой скорби. Эта последняя вызывается общею причиной, которая всех равно касается и если не во всех возбуждает скорбь, то носителей скорби заставляет скорбеть за всех. Грусть всегда индивидуальна, вызывается отражением житейских явлений в личном сознании и настроении. Но простое по своему психологическому составу, это настроение довольно сложно по мотивам, его вызывающим, и по процессу своего образования. Люди живут счастьем или надеждой на счастье. Грусть лишена счастья, не ждет, даже не ищет его и не жалуется.

У неба счастья не прошу
И молча зло переносу

Однако это не есть состояние равнодушия, наступающее, когда простятся с счастьем и всеми надеждами на него. Это равнодушие достигается тем, что перестают любить, чего не удалось добиться, заставляют себя думать, что не стоит желать, на что напрасно надеялись. И в грусти теряют надежду достигнуть желаемого и любимого и даже мирятся с этою безнадежностью, но не теряют ни любви, ни желания. Что же любят и зачем желают? А желают, чтобы было что любить, и любят самое это желание. Потребность любить создает любимые предметы; жизнь может уничтожить их, но потребность остается, как «печальная привычка сердца». Человек не легко поддается ударам судьбы или капризам случая; бороться с ними — его нравственная гордость. Его любовь можно заставить отказаться от всего любимого и даже примириться с утратой, с своим горем, но нельзя заставить отказаться от самой себя, совершить самоубийство; когда ничего не останется любить, она обратится на самое себя, будет любить свое собственное горе. Странное и, может быть, не совсем нормальное состояние, но довольно обыкновенное в действительности. Так муж продолжает любить жену, покинувшую его для другого; так вдова ходит на кладбище на свидание со своим покойником. Что продолжают они любить? Конечно, не чужую любовницу и не скелет, засыпанный

землей. Оба они продолжают любить свое прежнее чувство, которым жили и которым не хотят поступиться: одна — в угоду произволу смерти, другой — в угоду произволу чужого сердца. В сильном и негибком характере это чувство может так исключительно сосредоточиться на одном впечатлении, что дальнейшие только напоминают и освежают его, не вытесняя, хотя бы давно уже не существовало предмета, его произведшего. Эта моноomania сердца с поэтической силой выражена Лермонтовым в стихотворении *Нет, не тебя так пылко я люблю*:

В твоих чертах ишу черты другие;
В устах живых уста давно немые.

Наконец, как часто плачут, чтобы не тосковать, и грустят, чтобы не злиться! Значит, в грусти, как и в слезах, есть что-то примиряющее и утешающее. Вызываемая потребностью продолжить погибшее счастье или заменить не сбывшееся, она сама становится нравственной потребностью как средство борьбы с невзгодами и обманами жизни:

...Сладость есть
Во всем, что не сбылось...

Усилиями сердца можно усладить и горечь обманутых надежд. Правда, все это напоминает медведя, который с голода сосет собственную лапу. Но чем ненормальнее такой диеты настроение печального поэта, влюбляющегося в собственную печаль? Человек, переживший опустошение своей нравственной жизни, не умея вновь населить ее, старается наполнить ее печалью об этом запустении, чтобы каким-нибудь стимулом поддержать в себе падающую энергию. Никто из нас никогда не забудет одной из последних пьес Лермонтова, которая всегда останется единственной по неподражаемому сочетанию энергического чувства жизни с глубокою, скрытою грустью, — пьесы, которая своим стихом почти освобождает композитора от труда подбирать мотивы и звуки при ее переложении на ноты: это стихотворение *Выхожу один я на дорогу*. Трудно найти в поэзии более поэтическое изображение духа, утратившего все, чем возбуждалась его деятельность, но сохранившего жажду самой деятельности, одной деятельности, простой, беспредметной. Не уцелело ни надежд, ни даже сожалений;

усталая душа ищет только покоя, но не мертвого; в вечном сне ей хотелось бы сохранить биение сердца и восприимчивость любимых внешних впечатлений. Грусть и есть такое состояние чувства, когда оно, утратив свой предмет, но сохранив свою энергию и от того страдая, не ищет нового предмета и не только примиряется с утратой, но и находит себе пищу в самом этом страдании. Примирение достигается мыслью о неизбежности утраты и внутренним удовлетворением, какое доставляет стойкое чувство. В этом моменте грусть встречается и расходится с радостью: последняя есть чувство удовольствия от достижения желаемого; первая есть ощущение удовольствия от мысли, что необходимо лишение и что его должно перенести. Итак, источник грусти — не торжество нелепой действительности над разумом и не протест последнего против первой, а торжество печального сердца над своею печалью, примиряющее с грустной действительностью. Такова по крайней мере грусть в поэтической обработке Лермонтова.

Как и под какими влияниями сложилось такое настроение поэта? Своим происхождением оно тесно соприкасается с нравственною историей нашего общества. Поэзия Лермонтова всегда останется любопытным психологическим явлением и никогда не утратит своих художественных красот; но она имеет еще значение важного исторического симптома. Лермонтов — поэт по преимуществу лирический; его творчество воспроизводило почти исключительно жизнь сердца и касалось трудно уловимых ее мотивов. Господствующее место среди мотивов этой жизни занимает личное счастье. Вопрос об этом счастье, о том, в чем оно состоит и как достигается, всегда составлял важную и тревожную задачу для человеческого сердца. Поэзия Лермонтова подходила к этому вопросу с обратной его стороны, с изнанки, если можно так выразиться: она пыталась указать, в чем не следует искать счастья и как можно без него обойтись. Ныне вопрос о счастье не любят ставить во всем его объеме. Состав счастья так осложнился, что не выдержал прежней своей цельности и распался на разнообразные свои элементы, на специальности. В обществе говорят о богатстве, гигиене, гражданских добродетелях, талантах, успехах по службе или среди женщин; говорить о счастье вообще позволяется только очень молодым девицам,

притом лишь монологически, подобно профессору, при общем молчании аудитории, да и это допускается лишь потому, что за одними девицами оставлено пока право быть наивными в обществе. В состав счастья вошло столько разнообразных благ, что самый смелый эвдемонический аппетит не надеется сладить со всеми. Каждый, смотря по напряжению и растяжимости своих желаний, выбирает себе какое-либо одно благо или подбирает несколько сподручных благ и на их достижении вырабатывает силы своего ума и сердца, разучивая более и менее высокую октаву счастья. Поверхностный и всеобъемлющий, т. е. за все хватающийся дилетантизм признан неудобным и в сердечной жизни, как во всякой другой; в интересе технического успеха рядом с разделением труда усиливается и специализация наслаждений. Так, стремление к счастью раздробилось на отдельные житейские *охоты*, своего рода спорты сердца. Самое слово *счастье* стало непопулярно, потеряло свое прежнее обаяние и приобрело специфический, немного приторный запах женского института. Это потому, что над счастьем много смеялись легкомысленные люди, а люди серьезные перестали ясно понимать значение этого слова. Но если пострадали ясность понимания и цельность вкуса счастья, то культ его сохранил прежнюю силу. Не все отчетливо понимают, что такое счастье вообще; но то конкретное, что разумеют под этим словом, те специальные блага, которые выбирает себе каждый из общего запаса счастья, составляют смысл, цель и сильнейший стимул личного существования. Идею счастья мы прививаем к своему сознанию воспитанием, оправдываем общим мнением людей, наконец, извиняем всеми инстинктами своей природы. Разружьте эту идею, и мы перестанем понимать, для чего родимся и живем на свете. Мы менее огорчаемся, когда безуспешно ищем счастья, чем когда не находим его там, где искали. Так жаждущие в знойной пустыне более удовлетворяются раздражающим призраком воды, чем простою мыслью, что воды нет. Отсутствие счастья делает нас менее несчастными, чем его невозможность.

Были, однако, сострадательные попытки освободить людей от идолослужения этой идее, заставить их усилиями ума и сердца, напряженною работой над своею волей отказаться от личного земного счастья как от обя-

зательной цели жизни, священной заповеди блаженства. Один из процессов этой эмансипации от ига счастья особенно знаком каждому из нас. С наименьшим трудом удастся эта работа простым верующим христианам. Они не знают ни философских, ни физиологических оправданий учения об эвдемонизме, о житейском благополучии, а воспитание в духе долга и смирения регулирует у них деятельность инстинктов. Так создается очень простой и ясный взгляд на жизнь. Правило жизни — самоотвержение. Не мир своими благами обязан служить притязаниям лица, а лицо своими делами обязано оправдать свое появление в мире. Стрдание признается благодатным призывом к этому оправданию, а житейская радость — напоминанием о ее незаслуженности. Христианин растворяет горечь страдания отрадною мыслью о подвиге терпения и сдерживает радость чувством благодарности за незаслуженную милость. Эта радость сквозь слезы и есть христианская грусть, заменяющая личное счастье. Христианская грусть слагается из мысли, что личное существование должно служить целям мирового порядка, следовать путям провидения, и из чувства, что *мое* личное существование не оправдывает этого назначения; значит, она слагается из идеи долга и чувства смирения. Говорим о христианской грусти не по нравственному христианскому вероучению, которое учит не грустить, а надеяться и любить; разумеем грусть, какую она является в домашней практике христианской жизни, терпимой христианским нравоучением. Неподражаемо просто и ясно выразил эту практическую христианскую грусть истовый древнерусский христианин царь Алексей Михайлович, когда писал, утешая одного своего боярина в его семейном горе: «И тебе, боярину нашему и слуге, и детям твоим черезмеру не скорбеть, а нелзя, чтоб не поскорбеть и не прослезиться, и прослезиться надобно, да в меру, чтоб бога наипаче не прогневать».

Поэтическая грусть Лермонтова была художественным отголоском этой практической русско-христианской грусти, хотя и не близким к своему источнику. Она и достигалась более извилистым и трудным путем. Лермонтов родился и вырос в среде, в которой житейские условия воспитали неумеренную жажду личного счастья. Лучи образования, искусственно и не всегда

толково проведенные в эту среду, возбудили, но не направили ее сонной мысли, не научили ее человечнее понимать людские отношения. Напротив, они сделали ее самоувереннее и притязательнее и развили в ней гастрономию личного счастья изысканными приправами; его стали искать не в одних материальных благах, не в одной бесцельной власти над ближним: науки и искусства, мировой порядок и само провидение обязаны были служить ему под опасением быть наказанными за слушание сердитым пессимизмом и неверием со стороны такого прихотливого и раздражительного мирозерцания. Среди искусственной юридической и хозяйственной обстановки, доставлявшей много досуга, но мало побуждений к размышлению, целые поколения образованных господ и госпож питались таким мирозерцанием, жертвуя прямыми своими интересами и обязанностями усилиям воспитать в своей среде безукоризненные образцы тонкого вкуса и изысканного общежития. Эти поколения и создали ту удивительную культуру сердца, которая утонченностью и ненужностью воспитанных ею чувств, соединенных с крайне неустойчивою нервной и моральною системой, так напоминает старинную барскую теплицу с ее дорогою и прихотливою флорой, способною занять ботаника только разве тем, что она служила удачным опытом борьбы с климатом и хозяйственным смыслом. По лучшим произведениям нашей беллетристики пятидесятых и шестидесятых годов еще памятно превосходно изображенные образчики этой тепличной, нервной, сентиментально-вялой и нравственно-уступчивой культуры.

Сильному уму не много нужно было усилий, чтобы понять противоречие столь искусственно сложившейся и хрупкой среды. Лермонтов стал к ней в двусмысленное отношение. Родившись в ней и привыкнув дышать ее воздухом, он не восставал против коренных ее недостатков; напротив, он усвоил много дурных ее привычек и понявший, что делало столь неприятным его характер, как и его обращение с людьми. Редко платят такую тяжелую дань предрассудкам и порокам своей среды, какую заплатил Лермонтов. Он был блестящею иллюстрацией и печальным оправданием пушкинского *Поэта*, в минуты безделья, пока божественный глагол не касался его слуха, умел быть ничтожней всех ничтожных детей мира

или по крайней мере любил таким казаться. Но при таком практическом примирении с воспитавшею его средой тем неодолимее было его нравственное отчуждение от нее. Он как будто мстил ей за противные жертвы, какие принужден был ей принести, и при каждой оглядке на себя в нем вспыхивала горькая досада на это общество, подобная той, какую в увечном человеке вызывает причина его увечья при каждом ощущении причиняемой им неловкости. Поэт

.. по праву мести
Стал унижать толпу под видом лестии..

По его признанию, общество всегда казалось ему собранием людей бесчувственных, самолюбивых в высшей степени и полных зависти, к которым он с безграничным презрением обращал свою ненависть. При виде этого «надменного, глупого света с его красивой пустотой» как ему хотелось дерзко бросить этому свету в глаза железный стих, облитый горечью и злостью! Но Лермонтову не из чего было выковать такой стих, и он не стал сатириком. В его стихе иногда звучала сатирическая нота, он был способен на злую и горькую остроту, но был лишен той острой горечи и злости, какую необходимо полить сатирический стих. У Лермонтова было слишком много лиризма, под действием которого сатирический мотив растворялся в элегическую жалобу, как это случилось с его *Думой*. Очень рано и выразительно сказала эта связь сатирического негодования с ослабляющею его грустью в одной мимолетной заметке 16-летнего поэта, уцелевшей в его тетради 1830 г.: «в следующей сатире всех разругать и одну грустную строфу». А потом, во имя чего восстал бы Лермонтов против порядков, нравов и понятий современного общества, во имя каких правил и идеалов? Ни вокруг себя, ни в себе самом не находил он элементов, из которых можно было бы составить такие правила и идеалы; ни наблюдение, ни собственное миросозерцание не давали ему положительной сатирической темы, без которой сатира превращается в досужее зубоскальство. Лучшее, что он мог заимствовать у своего общества, была все та же эстетическая культура сердца, заменявшая нравственные правила тонкими чувствами, общественные и другие идеалы — мечтами о личном счастье. Он возмущался против общества, среди

которого вращался, но мирился с общежитием, к которому привык.

Я любил
Все обольщенья света, но не свет...

Однако он чувствовал, что этими обольщениями он нравственно связан и с самим нелюбимым светом, и не мог порвать этой связи, хотя порой и стыдился ее. От этого света вместе с понятиями и привычками унаследовал он и раннюю возбужденность чувств, которой сам дивился и которой любил наделять своих героев: трех лет он плакал, растроганный песнью матери, десяти лет был уже влюблен. Ему тяжело было поднимать сатирический бич на это общежитие, хотя порой он и хлестал им самое общество и даже страдал за это. Ему пришлось бы бить по собственным больным местам, до которых и без того было больно дотронуться. Не имея сил бичевать испорченное общежитие, с которым он так тесно соприкасался, он обратил печальную мысль на болезни, которыми сам заразился через это соприкосновение. Эта печаль прошла две фазы в своем развитии. Первая была порой бурного и ожесточенного разочарования. Прежде всего своею тревожною мыслью и тонким чутьем поэт постиг пустоту и призрачность тех благ, из которых люди его общества строили свое личное счастье и в которых он сам искал его.

И презирал он этот мир ничтожный,
Где жизнь — измен взаимных вечный ряд,
Где радость и печаль — все призрак ложный,
Где память о добре и зле — все яд.

Это зрелище развеяло его собственные юношеские мечты и отравило ему вкус жизни. Бывало, и он молил о счастье. Теперь

..тягостно мне счастье стало,
Как для царя венец..

После, незадолго до смерти, в *Валерике*, поражающим сосредоточенною и жестокою печалью, которую так редко выдерживал Лермонтов, он в сжатой, как бы схематической исповеди изложил ход своего разочарования, последовательными моментами которого были: любовь,

страдание, бесплодное раскаяние и, наконец, холодное размышление, убившее последний цвет жизни. Невозможно счастье, так и не нужно его, — таков был несколько надменный и детски-капризный вывод, вынесенный поэтом из первых житейских испытаний. Но эти самые утраты и поражение «сердца, обманутого жизнью», помогли поэту одержать важную победу над своим сомнением. Верный духу и мирозерцанию своей среды, он начал сознательную жизнь мыслью, что он — центр и душа мирового порядка. В одном письме 18-летний философ, размышляя о своем «я», писал, что ему страшно подумать о том дне, когда он не будет в состоянии сказать: я, и что при этой мысли весь мир превращается для него в ком грязи. Теперь он стал скромнее и в *Думе* пропел похоронную песню ничтожному поколению, к которому принадлежал сам. Эта победа облегчила ему переход в новую фазу его печального настроения, в состояние примирения с своею печалью. Он переставал волноваться и скорбеть о своей «пустынной душе», опустошенной «бурями рока», и понемногу населял ее мирными желаниями и чувствами. Наскучив бурями природы и страстей, он начинал любить

Поутру ясную погоду,
Под вечер тихий разговор, . . .

Присматриваясь к этим мирным явлениям природы и к тихим разговорам людей, он стал чувствовать, что и счастье может он постигнуть на земле, и в небесах видит бога. Счастье возможно, только надобно сберечь способность быть счастливым, а если она утрачена, следует довольствоваться пониманием счастья: так переиначился теперь прежний взгляд поэта. Из этого признания возможности счастья и из сознания своей личной неспособности к нему и слагалась грусть Лермонтова, какой проникнуты стихотворения последних шести-семи лет его жизни.

Теперь может показаться странным и непонятным процесс, которым развивалось поэтическое настроение Лермонтова. Это развитие, конечно, направлялось особенностями личного характера и воспитания поэта и характером среды, из которой он вышел и которая его воспитала. Изысканно тонкие чувства и мечтательные страдания, через которые прошла поэзия Лермонтова,

прежде чем нашла и усвоила свое настоящее настроение, теперь на многих, пожалуй, произведут впечатление досужих затей старого барства, и нужно уже историческое изучение, чтобы понять их смысл и происхождение. Но самое настроение этой поэзии совершенно понятно и без исторического комментария. Основная струна его звучит и теперь в нашей жизни, как звучала вокруг Лермонтова. Она слышна в господствующем тоне русской песни — не веселом и не печальном, а грустном. Ее тону отвечает и обстановка, в какой она поется. Всмотритесь в какой угодно пейзаж русской природы: весел он или печален? Ни то, ни другое: он грустен. Пройдите любую галерею русской живописи и вдумайтесь в то впечатление, какое из нее выносите: весело оно или печально? Как будто немного весело и немного печально: это значит, что оно грустно. Вы усиливаетесь припомнить, что где-то было уже выражено это впечатление, что русская кисть на этих полотнах только иллюстрировала и воспроизводила в подробностях какую-то знакомую вам общую картину русской природы и жизни, производящую на вас то же самое впечатление, немного веселое и немного печальное, — и вспомните *Родину* Лермонтова. Личное чувство поэта само по себе, независимо от его поэтической обработки, не более как психологическое явление. Но если оно отвечает настроению народа, то поэзия, согретая этим чувством, становится явлением народной жизни, историческим фактом. Религиозное воспитание нашего народа придало этому настроению особую окраску, вывело его из области чувства и превратило в нравственное правило, в преданность судьбе, т. е. воле божией. Это — русское настроение, не восточное, не азиатское, а национальное русское.

На Западе знают и понимают эту *резиньяцию*; но там она — спорадическое явление личной жизни и не переживалась как народное настроение. На Востоке к такому настроению примешивается вялая, безнадежная опущенность мысли и из этой смеси образуется грубый психологический состав, называемый фатализмом. Народу, которому пришлось стоять между безнадежным Востоком и самоуверенным Западом, досталось на долю выработать настроение, проникнутое надеждой, но без самоуверенности, а только с верой. Поэзия Лермонтова, освобождаясь от разочарования, навеенного жизнью

светского общества, на последней ступени своего развития близко подошла к этому национально-религиозному настроению, и его грусть начала приобретать оттенок поэтической резиньяции, становилась художественным выражением того стиха-молитвы, который служит формулой русского религиозного настроения: *да будет воля твоя*. Никакой христианский народ своим бытом, всею своею историей не прочувствовал этого стиха так глубоко, как русский, и ни один русский поэт доселе не был так способен глубоко проникнуться этим народным чувством и дать ему художественное выражение, как Лермонтов.

И. Н. БОЛТИН

(умер 6 октября 1792 г.)

Сто лет прошло со смерти Болтина. Имя этого русского историка давно забыто, а его труды по русской истории перестали читать, кажется, даже раньше, чем перестали помнить имя их автора. Его тяжеловесные фолианты давно вышли из состава оборотной русской исторической литературы, которой питается русская любознательная публика, и отложены в запасный фонд русской историографии, до которого редко дотрагивается даже рука специалиста. Шлецер своим критическим исследованием о Несторе, изданным в начале нынешнего столетия, отодвинул Болтина от внимания исследователей отечественной истории, а Карамзин своим блестящим трудом закрыл его от глаз читающей русской публики. Но в свое время Болтин пользовался известностью как знаток русской истории. Сам надменный Шлецер, с немецким пренебрежением относившийся ко всем русским исследователям русской истории, для Болтина допускал исключение, признавая его единственным русским историком, кое-что смыслившим в истории своего отечества. Пользуясь столетнею годовщиной Болтина, можно вспомнить этого историка и не столько его самого, сколько его время, те условия, при которых выработывалась историческая мысль этого писателя, не самого блестящего, но одного из самых умных и приятных русских писателей XVIII в. На поминках говорят не столько о самом покойнике, сколько о том, что любил он, а Болтин больше всего любил Россию своего времени.

Он был сам виноват в том, что его учено-литературная известность была так скоротечна. Прежде всего он

сам слишком мало заботился о приобретении и упрочении такой известности. Он не был ученым-историком по профессии. Его практическая деятельность шла вдали от летописей и архивов: начав службу рядовым конногвардейского полка, он продолжал ее чиновником таможенного ведомства и кончил генерал-майором и членом военной коллегии. К этому надобно прибавить, что Болтин был деловитым и добросовестным служакой, а потому не располагал большим досугом. Но он находил время учиться, много читал и с особенным прилежанием собирал втихомолку сведения по русской истории, считая знакомство с родною стариной нравственною обязанностью образованного человека. Русскому образованному человеку того времени было гораздо труднее исполнить эту обязанность, чем теперь: тогда это не значило выслушать курс русской истории в высшем учебном заведении или прочесть несколько популярных сочинений по этому предмету. Тогда надобно было самому кропотливо собирать источники и разбираться в них, запасаться вспомогательными средствами для их чтения и истолкования, наводить мелочные справки; в то время, чтобы быть студентом русской истории, необходимо было стать для самого себя профессором этого предмета.

Правда, тогда существовали уже два важные пособия, значительно облегчавшие труд изучения отечественной истории. Одно из них состояло в появлении любительских собраний отечественных древностей. В наше время занимающемуся изучением русской истории открыто много казенных и общественных древлехранилищ, музеев и архивов, в которых собраны разнообразные памятники русской старины, письменные и вещественные; есть и частные богатые коллекции, любезные владельцы которых радушно делятся своими сокровищами с теми, кто в них нуждается. В прошедшем столетии собрания первого рода были неизвестны или трудно доступны, а последние очень редки. Было богатое собрание рукописей по русской истории у отца русской научной историографии В. Н. Татищева, но оно сгорело вскоре по смерти владельца в его подмосковском имении (умер в 1750 г.). Известный академик и историограф Миллер также скопил обильный запас рукописных материалов по русской истории, который был куплен императрицей Екатериной II и вошел в состав московского архива

Министерства иностранных дел. Много старинных рукописей и бумаг осталось после комиссара и подрядчика времен Петра I Крекшина, пытавшегося описать жизнь преобразователя и долго собиравшего материалы для его истории. Эти рукописи и бумаги были потом куплены А. И. Мусиным-Пушкиным и вошли в состав его драгоценной рукописной библиотеки, той библиотеки, гибель которой в московский пожар 1812 г. никогда не перестанет вызывать тяжелый вздох из груди всякого, кто не считает изучения русской истории бесполезным делом. Этот самый граф Мусин-Пушкин, церемониймейстер двора, а потом обер-прокурор св. Синода и президент академии художеств, был типическим представителем образовавшегося в царствование Екатерины II кружка «любителей отечественной истории», как они сами себя называли.

Это коллекционное любительство и надобно признать вторым важным пособием, много содействовавшим успешному изучению русской истории во второй половине прошлого столетия. Немного странно ставить наклонность к собиранию памятников родной старины, спорт своего рода, в числе научных исторических пособий наряду с географическими картами, указателями, словарями и т. п. Но эта наклонность у Мусина-Пушкина и его ученых друзей осложнялась такими качествами, соединена была с такими задачами, благодаря которым ее грешно было бы назвать простым спортом. Эта наклонность поддерживалась в них таким взглядом на дело и такую любовью к нему, которыми они умели до некоторой степени восполнять недостаток технических пособий и одолевать научные затруднения, какие ставил этот недостаток изучению отечественной истории. Их антикварский дилетантизм поддерживался побуждениями, не похожими на те, коими руководились Татищев и Миллер. Эти последние имели в виду цели практического или профессионального свойства. Первый из них, деловой человек суровой петровской школы, горный чиновник-золотоискатель, а потом губернатор, приведен был к собиранию и ученой обработке материалов для истории и географии России государственною нуждой, административною потребностью в исторических и географических справках. Для второго эта работа была делом по долгу службы, как русского академика и

историографа по штатной должности с окладом. В любителях русской старины, подобных Мусину-Пушкину, можно заметить некоторую родственную связь с практическим взглядом Татищева на дело: и они видели в своем занятии служение на пользу отечества. Но, как занятие добровольное, не положенное в число штатных обязанностей русского гражданина, оно соединено было с неприятностями и требовало некоторой доли самоотвержения, гражданского мужества. Не говорим о том, что такой любитель-коллекционер на каждом шагу подвергался опасности потратить даром время и деньги, впасть в забавную погрешность по самой новости дела, по недостатку технических пособий. В образованном русском обществе того времени оставалось еще немало людей, не умевших растолковать себе смысла этого патристическо-археологического донкихотства. Они видели в этом занятии досужую затею, привлекательную разве только по своей бесспорной ненужности, и, слыша о жертвах, приносимых этому странному делу, разводили руками с таким же комичным удивлением, с каким встретили бы мы газетное известие о спортсмене, решившемся проползти ничком от Москвы до Петербурга. Зато и наши спортсмены «родной старины» мстили своим насмешникам самым беспощадным христианским великодушием: они не только весело, без ненависти и злости шли по саркастическому терновнику, которым усыпали их плохо протоптанный путь, но даже находили досуг выражать сожаление о людях, которые принимали на себя неблагодарный и непосильный труд смеяться над ними. Так, Мусин-Пушкин, говоря в одном из своих ученых изданий о людях модного французского воспитания, тех самых людях, которые особенно ядовито глумились над любителями старины и более всего отечественной старины, с непритворною жалостью скорбит о том, что, привыкши просыпаться за полдень, никогда не видали они красоты солнечного восхода и не испытали удовольствия слушать утреннее божие славословие. Это были превосходные живые сюжеты для тогдашнего водевиля; но они несколько не боялись опасности увидеть в театре самих себя из партера на сцене. Такой счастливый характер, надобно думать, вырабатывался в них при помощи их своеобразного отношения к предмету своей охоты: в свою возню с манускриптами они вносили такой взгляд на

дело или, выражаясь любимым словечком их же собственного изделия, такое «умоначертание», которое помогало им не только побеждать технические трудности чтения и разумения древних летописей и актов, но даже понимать и ценить столь обветшалое и отсталое нравственное и политическое мирозерцание, какое светится сквозь неуклюжие и неразборчивые строки этих незанимательных для тогдашнего философского ума и сердца произведений отжившего суеверия и произвола. Эти археологические Плюшкины были не простые любители-собиратели от скуки или по дурной привычке, а набожные поклонники отечественной старины; собирание древнего письменного тряпья и металлического хлама было для них не развлечением от нечего делать, а делом пietetа, нравственно-патриотического влечения, одним из способов служения человечеству, как тогда любили говорить. Среди пыльной ветоши, уцелевшей от родной старины наперекор времени и на зло тогдашним абстрактным инженерам будущего, для наших наивных и конкретных любителей старины не было вещей нужных и ненужных, памятников более важных и менее важных: всякая древняя русская рукопись, всякая древняя монета, найденная в пределах России, еще прежде, чем они успевали ее прочесть и обследовать, самим своим видом, каждая по-своему, вещала им о родной старине, была наглядным и осязательным выражением ее духа. На их благоговейный археофильский взгляд эти ветхие хартии и свитки в своих таинственных складках хранили то, что выветрилось из легкомысленных современных умов и сердец, добрые обычаи старины, «отцов наших почтенные нравы», черты самобытного национального характера. Это не могильные памятники с печальными надписями об угасшей жизни; это молчаливые сторожа, оставленные при народном сокровище на время иноземного нашествия и ждущие возврата хозяина — русского национального самосознания. Наши любители, кажется, и на самих себя начинали смотреть тоже как на сторожей, приставленных оберегать собираемые ими памятники до появления историографа, который бы по ним достойно воссоздал историю отечества. Не считая себя призванными к такому делу, они относились довольно платонически к вещам, которыми они так дорожили. Внимательно рассматривая скопидомно собираемые ими

рукописи, «извлекая из-под спуда кроющиеся в них и свету неизвестные древности нашей отрывки», они обогащали свои исторические познания и при этом на каждом шагу встречали любопытные новости, иногда делали и капитальные открытия, от которых затуманились бы глаза у современного специалиста. находка Мусиным-Пушкиным *Слова о полку Игореве*, изданного им в 1800 г., была блестящим завершением патриотических усилий наших антиквариетов-любителей XVIII в. Но это были сдержанные открыватели, не спешившие выставлять напоказ свои архивные Америки; они вообще мало и осторожно издавали, особенно под своими именами, еще меньше печатали ученых исследований, довольствуясь комментариями издаваемых памятников. Это не уменьшает огромной услуги, оказанной ими русской историографии: они сберегли много драгоценных памятников нашей старины, возбуждали интерес к ней в равнодушном к предметам подобного рода обществе, и каким бы досужим бездельем ни казались еще многим в этом обществе их археологические хлопоты, они своим влиятельным положением в свете ободряли более робких и не так благоприятно поставленных работников. Вспомнить о них — значит пожалеть, что их уж нет.

Такое отношение к памятникам старины не могло не оказать действия на направление и задачи исторического их изучения, говоря точнее, это отношение само устанавливалось теми же задачами, какие ставили себе патриоты-любители при этом изучении. Отечественная история не была для них только предметом научной любознательности; они искали в ней ответов на живые практические запросы и нужды текущей жизни, надеялись найти в ней восполнение того, чего, по их мнению, недоставало современному русскому обществу. Таким образом, их любопытство вполне органическим стимулом входило в состав цельного общего взгляда, какой к концу XVIII в. установился в тесном кругу русских образованных людей на русскую историю, на задачи и приемы изучения русского прошедшего и на отношение этого прошедшего к современному положению вещей.

Обдуманное и своеобразное выражение этого взгляда находим в сочинениях Болтина. Он сам принадлежал к числу описанных любителей и был одним из наиболее видных по уму и образованию людей в их кругу. До-

волью трудно рассказать, каким процессом мысли и изучения выработался у него этот взгляд. У него заметно еще меньше писательского нетерпения, чем у других подобных ему любителей того времени. Он не был охотником выставлять свои ученые занятия напоказ, предпочитая вести их втихомолку, хотя и любил вместе с другими провозглашать, что извлечь из-под спуда неизвестные свету остатки русской древности значит «услужить отечеству». До преклонных лет он, по-видимому, все еще считал себя учеником, все готовился. Некоторые вскрывшиеся потом следы этой подготовки показывают, как он тяжело вооружался. Объездив чуть не всю Россию, везде ко всему прислушиваясь и присматриваясь, изучая нравы, обычаи, костюмы, говоры, промыслы и общественные отношения, он в то же время «чрез многие лета в отечественной истории упражняясь», делал выписки из русских летописей, грамот и других сочинений, составлял общий географический словарь России, изучал язык памятников древнерусской письменности и начал составлять толковый славяно-русский словарь. Вместе со светскими людьми модного французского воспитания он усердно читал наиболее популярных писателей новой французской литературы: Бэйля, Вольтера, Монтескье, Мерсье, Рейналя, Руссо и других, и в то же время изучал более старых и даже средневековых западных историков и публицистов: Лорьера, Конринга, Шопена, Буше, Клеманжи, Бомануара, не исключая и писавших по латыни Бодена с его *Методом* и Потгизера (*De conditione et statu servorum apud Germanos*). По усвоенной смолоду привычке делать выписки из читаемой книги, рукописи, документа Болтин накопил себе путем разнообразного и усидчивого многолетнего чтения огромный запас бумажного материала; после него осталось доста связок разных его рукописей, которые куплены были Екатериной II. В числе этих бумаг оказался даже сделанный Болтиным и собственноручно перебеленный перевод французской энциклопедии. Что цельного могло выработаться из такого разнообразного изучения и какое научное или практическое употребление надеялся Болтин сделать из своего запаса цитат, переводов, заметок, записок, житейских наблюдений, исторических анекдотов? Он вел эти работы для себя, «для собственного моего удовольствия», по его признанию, руководясь

своею личною любознательностью и не ставя себе никакой определенной учено-литературной цели. Но он был слишком умен, рассудителен и практичен, притом до самой смерти слишком занят по службе, чтобы стать бесцельным кабинетным мешком книжной всякой всячины, уличным коробейником своего настольного любимца Бэйлева словаря или праздным салонным разносчиком пикантных идей французских энциклопедистов. Эти разносторонние изучения и наблюдения должны были объединяться какою-нибудь более серьезною целью или по крайней мере разумным побуждением, которое и вскрылось случайно. Когда Болтину неожиданно для него самого пришлось мобилизовать для литературной полемики разнообразные исторические, географические, этнографические и другие познания, они у него оказались в готовности и обдуманно и искусно направлены были к одной цели, к возможно многостороннему и глубокому уяснению памятников и смысла отечественной старины и ее связи с настоящим состоянием России. Стало быть, эти сведения заготавливались и обрабатывались с тою же целью, хотя при этом и не имелось в виду, что какой-нибудь иностранец Леклерк заставит взяться за перо и привести весь заготовленный арсенал в боевое печатное движение. В Болтине по его характеру и «умоначертанию» при той обстановке, в какой он вращался, и без иностранца Леклерка могла родиться потребность в историческом изучении, направленном к такой цели. В самом русском обществе, как и в русской литературе того времени, стоял такой хаос исторических, политических, моралистических и разных других суждений, увлечений и недоразумений, от которого у размышляющего и восприимчивого человека могла закружиться голова и заколебаться почва под ногами, и у рассудительного патриота само собою рождалось желание собственными усилиями приобрести твердую точку опоры среди этого вавилонского столпотворения и отдать себе отчет в том, что творится вокруг, откуда все это пошло и как все это привести в порядок. Нравственно-патриотическая потребность приобрести возможную устойчивость, говоря его словами, «в защищении правды и отечества» от кривых или спутанных толков, раздававшихся вокруг, заставила Болтина приняться за разностороннее историческое изучение «для собственного удовольствия», не

помышляя об ученом авторитете. Он хотел освоиться с прошедшим и настоящим России, с прошедшим и настоящим Западной Европы; как военный человек, он считал необходимым для усиления своей боевой готовности привести себя в состояние становиться фронтом на все четыре стороны, но главный его фронт был обращен в сторону отечественной старины, наименее укрепленную и подвергавшуюся наиболее отважным нападкам со стороны «напоенных сенским воздухом гг. наших полуфранцузов», как выразился Н. И. Новиков. На этой оборонительной линии Болтин хотел приобрести полную самостоятельность, черпать научные средства из самых источников и не боялся неопытной работы их очистки, собирал и сличал летописи, проверял и восстанавливал тексты, толковал темные слова и обороты древнего языка. При сходстве интересов и понятий он сблизился с Мусиным-Пушкиным, «крайним древностей наших любителем», как он его называл, и засиживался в богатой рукописной библиотеке своего приятеля, торопливо просматривая надписи и почерк рукописей. Скрытая грусть звучит в его словах, когда он за три года до своей смерти писал, полемизируя с кн. Щербатовым, что не имел еще времени прочесть все эти заманчивые редкости, обещающие много важных открытий, как бы предчувствуя, что он уже не успеет это сделать¹.

Болтин пользовался авторитетом глубокого знатока русской истории среди людей, его знавших и интересовавшихся этим предметом. К нему обращались за указаниями, спрашивали о его мнениях; сама императрица пользовалась его содействием в своих занятиях русской историей и даже отдавала на его суровый суд то, что она, по ее выражению, «марала по истории» (*que je griffonnais sur l'histoire*). Но ему было уже 50 лет, а в русской литературе еще не появлялось прямых следов, накопленных его многолетними трудами исторических знаний. Вероятно, эти знания вместе с ним и умерли бы, если бы с 1783 г. не начала издаваться в Париже пол пышным заглавием *История древней и новой России* некоего Леклерка. Не случилось ничего особенного: французский врач по профессии и русский педагог, даже почетный член русской Академии наук, по игре случая, по авантюре, чувствительный поэт и аферист, немножко Дон-Кихот и немножко Хлестаков, Леклерк перехватил

наскоро несколько известий у своего соотечественника Левека и несколько у русских своих корреспондентов, в том числе у кн. Щербатова, и, сказав, как умел, сообщенное ему и им прочитанное, смастерил из всего этого многотомную книгу, в которой обещал изложить всестороннюю историю России, т. е. дал читателю кучу «всякой всячины», как выразился Болтин. Между прочим, новый историк наговорил немало обидных вещей для русского национального самолюбия и наделал много новых ошибок, которых не успели еще сделать другие историки России. Все это было в порядке вещей: к иностранным шипкам национального самолюбия давно уже привыкло русское общество, а в сфере новых ошибок за иностранными повествователями о России и тогда признавалось, как признается теперь, право на бесконечные новизны и открытия. Это право еще до Леклерка было подтверждено Вольтером, который на запрос, зачем он в своей книжке о Петре Великом искажил доставленные ему из России материалы, отвечал, что он не привык слепо списывать со всего, что ему присылают, что у него есть свой взгляд. Однако ворчливый старик Болтин, читая «лжи и клеветы» Леклерка на Россию, вскипятился не хуже набожного старообрядца, у которого в моленной накурили табаком, и он вознегодовал не столько на французского курильщика, сколько на нечестивый смрад, им напущенный. Он принялся писать критические примечания и писал их для себя, для удовлетворения своего возмущенного чувства, не помышляя об их издании; но, говорят, кн. Потемкин и другие приятели критика уговорили его приготовить разбор книги Леклерка к печати, а императрица в 1788 г. на свой счет издала этот труд в двух томах. Один из корреспондентов Леклерка, кн. Щербатов, сам автор обширной истории России, почувствовал себя задетым критикой Болтина и возражал. Болтин отвечал, и загорелась полемика, следствием которой были новые два тома критических примечаний Болтина на первые томы истории кн. Щербатова.

Остается поблагодарить «дерзкого клеветника и сущего вралю», как не совсем учтиво величает сердитый генерал-майор своего противника: своею легкомысленною болтовней заносный историограф заставил туземного знатока выйти из его любительского молчания и вы-

ступить с готовым цельным и стройным взглядом на прошедшее и настоящее России, т. е. с такую новостью, которая едва ли не впервые появлялась в нашей литературе с выходом толстых книг Болтина в четвертую долю листа. Но этому взгляду по самому характеру своего труда критик не мог придать цельного изложения, высказывал его по частям, осколками, когда разбираемая книга давала к тому повод. Только собирая и склеивая эти разбросанные в разных местах осколки, можно восстановить цельность и стройность исторических воззрений Болтина, впрочем, со значительными недомолвками и пробелами, которые можно восполнить только догадками.

Этот взгляд имел самую тесную связь с ходом просвещения в России XVIII в. и, рассматриваемый отдельно от него, покажется совершенно неожиданным. В самом деле, человек, имевший европейское образование, черпавший знание и идеи из тех же источников, которыми питались тогдашние русские вольтерьянцы, этот самый человек высказывал воззрения, очень близкие ко взглядам его противника кн. Щербатова, только без сентиментальности последнего. Болтин нередко выступает одним из тогдашних стародумов допетровского закала, своего рода боковым предком славянофильства, — и это со своим любимым словарем Бэйля в руках!

Такие кажущиеся несообразности в явлениях русского просвещения XVIII в. происходили оттого, что русский просвещенный человек того века при видимой своей педагогической простоте и элементарности был очень сложным умственным и нравственным составом, в который входили разные культурные элементы, притом в разнообразных сочетаниях, иногда очень досуже и замысловато придуманных. Прежде всего над этим составом много поработало законодательство, применяя его то к текущим практическим и притом материальным нуждам государства, то к отвлеченным воззрениям законодателей, руководившихся лишь снисходительным вниманием к потребностям общества, а иногда вступавшим даже в открытую полемику с его понятиями и вкусами. Достаточно припомнить превосходный в своем роде *Устав шляхетного сухопутного кадетского корпуса для воспитания и обучения благородного российского юношества 1766 г.* с сопровождающими его педагогиче-

скими трактатами, чтобы видеть, каким сложным санитарно-морально-дидактическим процессом надеялись тогдашние руководители воспитания «вкоренить в нежные сердца добронравие и любовь к трудам, словом, новым воспитанием новое бытие нам даровать и новый род подданных произвести». С своей стороны и русское общество приложило старание, чтобы еще более осложнить состав русского просвещения, вводя в воспитание юношества если не прямо антилегальные, то внелегальные и большею частью решительно антипедагогические элементы и мотивы, например знакомя 12—13-летних недоростков с пикантными произведениями тогдашней французской литературы. Благодаря этому участию общества в воспитании своего юношества предписанные педагогические программы иногда получали такое практическое исполнение и приводили к таким наглядным результатам, к таким нравственным и умственным формациям, каких и не предвидел законодатель, и он уж, конечно, не начертал бы такой программы, если бы их предвидел. Законодательству не привыкать терпеть такие неудачи. Известно, какое трудное и великое дело составить удачный закон. «Не так легко писать законы, как для больных рецепты», — ядовито замечает Болтин в одном месте Леклерку, коля ему глаза его ремеслом. Но двусторонняя рецептура русского просвещения XVIII в. не прошла легко и бесследно. Трудно объяснить, как это случилось, но можно заметить, что это просвещение начало плескаться в противоположные стороны, подобно беспорядочно взболтанной воде в мелком сосуде. В русском просвещенном обществе все заметнее выступали резкие крайности, несговорчивые контрасты, вытесняя переходные, уживчивые и житейски удобные комбинации; происходила своего рода поляризация просвещения. Взгляды обращались в противоположные стороны, потому что, как выразился один русский писатель начала XVII в. о своих современниках, каждый повертывался спиной к другому, и одни смотрели на восток, а другие на запад. Одни, познав просвещение, ничего уже не хотели знать, кроме просвещенных стран, и отворачивались от своего отечества, подобно сумарковскому петиметру, который и своего русского языка знать не хотел и жаловался, зачем он родился русским. Другие, наблюдая печальные плоды просвещения в со-

временной действительности, отворачивались от нее и от самого просвещения и переселялись помыслами и чувствами в допетровскую старину, где искали добрых нравов и самобытных понятий и находили все это, находили и много такого, чего там не было, но чего искали. Русские полуфранцузы, ослепленные светом европейского просвещения, не видели уже ничего светлого в родной среде, и она в их глазах наполнялась непроглядной тьмой, а архирусские староверы мысли, насмотревшись на эти темные пятна современного просвещения, боязливо или брезгливо закрывали глаза и мысленно переносились в прошедшее; но свет бил и на их опущенные веки, и под его болезненным действием их исторические воспоминания превращались в фантастические миражи. Так и западное просвещение, и русская действительность с обеих сторон терпели напраслину и становились без вины виноваты: первое — в том, что им не умели пользоваться и, вместо того чтобы освещать темные предметы, слепили их собственные глаза, а вторая — в том, что в ней искали того, чего не находили или находили то, чего не желали.

Зрелище странного движения представило бы русское просвещенное общество, если бы составилось только из чистых западников и восточников, повернувшихся спинами друг к другу, среди многого множества людей непросвещенных, но тоже кое о чем размышлявших, — это общество лебедя, щуки и рака. К счастью, приближительно с половины века, с того времени, когда сверстники Болтина выходили из детства, а в это общество стали проникать или в нем самом пробивались новые течения, под влиянием которых оба господствовавшие в нем непримиримые типа просвещенных людей начали разлагаться и перерождаться, образуя новые культурные составы, между которыми стали возможны мирные встречи и обоюдные уступки. Прежде всего господство Бирона и немцев, нашествие «сатаны и аггелов его», по выражению елизаветинских церковных ораторов, вместе с внешними успехами России пробудили патриотическое одушевление, чувство народной гордости. Потом под накладные французские парики стали проникать новые заносные идеи, и их встречали там тем гостеприимнее, что они были землячки этих париков, приходили с тех же сенских берегов, на которых еще до их прихода посели-

лись сердцем их новые послушные адепты. С одной стороны, «молодые кошуны, ненавидящие свое отечество», как их характеризовал потом Новиков, привыкшие пересмеять самые добродетели предков наших, под давлением патриотической возбужденности окружающих стали поджимать губы и внимательнее присматриваться к столь неожиданно для них ободрившейся отечественной действительности, а новые просветительные идеи, упавшие на бригадирских Иванушек как новая повинность светского приличия, вообще приневоливали их серьезнее смотреть на вещи. Перед этим более серьезным взглядом все заметнее выступали пятна и в западном влиянии, и в проводившей его у нас реформе Петра, с которой западники вели бытие России и свое собственное. Скептическое отношение к Западной Европе овладевало даже такими людьми, которые по своему образованию не могли быть суеверными европеями и сами много черпали из европейского культурного запаса для своего просвещения: подобно Фонвизину, они только и замечали в Европе, что там-то «во всем генерально хуже нашего», а там-то «весьма много свинства» и т. п. С своей стороны, и идиллики родной старины стали благосклоннее относиться к людям модного воспитания, замечая в них зачатки серьезного мышления; начали трезвее смотреть на отечественную старину и на Западную Европу, а что было всего важнее, пришли наконец к той простой, но всегда трудно усвояемой мысли, что великие предки не могли совершенно выродиться в негодных потомков, не оставив достойных продолжателей своего дела, что старина живет в современной действительности. Так обе стороны сделали взаимные уступки: одни поступились несколько своими западными идеалами, другие — своими противоевропейскими антипатиями и археологическими иллюзиями, а те и другие вместе — своим общим равнодушием к настоящему положению отечества. Внимание к современной действительности, расширяясь и усложняясь новыми интересами и чувствами, постепенно выросло в любовь к отечеству. Эта любовь и послужила почвой, на которой враждебные воззрения могли встретиться мирно и понять друг друга. На страницах тогдашних журналов разыгрывались любопытные полемки и высказывались характерные признания. Так, в *Зрителе* 1792 г. западник из Орла, отвечая

на упреки патриотов в наклонности унижать отечественное, пишет: «Вы душевно привязаны к своему отечеству, и я тоже. Как же одна причина могла произвести разные действия? А вот почему: вы любите его, как любовницу, а я — как друга». Когда противники заспорят о качестве своей привязанности к одному и тому же предмету, дело непременно кончится тем, что предмет общей привязанности сблизит и помирит соперников. Укоренившись на этой питательной почве, самые воззрения и настроения несколько переродились: если, с одной стороны, фетишистское поклонение Западной Европе стало сменяться почтительным отношением к западноевропейской науке, научную любознательность, то и, с другой — чувство народной гордости переходило в чувство нравственной связи с родным народом, самопрославление сменялось стремлением к самопознанию. Эти перемены в воззрениях и настроениях не могли не оказать прямого действия и на ход, задачи и приемы исторического изучения, особенно изучения отечественной истории. Мысль *открыть свету* древность и славные дела российского народа, в чем видел задачу русской историографии Ломоносов, теперь соединилась с потребностью *уяснить себе самим* ход и смысл своего прошлого; потребность написать достойную историю своего народа осложнилась мыслью о необходимости прежде изучить ее основательно; наконец, нападки на русскую жизнь со стороны пробудили желание познакомиться для сравнения с исторической жизнью других стран.

Исторический взгляд Болтина вырос и воспитался на этой почве сближения и примирения враждовавших воззрений и настроений, и с этой стороны он сам по себе, помимо своих научных качеств, является выразительным признаком известного перелома в умах или известного уровня, до которого поднялось общественное сознание. Важно уже одно то, что это был *взгляд*, попытка составить себе ясное и отчетливое представление о целом предмете, которое, легко проникая в умственный оборот общества, незаметно направляло и исправляло ходячие мнения, будило общественную мысль, как несколько капель хорошего вина незаметно оживляют кровообращение.

Впрочем, мы поступили довольно произвольно, взявшись за определение особого *исторического* взгляда Бол-

тина: такого *особого* взгляда у него не было. У него были убеждения и чувства религиозные, нравственные, политические, гражданские, в состав которых входили и известные исторические представления; но эти убеждения и чувства так органически срослись друг с другом при помощи единства своих оснований, а эти представления проходили через них такими неуловимыми нервными нитями, что их трудно разнять и расщипать на отдельные волокна. Его цельное «умоначертание» построено было так просто и неуютно, что его неудобно разгородить на мелкие клетки, по которым можно было бы разместить его понятия и правила, одни по категориям чистого мышления, другие по соображениям житейской мудрости. Потому и исторический взгляд Болтина трудно выделить из общей связи его воззрений. Обсуждая современную действительность, он ни на минуту не забывал истории, как, объясняя историческое явление, он не выпускал из глаз своего времени. У него были свои мысли о прошедшем и настоящем России, как и свои чаяния о ее будущих судьбах. Но прошедшее и настоящее были для него только навязанные привычкой грамматические формы выражения непрерывного исторического процесса или оптические иллюзии, подобные впечатлению движущегося по небесному своду солнца. Трудно припомнить русского исторического писателя, который бы яснее сознавал, что старина живет в современном, и живее чувствовал в старине корни современного. Иногда он совершенно врасплох захватывает мысль читателя на далекой древности и ставит ее прямо перед каким-либо выразительным явлением своего времени, освещающим эту древность. Оспаривая мнение кн. Щербатова, будто древние новгородцы вследствие своих торговых успехов и богатства привыкли к сластолюбию, Болтин утверждает, что торговля к сластолюбию не причаает, причем ссылается на пример торговых и воздержанных голландцев и тут же прибавляет: «Противное сему в самих себе обретаем, ни торговли, ни богатства не имея, в роскоши и сластолюбии всех богатейших народов превзошли». Тот же кн. Щербатов неловко рассказал о том, как Всеволод III, желая подкрепить против врагов своего приятеля и киевского посаженника Рюрика, потребовал у него себе несколько городов из его княжества. Вот отличный друг, возражает Болтин,

и надежное средство к подкреплению: подобным образом ныне (писано в 1789—1790 гг.) прусский король предлагает Польше, видя ее изнеможение, чтобы она для умножения своих сил уступила ему Данциг и Торн. Эту цельностью взгляда объясняется калейдоскопическое разнообразие аргументации у Болтина; чего-чего только ни встретишь в его полемическом арсенале, начиная элементарную истину исторической азбуки и кончая последним словом тогдашней политической и исторической литературы: рядом идут у него общий исторический закон и наивный архаический обычай русского захолустья, трактат о причинах возвышения цен в России XVIII в., замечания о значении счастья и свободы и историческая справка о том, как понимают поцелуй у разных народов. Такая видимая хаотичность — обычный признак мирозерцаний, выработанных путем опыта и наблюдения на самом толоке жизни, а не в тишине закупоренного кабинета, где отвлеченным мышлением отливаются математические схемы, прозрачные и кристаллически правильные, как альпийские льды, но зато ломкие и холодные, как они же. У Болтина графическая размеренность воззрений заменялась живою подвижностью гибкого соображения; у него все было так слаженно и пригнано одно к другому, что его сложный научный прибор легко приводился в движение; житейское наблюдение влекло за собой ряд исторических соображений, из которых сами собой, без видимой нажимки, выпадали научный вывод или практическое правило.

Может быть, исторические суждения Болтина в свое время потому и не произвели заслуженного впечатления, что их нельзя было оторвать от всего склада его мыслей и убеждений, а тогда таких сложных и цельных умственных и нравственных складов не любили или не понимали в русском обществе. Здесь в тот век было не мало сильных, даже слишком сильных и прямолинейных характеров, подобных однополчанину и приятелю Болтина кн. Потемкину, но было большою редкостью цельное мирозерцание. Вероятно, это происходило оттого, что сильные характеры создаются как-то природой или складом обстоятельств, а цельные мирозерцания — только внутреннею личною работою человека над самим собой. Пародируя известную фразу Фигаро о графе Аль-

мавиве, можно сказать, что в русском обществе XVIII в. умели родиться сильные люди, но не умели вырабатываться цельные умы. Всего труднее было в этом обществе, где давали тон «случайные» люди века, жившие день за день, мыслившие сами себя только минутными дождевыми пузырями, — всего труднее было вкоренить здесь мысль, что в истории нет ничего случайного и мир не творится вновь каждый день с восходом солнца, что эти постоянно лопающиеся пузыри возникают и исчезают по точному смыслу законов вековечного исторического процесса и эти безродные знаменитости, выкидываемые капризом фортуны на поверхность жизни, могут, буде того пожелают, умирать без потомства, но не сумеют обойтись без предков. Зато как раз по умственной мерке и даже по вкусу тогдашнему просвещенному русскому обществу приходился другой прием исторической методики Болтина. Это общество привыкло все русское мерить западноевропейской меркой и таким образом подготовилось к сравнительно-историческому взгляду на вещи, а такой взгляд был одним из принципов того «умоначертания», которого держались русские образованные люди болтинского образа мыслей. Только у них этот взгляд имел более сложное происхождение. Политические и исторические идеи просветительной литературы века в том составе, как они воспринимались просвещенными русскими людьми, поселяли в их сознании немало противоречий и недоразумений. Рационалистическая обработка и космополитическая тенденция этих идей располагали к таким отвлеченным построениям человеческого общежития, которые были столь же далеки от русской, как и от европейской действительности, являлись не выражением или поправкой, а подчас радикальным отрицанием и горьким осуждением существующего исторически сложившегося порядка. В этих новых воззрениях явственно выступали две мысли: 1) о закономерности исторического процесса и 2) о возможности построить, точнее, перестроить жизнь человечества по началам разума. Охотно усвоили себе эти мысли, но считали их несовместимыми и затруднялись их примирением, потому что в исторической закономерности видели нечто фаталистическое, следовательно, неразумное, а вечные начала разума не всегда достаточно отличали от капризного прожектерства разумников. При более

углубленном обсуждении предмета находили и внутреннее логическое согласие между этими видимо непримиримыми тезисами. Неразумная историческая действительность, если уж решено, что она неразумна, есть плод злоупотребления историческими силами, происходящего от непонимания их свойств и законов их действия, а может быть, и самая неразумность ее есть только наше недоразумение, подобное тому, как, не умея предостеречься от так называемых возмущений в физической природе, иногда с досадой считаем их отступлениями от физически закономерного или провиденциально направляемого порядка. Значит, неразумная действительность есть не более как плод нашего собственного неразумия или недоразумения, а разумная перестройка ее будет только восстановлением либо нормального закономерного действия исторических сил, либо правильного понимания действующего исторического порядка.

Боюсь взвести напраслину на современных Болтину русских мыслителей, утверждая, что они предвосхитили гегелианское понимание разумности существующего; но что живущие люди своим неразумием могут испортить существование себе и своим ближайшим потомкам, это по крайней мере у Болтина высказывается не раз явно и даже настойчиво. Эта мысль возможна только при ясном представлении о нормальном и разумном ходе вещей, а космополитические теории и рационалистические приемы мышления, помощью которых составилось это представление, сведены были русскими мыслителями к тому окончательному итогу, что закономерное и разумное развитие общества есть развитие естественное, непринужденное, согласное с условиями климата и почвы, следовательно, самобытное, не подгоняемое и не искривляемое искусственно сторонними влияниями. Так западноевропейская мысль дала нашим патриотам-мыслителям оружие против излишеств западноевропейского влияния, а когда последнее пыталось встать за свою оспариваемую монополию, новые неучтивые толчки, полученные от рассерженных завоевателей взбунтовавшейся русской мыслью, помогли ей продвинуться еще на шаг вперед в своей мятежной диалектике и захватить новые опорные пункты, сделать дальнейшие выводы из похищенного украдкой у западноевропейской философии

тезиса. В этой самобытности и беда ваша, возражали обиженные учителя, потому что вы самобытны, как варвары, непричастные общей жизни просвещенного мира: для вас самих и всего человечества было бы выгоднее, если бы вы в меньшей мере обладали этой доблестью. Это возражение вызвало со стороны атакуемых особую тактику самообороны, целое национально-оборонительное мышление, оставившее некоторые следы в тогдашней и последующей литературе. Диалектическая схема этой апологетики была довольно проста. Заезжие наблюдатели в литературе и гостиных, выписные гувернеры в учебных комнатах возражали: «все у вас дурно, да ничего хорошего в России и не бывало, и вы только обезьяны, способные перенимать». Им отвечали: «а у вас во всем генерально хуже нашего, и мы больше люди, нежели вы». Так или почти так формулировалась сущность прений самими русскими полемистами. В наиболее наивной или запальчивой форме эта полемика очень походила на дипломатический обмен мыслей, бывающий между поссорившимися детьми, когда один маленький забияка угостит другого известным словом, на которое, по словам Гоголя, так щедр человек, а обиженный ответит ему: «ты сам такой же».

В этой перебранке русских апологетов скрывался несомненный зародыш сравнительно-исторического метода. Они становились на любимую космополитическую точку зрения своих противников, замечали их логическую непоследовательность и размышляли: нас отлучают от человечества только за то, что мы не во всем похожи на западных европейцев, не отказывая в звании людей даже эскимосам, которые ни на что не похожи; стало быть, не умеют ни мыслить правильно, ни судить справедливо, «а если бы взяли на себя труд рассматривать вещи добросовестно и беспристрастно и сравнивать их философским взглядом с тем, что мы видим в остальном человеческом роде, то увидели бы, что русский народ стоит приблизительно в уровень с остальными народами Европы». Последние слова принадлежат автору *Антидота*, апологетического труда, направленного против соотечественника Леклерка и его товарища по ремеслу изделия напраслин на Россию. Этот безымянный автор (Екатерина II) вырабатывал свои историко-апологетические взгляды из одинакового материала с патриотами

болтинского кружка и даже при их прямом содействии. Он упрекает своего ученого противника в том, что, ненавидя народ русский, он не рассматривает человека как жителя вселенной, везде одинакового, и чувствуется добрая капля яду в словах автора, когда он говорит, что иностранцы, не прощая русским желанья оставаться самими собой, негодуют на то, что эти русские у себя дома смеют казаться им иностранцами. Космополитическая точка зрения помогла нашим мыслителям по-своему разбираться в исторических явлениях, столь тенденциозно запутываемых. «Люди везде люди, — писал Фонвизин из-за границы, — прямо умный и достойный человек везде редок». Значит, последний — местная редкость, а общечеловеческое — то, что обыкновенно и что везде встречается. Поэтому темные пятна, выступающие в жизни отдельных народов, русского, как и других, надобно поставить на счет общего несовершенства человеческой природы, а подвиги и доблести, как злаки, выращаемые местными силами климата и почвы, должны быть причислены к качествам национального характера, ни у кого не заимствуемым и никем не повторяемым, имеющим свой корень во «врожденном свойстве душ российских». Стало быть, необходимо изучать местную отечественную историю, но непременно совместно с обще историей человечества, чтобы распознать, какие страсти и пороки свойственны нам как людям и какие доблести должны быть усвоены нами как русскими. Такое развитие космополитической идеи можно признать довольно неожиданным и гибким оборотом русской патриотической диалектики прошлого века: космополитизм, обыкновенно враждебный местному, национальному, как чему-то зоологическому, был употреблен опорой и стимулом патриотического чувства и из историко-философского миросозерцания, из идеального общечеловеческого мерила превратился в простой методологический прием, стал чем-то вроде химической кислоты, употребляемой для очистки туземного металла от общечеловеческой примеси. В такой диалектике сказалось напряжение оборонительного отпора, вызванного усиленным натиском, какой во имя человечества делали тогда на самобытность русской жизни. В этом методологическом космополитизме не могло быть много того оптимизма, к какому были склонны чистые космополиты.

Один из последних, молодой «русский путешественник» по Западной Европе, ребром поставил совершенно обратную формулу космополитизма в своих путевых письмах, печатавшихся в последний год жизни Болтина, сказав: «Все народное ничто пред человеческим; главное дело быть людьми, а не славянами». Такой космополитизм, по признанию его проповедника, питался созерцанием природы, как обширного сада, в котором зреет «божественность человечества». Если бы Болтин, согласно тогдашним учениям, видевший в природе прежде всего известное сочетание условий климата и почвы, влияющих на образование национальных характеров, встретил эту формулу и это признание Карамзина у своего приятеля Леклерка, может быть, он с своею обычною иронией записал бы в критических на него примечаниях: и мы — граждане мира, сыны человечества, поколику мир во зле лежит и поколику мы грешные люди. Болтину не пришлось встретиться с Карамзиным на учено-литературной арене. Но его друзья, патриоты-апологеты, дожили до печального торжества над своими противниками, увидев, как они после революции сидели и плакали на дымившемся еще пожарище своего космополито-оптимистического мирозозерцания, и горше всех плакал Карамзин. Когда русскому путешественнику по Западной Европе привелось самому стать русским историком, он написал в предисловии к своему монументальному труду: «Истинный космополитизм есть существо метафизическое или столь необыкновенное явление, что нет нужды говорить об нем, ни хвалить, ни осуждать его. Мы все — граждане, в Европе и в Индии, в Мексике и в Абиссинии; личность каждого тесно связана с отечеством; любим его, ибо любим себя». Признание абиссинского гражданства наравне с европейским со стороны настоящего русского историка, которого всю жизнь поджидал Болтин, вполне оправдало его патриотическую апологетику, и покойный генерал-майор, сошедший в могилу среди двусторонней борьбы с невежественными хулителями и с невнимательными почитателями русской истории, дождался наконец хотя посмертного права сказать: *ныне отпущаеши. . .*

Запальчивая полемика, какой подогревалась патриотическая апологетика Болтина, была наносным стимулом его критики, навязанным его задорными или самоуве-

ренными противниками. Если снять этот налет, под ним окажутся здравые положения исторической науки, не лишенные новизны для тогдашней русской историографии. Во-первых, довольно последовательно было выведено из тогдашних философских взглядов, что национальная самобытность сама по себе не подлежит осуждению с разумной и общечеловеческой точки зрения как вещь, терпимая и даже поощряемая общим строем мировых сил, который не убивает особей, напротив, поддерживает их, приспособляя их к местным условиям, ибо мироздание построено на гармонии индивидуальностей, а не на однообразии безличностей. Возражая своему противнику, видевшему во всех отраслях древнерусского управления только зверство, политическое невежество и склонность русских грабить соседей, Болтин писал, что не следует приписывать одному народу пороков и страстей, общих всему человечеству в известные времена, на известных ступенях развития; но он не перегибал в противную сторону положения космополитов об отношении народного к общечеловеческому, как тогда делали в русских патриотических журналах и гостиных, не утверждал, что человечеству свойственны только пороки и страсти и лишь один русский национальный характер слагается только из добродетелей. Он не идеализировал ни древней, ни новой России, не говорил, что у нас все было хорошо, не отрицал недостатков русской жизни; он только не любил много говорить о них, с библейской совестью страшился вскрыть срам матери своей. Зато при каждом злостном указании западноевропейского оппонента на политический, социальный, домашний или религиозный недостаток России он приводил в движение весь запас своей огромной начитанности, собирал все средства своего остроумия, чтобы доказать, что на Западе было не лучше, если еще не хуже нашего, и доказывал это с жаром, подчас поднимавшимся выше границ общепринятого приличия, с фактической изобразительностью, удручающей самое выносливое историческое воображение. Конечно, не надо забывать, что мы имеем дело не с кабинетным ученым, составляющим научную диссертацию, а с патриотическим бойцом, отстаивавшим обижаемую чужаком родину. Но этой полемике нельзя отказать и кое в каком научном, именно методологическом значении: она приучала, обороняя свое,

пристально всматриваться в чужое. В этом состоял второй основной научный результат исторической критики Болтина: освобождаясь от полемической горячки, его патриотическая оборона русской жизни превращалась в спокойное сравнительное изучение русской истории, а такое изучение побуждало искать законов местной народной истории и тем приучало понимать закономерность общего исторического процесса.

Форма подстрочных критических примечаний, притом с постоянными полемическими отступлениями, мало помогала стройному выражению основных исторических взглядов критика и последовательному приложению его методики к явлениям русской истории. Дело специального изучения — собрать и свести в нечто цельное отдельные текстуальные толкования и фактические объяснения Болтина, которые сам Шлецер признавал новыми и превосходными. Понимая Болтина, прежде всего припоминаешь условия, в которых стояло у нас историческое изучение сто лет назад, интересы, которые возбуждали историческую мысль, средства, какими она располагала, препятствия, с какими ей приходилось бороться. Только припомнив все это, поймешь, чего стоили Болтину иные выводы и соображения, которые крупными зернами золота блещут в беспорядочной массе критических справок, фактических подробностей и полемических излишеств. Всего ценнее в сочинениях Болтина самое отношение автора к делу, которому он посвящал свой досуг: он смотрел на него как на «служение отечеству», т. е. как на дело, которое следует делать серьезно, сосредоточенно. Такое значение сообщала в его глазах отечественной истории конечная цель ее, народное самопознание, которое достигается путем сложного и разборчивого изучения. Называя себя не более, как трутнем в республике наук, поедающим чужие труды, Болтин не признавал себя настоящим историком, потому что предъявлял «истории, пишемой в настоящий просвещенный век», требования, которых удовлетворить не считал себя способным, и даже думал, что написать историю народа едва ли под силу одному человеку при всех дарованиях, на то потребных. История не летопись: «не все то пристойно для истории, что прилично для летописи». Отсутствие полной хорошей истории России он объясняет не недостатком исторических материалов, «припа-

сов», а тем, что нет «искусного художника, который бы умел те припасы разобрать, очистить, связать, образовать, расположить и украсить». Что же пристойно для истории? Болтин отлично усвоил себе проведенное Вольтером в его знаменитом *Опыте о нравах* различие между преходящими, случайными явлениями, не укладываемыми в цепь исторических причин и следствий, и коренными, постоянными фактами истории, между «приключениями мимоходящими и обычаями». Понимая требования прагматизма не смешивать и не разрывать «союза времен и происшествий», следить за обстоятельствами, нужными «для исторической связи и объяснения последственных бытий, причин их и следствий», Болтин с особенным вниманием вникал в учреждения, законы, занятия, нравы, обычаи, понятия, знания, в бытовые мелочи, поговорки, восстанавливая таким образом ткань быта, как бы сказать, физиологическую клетчатку, по которой шла жизнь народа. Ни у кого еще из русских исторических писателей этот новый порядок исторических фактов не выступал так отчетливо и настойчиво и никто из них до Болтина, кажется, не подходил так близко к наиболее сокрытым пружинам народной жизни, не докапывался до таких глубоких ее течений. Привычка наблюдать явления этого порядка сообщила ему чутье последовательности исторического процесса. Оспаривая быструю перемену в нравах Руси, вдруг освободившейся от своего варварства с принятием христианства, Болтин возражает кн. Щербатову, что такая перемена была бы чудом несравненно большим, чем стон идола, которого, по летописи, св. Владимир повелел стащить в Днепр.

В этих явлениях, которыми обозначалось последовательное движение народной жизни, Болтин искал постепенного проявления народного «умоначертания», самобытного содержания национального характера. Это помогло ему найти «точку времени», которую можно было бы принять за начало нашей истории: таким начальным моментом должно быть время, с которого стало обнаруживаться это содержание. Наша история началась с зачатием нашего народа, а это случилось, когда встретились и породнились его родители, племена, от которых он произошел. Эта встреча совершилась с приходом Рюрика и руссов к новгородским славянам,

что повело к слиянию встретившихся пришельцев и туземцев, образовавших русский народ. «Следственно Рюриково пришествие есть эпоха зачатия русского народа», который, может быть, нечто заимствовал в своем характере от родителей, но со временем заимствованное стало незаметно: «возмужало дитя, оказались новые склонности, особенный нрав, от обстоятельств и вещей его окружавших породившиеся». Соединившиеся славяне и руссы вобрали в себя много других племен, и так составилась цельный великий народ, «который нравы и свойства получил сообразные климату, правлению и воспитанию, под коими он жил».

Не столько важно такое начало истории, сколько то методологическое удобство, которое извлек из него Болтин. Показав, почему бесполезно «далее Рюрика возводить нашу историю и терять время в тщетных разысканиях», он погубил целый прием учености, процветавший некогда у нас и у других народов, которые старались отыскать себе праотцев среди детей и внуков Ноя, как бы боясь, «чтобы не назвал их кто незаконнорожденными», если они не запасутся библейскою генеалогией. Правда, и он мог обойтись без «тщетных разысканий» о неведомых народах, некогда населявших нашу страну; но он поступил с этим этнографическим столпотворением больше по-военному, чем по-ученому. Он разделил эти народы на 4 дивизии, на скифов — татар, гуннов — калмыков, сарматов — финнов и славян, и между ними распределил прочие племена сомнительного происхождения, литву, ятвягов и самих варягов поверстал в сарматы, киргизов зачислил в скифы, даже козар нашел возможным произвести в славяне. Только перед русскими он остановился было в раздумье, но потом и их откомандировал к кимврам, т. е. к тем же сарматам. Развивая мысль Ломоносова о смешанном племенном составе исторических народов, Болтин придавал научное значение не «первоначальной породе» их составных элементов, а новым образованиям, происходившим от их смешения и создавшим новые национальные типы, которые и являются настоящими деятелями в истории. Это дало Болтину смелость высказать своеобразную мысль, что хотя мы должны назвать своими праотцами и славян, смешавшихся с русскими, но все заимствованное от них «климат и время превратили в русское и едва

ли осталась в жилах наших одна капля крови славянской», и это случилось не с одними славянами, но и со многими другими элементами, коих «имена и природы погрузились в название и природу русского народа», образовавшего из себя новую историческую особь. Такая постановка дела отвязала мысль Болтина от генеалогических басен и этнографических гипотез и облегчила ему переход к изучению культурно-исторических фактов, скрытых в надежных памятниках. Возражая Леклерку, представлявшему русских IX и X вв. кочевниками и первобытными лесными дикарями, Болтин немногими крупными и выразительными чертами изобразил тогдашний уровень русской гражданственности в небольшой, но яркой картинке, которую пополнял в других местах своих сочинений и в которой доселе нечего поправить².

Так, переступая через порог русской истории, Болтин знал, как и куда идти: хорошо выясненная точка отправления и верно намеченная цель с обеих сторон освещали ему путь в этой темной области знания. Полемизируя с своими противниками, он и прорепетировал с ними всю русскую историю, пересмотрел ее важнейшие факты в поперечном, как и в продольном ее разрезе, останавливаясь на выдающихся эпохах или следя за отдельными учреждениями на всем пути их развития. Принятие христианства, политический порядок удельных веков, татарское иго, Грозный, Смутное время и царствование Михаила, главные моменты русского законодательства с их памятниками, судьбы русского дворянства с крепостным правом и другими слившимися с судьбой сословия учреждениями, условия экономического быта народа — все это проходит перед читателем в постоянно меняющейся панораме, освещаемой попеременно то формулой закона исторического процесса, то параллелью однородных явлений западноевропейской истории, то сопоставлением с современным автору состоянием России; и среди этих монографических изображений автор вслед за любопытными данными о населенности современной ему России в легком, но глубоко обдуманном сравнительно-историческом очерке, доказывая Леклерку, что обширность России не истощает ее сил, описывает образование и распространение Русского

государства в связи с колонизацией страны и обрусением встречных инородцев³.

Вооружая современного читателя наблюдениями над действием исторических сил и над ходом жизни древней Руси, Болтин подводил его к XVIII в., к своему времени, и заставлял его сличать явления своего века как с этим действием, так и с этим развитием. В каком виде должен был представиться просвещенному читателю его век при таком сопоставлении? Под влиянием местных физических и исторических условий русский народ вышел довольно своеобразным и менее похожим на другие европейские народы, чем похожи они друг на друга. Это естественно: «Государства европейские во многих чертах довольно сходны между собою; зная о половине Европы, можно судить о другой, применяясь к первой; но о России судить таким образом невозможно, понеже она ни в чем на них не похожа», хотя переживала одинаковые с ними затруднения и положения, имела сходные «поведения и деяния». Она нажила себе свои нравы и обычаи, «качества сердца и души», которые, может быть, не лучше, хоть и не хуже чужих, но свои и на чужие не похожи. Но все эти обычаи и нравы одинаково добры; но они помогли народу устроить общежитие, которое тоже, если не лучше, то и не хуже, чем у других, а качество народных нравов и обычаев определяется их способностью соединять людей и устроить общежитие. В самобытных нравах и обычаях выражается и ими поддерживается духовная энергия народа, даже его физическая крепость, они сообщают ему нравственную физиономию. Но самобытность не обязывает к неподвижности, и энергия не есть инерция. Условия жизни русского народа изменялись, новые уничтожали или ослабляли действие старых; это и было причиною, «что нынешние наши нравы со нравами наших праотцов никакого сходства не имеют». Не должно изменять насильем «народные начала и образ их умствования; удобнее законы сообразить нравам, нежели нравы законам; последнего без насилия сделать не можно». Надобно очень хорошо знать сердце человеческое, чтобы при исправлении нравов не сделать лишнего, поражая пороки, не ослабить добродетелей. Словом, нравы должны не срезываться хирургически, как мозоли, а перерождаться физиологически, как обнов-

ляется вещество в живом организме. Вся эта столь известная теперь историческая физиология целиком прилагалась к жизни русского общества для проверки нормальности ее отправлений. Древняя Русь выработала самобытные нравы и обычаи, полезные для общегития, но страдала недостатком просвещения. Следовало сохранить свои нравы и обычаи и заимствовать просвещение, знания и искусства. Поступили наоборот: частью по вине закона, частью по увлечениям общества, по принуждению или по легкомыслию заимствовали не столько чужое просвещение, сколько чужие нравы, притом дурные, забывая свои добрые с их нравственными опорами, любовью к отечеству, привязанностью к вере отцов. «Итак, мы старое позабыли, а нового не переняли и, став непохожими на себя, не сделали тем, чем быть желали».

Таково было последнее русское слово сравнительно-исторического изучения русского прошедшего в XVIII в., и никто не сказал этого слова лучше Болтина. Век русского просвещения был осужден во имя просвещения за то, что с помощью этого просвещения пытался стереть своеобразную физиономию народа и забыть свое прошлое. Но кто были эти мы, столь безнадежно осужденные? Это не могла быть современная Болтину Россия, которую он защищал с такою любовью, с таким знанием и искусством. Притом именно Болтиным впервые высказана у нас в литературно-ученой обработке мысль, что современность есть живой музей древностей, ходячая летопись прошедшего. Очевидно, это была та часть просвещенного русского общества, которая успела отрешиться от «народных начал и образа умствования их», созданных русской историей. Итак, во имя разума и просвещения европейски-образованный человек осудил своих точно так же образованных соотечественников за то, что они отрицали отечественную старину и оставшуюся ей верной современность как неразумную и непросвещенную. Как могло это случиться? Очень просто: эти соотечественники, скукая трудными источниками европейского просвещения и черной работой, какой оно добывалось из них, пили только его сладкие капли в виде последних слов просветительной литературы, в которых сказывалось ее презрение не только к русскому, но и ко всякому прошедшему, ее непонимание законов

и сил не только русской, но и всякой истории. Болтин был слишком просвещенный человек, чтобы довольствоваться последними словами просвещения, и слишком умный человек, чтобы не вникнуть в его источники и приемы, которыми он и воспользовался для уяснения хода и смысла как родного, так и чужого прошедшего. Его правило было: «необходимо нужно, читая книги, а паче пишуци историю, понимать чтомое». Притом он черпал образование не из одних чуждых источников. Он отлично знал свое отечество и по своему домашнему воспитанию, и по многообразным житейским наблюдениям, и по усидчивым документальным справкам. Двойным светом, туземным и заимствованным, он воспользовался не так, как тогда было в обычае на Руси — пользоваться тем и другим раздельно. Тогда одни употребляли только первый для того, чтобы не замечать второго, а другим второй помогал только презирать первый. Болтин воспользовался туземным просвещением, чтобы уметь правильно употреблять заимствованное, а заимствованным — чтобы лучше ценить туземное, и обоими вместе — чтобы осветить родное прошлое сравнительно с европейским. Потому можно отвести ему особое место в русской историографии. И прежде, и после него были русские историки России, которые пытались взглянуть на нее европейским историческим взглядом. Болтин победил европейского историка России, который хотел посмотреть на нее тем же взглядом; победителю подобает звание русско-европейского историка, который и на историю Европы первый попытался взглянуть русским историческим взглядом.

Несмотря на успехи русской историографии после Болтина, его сочинения доселе не утратили интереса. По ним все легче видеть, как вопросы, давно возбужденные и не переставшие занимать нас, ставились и решались сто лет назад лучшими русскими мыслителями того времени. Этим сравнением наглядно вымеряется пространство, пройденное русскою мыслью. С умом, привыкшим размышлять о строении и жизни человеческих обществ, Болтин стал перед скудным запасом едва разобранных фактов нашей истории и перед необозримой грудой совсем нетронутых изучением исторических памятников. Своею трезвою, немного сухою мыслью, согретою теплым патриотическим чувством и вооружен-

ною небрежным, но острым словом, он пытался проследить по этим памятникам протекшую жизнь своего отечества, сопоставляя ее на каждом шагу с жизнью остальной Европы, — он первый попытался это сделать и не без успеха, стоившего ошибок и больших усилий. Он не идеализировал древней Руси, не думал воскресить старину, воротить вчерашний день, подобно кн. Щербатову и другим просвещенным староверам своего времени, но он считал долгом гражданина изучить родную старину, потому что это изучение вскрывает корни и уясняет смысл тех жизненных начал, которые составляют силу современности. Это внушило ему простые правила методики народного самопознания: наблюдайте других, чтобы лучше знать себя, помните, чем вы были, чтобы понять, чем вы стали, и пока не всмотритесь в себя, не спешите походить на других. Поставленные Болтиным вопросы стали после него очередными задачами русской историографии, а высказанные им мысли незаметно проникли в общество и в литературу, оторвались от своего источника и безыменными каплями затерялись в общественном сознании. У нас нередко повторяют, что впервые сказал Болтин, и очень редко припоминают, что Болтин первый сказал это,

ПАМЯТИ И. Н. БОЛТИНА

Общество истории и древностей российских постановило в настоящем году почтить память И. Н. Болтина, со смерти которого прошло ровно сто лет. Обществу, посвящающему свои труды изучению памятников отечественной истории, есть за что помянуть теплым словом этого писателя-историка. В столетие, протекшее со дня смерти Болтина, историческое изучение России достигло значительных успехов, прошло две стадии, явственно обозначившиеся появлением двух капитальных творений по русской истории, созданных Карамзиным и Соловьевым. Труды Болтина не оставались безучастными в этом движении русской историографии; по крайней мере решительно можно сказать, что достигнутые ею успехи без этих трудов достигались бы с большими усилиями. В другом месте¹ я пытался объяснить исторические взгляды и приемы Болтина в связи с ходом просвещения и движением самосознания в русском обществе XVIII в. Теперь, исполняя желание Общества, я предложу его благосклонному вниманию попытку определить значение исторических трудов Болтина в ходе русской историографии.

Один из любителей отечественной истории, каких у нас немало было в прошедшем столетии, Болтин начал писать в последние годы своей 58-летней жизни. Но эти поздние литературные опыты были только завершением многолетних усидчивых занятий русской историей. Строгий в понимании обязанностей историка и скромный в оценке своих личных учено-литературных средств, Болтин не считал себя настоящим историком и думал,

что самое большее, что он призван сделать, — это соби-
рание и предварительная обработка «припасов», мате-
риалов для отечественной истории. В реестре бумаг,
оставшихся после Болтина и купленных Екатериной, не
находим следов работы над каким-либо цельным исто-
рическим повествованием; но он считал себя достаточно
вооруженным, чтобы предпринять критическую проверку
чужого сочинения по русской истории или ученое изда-
ние древнего русского памятника с объяснениями.

Только в последние годы жизни Болтину представи-
лись случаи, побудившие его выступить в литературе
историческим критиком и комментатором и обнаружить
обширные и разнообразные исторические знания, накоп-
ленные многолетними усидчивыми трудами. В 1783 г.
вышел в Париже *Histoire de la Russie ancienne
et moderne* известного Леклерка. В 1786 г. у Болтина
были уже готовы два объемистые тома критических
Примечаний на пять томов этой *Истории*, напечатанных
к тому году. Кн. М. М. Щербатов, который с 1770 г. на-
чал издавать обширную *Историю российскую от древ-
нейших времен*, почел себя задетым некоторыми замеча-
ниями Болтина и в 1789 г. напечатал в свое оправдание
Письмо к одному приятелю. Болтин в том же году издал
свой *Ответ* на это письмо. Пространно отбив нападения
противника и уверив его и публику, что в разборе книги
Леклерка он отнюдь не подразумевал кн. Щербатова,
генерал-майор Болтин в конце *Ответа* сам перешел в
наступление и написал 19 возражений, направленных
против самой *Истории* кн. Щербатова, прибавив в за-
ключение, что все приведённое в разборе из этой истории
суть только цветочки, а ягоды он приберет «для пе-
реду»². Эти обещанные ягоды и были собраны и приго-
товлены для публики в двух больших томах *Критических
примечаний* на первые два тома *Истории* кн. Щербатова.
Энергический критик, невзирая на недуги возраста,
начал эти примечания в том же 1789 г. и, по-видимому,
успел кончить их еще до конца следующего, 1790 г., ко-
гда умер кн. Щербатов (12 декабря), как можно дога-
дываться по тому, что у Болтина нет намека на это. Но
публика прочитала новый труд уже по смерти автора,
когда его приятель и товарищ по занятиям гр. А. И. Му-
син-Пушкин издал его в 1793 и 1794 гг. Со своей стороны
и кн. Щербатов не успокоился и, несмотря на зарок в

письме к приятелю не отвечать на новые возражения Болтина, прочитав его *Ответ*, не утерпел, подходя уже к своей могиле, собрался с силами и написал *Примечания* на *Ответ* Болтина, составившие целую книгу. И эта книга увидела свет только по смерти своего автора, уже в 1792 г., так что едва ли успел прочитать ее тот, против кого она была направлена, как сам кн. Щербатов, воюя с *Ответом* Болтина, не знал, какие два громовые тома готовил против него неутомимый его противник. Так учено-литературная борьба Болтина с кн. Щербатовым, представляющая во многих отношениях один из самых занимательных эпизодов в ходе русской историографии, была докончена типографским станком, когда оба борца уже сошли с арены и успели подать друг другу руки при загробной встрече.

Окончив полемику со вторым противником, Болтин перешел к более мирным научным работам. Он входил в состав тесного кружка «любителей отечественной истории», душой которого был упомянутый граф А. И. Мусин-Пушкин, «крайний древностей наших любитель», по выражению Болтина, составитель знаменитой по своему богатству и по своей несчастной судьбе рукописной библиотеки. В ученых сношениях с этим любительским кружком находилась сама Екатерина II, которая по смерти Болтина писала о нем и о Мусине-Пушкине, что они много занимались русской историей. Друзья копались в древних рукописях, как в золотоносной почве русской историографии, читали, комментировали, сужали любознательную императрицу справками, делали открытия, научную цену которых сами затруднялись определить, — словом, находились в положении геогностов, которые, прокопав первые мелкие шурфики, начинают чуеть, какое обильное металлическое содержание найдут в более глубоких пластах дальнейшие изыскатели, которые до них докапаются. Екатерина, пользуясь научными услугами любителей, не оставалась безучастна в их успехах. По указу 11 августа 1791 г., исходатайствованному Мусиным-Пушкиным, синодальным обер-прокурором в св. Синод скоро прислано было много летописей и других рукописных памятников из монастырских архивов³...

Можно подивиться умственной бодрости больного старика, который в том же году, в котором вышла его

Русская Правда и осенью которого он умер, удосуужился исполнить еще одну критическую работу, в некоторых отношениях даже самую трудную из всех ученых работ, им исполненных. Разумею разбор драмы Екатерины II из жизни Рюрика. Благодаря Болтину судьба этой драмы стала любопытным эпизодом из истории русской литературы прошлого века, живо характеризующим как действующие в нем лица, так и общество, среди которого они действовали. Некоторые черты этого эпизода были потом не без юмора рассказаны самой Екатериной в письме к Гримму.

Трудясь над своими *Записками* по русской истории для русского юношества, она пришла к некоторым догадкам касательно Рюрика, поддерживаемым всего только немногими словами, какие обронил Нестор в своей летописи (*quelques mots lâchés par Nestor*), да одной страницей в *Истории Швеции* Далина. Она потому не решилась внести таких рискованных конъектур в настоящую историю, но ей вздумалось (*il me prit fantaisie*) найти им место в поэзии, построив из них историческую драму, образцом для которой послужил не кто другой, а прямо сам Шекспир, которого автор тогда читал в немецком переводе. Драма была написана и без имени автора напечатана в 1786 г. под заглавием *Подражание Шакеспиру, историческое представление из жизни Рюрика*. Никто не обратил внимания на анонимную пьесу, и Рюрик лет пять пролежал в книжных лавках мертворожденным или умирающим младенцем. В 1792 г. Болтин чрез Мусина-Пушкина поднес императрице в рукописи свой разбор истории кн. Щербатова. Екатерина, три года назад уже издавшая на свой счет примечания Болтина на историю Леклерка и пользовавшаяся его указаниями при чтении русских летописей, задумала реабилитировать свое погибшее творение, призвав на помощь опытного диагнозу знатока-критика, так как, по ее признанию, «она охотно готова была отдать на суровый суд Болтина то, что марала по истории». Когда раз Екатерина заговорила с Мусиным-Пушкиным о своем многострадальном Рюрике, сетуя на невнимание к нему, тот смешался: оказалось, что ни он, ни Болтин, к стыду обоих знатоков русской истории, не только не читали, даже и в глаза не видали драмы императрицы с ее историческими конъектурами. Но Болтин поправил дело,

принялся объяснять драму, которая по его просьбе скоро была напечатана с его примечаниями и пошла в ход, была даже переведена по-немецки. Учено-художественное дитя ожило в критических руках опытной няньки. Екатерина не рассказывает, как произведена была сама операция, как Болтин исполнил ее намерения или желание, выраженное Мусину-Пушкину. Чтобы видеть это, надобно взять в руки самые примечания Болтина. Дело было чистым искушением для нашего критика: надобно было остаться правдивым, не становясь неприятным, хвалить без лести и усмешки и судить, не обличая и не огорчая, — словом, резать правду автору, помня хлеб-соль хозяйки.

Генерал-майор Болтин с искусством истинного тактика одержал победу над своим положением, явился беспристрастным судьей писательницы, не нарушив обязанностей кавалера к даме. Для этого он из критика превратился в комментатора и даже в педагога, объяснял, где нужно было исправить, и исправлял, что следовало зачеркнуть, учил, где нужно было обличать. Прежде всего подысканы были для драмы исторические источники, из коих иные едва ли подозревал и сам драматург, потом создания чистой фантазии были подбиты мягкой подкладкой сложных исторических справок и соображений или представлены вольно-поэтическими вымыслами, «прилично выдуманскими», слова и действия героев, не встретившие никакой опоры в исторических источниках, подперты доводами исторической логики, непредумышленные общие места развились в метко схваченные черты древнего быта или даже цельные исторические картины, нечаянно удачные обмолвки оказались результатом исторической эрудиции, а недоразумения или простые промахи либо явились смелыми гипотезами, во всяком случае возможными, хотя и могущими встретиться с гипотезами, более вероятными, либо превратились в неясные намеки, которые и истолкованы в разборе с остроумной находчивостью и полным прибором ученой критики, как истолковывал Болтин темные места древних памятников в других своих сочинениях. Драма поставила древнему Новгороду целых трех посадников вместо одного надлежащего. *Всякому* известно, тонко поясняет комментатор, что в Новгороде было всегда по одному посаднику, и рядом ученых

соображений приходит к выводу, что один был только *степенный*, действительный посадник, которого и надо разуметь под первым из выведенных в драме; но от него надо отличать посадников *старых*, бывших, какими, конечно, и были двое остальных и каких всегда могло быть и больше двоих, сколько угодно. В заключение всего в разборе подобраны места драмы, где Рюрик, Аскольд и другие ее лица высказывают любимые идеи времени об отечестве, о власти, общественном порядке, вычитанные этими передовыми людьми IX в. из Наказа Екатерины по изданию 1767 г. Так Болтин, бережно приняв хилое дитя, оправил и оживил, спеленал его и, слегка потянув за нос, как это дельвали в старину повивальные бабушки с новорожденными, показал его публике, причем, не скрывая имени матери, пожелавшей остаться неизвестной, сближением пьесы с Наказом невзначай приподнял перед читателем край прозрачного вуаля, ее покрывавшего. Его звали судить драму перед присяжными знатоками, но он, щадя материнское сердце и не кривя ученой совестью, предпочел растолковать смысл пьесы самому ее автору в присутствии публики. Автор, очевидно, хорошо знал критика, а критик еще лучше понимал автора, и оба остались отменно довольны друг другом, ибо изрядно обдумали, что делали. Немного месяцев, вероятнее недель, спустя умный критик закрыл глаза, а благородный автор купил оставшиеся после него ученые бумаги.

Я нарочно остановился на примечаниях Болтина к драме Екатерины. В этом небольшом труде, которому суждено было стать лебединой песней Болтина, может быть именно потому с наибольшей наглядностью отразились особенности этого исторического критика, несмотря на то что в этом труде историческая критика идет об руку с литературой *courtoisie*. По такому специальному поводу, как драма из времен Рюрика, критик приводит в движение разнообразные исторические источники, и русские летописи, и скандинавскую Эдду, и песню Рагнара Лодброка, даже современные акты русского законодательства, толкует имена и термины древних памятников, обращается к явлениям других стран и времен — все это для того, чтобы глубже вникнуть в быт славянорусского общества столь отдаленного века, в его нравы, понятия, учреждения. Это своего рода исто-

рическая программа, примерно демонстрированная на частном случае, на отдельном факте, где автор обозначил и очередные задачи русской историографии и способы их разрешения, и пределы, до которых можно было вести работу при наличных средствах.

Задачи, стоявшие на очереди, как их понимал Болтин, указывались ему современным положением русской историографии, и это положение создано было трудами ближайших его предшественников. Русская научная историография в лице начинателя своего Татищева непосредственно примыкает к древнерусскому летописанию, составляя органическое его продолжение. Не ставя далеких целей и не чертя широких планов, Татищев решил, что надобно начинать новое дело с начала, т. е. разыскать источники, собрать, разобрать и свести материал, прежде всего летописи, скромно прибавив к его тексту посильные пояснения в примечаниях. Он и составил такой свод, доселе не сходящий со стола занимающегося русской историей. Но, стоя одной ногой в ряду древнерусских летописцев, он считал возможным ступить другой немного вперед, в область исторического исследования. Во введении и первой части труда он предпослал своему летописному своду научное определение истории, ее задач, средств и приемов, и длинный ряд ученых предварительных разысканий, направленных к тому, чтобы прояснить тот начальный момент нашей истории, с которого идет нить летописного повествования, чтобы это повествование не начиналось с пустого темного места. Таким образом, Татищев дал русской истории ученые рамки, заключил ее древнейший источник в методологическую оправу и [дал] первые попытки комментария в примечаниях⁴.

Что мог он сделать больше? По крайней мере он сделал то, что было нужно. Надобно припомнить отношение русского общества к отечественной истории при Татищеве, изображаемое частью самим Татищевым, чтобы видеть, что больше ничего нельзя было сделать. Тогда в русском обществе слышались самые смутные суждения об этом предмете. Один толковал, что у русских нет «историй древних» и поэтому им не по чему узнать свою древность. Другие поддакивали, но с прибавкой: да не было и «деяний» важных, потому не стоит изучать эту древность. Одни оправдывали свое незнание

русской истории, презирав научную историографию, другие оправдывали неудовлетворительную наличную историографию, не находя ничего хорошего в самой русской истории, в самой отечественной старине. Наконец, третьи, желая устранить жалобы тех и других, принимались украшать эту старину или, по выражению Татищева, «баснями закрывать сущую правость сказания древних», но этим только оправдывали тех и других, поддерживая презрение первых и невежество вторых. Татищев, показывая свой свод, как бы говорил в ответ всем толкам: вот сущее правое сказание древних, не искаженное новейшим ученым баснословием — послушаем прежде его, — и в оправдание своих слов дал беспрепятственно говорить древнему летописцу, не перебивая его рассказа, а сам стал в стороне, в ряду слушателей, только порой делая в примечаниях заметки по поводу этого рассказа.

Ломоносов смелее взялся за дело. Он читал древние русские летописи и самого Татищева и нашел, что в русской старине есть и деяния важные, «разные дела и герои, греческим и римским подобные», но только не было у нас искусства, «каковым греческие и латинские писатели своих героев к полной славе предали вечности». Так намечены были и дальнейшие задачи русской историографии и даже частью ее метод: предстояло вскрыть в источниках достойное знания содержание русской истории и путем сравнительного изучения поставить его рядом с историей других народов. Его параллель русской и римской истории, «некоторое общее подобие в порядке деяний российских с римскими», важна не по своей научной ценности, а как первое наивное выражение научного приема, которым должна была с большим умением воспользоваться дальнейшая русская историография.

Сравнение однородных явлений неизбежно вело к общим выводам, к познанию законов истории, и достаточно припомнить рассуждение Ломоносова об образовании народов путем племенных смешений, его положение, что «народы от имен не начинаются, но имена народам даются», чтобы видеть, как полезен был для русской историографии этот прием даже в своем зачатке.

Кн. Щербатов хотел быть продолжателем Ломоносова⁵ в русской историографии. Он думал, что накопи-

лось уже достаточно научных средств, чтобы изобразить «разные состояния, в которых было мое отечество, разные его перемены и знатные случившиеся в нем дела», т. е. изобразить в прагматической последовательности течение жизни народа. Он, кажется, первый ввел в нашей историографии прием разграничивать периоды истории обзорами внутреннего состояния страны или «рассмотрением о состоянии России, ее законов, обычаев и правлений». Но и личные и научные средства Щербатова далеко отставали от его смелой задачи и даже от его научных приемов. И он любит сравнивать русские явления с фактами всеобщей истории. Но это сравнение является у него не вспомогательным средством научного познания, а прикрытием его личного недостатка, незнания хода русской истории, недостаточного изучения ее явлений. Всеобщую историю он знал лучше русской; явления первой ему растолковывали другие историки; русских явлений он сам растолковывать себе не успел и, чтобы разглядеть их, поневоле брал готовый чужой светильник. Его исторические сравнения имели один источник с постоянными галлицизмами его изложения и напоминают русский разговорный язык великосветских наших людей екатерининского времени, пересыпавшийся французскими словами вследствие неумения выразить известные понятия по-русски. Недостаточное изучение памятников отечественной истории, даже непонимание их языка сказывается у него в обильных и часто забавных недоразумениях, за которые ему так больно досталось потом от Болтина: княжна Малфрида, одна из языческих жен Владимира, преобразилась у него в богатыря Малфреда храброго, насекомое *прузи* — в племя пруссов, *полковой стяг* — в сенной стог и т. п. без конца.

Таковы были научные опыты, унаследованные Болтиным от важнейших его предшественников. В этих опытах он мог найти много поучительных уроков и предостережений. Успехи, достигнутые предшественниками, избавляли его от необходимости начинать дело сначала; их ошибки указывали ему, чего не следовало повторять; его личный ум и образование давали ему средства угадать, что следовало делать дальше, в каком направлении продолжать дело. Сохранился небольшой документ, в котором вскрывается ход ученой подготовки Болтина как русского историка. Для современного магистранта

русской истории очень назидательны некоторые особенности этой подготовки. Это — реестр рукописным бумагам Болтина, купленным Екатериною после его смерти за десять тысяч руб. Всех бумаг показано в реестре 83 нумера, или связки. За исключением черновиков печатных сочинений Болтина, это все подготовительные работы по изучению истории всеобщей и русской и вспомогательных наук. Во-первых, видно, как Болтин изучал всеобщую историю. Он делал обширные выписки из словаря Бейля, из энциклопедического французского лексикона, сопровождая их своими примечаниями, выписывал из сочинений Гиббона, Смита (по немецкой истории), Вольнея. Из печатных трудов Болтина знаем, что эти уцелевшие по смерти его выписки были лишь скудными остатками его обширных работ по изучению новой и даже средневековой литературы всеобщей истории. Далее следуют обширные выписки из разнообразных памятников русской истории, из летописей, разрядных книг, Уложения, Большого чертежа, Чети-Миней, из бумаг Посольского приказа. Очень крупный отдел в реестре составляют бумаги, указывающие на работы Болтина по славяно-русской лексикографии. Болтин был членом Российской академии с самого ее открытия в 1783 г. и принимал очень деятельное участие в ее трудах по составлению академического словаря, так что в 1786 г. Академия увенчала его «труды и усердия» золотой медалью. В протоколах Академии за те годы отмечено, что Болтин сообщил Академии для словаря «великое число слов, выписанных из многих книг славянских, яко плод долговременных трудов своих», давал полезные советы и указания касательно плана и состава словаря. Независимо от того, он много работал над составлением своего особого «Толкового славяно-российского словаря». В реестре обозначено несколько связок тетрадей с материалами для этого обширного труда. Кроме того, в реестре показан «Географический и исторический словарь, объясняющий местности, в летописях упоминаемые, и слова, вышедшие из употребления». Отмечена в реестре еще какая-то «Роспись на российско-гражданский лексикон». Но самый видный отдел в реестре составляют описания семи наместничеств Русской империи. Митрополит Евгений в своем словаре русских светских писателей сообщил известие, что Екатерина поручила

Болтину составить историческое, географическое и статистическое описание Российской империи, для чего повелела собрать по всем губерниям нужные для того сведения, которые и были ему доставлены. Трудно сказать, были ли показанные в реестре описания простые сборники доставленных сведений или обработанные историко-статистические описания. В печатных трудах Болтина встречаем драгоценные статистические данные о рекрутских наборах, о монетном деле, о народонаселении России по областям и сословиям, почерпнутые из этих местных источников и из архивов разных центральных ведомств. Русская историография никогда не перестанет жалеть о том, что эти описания наместничеств погибли вместе со всеми другими бумагами Болтина и с самой библиотекой его приятеля гр. Мусина-Пушкина, которую они были показаны императрицей.

Без сомнения, реестр очень неполно отражает ход подготовительных исторических занятий Болтина. Но и по нему можно видеть план этих занятий, а из-за плана выступают задачи русской историографии, которые Болтин ставил на первую очередь. В своих работах он не выпускал из вида своих предшественников, хотел продолжать путь, ими начатый.

Особенно крепко держался он за своего любимого Татищева, труды которого он собирал и изучал с особенным вниманием. В его бумагах находилась какая-то «Роспись на первые пять книг Геродотовой истории», писанная рукою Татищева, выписки и примечания на Стоглав из *Истории* Татищева и три части его же «Российского исторического, географического, политического и гражданского лексикона», изданные по смерти Болтина графом Мусиным-Пушкиным. Болтин верно угадал, что нужно было делать после Татищева. Татищев старался собрать и свести основные источники русской истории, прежде всего летописи. Болтин видел, что далее предстоит, во-первых, выучиться читать эти памятники, понимать язык их. Отсюда его заботы о толковом историческом и других словарях. И он достиг замечательного для его времени искусства в чтении и объяснении древнерусских памятников. Без его перевода и комментария *Русской Правды* доселе нельзя обойтись при изучении этого трудного документа. В поставленном Болтиным требовании — прежде чем воссоздать по па-

мятникам цельную и стройную историю России, надобно уметь читать и понимать эти памятники, — состоял первый важный шаг вперед, сделанный Болтиным после Татищева в научной постановке дела изучения русской истории.

Но Болтину принадлежала заслуга и второго, не менее важного шага. Сквозь тусклые и невнятные, часто отрывочные строки древних памятников предстояло разглядеть то, что составляет основное содержание, фон истории — это сеть ежедневных людских отношений, из которых сплетается человеческое общежитие, историческая жизнь народов. В постановке этой задачи сказалось влияние современной ему европейской историографии, которая в критическом изучении ставила на первый план учреждения, обычая, нравы, верования, понятия народов. Болтин первый начал у нас серьезное и систематическое изучение этих глубоких течений русской исторической жизни и доселе остается одним из лучших их знатоков. К явлениям этого порядка он и применил сравнительный прием изучения. Недостатки и ошибки учено-литературных противников помогли ему технически усовершенствовать этот прием. Защищая честь отечества от напраслины иноземного историка России, он старался рассмотреть, лучше ли складывалась и шла жизнь других народов и от каких условий зависело ее превосходство, таким образом учился измерять сравнительно уровни развития народов. С другой стороны, толкуя противникам смысл непонятого ими древнего факта, учреждения, обычая или понятия, он показывал его отдаленные отрасли в современном складе жизни и призывал настоящее на помощь для объяснения прошедшего. Прошедшее живет в настоящем, и настоящее, следовательно, есть один из основных источников для изучения прошедшего. Мысль, что современность есть музей древностей, живая летопись прошедшего, впервые настойчиво была проведена Болтиным. Этим объясняется, почему Болтин отдавал так много времени и усилий изучению современного положения России. В своем *Ответе* кн. Щербатову он писал, что «деяния исторические весьма тесно сопряжены с познанием той страны, в которой они происходили», т. е. с познанием ее настоящего положения. Таким образом, сравнительное историческое изучение, по Болтину, состоит в сравне-

нии как однородных явлений в жизни разных народов, так и одновременных явлений в жизни одного и того же народа.

Таковы были наиболее крупные методологические заслуги, оказанные Болтиным русской историографии. Своими опытами он показал, что надо знать и как поступать, чтобы толково объяснить исторические тексты и исторические факты. Применяя выработанную методологическую технику к изучению русской истории, Болтин *истолковал много темных мест в древних наших памятниках*, еще больше объяснил *непонятых прежде явлений* нашей истории и восстановил ход развития целых *учреждений*, так что в конце XVIII в. стало возможно составить дельную стройную историю по крайней мере древней России. С помощью своих научных приемов и знаний Болтин сложил довольно цельный взгляд на ход всей русской истории и даже успел вывести из него некоторые заключения нравственного характера, пригодные для практического разрешения тревог, волновавших современное ему русское общество. Эти заключения все сводились к одному главному: конечная цель изучений отечественной истории должна заключаться в познании и укреплении нравственных начал русской жизни.

Я без меры утомил бы Ваше внимание изложением этого взгляда. Вместо того позвольте мне повторить последние строки суждения о Болтине, высказанного в напечатанной уже статье...

ОТЗЫВ О ИССЛЕДОВАНИИ П. Н. МИЛЮКОВА «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ В ПЕРВУЮ ЧЕТВЕРТЬ XVIII В. И РЕФОРМА ПЕТРА ВЕЛИКОГО»

Автор сам обозначил тему своего труда, сказав в предисловии, что «необходимо привести ход реформы (Петра Великого. — В. К.) в связь с историей государственного хозяйства России», чего еще не сделала наша историческая литература посредством действительного изучения реформы, и что этот пробел в изучении реформы автор имел в виду пополнить своим исследованием¹.

Теме, так формулированной, автор дал очень сложное развитие. В своем труде он следит параллельно за двумя рядами явлений, тесно связанными между собою, — за изменениями бюджета и за перестройкой финансового управления. В первой (вступительной) главе он изложил общий, впрочем, довольно обстоятельный очерк податной системы и финансовой администрации в Московском государстве XVII в. в связи с его военной организацией. При этом автор показал, как улучшения, введенные в эту организацию по западным образцам, под влиянием войн, веденных государством на западе, вызвали столь существенные перемены и в системе податей и в устройстве финансового управления, что ко времени Петра, к концу XVII в., московское государственное хозяйство уже мало походило на то, каким оно было в начале столетия². Несмотря на быстрый рост военных нужд, возвысивших в продолжении века стоимость содержания армии по меньшей мере в 2½ раза³, приказное московское хозяйство принятыми им финансовыми

мерами умело до времени Петра поддержать выгодный баланс государственных доходов и расходов, так что по росписи 1680 г. оказался остаток, равнявшийся приблизительно 27—30% расхода⁴.

Но далее, обращаясь ко времени Петра, автор изображает постепенное разрушение этого приказного московского хозяйства, уже начатое финансовыми мероприятиями ближайших предшественников Петра. Исходя из факта этого разрушения, автор различает в ходе реформы Петра *три* периода, в которые сменились три порядка и которые автор называет «периодами приказного, губернского и коллежского хозяйства»⁵. Соответственно этому исследование разделено на три отдела.

Первый период приказного хозяйства, заключенный автором в хронологические пределы 1682—1709 гг., является в его исследовании собственно эпохой разрушения старых приказно-финансовых учреждений. Это разрушение автор объясняет двумя причинами, которые обе вытекали из одного источника — из военных нужд, вызванных образованием новой армии и нового флота. Во-первых, сосредоточение в новом учреждении, московской Ратуше, большей части старых сборов, рассеянных между многочисленными областными приказами, оставляет последние без финансового дела, вследствие чего одни из них прекращают свою деятельность, а другие сокращают ее. Во-вторых, военные нужды, непрерывно возрастая с развитием войны, вызывают введение новых налогов и устройство новых военно-финансовых учреждений. Вследствие усиленной разработки новых источников дохода рядом с общим государственным бюджетом образуется новый, специальный, среди старых приказных ведомств вырастает ряд новых военно-финансовых мест с особыми задачами и административными отношениями. Но все эти средства и усилия не могли сохранить равновесия в бюджете, который, еще в 1701 г. заключившись, подобно смете 1680 г., с значительным почти полумиллионным перевесом доходов над расходами, восемь лет спустя грозил уже полумиллионным дефицитом, соответствовавшим крайнему истощению платежных сил народа, которое обстоятельно изображено автором на основании сопоставления итогов переписей 1678 и 1710 гг. в четвертой, последней главе первого отдела исследования.

Эти затруднения, по словам автора, привели «старые учреждения к окончательному кризису» и вызвали новый финансовый порядок, который по плану автора образует второй момент в ходе реформы, период губернского хозяйства, действовавшего в 1710—1718 гг. Органами этого нового порядка, сменившего приказно-финансовое управление, были губернские учреждения, сформировавшиеся в 1708—1711 гг. Поставив губернное устройство в генетическую связь с военными округами XVII в., автор в 5-й, 6-й и 7-й главах своего сочинения подробно исследует происхождение губерний, организацию губернского хозяйства и его функционирование в 1710—1718 гг. Настоящий корень этой губернской реформы автор видит в военно-фискальной экономии Петра. Так как наличные финансовые средства не покрывали всех текущих расходов общегосударственных и местных, то предстояло обратить их на первые, как более настоятельные, жертвуя последними. По взгляду автора «идея первых петровских губерний» состояла в том, чтобы взамен центральных финансовых учреждений создать несколько *местных* касс, которые, стоя ближе к податным плательщикам, захватывали бы государственные сборы в самом их источнике и, не давая тратить их на местные нужды, полностью направляли бы поступления мимо центральных учреждений прямо на покрытие важнейших общегосударственных, т. е. прежде всего военных, нужд⁶. На эти восемь местных касс и разложено было содержание частей армии вместе с другими главнейшими расходами.

Образование этих губернских касс сопровождалось очень важными неудобствами. Эти неудобства автор указывает, во-первых, в разрушении центральной администрации, а вместе с нею и финансовой отчетности. Далее, детальный обзор практически губернского хозяйства (гл. 7-я) показал автору, что ни сокращением расходов, ни возвышением губернских окладов дохода это хозяйство не было в состоянии удержать бюджет в равновесии. Из этих недостатков губернского хозяйства родилась двоякая потребность: 1) в восстановлении разрушенной центральной администрации, 2) в общей податной реформе. Возникновением этих потребностей обозначилось наступление третьего момента в ходе реформы, прихода коллежского хозяй-

ства, складывавшегося в последние 6 лет царствования Петра.

Удовлетворение обеих почувствованных потребностей автор ставит в тесную связь с целой литературой преобразовательных проектов, представленных Петру, в которых иностранные и туземные публицисты и дельцы обсуждали и предлагали средства исполнения как административной, так и податной реформы. Автор подробно изложил эти проекты в 8-й главе своего исследования. Петр разбирал эти проекты, одни принимал и приводил в исполнение, как они предлагались, другие видоизменял при исполнении, приноравливаясь к положению дел, как понимал его, иные оставлял без последствий. Таким образом, центральное управление, «единственным представителем» которого, по словам автора, с 1711 г. оставался Сенат, было восстановлено в виде коллегий, устроенных по образцу шведских, а подушная подать заменила прежние прямые налоги подворного обложения, оказавшегося и несправедливым по своей неравномерности, и невыгодным для казны, потому что оно не захватывало всех рабочих сил, способных нести податные тяжести. В 9-й и 10-й главах автор изложил исполнение и результаты обеих реформ, которые преобразователь оставил незаконченными и взаимно несогласованными. В заключительной, 11-й главе автор сводит итоги своего исследования.

Таков в общих чертах план сочинения г. Милюкова с его главными выводами. Автор собрал очень обильный запас средств для разрешения своей задачи в тех границах, какие он ей назначил. Не говорю об изданных материалах для истории реформы Петра, количество которых сравнительно невелико, автор широко воспользовался и неизданными архивными документами. С этой стороны исследование г. Милюкова отличается редкой полнотой изучения своих источников. Главные хранилища, из которых он черпал, — это московские архивы министерств иностранных дел и юстиции и некоторые разряды Государственного архива в Санкт-Петербурге. Отсюда автор извлек очень много новых, еще не тронутых изучением и весьма ценных данных, из коих важнейшие он поместил целиком или в обработке в обширных приложениях к своей диссертации: это государственные росписи за 1680, 1701—1709 и 1724 гг. Следы

неполноты документального изучения деятельности некоторых учреждений, например монастырских и патриарших приказов, также книг ландратской переписи 1716—1717 гг. и организации косвенных налогов, объясняются планом решения задачи, какой составил себе автор.

По самому свойству темы и основных источников исследование г. Милюкова получило статистический характер, чем и определились главные его приемы. Числовые данные, найденные в документах, автор свел в многочисленные таблицы, которыми наполнено его сочинение. Эти таблицы носят на себе следы тщательной и терпеливой предварительной обработки сырого материала, извлеченного из источников. Внимательно изучая обширный материал, автор старался не обронить ни одного сколько-нибудь значительного числового показания, встреченного в документе, и даже иногда он вносил в свою книгу отрывочные или искусственно составленные числовые данные, не дающие цельного или прямого указания на исследуемый предмет и только обременяющие исследование подробностями, которые трудно свести к надежному научному выводу (см., например, § 6 в 1-й главе сочинения). Тщательную статистическую обработку собранного материала автор не всегда соединял с критическим разбором документов, из которых этот материал извлекался, не всегда принимал во внимание те условия, при которых составлялись иные встречающиеся в этих документах финансовые росписи и вычисления и благодаря которым этими росписями и вычислениями можно воспользоваться не столько для изучения государственного хозяйства того времени, сколько для характеристики приемов тогдашней статистики и бухгалтерии. Недостаток такой критики особенно заметен в изложении результатов переписи 1710 г. (гл. 4-я.)

Обилие материала, собранного и обработанного автором, дало ему возможность достигнуть в своем труде многих крупных и ценных выводов. Можно сказать, что русский государственный бюджет восстановлен автором почти за все время царствования Петра с некоторыми только перерывами (например, за промежуток 1711—1718 гг. — период губернского хозяйства), в которых, впрочем, виновата неполнота сохранившихся документов, а не неполнота изучения их автором. Точно так же

разыскания автора о перестройке финансового управления уяснили много явлений о ходе административной реформы Петра, остававшихся доселе неясными или сомнительными: таковы главы о происхождении и устройстве губерний, об учреждении коллегий и о связанной с этой реформой реорганизации губерний; сюда же можно отнести любопытную по новизне и своеобразному характеру изложенного в ней материала 8-ю главу о литературе проектов, представленных Петру перед коллежской реформой и выясняющих степень зависимости преобразовательных мер Петра от мнений современных ему дельцов и публицистов, хотя эта зависимость несколько преувеличена автором.

Сводя главные итоги рассматриваемого исследования, можно спросить, как оно ответило на вопрос, который автор поставил себе в предисловии. Вопрос о связи хода реформы с историей государственного хозяйства России, конечно, содержит в своем составе и задачу объяснить, какое действие оказало это хозяйство на ход, порядок, приемы и самую программу реформы и как в свою очередь само изменялось под действием реформы, в программу которой оно входило. Прямого и отчетливого ответа на этот вопрос не находим в книге. Автор в своем исследовании строго держится в кругу явлений государственного хозяйства, в трафарете финансовой росписи, касаясь других сфер государственной жизни лишь настолько, насколько находил это соответствующим принятому им плану исследования. Посвящая значительные отделы своей книги изложению реформ в управлении как общегосударственном, так и специально финансовом, автор обращает гораздо меньше внимания на источники государственного дохода, останавливаясь в их изучении преимущественно на организации прямого обложения и почти едва касаясь устройства важнейших из косвенных налогов, а такую близкую к государственному хозяйству область, как хозяйство народное, оставляет в тени. На последних страницах заключительной главы он высказывает несколько очень общих и кратких замечаний, частью даже намеков об отношении изученного им круга явлений к другим сторонам реформы, именно к культурной, военной, дипломатической, социальной и государственной. Но здесь речь идет больше о других точках зрения на реформу вообще, с которых

смотрели на нее прежние исследователи. Что здесь соприкасается несколько с темой исследования, это суждение автора о необходимости и своевременности целей, какие поставил себе преобразователь. Автор признает и необходимость их и своевременность, но последнюю только по отношению к внешнему положению России, к европейской полигике, в которой Россия, по его словам, «не могла отсутствовать». Но он отвергает эту своевременность по отношению к внутреннему положению страны, говоря, что «новые задачи внешней политики свалились на русское население в такой момент, когда оно не обладало еще достаточными средствами для их выполнения. Политический рост государства, — добавляет автор, — опять опередил его экономическое развитие»⁷. Но здесь, как видим, определяется *отношение* экономического развития государства к его внешним задачам или политическому росту, а не *связь* хода реформы с государственным хозяйством. В исследовании автора, богатом фактами и выводами по истории государственного хозяйства России в конце XVII и начале XVIII в., внимательный читатель найдет много фактических указаний для решения вопроса о связи этого хозяйства с ходом реформы Петра; но сам автор, повторяем, не отвечает на этот вопрос достаточно прямо и отчетливо.

Впрочем, качества, коими отличается глава о государственном хозяйстве и финансовой администрации при Петре, полнота изучения материала в пределах поставленной задачи, тщательная обработка и стройная группировка данных, обилие новых и основательно доказанных выводов представляют, по моему мнению, достаточно оснований, чтобы одобрить сочинение г. Милюкова и допустить его к публичной защите в качестве диссертации на степень магистра русской истории.

ОТЗЫВ О ИССЛЕДОВАНИИ Н. Д. ЧЕЧУЛИНА «ГОРОДА МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВА В XVI В.»

Книга г. Чечулина представляет двойной интерес, собственно исторический и методологический: первый заключается в предмете исследования, второй — в его материале. По свойству явлений, на которые обращено особое внимание автора, его труд можно назвать исследованием о социально-экономическом положении городов в Московском государстве XVI в. Основным источником служили автору писцовые книги. Социально-экономическое положение городского населения едва ли не наименее изученный вопрос в истории древнерусского города, и потому задача автора сама по себе, независимо от постановки, какая дана ей в книге, может быть признана очень удачною, как рассчитанная на восполнение заметного пробела в русской исторической литературе. Писцовые книги, принимая этот термин в общем родовом значении, можно причислить к наименее разработанным источникам нашей истории. По характеру своему они требуют особых приемов изучения, и от удачного выбора этих приемов существенно зависит успех разрешения вопросов, на которые дают ответ писцовые книги. Между тем в изучении этого источника еще не установились твердые, общепризнанные и испытанные приемы, хотя мы и имеем такие удачные опыты обработки отдельных вопросов по писцовым книгам, как известные труды гг. Перетятковича и Соколовского. Потому, следя за любопытными данными, извлекаемыми г. Чечулиным из этого источника, невольно присматриваешься и к тому, как он это делает; его методика не останется

без влияния на дальнейшую разработку писцовых книг. Сам автор так ставит и так разрешает свою задачу, что методологический интерес его труда выдвигается даже на первый план. Так как автор подвергает материал, заключающийся в писцовых книгах, подробному разбору, группирует, сопоставляет и истолковывает их данные, заставляя и читателя присутствовать при этой работе, то его исследование о городах по писцовым книгам можно назвать и исследованием о писцовых книгах, насколько они касаются городов. Потому всего удобнее начать рассмотрение книги г. *Чечулина* с постановки его задачи и с приемов ее разрешения.

Постановка задачи у автора тесно связана с источниками его исследования. Он нашел 44 особых описания 39 городов в писцовых книгах и других родственных им по содержанию и назначению документах, определяющих платежные средства населения Московского государства XVI в., в книгах платежных и приправочных, сотных выписях и т. п. Сверх того, в разметном списке 1545—1546 гг. есть краткие сведения о числе дворов в городах Новгородской области и, между прочим, в Порхове, Старой Руссе и самом Новгороде, особых описаний которых не найдено. Большая часть этого материала (27 описей из 44) извлечена автором из неизданных рукописей Публичной библиотеки в Петербурге и из московских архивов министерств иностранных дел и юстиции. Значительное большинство описаний (34 из 44) относится ко второй половине XVI в. Наибольшее число городов, описания которых нашел автор, принадлежало областям Новгорода и Пскова (22 из 39); из остальных городов один (Торопец) находился на северо-западной окраине государства, 5—в центральных областях, 3—на юго-восточной окраине и 8—на южной. Автор замечает, что не дошло описание ни одного города северо-восточной полосы, областей Двинской и Камской¹. В этом замечании есть какое-нибудь недоразумение. Еще в начале нынешнего столетия советник пермской казенной палаты В. Берх нашел в соликамском магистрате писцовые книги Соликамска и Чердыни с их уездами, составленные писцом Яхонтовым в 1579 г., и в своей книге *Путешествие в Чердынь и Соликамск* привел любопытные извлечения из этих книг². Кроме того, копию с этих книг Берх послал тогдашнему

любителю отечественных древностей графу Румянцеву, и эта копия вошла в состав собрания рукописей Румянцевского музея и отмечена Востоковым в его описании³. Можно пожалеть, что автор не воспользовался этими книгами, если имел к тому возможность.

Автор тесно связал свое исследование с довольно однообразным материалом, предприняв изучение городов по писцовым книгам. Такая связь положила на исследователя двойное стеснение: с одной стороны, он рассматривал состояние городов только в пределах тех данных, какие представляют писцовые книги, а с другой — и в писцовых книгах он разбирал только части, описывающие состояние городов. Автор не взял ни цельного предмета, ни цельного источника, и потому избранный им источник стеснял его взгляд на предмет исследования, а предмет затруднял его отношение к источнику. Отсюда вышлись два ряда неудобств, с которыми пришлось бороться автору и которые он одолевал не с одинаковым успехом: одни из них вытекали из отношения автора к основному источнику, другие — из отношения этого источника к предмету исследования.

Во-первых, тем, что автор положил в основу своего труда только отделы писцовых книг о городах, можно объяснить отсутствие в его исследовании обстоятельного критического разбора его источника в полном составе. Можно согласиться с мнением автора, что в XVI в. еще не было выработано общего плана писцовых книг и не успели установиться их виды⁴. Но и помимо этого писцовые книги возбуждают много вопросов, разрешение которых необходимо для того, чтобы правильно пользоваться этим источником. Писцовое дело в древней Руси было довольно сложной операцией, имевшей свою технику, свои приемы, обычаи и задачи, даже свои погрешности. Вследствие того не все данные, сообщаемые писцовыми книгами, имеют одинаковую цену для исследователя. Рано, может быть еще со времен Степана Бородатого, знаменитого московского писца и публициста XV в., на писцовые книги которого не раз ссылаются документы последующего времени, древнерусский писец начал вносить в свои описи условные знаки, термины, формулы. Важно знать, отражались ли в этих условных приемах какие-либо действительные, житейские отношения или они служили только

техническими удобствами для писца. Еще важнее разъяснить, какими способами и какие данные добывал писец и какую цену придавал он разным категориям данных, что он расследовал сам, что узнавал от ответственных местных показателей, окладчиков и т. п., что, наконец, заимствовал из прежних описей. Вообще немаловажный для исследователя вопрос — степень участия личного усмотрения писца в приемах и составе описи, особенно в установлении единиц и размеров податного обложения; не решив этого вопроса, можно принять каприз писца за бытовую норму. Личные соображения писца, несомненно, находили себе известный простор и среди точных указаний писцового наказа; иначе были бы непонятны жалобы тяглых людей на то, что писец обложил их слишком тяжело. Иногда это личное усмотрение, неизбежное в таком деле, как будто даже граничило с злоупотреблением. Здесь можно припомнить место из письма к кн. В. В. Голицыну его управляющего Боева, где последний уведомляет князя, что его сыну по милости одного радетеля писец отмежевал земли на 450 четей, «а сказывают, что будет по его межеванью и на 1000 четвертей». Вообще писцовые книги задают очень много дела исторической критике и ожидать приступа к нему в книге г. Чечулина было тем естественнее, что он положил начало этой работе в статье о переписях в России до конца XVI в. и имел образцовое руководство в известной статье Неволлина об успехах государственного межевания в России. Притом критика писцовых книг предохранила бы автора от некоторых напрасных усилий и указала бы ему, какие вопросы можно решить по ним и каких нельзя. Писцовая книга — очень хороший исторический свидетель, который может много и правдиво рассказать, но ее надобно спрашивать только о том, о чем она может рассказать; иначе ее показания не разъяснят, а запутают дело. Не раз автор с своей обычной добросовестностью силится объяснить какой-нибудь темный или своеобразный термин, либо неясное показание писцовой книги; но так как он ищет объяснение в этой же книге, которая его не дает, то он, как в уравнении с двумя неизвестными, делает разные предположения, которые, однако, обыкновенно разрешаются тем окончательным

выводом, что положительно утверждать этого нельзя, что прямых указаний для решения этого нет, и т. п.⁵

С отсутствием критики писцовых книг тесно связаны по своему происхождению некоторые, так сказать, технические недостатки или пробелы в обработке материала, какой черпал автор из писцовых книг. Его книга при беглом просмотре может показаться сводом сырого материала, простым пересказом городских описей. Но такое впечатление далеко не будет соответствовать настоящей научной цене рассматриваемого сочинения. Оно потребовало от автора большой черновой работы, которая осталась малозаметной для читателя, в большинстве случаев не нашедши себе места даже в примечаниях. Приходилось группировать разнообразный статистический материал, бороться с неполнотой данных и пополнять пробелы источника, проверять итоги писцов и выводить свои, высчитывать процентные отношения, составлять перечни, восстанавливать смысл терминов и отношений, уже непонятных современному читателю.

Кто знаком с своеобразными и часто своенравными приемами древнерусских писцов и с неисправным видом, в каком дошли до нас многие писцовые книги, особенно XVI в., тот поймет всю тяжесть и оценит значение таких предварительных черновых работ. Жаль только, что автор не везде доводил до конца эти работы. Он разбирал и обобщал преимущественно статистические данные писцовых книг, касающиеся населенности городов, разделения городского населения по классам и занятиям, состояние торговли и промышленности, видов и количества торгово-промышленных заведений, размеров повинностей и т. п. Чтобы сделать для читателя возможным и удобным общее обозрение этих данных, необходимы таблицы, которых не находим в исследовании, и точные итоги, которые не везде выведены. Читателю приходится самому составлять те и другие, продолжая работу автора, чтобы не потерять значительной части результатов ее изучения. В этих таблицах должны быть сведены данные, составляющие существенное содержание писцовых книг, и состав самых таблиц должен быть соображен с цельным составом писцовых книг, следовательно, основан на изучении последних в полном их объеме. Без этих приспособлений некоторые выводы автора, особенно его вычисления, могут вызвать

недоумение⁶. Точно так же не выяснено достаточно отношение автора к некоторым особенностям писцовых книг, затрудняющим их изучение. Так, итоги в них нередко расходятся с перечнями; это происходит от разных причин, которые необходимо выяснить в каждом данном случае, чтобы решить, принять ли итог или перечень за основание расчета. Автор в таких случаях обыкновенно вводит в исследование свои итоги даже тогда, когда признает итог источника верным и, следовательно, свой неверным⁷. В итоги обывателей дворов писцовые книги XVI в. вводят только поименованных в перечнях глав семейств, ответственных за дворовые тягла, обыкновенно не упоминая о детях и младших родственниках этих глав. Но иногда они ставят при имени главного обывателя двора глухое указание и на младших членов семьи: «двор Якова с детьми» и т. п. Автор усвоил себе правило принимать здесь «возможный минимум», предполагать по двое детей или братьев и считать в упомянутом примерном дворе Якова «не менее» 3 человек⁸. Но таких количеств с оговоркой «не менее» нельзя ввести в точный итог, а из итогов, так составленных, мало что можно вывести, не говоря уже о том, что нет видимой нужды в таком приеме и сами писцы не вводили таких глухих отметок в свои итоги.

Большее внимание к технике писцового дела, вероятно, удержало бы автора и от другого сомнительного приема, имеющего более важное значение. Автор признал необходимым найти способ хотя приблизительно высчитать по данным писцовых книг полное число жителей известного города. Писцовые книги XVI в. показывают только число дворов, обозначая в каждом одного или несколько взрослых представителей, глав семейств. Можно было бы высчитать среднее число людей на двор по переписным книгам XVII в., в которых перечислялось все мужское население дворов. Но автор справедливо полагает, что численный состав двора в XVII в. мог измениться сравнительно с XVI в. Ввиду этого автор выводит такой способ вычисления⁹. Если в течение одного века мог измениться численный состав двора, то изменение численного отношения взрослых к детям не могло идти так быстро. По переписным книгам 8 городов (1677 г., с книгой одной слободы г. Москвы 1684 г.) он рассчитал, что на 1000 взрослых муж-

чин, считая таковыми всех, имеющих 15 лет или более, приходилось 633 детей мужского пола, т. е. имевших не более 14 лет. Так как число женщин вообще близко к числу мужчин, то для получения полного числа населения, представляемого тысячей взрослых мужчин, цифру 1633 надобно удвоить; иначе говоря, для определения населенности города следует показанное в его дворах число взрослых мужчин умножить на 3,266. Этому способу нельзя отказать в остроумии; но в документах встречаются указания, как будто колеблющиеся основания расчета, на котором он построен. Тяглые дворы в древней Руси по размерам падавших на них повинностей разделялись на три разряда, на *лучшие*, *средние* и *молодые*. Автор без труда заметил, что в писцовых перечнях на двор лучший обыкновенно приходилось людей, т. е. взрослых мужчин, более чем на средний, а на средний более, чем на молодой¹⁰. Отчего это происходило? Численный состав семей, т. е. ход народности и вымирания, едва ли мог обуславливаться фискальной классификацией дворов. В объяснение этого автор приводит такие соображения, точнее говоря, предположения. В одном месте книги он говорит, что означенное деление дворов на разряды основывалось не на денежных податях, а на тягле, на количестве натуральных повинностей¹¹. Это не совсем ясно: в состав тягла входили и денежные подати вместе с натуральными повинностями. В другом месте читаем, что при распределении тяглых людей на означенные разряды главное внимание было обращено не на промысел, а, вероятно, на тяглую способность, т. е. прежде всего на состав семьи¹². Наконец, в своей статье «Начало в России переписей», замечая, что в некоторых книгах XVI в. чаще, чем в других, встречаются дворы «с не одним мужчиной», автор объясняет это особенностью расселения в тех областях, к которым эти книги относятся¹³. Эти различные объяснения нуждаются в поверке. Автор в своем расчете причислил к взрослым и 15-летних, потому что с них «уже начинали брать подати», причем он ссылается на одну уставную грамоту Соловецкого монастыря¹⁴. Но в этой грамоте говорится только об участии 15-летних в платеже некоторых поголовных местных земских сборов, а не общих государственных податей. Участие в государственном тягле вообще за-

висело не от одного возраста; больше значила здесь наличность торгово-промышленного капитала или земледельческого инвентаря. В древнерусских подворных описях, как городских, так и сельских, можно встретить такие случаи, что в ином дворе при одном *письменном*, т. е. записанном в писцовую книгу тяглом домохозяине, состоит несколько неписьменных и нетяглых, хотя и взрослых, сыновей, братьев или племянников, а в другом дворе у домохозяина только и есть один взрослый сын или брат и, однако, оба они *записаны* во дворе, т. е. несут тягло. Это значит, что в первом дворе при обилии рабочих рук, капитала или инвентаря доставало только на одно тягло, а во втором обилие хозяйственных средств позволяло положить тягло на все наличное количество рабочих сил. Правительство предписывало тяглым обществам в государевых податях верстаться самим «по животом и по промыслу», а не по наличному составу семей, назначая с своей стороны только известные суммы податей на окладные единицы, высшей из которых была *соха*. Эта разверстка вместе с распределением дворов по разрядам основывалась в городе на размере капиталов или на доходности промыслового труда. В каждом разряде одинаковая сумма податей падала на неодинаковое число дворов, в высшем — на меньшее, чем в среднем, в среднем — на меньшее, чем в низшем. Писцы не мешались в эту разверстку и иногда держались своих расчетов, ей не соответствовавших, выводили, например, средний платеж на двор без различия разрядов, как это сделано с пищальными деньгами в приводимом у автора итоге писцовой книги г. Вязьмы; но из книг Устюжны видно, что эта подать взималась не в одинаковом размере с дворов разных разрядов¹⁵. При последовательном проведении основания разверстки и на дворы одного разряда не могли падать одинаковые оклады, если они значительно различались между собою животами и промыслами. При этом принимался в расчет и численный состав двора, если умножение взрослых работников в семье расширяло обороты дворового капитала или промысла. Соразмерно с этим расширением мир мог возвысить и оклад такого двора, записав в тягло на подмогу домохозяину его подростшего сына или брата и соразмерно с этим возвышением понизив оклад другого двора того же раз-

ряда, где условия были менее благоприятны. Понятно, что дворов, способных выдержать возвышенные оклады при умножении рабочих сил, оказывалось сравнительно с числом всех дворов разряда больше среди лучших, чем среди средних, и т. д. Значит, писцовые книги обозначали большее среднее число людей на лучший двор не потому, что эти дворы были многолюднее, а потому, что люди их были тяглоспособнее. Отсюда видно, почему можно сомневаться, чтобы прием автора приводил к цели — приблизительному определению всего населения города по числу поименованных в писцовой книге людей. Во-первых, по его расчету на тысячу взрослых мужчин возрастом в 15 лет и выше приходилось 633 человека детей мужского пола в 14 лет и ниже, и потому он для определения всего числа жителей мужского пола в городе на каждого поименованного в книге мужчину клал по 0,633 человека детей; но в писцовых книгах XVI в. поименовались не все взрослые, начиная с 15 лет, а только тяглоспособные из взрослых. Во-вторых, расчет автора был верен, если бы классификация дворов действительно основывалась на «составе семей», как он предполагает, если бы в первый разряд зачислялись многосемейные, а люди с малыми семьями — в остальные разряды; но податная система XVI в. не поддерживает этого предположения. Таким образом, в положении автора, что при классификации дворов главнейшее внимание обращали на *тягловую способность* двора, т. е. прежде всего на *состав его семьи*, можно принять только первую половину, потому что не видно, чтобы тяглоспособность двора условливалась прежде всего семейным его составом¹⁶. Наконец, в одном месте книги сам автор с достаточной убедительностью показывает, что писцовые книги, считая главным образом дворы, а не людей, в описании дворов не дают полного числа взрослых мужчин и «почти вовсе не заботятся сообщить точные цифровые данные о людях»¹⁷. Этим замечанием автор если не разрушает своего способа вычислять населенность городов, то сильно колеблет его основание.

Недоразумение, думаем, произошло оттого, что автор не сразу установил свой взгляд на значение людей, поименовываемых писцовыми книгами в перечнях тягловых дворов. В начале своего труда, при изложении рассмотренного выше способа, он видел в этих писцо-

вых представителей дворов просто взрослых мужчин и, смотря по тому, сколько людских имен обозначала книга при известном дворе, различал дворы «с одним взрослым мужчиной» и «не с одним взрослым мужчиной». Но при дальнейшем развитии исследования он заметил, что писцовые книги не дают полного числа взрослых мужчин в описании дворов, что в ином дворе могли быть взрослые мужчины и кроме поименованных в книге, но значения этих последних он не определил с достаточной полнотой¹⁸. Это можно считать причиной и другого расчета, подобного изложенному. Колеблясь в объяснении поразрядного деления дворов, автор вообще расположен придавать ему очень мало значения. Он не находит «никаких указаний» на какие-либо различия в экономическом положении людей этих разрядов, даже на различие оброка¹⁹. Однако если одинаковые посошные оклады податей вимались с меньшего числа лучших дворов, с большего средних и еще с большего младших, это уже есть кой-какое указание при тогдашней связи тягла с хозяйственным положением тяглецов. Против этого указания автор ставит такой расчет. По книге г. Зарайска, в соху положено лучших дворов 80, средних 100, младших 120; но людей письменных, т. е. тяглых, приходилось по расчету автора на 80 лучших дворов 128 человек, на 100 средних — 144, на 120 младших — 150. В этом посошном распределении автор подставляет цифры людей вместо цифр дворов и, рассчитав посошные повинности по людям, а не по дворам, находит, что на отдельного человека в каждом разряде при таком расчете придется почти одинаковая доля повинностей, так как хотя на каждый лучший двор падала большая доля посошного оклада, чем на средний, зато и людей приходилось на первый больше, чем на последний; таково же было отношение и средних дворов к младшим. Отсюда автор выводит «очень любопытное заключение», что в XVI в. в *каждой местности* тяглые люди (всех трех разрядов) платили почти что поровну и что «уже тогда посошные повинности, если еще не совершенно соответствовали подушной подати, то уже очень приблизились к ней». Заключение выведено из разложения повинностей по людям. Но ведь это только предположение автора, будто «разложение повинностей по дворам есть, очевидно, искус-

ственное и в действительности, в жизни, *конечно*, переходившее в разложение по людям»²⁰. Значит свое положение автор выводит из своего же предположения. Это положение, не столько историческое, сколько диалектическое, еще поддерживается несколько симметричными числами дворов и людей зарайской книги. Но от наблюдения, что так случилось в Зарайске, еще далеко до вывода, что так было «в каждой местности», особенно когда и автор знает, как трудно приложить этот вывод, например, к Свияжску, где на двор каждого разряда приходилось ровно по одному письменному человеку, или к Устюжне, где на середний двор приходилось по одному человеку, а на младший — почти по 2: здесь при зарайской пропорции средних и младших дворов в сохе среднему человеку пришлось бы платить почти в 2¹/₂ раза больше младшего. В посешной разверстке как цифры дворов и людей разных разрядов, так и самые пропорции по местным условиям были очень разнообразны, и автор это знает²¹. Впрочем, он как будто сам не предвидел своего вывода, столь общего и решительного, характеризующего всю податную систему XVI в., хотя и основанного на данных одного г. Зарайска последних лет этого века: страницей выше, приступая к своему вычислению с цифрами зарайской книги, он думал воспользоваться ее данными только «для единичного случая, не распространяя получаемых выводов и на все другие подобные случаи». Собственно не было и надобности подставлять цифры людей под цифры дворов: в действительности, в жизни, как выражается автор, повинности раскладывались не по людям и даже не по дворам, а по животам и промыслам. Двор служил при окладе и раскладке только счетной единицей, посредством которой финансовое управление вычисляло суммы податей, приходившиеся на тяглое общество, а это последнее разверстывало их между плательщиками по их тяглоспособности. В городе 20 лучших тяглых дворов; в соху таких положено 80; ямских и приметных денег указано с сохи по 20 руб.; следовательно, с 20 лучших дворов города доведется взять ямских и приметных 5 руб. Но сколько придется с каждого двора по его животам и промыслам, это уже дело мирской разверстки. Значит, казенный расчет по дворам надобно отличать от мирской разверстки по

животам и промыслам. Но, если даже принять расчет автора, посешная система повинностей XVI в. все-таки будет очень далека от подушной подати, потому что первая считала только взрослых работников, положенных в тягло, а вторая падала на каждую мужскую душу податного состояния. При ясном понятии о том, что такое был тяглый человек в древней Руси и какие условия создавали это положение, невозможно ни отождествлять, ни даже сближать тогдашнюю податную систему с подушной.

В мысли о малом значении поразрядного деления городских тяглых дворов автора поддерживают, между прочим, замеченные им в некоторых городах случаи, когда младшие платили больше средних и даже лучших. Так, в Казани и Свияжске некоторые младшие торговые люди платили оброк с занимаемых ими торговых помещений, лавок и т. п. больше некоторых средних и лучших²². Но полавочное обложение — совсем особое дело, отличное от подворного, на котором основывалось поразрядное деление дворов. Не все тяглые дворовладельцы в городе занимали в нем торговые помещения и не все, занимавшие такие помещения, были дворовладельцами в городе и даже тяглыми людьми. Потому этот оброк и разверстывался только между владельцами таких помещений отдельно от общих посешных повинностей. Тульская книга в приведенном у автора месте прямо говорит, что оброк с лавок разводят торговые люди «меж себя сами, смотря по человеку и по товару»²³. В древней Руси разделяли даже такие близкие друг к другу основания обложения, какivotы и промыслы: упомянутая выше соловецкая уставная грамота предписывает торговые таможенные деньги платить «по торгом и по головам, а не по животом: кто болши торгует, тот болши и дает».

Критический разбор писцовых книг предупредил бы сомнительные расчеты и выводы, подобные указанным. Он помог бы также лучше разобраться в историческом материале, представляемом этими книгами, выделив из него черты, которых сами эти книги касаются мимоходом, не давая ничего или давая слишком мало для их объяснения. Чтобы установить правильное отношение к таким мимоходом брошенным отметкам, исследователю писцовых книг надобно выяснить, какого рода эти

отметки: приемы ли это писца, входившие в состав техники писцового дела, или же бытовые черты, в которых отразились действительные людские отношения и положения, хотя и не входившие в пределы прямой задачи писца. Заметки первого рода важны только для критики писцовых книг как исторического источника. Черты второго рода надобно или расследовать, но не по писцовым только книгам, или совсем обходить, чтобы не загромождать исследования предположениями и недоумениями. При разборе историко-статистических данных, представляемых писцовыми книгами, автору часто приходилось встречаться с такими побочными вопросами, и он не раз сознается в затруднении, в какое они его ставили²⁴. Но его отношение к таким вопросам колеблется. Иногда он прямо и основательно уклоняется от их решения, но иногда ставит вопрос там, где собственно нечего решать, и дает решение там, где безопаснее было бы и не ставить вопроса. Так, замечая, что в писцовых книгах некоторых городов, например Казани и Свияжска, служилые люди, служившие в этих городах, носят только одно звание *детей боярских*, а в книгах других городов называются *дворянами* и *детьми боярскими*, автор прибавляет, что для него не совершенно ясно такое различие; по его мнению, должно допустить, что была какая-то причина, почему в некоторых городах служилые люди бывали в это время всегда только дети боярские и никогда дворяне, что ему неизвестно ничего, что могло бы разъяснить этот вопрос²⁵. Но здесь, по всей вероятности, и нет никакого вопроса. Дворяне — это те же дети боярские, только повыше чином. В списках служилых людей XVI в. (десятиях), где соблюдалась точная служебная терминология служилых людей, дворяне, составлявшие второй снизу чин провинциального дворянства, назывались детьми боярскими *дворовыми*, а дети боярские первого низшего чина — *городовыми*; слово *дворяне* для обозначения детей боярских дворовых около половины XVI в. только еще входило в употребление и не успело в нем утвердиться. Некоторые писцовые книги говорят только о детях боярских или потому, что употребляют родовое звание провинциальных служилых людей без различия чиновных видов, или потому, что служилые люди, о которых они говорят, все были дети боярские городовые; в некото-

рых уездах и по спискам не было дворовых. В другом месте автор как бы для разъяснения этой смущающей его терминологии указывает на документы, в которых замечается различие дворян первой и второй статьи, хотя тоже «не довольно ясное» для него²⁶. Но деление на статьи — совсем особая классификация служилых людей, которую не следует смешивать с чиновной: на статьи подразделялись служилые люди по поместным и денежным окладам, и таких статей в иных чинах бывало гораздо больше двух, смотря по категориям окладов.

Примером недоразумения другого рода, в какое может ввести попытка объяснить факты с помощью одного источника, достаточно их не объясняющего, служит объяснение различия между приборной и неприборной службой, сделанное автором по писцовым книгам Казани и Свияжска²⁷. Это объяснение основано на разных оборотах речи, какими обозначаются в названных книгах владельцы городских дворов: об одних говорится в дворовых перечнях «двор такого-то», а о других — «во дворе такой-то». Первым способом обозначаются дворы детей боярских, стрелецких командиров, духовных лиц, когда их дворы находятся среди дворов людей других званий, а вторым — дворы тяглых людей, приборных стрельцов и казаков, пушкарей и других подобных им служилых людей, когда они живут отдельными слободами, а также духовных, живущих на церковной земле. По мнению автора, первый оборот означает владение на полном праве частной собственности, а второй — владение на праве общинном, а потому и существенный признак, отличавший службу приборную от неприборной, состоял в том, что приборные составляли между собою общину. Едва ли, однако, автор думал, что и духовные лица, имевшие дворы на церковной земле и отмеченные в книге вторым оборотом речи, владели дворами также на общинном праве, составляли между собою общину; это было бы довольно редкое явление, если бы его можно было доказать. Потом не ясно, одни ли дворяне считает автор предметом общинного владения. Далее автор приводит из писцовой книги место, которое трудно согласовать с мнением, что приборные служилые люди, подобно черным тяглым, владели городскими дворами на общинном праве. Это ме-

сто приведено много выше страниц о приборной службе по другому поводу, но пригодилось бы и на этих страницах²⁸. В Казани была слобода приборных стрельцов, которых потом перевели в Астрахань. Покидаемые дворы раскупили у хозяев не только другие приборные же стрельцы, оставшиеся в Казани, но и неприборные дети боярские и даже тяглые посадские, и все эти столь различные по состоянию люди, по-видимому, покупали стрелецкие дворы на одинаковом праве; еще до перевода стрельцов в их слободу были «посадские места», на которых жили не только посадские люди, но и дети боярские, и про тех и других, как про детей боярских, так и про посадских людей, книга одинаково говорит, что они жили на тех местах в *своих дворах*, как будто принадлежавших тем и другим на одинаковом праве. Данными самой книги как будто выясняется, что *дворы* тяглых и служилых людей, как приборных, так и неприборных, одинаково принадлежали владельцам на праве частной собственности и потому продавались и покупались по частным «полюбовным» сделкам независимо от какой-либо общины, на что прямо указывает и писцовая книга²⁹; но *места* под этими дворами находились не в одинаковом юридическом отношении к владельцам этих дворов: одни были *белые* и вместе с дворами составляли частную собственность дворовладельцев, а другие — *черные* тяглые, т. е. государственные, находившиеся только в личном или общинном пользовании владельцев, или хотя и белые, но не принадлежавшие владельцам дворов, которые на них стояли. Может быть, только это и значат объясняемые автором обороты речи писца. Поэтому дворы нетяглых и не составлявших общины духовных лиц на церковной земле обозначались в писцовой книге формулой «во дворе такой-то». Поэтому же нетяглые духовные и служилые люди, имевшие дворы на городской тяглой земле, тянули всякое тягло с тяглыми городскими людьми, на что прямо указывает приведенное автором место из разметного списка по Новгородской области³⁰. Значит, разбираемыми автором формулами в перечне дворов если и отмечалось что-либо, то не существование или отсутствие общинного устройства дворовладельцев, как утверждает автор, а разве только их юридическое отношение к земле, на которой стояли их дворы. Мы ни-

чего не говорим здесь против общинного устройства городов XVI в., а хотим только сказать, что вывод автора, будто «формулою описания *во дворе такой-то* отмечалось существование у таких-то людей общинного устройства», далеко не соизмерим с своим основанием и ничего не прибавляет к доказательствам общинного устройства. Вообще в писцовой книге, не имевшей в виду юридических определений, особенно в такой ее подробности, как манера перечислять дворы, трудно искать надежной и притом единственной опоры для каких-либо юридических выводов, особенно таких серьезных, какие делает автор³¹. Так и значение приборной и неприборной службы разъясняется не писцовыми книгами, и «существенного» признака, отличавшего одну службу от другой, надобно искать не в общинном землевладении, потому что хозяйственное устройство разных видов приборной службы было довольно разнообразно. Приборные люди жили не в одних городах и даже в городах не всегда селились общинными слободами, получали земли и на поместном праве подобно неприборным служилым людям «по отечеству», могли, наконец, и вовсе не иметь ни земли, ни дворов. Сам автор находит в Казани и Свияжске несколько бездворных стрельцов, и, однако, они составляли одно целое со стрельцами-дворовладельцами не потому, что входили в состав поземельной или подворной общины, а потому, что числились в составе одной военной части, сотни или приказа, т. е. стрелецкой роты или батальона³². Вообще устройство приборной службы было довольно сложно и рассмотреть ее отличительные черты сквозь писцовые книги очень трудно.

Доселе мы говорили о постановке задачи и о приемах ее решения в исследовании г. *Чечулина*. Выскажем несколько замечаний о самом ее решении.

Как постановка задачи тесно связана автором с одним источником, так и ее решение во многом зависело от ее постановки. Автор предпринял изучение состояния городов с тех сторон, которых касаются писцовые книги, и для этого рассмотрел писцовые книги только в тех частях, которые описывают состояние городов. Но как такая постановка затруднила автору критический разбор источника, так она же помешала ему соразмерить с источником границы своей задачи,

В предисловии и введении он ставит себе целью определить состав городского населения, его занятия и повинности, местные особенности городов,— словом, изучить положение городов «как крупных бытовых единиц, как культурных центров», «факторов общественной жизни»³³. В состоянии ли писцовые книги XVI в., сколько их сохранилось, дать ответы на разнообразные вопросы, входящие в состав такой сложной и широкой задачи? Сам автор считает отношение своего источника к задаче «вполне благоприятным»: во введении он поместил список городов в Московском государстве XVI в. и в этом списке обозначил 220 имен; из этого числа о 41 городе, т. е. почти о *пятой* части всех существовавших тогда городов, автор нашел сведения в своем источнике³⁴. Посредством особого расчета он делает это отношение еще более благоприятным: он исключает из списка города северо-восточные (в областях Двинской и Камской), описания которых не найдены автором, «вместе с городами, только что основанными или недолго находившимися во власти Московского правительства», и тогда оказывается, что имеются сведения о 41 городе из 170 приблизительно, т. е. почти о *четвертой* части всех городов³⁵. Несмотря на этот расчет, едва ли, впрочем, представляющий действительную выгоду для исследования, автор не мог не чувствовать значительного пробела, образуемого в его труде отсутствием городов северо-восточной полосы, которые «наверно, во многом отличались от городов других областей», между прочим тем, как думает автор, что «тут вовсе не было опасности неприятельского нападения». Последнего никак нельзя сказать, зная, о каких опасностях рассказывают памятники, описывающие положение Камского и Поморского края в XVI в.³⁶

Но при указанной постановке задачи в книге г. *Чечулина* остались бы заметные пробелы, если бы сохранились писцовые описи всех городов его списка и он воспользовался всеми этими описями. Писцовые книги имели преимущественно фискальную цель — привести в известность податные силы и средства народа; потому в них на первом плане — экономические положения и отношения, люди, которые могли платить, капиталы и обороты, которые могли быть предметом податного обложения. Но такими положениями и отношениями дале-

ко не ограничивалось значение города как культурного центра. Далее, значение города как такого центра, как фактора общественной жизни не ограничивалось и населением, постоянно в нем жившим, простиралось далеко за его черту. В этом значении он служил средоточием для значительного округа, уезда, связанного с ним разнообразными интересами — хозяйственными, административными и другими. Но автор неоднократно и с некоторой настойчивостью заявляет, что он не имел возможности подробно разобрать и книги уездов изучаемых им городов³⁷. Ограничившись изучением писцовых описей городов, автор принужден был обойти целый ряд отношений, в которых стоял город как фактор общественной жизни, именно отношений, в которых выражалась его связь с уездом. Так автор не выясняет в своем исследовании значение уездного города как узла отношений, которые связывали в сословную корпорацию рассыпанных по его уезду помещиков и вотчинников, городских дворян и детей боярских, служивших по этому городу; только в заключительном общем очерке положения городов автор посвятил несколько строк изложению обязанностей этих служилых людей по отношению к городу, изложению неполному, нерешительному и неточному³⁸. Наконец, сам автор, по-видимому, признает, что обозначенные им границы задачи шире действительного плана его сочинения. В понятие о городе как факторе общественной жизни, казалось бы, могут и даже должны входить и юридические отношения его жителей. Но автор в предисловии оговаривается, что «вопросов о юридических правах городских жителей, об отношениях к городам и горожанам правительства и т. п. он почти совершенно не затрагивал», как уже разработанных в нашей литературе; но независимо от этого и писцовые книги дают мало материала для решения подобных вопросов. Можно указать и еще один пробел, восполнять который сам автор нашел ненужным и который по существу его задачи все-таки остается пробелом в его труде. Он признал возможным «изучать во всей подробности положение всех тех поселений, которые тогда (в XVI в.) носили название городов и только их». Конечно, возможно и такое изучение. Но, определяя границы своей задачи, автор сказал, что его «главной целью будет воспроизведение со всею возмож-

ной подробностью тех условий жизни, в каких оказывался городской житель». Условия жизни в городе как культурном центре были прежде всего сложнее сравнительно с сельской жизнью, и эта сложность отражалась на самом составе города. Город XVI в. в целом своем составе состоял из *города* в смысле центрального укрепления, кремля, из *посада* и *слобод*. Но эти виды поселений, служа составными частями города, существовали и раздельно: были города без посадов, посады без городов; были, наконец, слободы, рассеянные среди сел и деревень, вдали от городов и посадов. Каждый из этих видов отличался своими бытовыми условиями и интересами, из совокупности которых и слагалась жизнь города. Не во всех городах эти условия и интересы соединялись в одинаковой степени полноты; зато в иных поселениях, не носивших звания городов, но с посадским характером, некоторые из этих условий получали усиленное развитие. Не говоря о *рядках* в Новгородской области, сюда можно отнести некоторые отдельные слободы и поселения, особенно при больших монастырях, так и называвшиеся *посадами*; обыватели рядков также назывались *посадскими людьми*. Условия городской жизни едва ли будут воспроизведены «со всею возможною подробностью», если в их изображении будут опущены черты социально-экономического склада таких посадских поселений. Почему бы, например, *посаду* Березовцу в Деревской пятине с его церковью и монастырем, с 6 дворами на церковной и монастырской земле и 46 дворами рыболовов не иметь места среди таких городов, как Копорье, с его 8 дворами в городе, из коих один пуст, и с 15 дворами на посаде³⁹? Изучение новгородских пригородов по книгам 1500 г. привело автора к выводу, что ремесленная деятельность в них была тогда развита весьма слабо и несколько усилилась к половине XVI в., так что количество ремесленников поднялось средним числом до 16% всего городского населения, сколько можно судить о том по данным об Орешке, Ладого, Кореле и Каргополе, приведенным в книге автора⁴⁰. Что было причиной такого слабого развития ремесла в этих пригородах — общая ли слабость его развития в области или близость больших промышленных центров Новгорода и Пскова, как предполагает автор, или, наконец, то, что ремесленная дея-

тельность не сосредоточивалась в одних городах, но была рассеяна и по другим селениям? Может быть, какой-нибудь ответ на эти вопросы дало бы изучение посадов, подобных Тихвинскому, как он описан в писцовой книге 1583 г., спустя 23 года по основании самого монастыря, при котором он возник⁴¹. Здесь ремесло развито сравнительно очень сильно: многие торговые люди занимаются и ремеслами; независимо от того одних портных и сапожников, которых в новгородских пригородах не насчитывалось и 2%, здесь показано 22 двора из 146 всех дворов на посаде, т. е. 15%. Таким образом, Тихвин посад оказывается в некоторых отношениях больше городом, чем многие тогдашние города, и во всех отношениях был им больше, чем занесенный автором в список городов Деман, где по книге конца XV в. на городище (города уже не было) и на посаде значилось всего 6 дворов и ни одного двора посадского человека⁴². Тихвин посад тем удобнее мог бы занять место даже в списке городов, что городом для него служил укрепленный монастырь. Изучение составных элементов города в их раздельном существовании помогло бы уяснению и той «бытовой единицы», которая из них составлялась. Если автор нашел нужным подробно описать псковские пригороды, признавая, что эти пригороды, имевшие преимущественно значение укреплений, по занятиям своих жителей гораздо ближе к селам, чем к городам в нашем смысле слова⁴³, то не было бы отступлением от программы описание поселений, по занятиям жителей ближе стоявших к городам, хотя и не бывших укрепленными: автор исследует города не в стратегическом, а в социально-экономическом отношении.

Вследствие указанных пробелов при чтении книги г. *Чечулина* замечается двойное несоответствие его основного источника, писцовых описей городов, поставленной им задаче: этот источник не соответствует ей ни по содержанию, потому что далеко не захватывает всех отношений, действовавших в черте города как культурного центра, ни по объему, потому что не касается городского округа, тяготевшего к этому центру. Это несоответствие создавало автору двоякого рода затруднения: с одной стороны, расширяя свое исследование в меру своей главной цели, возможно подробного

воспроизведения условий жизни, в каких оказывался городской житель, автор задавал писцовым книгам вопросы, на которые они не могут отвечать, и их молчание пытался восполнить собственными догадками, а с другой — принужден был обходить вопросы, для решения которых стоило бы только расширить изучение писцовых книг, не довольствуясь описями городов. Ограничимся немногими примерами того и другого рода затруднений.

По писцовой книге 1566—1568 гг. автор нашел в Казани те 10 семей опальных псковичей, которых по летописи переселили туда в 1555 г.⁴⁴ Автор, однако, решительно утверждает, что «толкование этой меры как какой-то опалы должно быть оставлено как неверное». Но это не толкование, а прямое и ясное свидетельство источника, летописи, которая говорит, что в Казань свели 10 семей именно «опальных» псковичей. Автор, напротив, считает «очевидным», что при этом переселении правительство имело в виду развитие сношений Казани с Псковом, развитие торговли между ними. Для чего понадобилось правительству развитие сношений Казани именно с Псковом и как могли содействовать этому переселенные в Казань 10 семей псковичей, автор не объясняет; но вся *очевидность* его догадки держится только на том, что в Казани эти переселенцы поставлены были в привилегированное положение. Но ведь они по книге *гости*, т. е. по самому званию своему привилегированные люди, пользовавшиеся некоторыми и очень важными правами людей служилых, а ни из чего не видно, чтобы при переселении они лишены были прав состояния⁴⁵.

Наклонность если не поправлять, то пополнять источник догадками обнаруживается у автора и в другом случае. В описи псковских пригородов 1585—1587 гг. нивы и огороды обозначаются в большинстве случаев именами двух владельцев, настоящего и бывшего. Это наводит автора на мысль «о постоянной мобилизации земельных участков», которая могла существовать, «несомненно, прежде всего при общинном землевладении», и единственно возможным объяснением явления кажется автору предположение переделов. Это предположение дает ему основание думать, что внутренние порядки общинного землевладения в XVI в. «нужно представлять себе

несколько иначе, чем обыкновенно их представляют». Автор припоминает известные шуйские акты XVII в. о переделе городской земли и прибавляет, что «до сих пор не было известно указаний на переделы в XVI веке». Автору кажется «совершенно естественным», что в актах не отразились переделы в таких ничтожных поселках, какими были деревни и села в XVI в.; но, продолжает он, «столь же естественно, что мы *встретили их*, как только обратились к изучению положения больших поселений, но с совершенно сельским характером»⁴⁶. Прежде всего позволительно напомнить автору, что он и в описи псковских пригородов не *встретил их*, т. е. переделов, а только их *предположил*. Потом, в XVI в., в Новгородской и в центральных областях Московского государства многие села и даже деревни были не ничтожные поселки, а значительные поселения в несколько десятков дворов, во всяком случае многолюднее большинства псковских пригородов 1585 г., особенно если сравнивать численность только тяглового населения, которого, собственно, и касается вопрос о переделах; однако в известных нам актах таких сел и деревень XVI в. переделы точно так же «не отразились». Автор признается, что «другого объяснения, кроме предположения каких-то переделов», он не мог приискать. Но можно было бы и не приискивать объяснения помощью предположения, когда такого объяснения не даст источник, или по крайней мере поискать в источнике проверки для предположения, а источник, который навел автора на догадку о переделах, давал ему средство и проверить эту догадку. Если смена большинства владельцев нив и огородов в псковских пригородах происходила от переделов, то настоящие владельцы одних огородов и нив должны значиться в описи бывшими владельцами других и наоборот. Из книги автора не видно, так ли это было или нет. Если так, то опись дает очевидное указание на передел, и указание в высшей степени важное. Если же настоящие владельцы одних нив и огородов не являются по описи бывшими владельцами других в том же пригороде, это значит, что мы встречаем в описи не передел, а просто исчезновение одних владельцев и замену их другими. Берем для проверки писцовую книгу г. Изборска, которой пользовался автор⁴⁷. Здесь перечислены 32 оброчные нивы, все

с обозначением прежних владельцев и все, кроме одной, с обозначением настоящих: оказывается, что *ни один* прежний владелец какой-либо нивы не обозначен в описи настоящим владельцем другой нивы и наоборот; прежние и настоящие владельцы — это два совершенно различных ряда владельцев, в которых нет решительно ни одного общего имени. Это, очевидно, не передел, а полная смена владельцев. Печерский монастырь, прежде не владевший в Изборске ни одною нивой, теперь является здесь владельцем почти трети всего количества нив, именно десяти. Таковую же смену замечаем в описании 17 оброчных пожен и 22 огородов. Любопытно, что некоторые из настоящих владельцев нив являются и настоящими владельцами пожен и огородов, а лица, прежде владевшие пожнями или огородными местами, значатся и в числе бывших владельцев нив. К этому надобно прибавить, что сама писцовая книга псковских пригородов 1585—1587 гг. дает указание, достаточно объясняющее такой поворот в их землевладении и устраняющее надобность в какой-либо догадке для его объяснения: эти пригороды описаны вскоре после войны, когда они испытали нашествие Батория и, по основанному на описи расчету автора, потеряли 92% своего прежнего тяглого населения⁴⁸.

Писцовые книги городов XVI в. не ставят вопроса о переделах городских земель, потому что это касалось внутренних отношений городского общества, в которые финансовое управление не вмешивалось. Если бы автор не возбудил этого вопроса, в его книге не образовалось бы заметного пробела. Но есть черты городского быта, которые в городских описях XVI в. как бы подчеркиваются, но не объясняются. Обойти их нельзя, не жертвуя полнотою изображения предмета; но для объяснения их необходимо изучение писцовых книг в полном их составе и даже при содействии других источников. Недостаточность источника, которым преимущественно пользовался автор, нередко мешала ему объяснить такие черты с надлежащей полнотою. Так он останавливается на терминах *шабры*, *суседи* и *подсуседники*, сопоставляет для их объяснения показания писцовых книг, обращается и к некоторым другим памятникам; но читатель не видит, какие отношения выражались этими терминами, чем отличались *шабры* от

соседей, а соседи от подсосудников, не видит даже, различает ли автор соседство общественное, например по улице, и домашнее — по хозяйству⁴⁹. Точно так же автор не определяет достаточно отчетливо хозяйственно-юридического отношения, которое в новгородских и псковских писцовых книгах выражалось словом *позем*. «Сопоставление нескольких мест, — читаем у автора, — дает основание считать, что словами «позему дает» и «найму платит» выражаются совершенно одни и те же отношения, т. е. что этим указывается плата отдельному юридическому лицу за пользование землей, ему принадлежавшей»⁵⁰. Если даже согласиться, что *позем* и *наем* означали одно и то же, остается неясным, называлась ли *поземом* плата за *всякое* пользование землей и притом одной ли землей и почему автор думает, что так называлась плата за землю именно *юридическим* лицам, когда *поземщики* бывали, например, у земцев, лиц физических. Писцовые книги названных областей, городские и уездные, дают не мало указаний для разъяснения этих вопросов.

Можно отметить еще одну подробность, наглядно указывающую на необходимость для полноты изображения городского быта изучать писцовые книги в целом их составе, не ограничиваясь описями городов. Описывая по книге 1500 г. население г. Корелы, автор вводит в итог тяглых людей этого города и земцев, которые имели только дворы в городе, а сами жили по своим деревням в уезде, и дворников, живших в их городских дворах, потому что эти дворники «с городчаны в оброк тянут»⁵¹. Но в деревне Сандолакше, Кирьяжского погоста, Корельского уезда, жили в 16 дворах еще 24 земца, о которых книга 1500 г. также замечает, что они «тянут с городчаны во все потуги в городок Корелу»⁵². Неизвестно, следует ли причислять к тягловому обществу г. Корелы этих земцев, о которых автор вовсе не упоминает.

Несоразмерность основного источника с границами поставленной автором задачи заставляет его обходить и более крупные вопросы. Таков вопрос о *земцах*, или *своеземцах*, Новгородской и Псковской области. Не говоря уже о своеобразности и некоторой загадочности этого класса, самая численность его в новгородских пригородах побуждала исследователя пристально в него

всмотреться. Так, в г. Яме на 332 человека всех поименованных в книге 1500 г. обывателей, по счету автора, своеземцев значилось 213 человек, т. е. около $\frac{2}{3}$ ⁵³. Притом земцы, как городские обыватели, находились в особых условиях, а «воспроизведение со всею возможною подробностью условий жизни» городского жителя автор поставил себе «главную цель». Между тем автор, оговорившись, что об этих земцах мы имеем вообще «очень мало сведений», ограничивается указанием мнений о них некоторых ученых и немногими собственными наблюдениями, которые приводят его к нерешительному заключению, что «земцы были детьми боярскими, быть может, несколько низшими, чем дети боярские остальных областей, но все же какими-то служилыми людьми», и что к концу XVI в. они *несомненно* исчезли⁵⁴. Так для читателя исчезла в книге г. *Чечулина* одна из наиболее характерных особенностей городов названных областей, и это произошло оттого, что земцы, образуя в начале XVI в. заметный класс в составе населения тамошних городов, служили вместе с тем одною из наиболее видных связей этих городов с их округами, а потому их значение не объясняется в достаточной степени писцовыми книгами одних городов. Не для того, чтобы пополнить исследование г. *Чечулина*, а единственно с целью показать, что о земцах сохранилось очень немало сведений, мы позволяем себе высказать несколько наблюдений и соображений об этом любопытном классе.

Новгородские писцовые книги конца XV в. сберегли много первобытных особенностей хозяйственного и юридического положения этого класса, которых не успела стереть Москва в 20—30 лет своего владычества. Многие своеземцы имели дворы в том же городе, в уезде которого владели землею, реже в городах других уездов. Одни из них сами жили в своих городских дворах, сдавая земли крестьянам или обрабатывая их своими людьми, т. е. холопами; другие жили в своих деревнях, сдавая городские дворы дворникам, которые за них отбывали городское тягло с этих дворов. Следующий расчет может дать некоторое понятие о размерах земецкого землевладения. К северу от Новгорода в 30 погостах уездов Новгородского, Ладожского и Ореховского мы насчитали по книге 1500 г. 388 своеземцев, на зем-

лях которых находилось 636 дворов земецких и крестьянских и засевалось около 2400 коробей, или десятин, ржи. Если существовали и два других поля одинакового размера с озимым, то на двор приходилось пашни около 11 десятин, а на каждого земца — около 18 десятин. Вообще это мелкие землевладельцы, очень похожие на своих крестьян-половников: они часто сами пахут свои земли и их участки вообще не больше крестьянских. Встречаются редкие исключения: у троих Офромеевых 58 десятин ржаной пашни, что при трех полях представляет запашку в 174 десятины; в имении — 16 крестьянских дворов. Это очень порядочное поместье городского дворянина XVI в. в любой центральной области государства. В Новгородском уезде земцам принадлежало немного более 7% всех описанных в книге земель.

Новгородские писцовые книги дают много ценных указаний на хозяйственное положение земцев, на котором мы не останавливаемся. Они также не оставляют ничего сомнительного и в юридическом характере земецкого землевладения. Земцы редко владеют землей в одиночку; чаще сидят они родственными гнездами; впрочем, иногда, по-видимому, соединялись во владении и совсем чужие друг другу по происхождению люди. Очевидно, это землевладельческие товарищества, связанные договором, часто еще и родством. Встречаем имение в 5 деревень с 28 десятинами ржаного посева, принадлежавшее 13 совладельцам, кажется, все родственникам; все это имение снято крестьянами. Иные деревни состоят из дворов одних земцев-совладельцев, которые иногда пахут совместно; но иногда даже родные братья имеют особые жеребьи в общей деревне или особые деревни. В одной деревне жили в 6 дворах 7 совладельцев и сеяли вместе 25 коробей ржи; им принадлежало еще 6 деревень, которые снимали у них крестьяне, засевавшие 54 десятины ржи. Несомненно, что земцы — полные собственники своих земель: они продают и закладывают их, дают в приданое, выкупают; даже женщины, сестры и вдовы являются владелицами и совладелицами таких земель. Есть и прямое указание на вотчинный характер земецкого землевладения: летопись рассказывает, что на третий год после подчинения Пскова московский государь взял с него в смоленский

поход 1000 пищальников и псковских земцев; «тогда еще, — прибавляет она о последних, — не сведены быша с своих вотчин»⁵⁵.

Гораздо труднее объяснить, как возникло землевладение земцев. Некоторые указания однако приводят к мысли, что первоначально это были не сельские обыватели, приобретающие дворы в городе, а именно горожане, приобретающие земли в уезде. Среди них встречаем поповичей, отцы которых служили при городских церквях, также городских ремесленников или людей, родственники которых входили в состав промышленного населения города. В Новгородском уезде встречаем земли, о владельцах которых писцовая книга замечает, что эти земцы с такой-то улицы Новгорода. Сохранилось несколько десятков грамот Соловецкого монастыря XV и XVI вв., данных, вкладных и купчих на земли и угодья, приобретенные монастырем от обитателей Новгородской земли преимущественно в Поморье. Некоторые из этих грамот восходят еще ко временам независимости Новгорода⁵⁶. Земли, которые приобретал монастырь, рассеяны были по Беломорскому побережью среди обширных владений *корельских детей*, принадлежавших к пяти родам, и их местоположение обозначается в грамотах выражениями «промежу пяти родов корельских детей» или «куды вся пять родов владеют» и т. п. Из числа этих родов были Ровкульцы, или Рокульский род. Среди своеземцев г. Корелы по книге 1500 г. встречаем целое гнездо богатых землевладельцев Рокульских. Эти корельские дети напоминают тех «молодых людей», или «молодцов» новгородских, о промышленных походах которых говорят новгородские летописи XIV и XV вв. Дружины подобных молодцов из г. Корелы когда-то, в XV в. или раньше, заняли обширные пространства по Беломорью и образовали 5 родственных землевладельческих товариществ, которые некоторое время и под московской властью носили название пяти родов корельских детей. Родственно-товарищеский, *сябренный* способ приобретения и владения долго и после оставался одной из особенностей земецкого землевладения, отличавшей его от новгородского боярского землевладения. Каждый член такого товарищества располагал своим участком как личной собственностью. В одной грамоте из указанного сборника читаем, что

посадник Дмитрий Васильевич купил у принадлежавшей к роду Рокульских Ховри Кукоевой ее «отчину и детину на море на Выгу» и по другим рекам Беломорья, «а продала она Ховра посаднику отчину свою Рокульского роду». Понятно, что путем отчуждения участков первоначальный состав родственного товарищества разрушался, принимая в себя чужеродцев; товарищество приобретателей распадалось посредством раздела совместно приобретенной земли на отдельные участки. Но некоторая юридическая связь оставалась и при расстройстве родственной цельности и землевладельческой солидарности товарищества. Из одной статьи Псковской Судной грамоты видно, что в случае спора об участке сярбренной земли, приобретенном по купчей грамоте, все сярбы становились на суд для ответа и клали перед судьями грамоты на свои земли. Есть указания и на другие связи. В 1470-х годах «корельские дети», собрав свои родовые отряды и получив помощь от новгородцев, ходили ратью в Каянскую землю (Финляндию), мстя за какую-то обиду, нанесенную им каянцами. Память об этом походе сохранилась в одной вкладной грамоте Соловецкого монастыря, из которой узнаем, что предводитель рати, некто Федор Иванович, и новгородцы, и дети корельские Вымольцы и Тиврульцы (два рода из упомянутых пяти), и вся рать каянская, ходившая на Ию реку «за обеду детей корельских», по окончании похода пожертвовали на Соловки колокол. О том, как совершались земельные приобретения земецкими товариществами, сохранилось любопытное известие в повести о псковском Печерском монастыре, составленной в начале XVII в., но по более древним источникам. Место, где потом возник монастырь, было пустынно и покрыто лесом, куда обыватели Изборска и других ближних поселений ходили для звериного промысла. Около 1470 г. «ту землю и лес взяша в слободу у всех псковичь с веча люди земцы, градские и сельские . . . сие же место около пещеры абие дастся в жребий некому человеку Ивану Дементьеву, той же Иван постави деревню в подгории». Из дальнейшего рассказа повести узнаем, что этот Иван Дементьев, участник земецкого товарищества, разделившего приобретенную пустыню на участки между своими членами, был городской земец, который и после рассказанного продолжал жить

в г. Пскове и, когда около его деревни в горе построена была пещерная церковь Успения, дал «от своей деревни уделом земли пречистые богородице на память себе» от той церкви «на поприще». Участок, доставшийся Деметьеву, был, очевидно, полной собственностью вкладчика.

Таким образом, первоначальным юридическим источником земецкого землевладения в областях вольных городов можно признать правительственную раздачу незанятых казенных земель «в слободу», на льготных условиях в собственность землевладельческим товариществам, составленным из горожан и сельчан с целью разработки таких земель. Другие способы приобретения земецких вотчин, вскользь упоминаемые писцовыми книгами конца XV в., куплю, мену и т. п., надобно считать уже вторичными, позднейшими источниками этого землевладения.

Но едва ли не самый трудный вопрос в истории земцев — их судьба под московской властью. Не осталось прямых указаний на государственные повинности, какие падали на земецкое землевладение во времена вольности Новгорода и Пскова. Во всяком случае с падением обоих городов их земцы в этом отношении должны были подчиниться московским порядкам. Но по этим порядкам недвижимые имущества земцев подлежали двум категориям повинностей: как городские дворовладельцы, они должны были тянуть городское подворное тягло; как на сельских вотчинников, на них падала ратная служба. По-видимому, и во времена вольности земцы как городские обыватели по своим правам и обязанностям ничем не отличались от других горожан — дворовладельцев. В таком же отношении к городу оставила их и Москва: по книгам московских писцов, они жили на тяглых городских местах, тянули в оброк и во все потуги с городчанами и подобно им делились по размерам тягла на лучших, средних и молодых. Словом, земцы как городские обыватели не составляли особого класса в юридическом смысле слова, а отличались от прочих горожан только имущественным положением: тяглый горожанин, приобретающий землю в уезде, становился земцем, но не переставал быть тяглым горожанином. Самые эти звания мешались в книгах: одни и те же люди в перечне городских дворов на-

зываются своеземцами, а в описании земецких вотчин в уезде — городскими людьми, а их вотчины — «своеземцевыми и купецкими землями».

Не так легко было устроить землевладельческое положение земцев. Здесь московское правительство затрудняли само разнообразие и непривычные для него способы земецкого землевладения. Оно было и единоличное, и коллективное, и раздельное, и совместное; земцы и сами пахали, и обрабатывали земли своими людьми, и сдавали их крестьянам, и снимали из оброка чужие земли. Московскому взгляду, уже привыкавшему к точной раздельности социальных категорий, земец должен был представляться путаницей общественных состояний, беспорядочным смешением посадского горожанина, служилого землевладельца и оброчного крестьянина. В писцовых книгах и других памятниках уцелели следы той разборки, посредством которой Москва старалась разделить столь спутанные отношения и подогнать их под свои мерки. Руководясь наиболее очевидными признаками, одних земцев, живших в своих деревнях и по землевладельческой обстановке похожих на служилых московских вотчинников и помещиков, верстали в ратную службу, других, менее состоятельных, приписывали к крестьянским обществам. Не ясно только положение земцев, которые, владея значительными вотчинами в уезде, жили своими дворами и промысляли в городе. Их, несомненно, оставили на городском тягле: но нет прямых указаний на то, чтобы городское тягло освобождало их от ратной службы с их вотчин. Такую сортировку облегчало московским писцам то, что некоторые земцы, владевшие мелкими деревеньками, снимали участки у соседних помещиков и сами их пахали, даже селились в помещичьих деревнях наряду с крестьянами и принимали на себя крестьянские повинности⁵⁷. В одном акте вскрывается такой ход дела. В 1555 г. черные крестьяне двух станов Пустожевского уезда жаловались, что некоторыми деревнями и починками, приписанными писцом к их волостям в тягло, владеют земцы и ямщики и тягла с ними не тянут. Правительство отвечало, что, если те деревни и починки писец действительно записал в один разряд с черными деревнями, они должны тянуть тягло вместе с последними по книгам, а если они записаны за зем-

цами и ямщиками отдельно, не в числе черных деревень, или даны владельцам в поместье, эти владельцы должны и тягло с них тянуть отдельно. Но и в первом случае не предписывается отобрать земли у земцев; следовательно, они в этом случае должны были принять на себя крестьянское тягло, а во втором остаться вотчинниками или помещиками и нести соответственные повинности. И писцовые книги XVI в. указывают на отдельные случаи приписки земецких деревень к дворцовым волостям в крестьянское тягло и даже на целые сельские общества земцев, которые прямо и называются крестьянами⁵⁸. Здесь земцы оставались землевладельцами, только на другом праве, из вотчинников превращались в тяглых владельцев казенной земли. Поземельное тягло было одним из юридических признаков, что владеемая тяглым человеком пахотная земля с принадлежащими к ней угодьями составляет собственность казны. Другим таким признаком, отличавшим преимущественно отдельные угодья, служил казенный оброк. Если собственник угодья не нес с него ратной повинности, оно облагалось оброком и переставало быть вотчиной владельца. Уцелел документ, в котором описан, по-видимому, случай применения такого московского порядка к новгородскому землевладению. В одной летописи читаем краткое известие, что в 1536 г. прислан был из Москвы в Новгород конюх государев Бунда с дьяком отписать у всех новгородских околородских монастырей и городских церквей пожни и отдать их «в бразгу, что которая пожня стоит, тем же монастырем и церковником». Сохранилась отписная книга с подробным перечнем пожен, отписанных у церквей и монастырей по этому распоряжению московского правительства⁵⁹. Из слов летописи и из этой отписной книги видно, что предположено было не фактическое отображение сенных покосов у церковных владельцев, а изменение их юридического отношения к владеемым ими угодьям: пожни были «пооброчены на великого князя» и отданы в «оброк» за немногими исключениями прежним владельцам, монастырские — игуменам с братией, церковные — притчам церквей; «та пожня, — по обычному выражению документа, — дана тое-же церкви попу с товарищи на весь причет церковный». Это значит, что право собственности церквей и монастырей на отписан-

ные пожни заменено было правом пользования по найму у казны, которая стала собственницей этих угодий. Но эта операция не ограничилась монастырскими и церковными пожнями. В том же документе помещен перечень еще нескольких десятков пожен, которые в том же 1536 г. писал и метил Бунда с товарищами и оброчил на великого князя. Эти пожни «косили монастыри и церковные люди и *земцы* и черные люди без найму», и они теперь также отдавались в оброк большею частью прежним владельцам. При этом владельцы духовные и светские клали перед комиссией крепости, по которым они владели пожнями, «грамоты старые за свинчатыми печатми», купчие своих прадедов, дедов и свои собственные духовные, закладные кабалы: очевидно, отписанные пожни принадлежали владельцам на праве собственности. Впрочем, предъявление таких актов не было непременно условием обратного получения пожни в оброчное содержание прежним владельцем: пожня возвращалась ему и при отсутствии крепости по факту владения; только при столкновении фактического владельца с претендентом по крепости пожня отдавалась последнему. Большинство владельцев отписных пожен — горожане из разных концов и улиц Новгорода, торговые и ремесленные *черные*, тяглые люди; земцы, отличаясь от них званием, ничем не отличаются ни в происхождении, ни в условиях как прежнего вотчинного, так и нового оброчного владения пожнями. Из всего этого следует, во-первых, что эти земцы по своим положенным в оброк пожням вступали в разряд черных тяглых людей, или, точнее, их пожни были положены в оброк по их экономической и социальной близости как мелких владельцев к черным тяглым людям, и, во-вторых, эта перемена в их юридическом положении произошла от замены местных новгородских источников права новыми московскими: в отписной книге 1536 г. прямо сказано, что отписывали пожни у тех монастырей и церквей, «у которых грамот великого князя жалованных нет и в писцовых книгах им не написано», хотя у них и были на те пожни грамоты старые от времен новгородской вольности. Новые условия владения могли быть не под силу многим владельцам, и в отписной книге встречаем характерное известие об одном земце, который положил перед комиссией духовную грамоту на свою

пожню — «да пожни ступился», отказался владеть ею, и она отдана была в оброк другому. Особым образом поступили с значительными земецкими вотчинами, принадлежавшими многим совместным владельцам, из коих каждый, однако, не был в состоянии отбывать службу с своей доли в полном размере: совладельцев, например братьев, заставляли служить «по годоу перемениаяся», или, пользуясь владельческой солидарностью сябров, одного из товарищей записывали в службу, а другим указывали ему «подмогать» и в случае безпотомственной смерти таких помощников их доли вотчины отдавали взамен подмоги тому, кто служил за них⁶⁰. Так одни из земцев стали тяглыми, а другие служилыми людьми, и последние по разрядным книгам уже с конца XVI в. отбывали ратную службу с своих вотчин наравне с городовыми детьми боярскими, испомещенными в Новгородской области. Но и у служилых земцев вотчинное право и самые вотчины уходили из рук по разным причинам, прежде всего политическим. Торжество московской власти в Новгороде и Пскове сопровождалось, как известно, обширной экспроприацией местного землевладения: бояр и других крупных вотчинников, как опасных людей для Москвы, массами переселяли во внутренние области, отписывая их отчины на государя. Земецкое землевладение также сильно пострадало при этом: новгородские писцовые книги конца XV в. в перечнях земель, отобранных на государя и розданных московским помещикам, называют множество земцев рядом с бывшими новгородскими боярами. Переход земецких вотчин в казну продолжался и в XVI в.: о многих землях, которыми еще в конце XV в. владели земцы, писцовые книги второй половины XVI в. кратко замечают: «были деревни своеземцевы, а нынеча за государем». Потом надобно предположить в XVI в. какую-либо меру или ряд мер, превративших вотчины многих земцев в их же поместья. Такое предположение вызывается сравнительным изучением земецкого землевладения по писцовым книгам конца XV и конца XVI в. Так, книга Вотской пятины 1582 г., перечисляя порожние земли в Климецком и других погостах, называет их поместьями тех самых земцев или детей тех земцев, которые по книге 1500 г. владели ими как вотчинами. Объяснить это превращение тем труднее, что оно не было

общей мерой, лишившей всех земцев права вотчинного владения, и указания на вотчины земцев встречаем в писцовых книгах, хотя и не часто, до конца XVI в.⁶¹

Таким образом, в продолжение XVI в. класс земцев распался. Городские тяглые земцы во всех северных, так называвшихся *поморских* городах удержали за собою право вотчинного землевладения в уезде; но и с этих вотчин они тянули тягло, и в XVII в. рядом указов таким тяглым землевладельцам из горожан запрещено было отчуждать свои деревенские участки нетяглым людям. Земцы, приписанные к сельским обществам, потонули в крестьянстве; но служилые земцы и в первые десятилетия XVII в. еще не слились с дворянами и детьми боярскими, несмотря на свое сходство с ними в правах и обязанностях. Их верстали поместьями совершенно так же, как и детей боярских, иным назначали оклады даже крупнее, чем иным из последних; они менялись поместьями с детьми боярскими, несли одинаковые с ними службы, подобно им, могли иметь вотчины, входили в состав местных служилых корпораций; писцовые книги и десятины в своих перечнях и итогах считали их вместе с детьми боярскими; в просторечии их прямо так и называли. При всем том земцы сохраняли свое особое звание, не участвовали в чиновном движении детей боярских; при одинаковых с последними обязанностях их служба заключала в себе некоторые особенности, по которым она носила специальное название *земецкой службы*; «земецкие земли» составляли как бы особый вид служилого землевладения, описывались в писцовых книгах отдельно от других поместных и вотчинных земель и их старались не мешать с последними, удерживая постоянно в руках земцев⁶².

Теперь можно несколько исправить взгляд автора на земцев. Прежде всего надобно различать земцев разных эпох. Во времена независимости вольных городов это были большею частью мелкие землевладельцы-собственники преимущественно из горожан. Под московской властью значительная часть их слилась с сельскими или городскими обществами, и звание земцев удержалось по крайней мере до половины XVII в. только за теми из них, которые несли ратную службу. Эти последние составляли особый разряд служилых землевладельцев *туземного* происхождения среди пере-

селенных из других областей дворян и детей боярских, не входили в их чиновную иерархию, хотя разделяли их права и обязанности. Значит, о земцах мы имеем не «очень мало сведений», как думает автор, и на основании этих сведений можем сказать, что земцы отличались от детей боярских, хотя и не стояли ниже их, и были не «какими-то», а обыкновенными областными или городскими служилыми людьми, служившими с вотчин и поместий, и не «исчезли» к концу XVI в.

Изложив замечания об отдельных местах книги г. *Чечулина*, выскажем о ней общее суждение. Мы вполне согласны с убеждением автора в возможности полезного исследования, перерабатывающего только данные писцовых книг о городах XVI в. При этом надобно лишь избежать указанной самим автором опасности поставить свое исследование в излишнюю зависимость от одного источника. Для автора эта опасность заключалась в трудности установить отношение к вопросам, возбуждаемым писцовыми книгами городов, но не решаемым их указаниями. Чтобы устранить это затруднение, нужно было помощью критического изучения источника соразмерить постановку задачи со средствами, какие можно почерпнуть из него для ее решения. Мы для того и остановились так долго на спорных или сомнительных местах книги г. *Чечулина*, чтобы яснее показать связь их с постановкой, какую автор дал своей задаче. Поставив себе целью разъяснить положение городов как культурных центров, воспроизвести со всею возможной подробностью условия жизни городского жителя, трудно уже найти такую сторону городской жизни, обойти которую позволяла бы задача, так широко и неясно определенная. Надобно было рассмотреть жизнь города во всей полноте ее интересов и отношений, по крайней мере тех, которых касаются писцовые книги городов, а писцовые книги далеко не разъясняют всего, чего касаются, и не представляют достаточно данных для столь сложного и многостороннего изображения предмета. Описывая церкви, древнерусские писцы пересчитывали и книги, в них находившиеся; но точному определению «тогдашнего уровня умственного развития и знания» едва ли много поможет то, что в церквях некоторых городов автор насчитал по описям не менее 2000 книг⁶³. Побуждаемый широкими требова-

ниями задачи, автор и ставил вопросы, для удовлетворительного решения которых не нашлось достаточно средств ни в самом источнике, ни в распоряжении автора. Между тем среди определений задачи, какие находим у автора в предисловии и введении, есть одно, наиболее соответствующее и свойству его основного источника, и самому плану его труда. «Наше исследование, — пишет автор, — есть главным образом собрание, группировка и разбор данных, представляемых писцовыми книгами»⁶⁴. В зависимости от этого некоторые вопросы он обещает разобрать весьма подробно, другие по недостатку сведений — менее подробно, а третьих, — можно было бы прибавить, — и вовсе не касаться, как не входящих в состав задачи, так поставленной. Положительные результаты, которых добился автор и которые придают научную цену его книге, прямо отвечают именно на эту задачу. Перечислим теперь эти результаты. Они тесно связаны с планом исследования.

Автор поступил очень обдуманно и целесообразно, распределив свой материал географически, по местностям, а не по разным сторонам городского быта. Он разбирает сначала данные об отдельных городах и только в последней главе дает общий разносторонний очерк городов. Сохранившийся запас писцовых книг XVI в. дал автору возможность расположить в своем обзоре описываемые ими города полосами по направлению с северо-запада к юго-востоку. Автор рассматривает сначала новгородские пригороды и г. Торопец вместе с Устюжной, потом пригороды псковские, торг и промысловые заведения г. Пскова, далее города, ближайшие к Москве, и, наконец, города по южной и юго-восточной окраине государства. Неожиданные сочетания в этой группировке — вроде того, что Муром оказался в группе городов, ближайших к Москве, а города, как Зарайск, Тула, Рязань, ближе лежащие к Москве, отнесены к крайней группе, — не повредили перспективе исследования. Наблюдая в каждой полосе количество городского населения, его общественный состав, численные отношения составных частей, или классов, занятия и повинности городских жителей, землевладение, торговлю, ремесла и промысловые заведения в городах, автор не только тщательно выбирал из своего источника черты, изображающие город со всех этих сторон,

но и следил за тем, как во всех этих отношениях различались между собою города разных полос, и старался объяснить происхождение этих различий. Так помощью подробных, иногда микроскопических наблюдений постепенно обозначались в исследовании г. *Чечулина* местные типы городов. Итоги отдельных наблюдений над социальным составом, экономическим положением и местными особенностями городов сведены в заключительной главе сочинения, представляющей общий очерк положения городов в Московском государстве XVI в. Этот очерк и нам послужит основанием при перечислении главных выводов, к каким пришел автор.

И в этом очерке повторены многие сомнительные положения, высказанные автором в предыдущих главах, некоторые даже усилены. Так, автор повторяет свое предположение о переделах городской земли; только предположение здесь является уже доказанным выводом, «естественным и несомненным» фактом, даже распространяется и на лавки⁶⁵. На основании описей только двух городов, Можайска и Коломны, автор решительно утверждает, что к концу XVI в. «в центральных городах черных посадских людей почти уже не было», хотя по цифрам самого автора, приведенным выше, в своем месте его книги, выходит, что в Можайске и в самом конце XVI в. тяглых посадских людей считалось не менее 35% всего обозначенного в описи населения города⁶⁶. Но отдельные положения такого рода не закрывают крупных результатов рассматриваемого труда. Ценным делом надобно признать прежде всего самое собрание писцовых данных о городах, которым значительно пополняется и проверяется существующее представление о предмете. Это представление отличается несколько отвлеченным, схематическим характером, что объясняется свойством памятников, на которых оно основано, преимущественно актов законодательных и распорядительных, указывающих больше норму, чем практику отношений. Имея дело с мало тронутыми и большею частью неизданными памятниками, автор, по его словам, считал необходимым «представить читателю по возможности весь материал, все цифры и данные», которые служили ему для того и другого вывода⁶⁷. Этот обильный статистический материал, хотя и рассеянный в тексте исследования, облегчая читателю воз-

возможность проверять и даже расширять выводы автора, вместе с тем дает много конкретных подробностей, изображающих действительное положение русского города в XVI в. Целесообразная группировка этого материала у автора помогает читателю довольно отчетливо представить себе сравнительную населенность городов, степень сложности их общественного состава, наличность хозяйственных средств и напряженность торгово-промышленного оборота. Притом автор не ограничивается сбором и группировкой писцовых данных, но по возможности разбирает и объясняет их. Он верно отметил особенность своего источника, сказав, что «в писцовых книгах во многих мелких замечаниях, в итогах, в разных определениях, встречающихся при одном и том же собственном имени, раскрываются иногда очень важные данные для решения разных вопросов»⁶⁸. Если автор не всегда удачно решал такие вопросы, то он подобрал в писцовых книгах и сопоставил много любопытных указаний, облегчающих их решение. Таковы собранные им и частью объясненные данные о городском дворовладении и землевладении, о городских обывателях, живших в чужих дворах, о значении дворников в осадных городских дворах, о выходах из состояния тяглых посадских людей и многое другое⁶⁹. Вообще благодаря вниманию, с каким автор вчитывался в изучаемые памятники и старался отмечать в них всякую даже мелкую черту, любопытную в каком-либо отношении, он успешно выполнил одну часть своей задачи — объяснил состав и занятия городского населения, не нашедши в своем источнике средств для выполнения другой части — определения культурного значения города. Особенно ценным результатом труда г. Чечулина надобно признать указание особенностей, какими отличались города разных полос⁷⁰. В этом отношении автор делит их на три группы: города северо-западные, центральные и города по южной и юго-восточной окраине. Достаточно отметить главные отличительные черты, указанные автором, чтобы оценить значение этой группировки. В северо-западных городах, собственно только в пригородах Новгорода и Пскова, автор отмечает однообразный, почти исключительно тяглый посадский состав населения, его усидчивость и определенность общественных отношений, преобладание земледелия в

хозяйственном быту. Напротив, города центральные отличались большею пестротой социального состава, понижением процента тяглого посадского населения, значительным количеством лично зависимых людей, подвижностью населения, выражавшеюся в усиленном бегстве отсюда посадских людей, и вместе большим развитием ремесленной деятельности на счет хлебопашества. В городах по южной и юго-восточной окраине, имевших преимущественно значение крепостей, заметно усиление и даже преобладание военного элемента в составе населения, то же господство ремесла и торговли над земледелием, та же бродячесть сборного населения, неустановленность общественных отношений. Эти выводы не потеряют своей цены, если даже некоторые из них будут исправлены дальнейшим изучением. Во всяком случае благодаря им уже нельзя покрывать одной характеристикой все города Московского государства, как иногда делали прежде. Потому автор имел право указание этих местных различий считать главным результатом своего труда⁷¹.

Сочинение г. *Чечулина* — добросовестный труд, основанный на внимательном изучении мало тронутого источника, стоивший усиленной борьбы с трудностями этого источника и большой черновой работы над ним, дающий читателю немало ценных, освещающих предмет выводов и еще больше материала для выводов, могущих усилить это освещение. Думаем, что эти качества исследования, несмотря на некоторое несоответствие его задачи средствам и на признаки несколько поспешного его издания, дают достаточное основание удостоить книгу г. *Чечулина* искомой им премии.

ВОСПОМИНАНИЕ О Н. И. НОВИКОВЕ И ЕГО ВРЕМЕНИ

Полтора ста лет прошло от рождения Н. И. Новикова, и идет 77-й год со дня его смерти. Теперь осталось очень мало людей, которые могли бы его лично знать и помнить. Мы можем только вспоминать о нем. Таким воспоминанием позвольте на несколько минут занять ваше благосклонное внимание. Ничего не скажу ни нового, ни даже цельного, а только из общеизвестного о Новикове напомним то, чем особенно можно и должно помянуть его.

Н. И. Новиков, собственно, не писатель, не ученый и даже не особенно образованный человек в духе своего времени, по крайней мере сам он не признавал себя ни тем, ни другим, ни этим, хотя он и писал, даже хорошо писал, и издал много ценного научного материала, и своею деятельностью много лет привлекал к себе сочувственное и почтительное внимание всего образованного русского общества. Настоящим своим делом он считал издательство; на типографию и книжную лавку положил он лучшие силы своего ума и сердца. Типография, книжная лавка — это не просвещение, а только его орудия. Но именно как издатель и книгопродавец Новиков сослужил русскому просвещению большую службу, своеобразную и неповторенную. Нам теперь трудно представить себе типографскую и книгопродавецкую деятельность, которую можно было бы сослужить такую службу. Правда, и в наше время нелегкое и немаловажное дело дать в руки простому читателю, не любителю и не ученому, полезную и приятную книгу,

попасть во вкус и потребности грамотного общества; в малограмотные времена Новикова это было во много раз труднее и важнее, чем теперь. Но Новиков по-своему понимал задачи печатного станка и повел свое дело так, что в его лице русский издатель и книгопродавец стал общественной, народно-просветительной силой, и постигшая Новикова катастрофа произвела на русское образованное общество такое потрясающее впечатление, какого, кажется, не производило падение ни одной из многочисленных «случайных» звезд, появлявшихся на русском великосветском небосклоне прошлого века.

Я наперед скажу, где причина такого небывалого на Руси явления, как могло получить такое значение скромное само по себе дело. Энтузиазм частных людей к делу народного образования, соединенный с чутким пониманием его нужд и недостатков и с расчетливым выбором средств их удовлетворения и устранения, — вот что особенно вспоминаем мы, собравшись почтить воспоминанием 150-ю годовщину рождения Н. И. Новикова.

Вспоминая деятельность Новикова, я прежде всего должен говорить именно о нуждах и недостатках современного ему русского просвещения, т. е. придать своему воспоминанию несколько одностороннее направление, теневую окраску. Но тени сами собой отступают назад перед светлыми чертами, так ярко отразившимися в деятельности Новикова и его друзей, и мы получаем возможность видеть русское общество того времени с обеих сторон, лицевой и оборотной.

При мысли о Новикове невольно перебираешь в памяти целый ряд явлений в умственной и нравственной жизни русского общества с самого начала прошлого века — так тесно связана была издательская деятельность Новикова с ходом нашего просвещения, особенно с судьбою книги на Руси, с историей книжного чтения. Мы привыкли в своем представлении соединять просвещение с книгой, как с одним из главных его средств или пособий. Но в истории нашего просвещения был момент, когда средство начинало удаляться от своей цели, когда книга грозила вступить во вражду с просвещением. Этот момент был дурным перепутьем между двумя великими реформами, какие вынесло русское общество в прошлом веке, между петровскою реформой

порядков и екатерининскую реформой умов. Такой разлад между средством и целью подготовлен был некоторыми туземными и заносными условиями, действовавшими на состав и направление книжного чтения, каким питалось тогдашнее грамотное общество на Руси.

В древней Руси читали много, но немногое и немногие. Этим чтением с строго ограниченным содержанием и направлением вырабатывались мастера-начетчики, которые знали свою литературу, свое *божественное писание*, как они ее называли, не хуже, чем *отче наш* или святцы. Такие начетчики не переводились у нас во весь XVIII век, не перевелись и донныне. Реформа Петра потребовала от высших служащих классов новых знаний, выходявших далеко за пределы древнерусского книжного кругозора, и заставила читать новые книги преимущественно учебного характера. Так как читали для ученья, а учились по долгу службы, то эта литература разновозрастных учебников не могла стать популярной ни в младших, ни в старших возрастах, не могла привить читателям внутренней потребности в ней, которая пережила бы ее внешнюю принудительность. Ведь любознательность ее записных потребителей поддерживалась более всего экзаменной проверкою и служебною ответственностью с энергическими последствиями той и другой, и по мере того, как со смертью Петра истощались эти деятельные питатели научного огня, гасла и самая любознательность и застаивались в пыли на полках все эти повелительно втиснутые Петром в руки временнообязанных читателей Пуффендорфии, Юсты Липсии, Кугорны, Девигнолы (Виньола), Гюйгенсы, Боргсдорфы, Бухнеры с их руководствами истории, политики, артиллерии, фортификации, с книгами *мирозрения* (космография), *марсовыми*, *архитектурными*, *слюзными* и другими подобными.

Было бы, однако, несправедливо утверждать, что эта сухая учебная литература бесследно свеивалась с обязанных учебною повинностью умов льготным временем ближайших преемников и преемниц преобразователя. Немного прочных знаний и отчетливых понятий умели почерпнуть из нее обязательные ее читатели, а их не обязанные службой сестры не почерпали никаких, ибо и не читали ее. Но тех и других она самым появлением и видом своим приручала к книге гражданской

печати, освобождала от древнерусского страха перед ней, как перед аптечною банкой, и при всей скудости извлекаемого из нее научного содержания все же мирилась с ней как с неизбежным злом на службе и в общественной жизни. И вот приблизительно с половины царствования Елизаветы Петровны на ниву русского просвещения, все более очищавшуюся от засаженных Петром тощих цифирных и технических порослей, пал сначала редкими каплями освежительный дождь амурных песенок, усердно сочинявшихся доморощенными стихотворцами с легкой руки Сумарокова; по крайней мере современник Болотов в своих записках под 1752 г. рассказывает, что «самая нежная любовь, толико подкрепляемая нежными и любовными и в порядочных стихах сочиненными песенками, тогда получала первое только над молодыми людьми свое господствие», но таких песенок было еще очень мало, и «они были в превеликую еще диковинку», и потому молодыми барынями и девицами «с языка были не спускаемы». А за песенками полился поток назидательно-пресных мещанских трагедий и сентиментально-пикантных романов, в изобилии изготовлявшихся на Западе. Колючая литература научного знания сменилась произведениями сердца и воображения, щекотавшими элементарные инстинкты, которые не нуждаются ни в подготовке, ни в поощрении. Из холодной и сухой области научной мысли перескочив прямо в распаренную наркотическую атмосферу вольного чувства и образа, светски образованные люди так живо почувствовали разницу между тою и другою средой, что наука и беллетристика, долженствующие идти об руку одна с другой к одной цели — к познанию жизни, в сознании этих людей стали непримиримыми врагами, и эти люди решили, что можно и должно вкушать сладкие плоды учения, отбрасывая его горький корень. Одногодки Новиков и Фонвизин молодостью своей попали в этот момент, и последний увековечил его в своем *Бригадире* (1766 г.) коротким и выразительным обменом мыслей между двумя образцовыми продуктами этого момента, Советницей и Иванушкой:

— Боже тебя сохрани, — говорит первая второму, — от того, чтобы голова твоя была наполнена чем иным, кроме любезных романов! Кинь, душа моя, все на свете науки. Не поверишь, как такие книги просвещают.

— Madame! — отвечает ей Иванушка, — вы говорите правду. Я сам, кроме романов, ничего не читывал.

А какое направление преобладало в этих романах, потреблявшихся русскими советницами и Иванушками, видно из рассказа того же Фонвизина о том, как он, будучи еще студентом Московского университета, взамен гонорара за перевод басен Гольберга получил от московского книгопродавца целую кучу иностранных книг, «соблазнительных, украшенных скверными эстампами» и испортивших его воображение. Такие книги, очевидно, наиболее спрашивались тогдашнею светскою молодежью. Людям, чувствовавшим потребность порядочности, надобно было, подобно фонвизинскому Сорванцову, отговариваться в обществе, что они не ставят своего невежества себе в достоинство.

Живописец Новикова в 1772 г. скорбит о том, что романы раскупаются вдесятеро больше наилучших переводных книг серьезного содержания, да и было о чем скорбеть. Хороший роман служит прекрасным пособием для познания жизни тому, кто в нем ищет и находит художественное объяснение своих случайных и хаотических житейских впечатлений; для такого читателя роман — художественная иллюстрация действительности; без того и лучший роман — пустая игрушка воображения, лубочная картинка, лишенная своей истолковательницы — подписи внизу. наших читателей и читательниц роман отучал от понимания действительности, заменяя им житейские опыты и наблюдения призраками, как детям куклы заменяют живых людей; подобно пушкинской Татьяне, они «влюблялись в обманы и Ричардсона, и Руссо».

Подготовленный любовными песенками вроде сумароковских или николевских, вкус романической публики быстро изощрялся, поддерживая возбуждаемость усталого литературного аппетита. Начинали строго добродетельным семейным романом во вкусе ричардсоновой *Памелы*, продолжали романом тоже довольно добродетельным, вроде *Клариссы*, но уже с участием Ловеласа, а кончали ничем не прикрытыми приключениями вроде тех эстампов, на которые жаловался Фонвизин. Самые заглавия романов вторили изощрявшимся вкусам: *Российскую Памелу или приключения Марии, добродетельной поселянки*, сменяло *Геройство любви*

или изображение великодушного любовника, а затем уже прямо следовала *Генриетта или гусарское похищение* в трех частях. Так родился у нас значительно разросшийся потом класс потребителей и особенно потребительниц романа, идиллически мечтательный род петиметров и кокеток с кисейными чувствами и «с чепухой сладких слов», как выразился некогда Княжнин о выведенном им в комедии *Чудаки* подобном продукте идиллии и романа. Жившие в России иностранцы с удивлением встречали в русском большом свете много дам и девиц, которые говорили на четырех-пяти языках, играли на разных инструментах и отлично знакомы были с произведениями известнейших романистов Франции, Англии и Италии. В этом знакомстве трудно искать любознательности, питавшей размышление. К этим дамам и девицам шло воззвание в переведенной тогда идиллии мадам Дезульер:

Овечки! ни наук, ни правил вы не зная,
Паситесь в тишине: не нужно то для вас.

Надобно сказать правду об этой идиллической чувствительности: для массы сердец она служила только приправой чувственности, не смягчая чувства. Мамаша после обычной утренней расправы на конюшне с крестьянами и крестьянками принималась за французскую любовную книжку и откровенно объясняла по-русски все прелести любви и нежности прекрасного пола своему тринадцатилетнему сыну (*Живописец Новикова*).

Среди самого разлива этого чувственно-чувствительного чтения стало проникать в наше общество влияние просветительной философии. Может быть, нигде в Европе эта философия так наглядно, как у нас, не выказалась обеими своими сторонами, лицевой и оборотной. В нашей разреженной культуре, как в решете, сор мысли как-то сам собою отсеивался от ее зерна. После 28 июня 1762 г. у нас было немало умных и благомыслящих людей, которые, становясь у дел, понимали, чем могут воспользоваться из содержания этой философии политика, право и общежитие, и русское законодательство стало провозвестником ее зиждительных идей. Но популярную силу этой философии составляли не столько планы построения нового порядка, сколько критика существующего, приправленная насмешкой. Наша

модно образованная публика особенно понятно воспринимала это критическое направление просветительской философии и не столько самую критику, сколько ее приправу. Подобно ночным мотылькам, которые ничего не видят при дневном свете, непривычные к размышлению умы слепо бросались на яркие парадоксы тогдашних *esprits forts* и на них сжигали последние остатки здравого смысла, уцелевшие от романов и идиллий. Развинченное ими вольное чувство, встретившись с вольною смеющеюся мыслью, спешило устранить все сдержки и преграды и прежде всего набросилось на простейшие нравственные связи. «Не щадить отца — вот прямая добродетель века!» — восклицает Советница в *Бригадире*, восхищенная скотским взглядом Иванушки на семейные отношения. В лице одного из героев *Чудаков*, разбогатевшего самодура-дворянина из кузнецов Лентягина, Княжнин изобразил одного из этих выросших новым духом времени и старыми нравами русских вольнодумцев, у которых протестующий философский смех перерождался в безразборчивое зубоскальство надо всем, а отрицание предрассудков — в забвение приличий, — словом, из свободы мысли выходило озорство почуявшего волю холопского темперамента. Тогда, по свидетельству Фонвизина, составлялись кружки молодежи, все философское упражнение которых состояло в богохульстве и кощунстве. Потеряв своего бога, заурядный русский вольтерьянец не просто уходил из его храма как человек, ставший в нем лишним, а, подобно взбунтовавшемуся дворовому, норовил перед уходом набуянить, все перебить, исковеркать и перепачкать. Что еще прискорбнее, многими, если не большинством наших вольнодумцев, вольные мысли почерпались не прямо из источников, — это все-таки задавало бы некоторую работу уму, — а хватались ими с ветра, доходили до них отдаленными сплетнями из вторых-третьих рук: какой-нибудь молодой Фирлюфюшков (петиметр в комедии Екатерины II *Именины госпожи Ворчалкиной*), воротясь из Парижа, проповедовал их доверчивым зевакам-сверстникам, или старый высокочиновный греховодник зазывал молодежь к себе на обеды, чтобы сообщить ей последние, самые свежие полученные из Парижа новости по части атеизма и материализма. Многим русским вольтерьянцам Вольтер

был известен только по слухам как проповедник безбожия, а из трактатов Руссо до них дошло лишь то, что истинная мудрость — не знать никаких наук. С просветительной философией у нас повторилось то же, что бывало с сентиментально-назидательной беллетристической: мать пушкинской Татьяны была от Ричардсона без ума:

Она любила Ричардсона
Не потому, чтобы прочла,
Не потому, чтоб Грандисона:
Она Ловласу предпочла;
Но встарину княжна Алина,
Ее московская кузина,
Твердила часто ей об них.

Таким образом, открывалось неожиданное и печальное зрелище: новые идеи просветительной философии являлись оправданием и укреплением старого доморощенного невежества и нравственной косности. Обличительный вольтеровский смех помогал прикрывать застарелые русские язвы, не исцеляя их. Доисторические привычки и одичалые понятия, которые прежде припрятавались от глаз закона или которых стыдились перед добрыми людьми, как стыдятся неубранного домашнего сора перед гостями, теперь самодовольно выставлялись напоказ, как указание или требование природы. Новые идеи нравились, как скандалы, подобно рисункам соблазнительного романа. Философский смех освобождал нашего вольтерианца от законов божеских и человеческих, эмансипировал его дух и плоть, делал его недоступным ни для каких страхов, кроме полицейского, нечувствительным ни к каким угрызениям, кроме физических, — словом, этот смех становился для нашего вольнодумца тем же, чем была некогда для западного европейца папская индульгенция, снимавшая с человека всякий грех, всякую нравственную ответственность; да этот смех и там, кажется, был приемником, едва ли даже не был *натуральным сыном* этой самой индульгенции.

При каком угодно мнении о просветительной философии можно огорчаться таким ее употреблением. Порошин рассказывает в своих записках под 1765 г., как за несколько лет до того к одному московскому дворянину нанялся француз учить его детей французскому

языку; после оказалось, что этот француз был вовсе не француз, а чухонец, и обучил он детей дворянина не французскому, а чухонскому языку. Нечто подобное тому, что испытал здесь французский язык, случилось у нас и с французскою философией: многие наши вольтерьянцы поступили с ней совсем по-чухонски, под фирмой ее идей выдавали свои собственные темниковские или судогодские измышления и недомыслия. Еще один ветхозаветный мыслитель сказал, что и мудрое слово в устах малоумного становится безумием. Направление русских умов, таким образом воспринимавших просветительное влияние, становилось уже не усвоением европейской цивилизации, а болезненным расстройством национального смысла, не подготовленного к такому острому питанию. Привозные лекарства только растравляли старые туземные недуги и приходилось лечить не только от болезней, но и от самого лечения.

Так книга, эта разносчица просвещения, стала ему помехой. В обеих литературах, беллетристической и философской, ставших у нас наиболее ходячими, наш просвещенный свет особенно охотно и успешно черпал лишь чувства и идеи, мало пригодные для частного, как и для общественного блага, только соблазнявшие сердце и ум своею вольностью или недозволенностью. В то время строгие судьи видели в таком направлении мысли и вкуса только недомыслие и безвкусие, слепое увлечение, и надеялись исправить грех, открыть слепцам глаза насмешкой. Случилось так, что в одно время с первою турецкою войной, с борьбой против внешних врагов европейской цивилизации русские писатели снарядили целую экспедицию против внутренних недугов русского быта и просвещения, и в продолжение 5—6 лет, пока русские войска поражали турок и татар на море и на суше, русские сатирические журналы громили и доморощенные, и завозные пороки русского общества. Сама императрица с несколькими обличительными комедиями вступила волонтером в это патриотическое литературное ополчение под прозрачным вуалем всем знакомого неизвестного. Тогда двадцатипятилетним новобранцем выступил на литературно-издательском поприще и армейский поручик в отставке Н. И. Новиков, и его журналы *Трутень*, *Живописец* и *Кошелек* по

смелости и меткости своей сатиры стали решительно впереди всей фаланги сатирических изданий тех годов. От журналов Новикова всего больше досталось и зараженному французским влиянием модному русскому свету; *Кошелек* даже выступил специальным партизаном против этого влияния. В журналах Новикова встречаем едва ли не самые яркие изображения типических продуктов галломании, именно русской галломании, львов и львиц тогдашнего большого света, щеголей и щеголих или столь памятных петиметров и кокеток с их кукольною выделкой и невероятным нравственным одичанием, с ходульными каблучками, буклями в виде крылышек горлицы и до облаков взбитыми прическами, с разученно нежною вскидкой взглядов, с вечными разговорами о любви и с ненавистью к наукам, к книгам, кроме тех, в которых они находили, говоря их языком, «слог расстеганный и мысли прыгающие» и которые они «фелитировали без всякой дистракции». Что же вышло из этих благородных усилий русской сатиры? Есть основание опасаться, что она больше обогатила литературу, чем исправила нравы, научила добродетели только добродетельных. В *Живописце* есть статья самого Новикова, передающая юмористическую беседу писателей в разных родах с своими читателями. Между прочим, писателю комедий на его речи о нравственно-исправительном действии комедии читатель отвечает: «Знай, когда ты меня осмеиваешь, тогда я тебя пересмеваю». Нечто подобное, кажется, случилось и с русской сатирой прошлого века. Даже более того: осмеиваемый шут, увидев свой каррикатурный портрет на сцене или в сатирическом журнале, любовался им и хохотал не менее других зрителей. Добрая половина столичного партера, аплодировавшего комедиям Фонвизина, состояла из подлинников или живых иллюстраций его художественных каррикатур, по крайней мере видела в них портреты своей близкой родни. Какую сатирой можно было донять фонвизинскую княгиню Халдину, которая любила одеваться при мужчинах, не находила ничего странного в том, что все ее дети уродились в друзей ее мужа, — ведь, в мужниных же друзей, а не в каких-либо иных, поймите вы это, — и которая с гордостью добродетели говорила: «Мне стыдно чего-нибудь стыдиться»? Обличение бессильно против лю-

дей, которые, по выражению древнерусского летописца, *ни бога ся боят, ни человека ся стыдят*. Удары негодующей сатиры безболезненно падали на наших великосветских щеголей и щеголих прошлого века, служа только возбудительным массажем для их износившихся в праздной суете или залежавшихся в сентиментальной апатии нервов. Более щекотливые надувались сердито, но не исправлялись. Что касается собственно вольнодумства как особого направления мыслей, сатирические журналы тех лет касались его лишь слегка, мимоходом, вероятно, потому, что оно не успело еще выделиться в такое направление из общего хаоса распушенных речей и мыслей. Впрочем, после, когда оно стало походить несколько на особое мирозерцание, обличение и на него не оказало заметного действия.

Зло, с которым боролась сатира, было не слабостью, не простым пороком, а нечто вроде порока сердца, т. е. болезнью, пороком просвещения, а болезни лечат, не осмеивают. Уж если злоупотреблять медицинским языком, эту болезнь можно назвать анемией общественного сознания и нравственного чувства, соединенной с неестественным отношением к окружающему. Общечеловеческая культура, приносимая иноземным влиянием, воспринималась так, что не просветляла, а потемняла понимание родной действительности; непонимание ее сменялось равнодушием к ней, продолжалось пренебрежением и завершалось ненавистью или презрением. Люди считали несчастьем быть русскими и, подобно Иванушке Фонвизина, утешались только мыслью, что хотя тела их родились в России, но души принадлежали короне французской.

Такое направление умов в высшем обществе грозило немалыми опасностями. Еще в древней Руси дворянство стало во главе русского общества как орган управления и землевладельческий класс. Петр Великий хотел упредить и расширить это руководящее значение сословия, сделав его, по крайней мере верхний слой его — дворянство столичное, еще и проводником западноевропейского просвещения в России. Но что бы это был за руководящий класс, который не понимает руководимого им общества и даже презирает его! Он сам себя осуждал на упразднение, и тогда русское общество очутилось бы в руках провинциальных Простаковых и Скотининых

с их Митрофанам и Николашками, в 18 лет едва одолевшими азбуку (в комедии Екатерины II *О время!*).

Болезнь была тем серьезнее, что происходила не от каприза или увлечения отдельных лиц, а от причин, которые коренились в исторически сложившемся положении всего класса. Иноземное влияние не встречало надлежащей подкладки в элементарном общем образовании, которое давало бы умение воспринимать потребное, отбрасывая лишнее. Обязательная выучка дворянства совсем не давала такого образования, а модное гувернерское воспитание во многом было даже хуже простого невежества. Новая книга, попадавшая в руки взрослому просвещенному человеку, служила ему не дополнением, а заменой учебника. Новые идеи неслись поверх умов какими-то сухими туманами, застилая глаза и не освежая мысли, а только оставляя на ней сорный осадок в виде пустых фраз, дурных манер, непристойных выходов против общепринятого и т. п. Притом с освобождением от обязательной службы значительная часть дворянства поспешила избавиться от привычного, но надоевшего дела, для которого она училась, но не умела найти, да и не искала никакого нового общепольного дела, стала праздной. Деловая цель образования исчезла из глаз, и книга стала только средством приятно наполнять пустоту праздного и бесцельного существования. Этим определились направление умов и вкусов, выбор чтения и идей, характер воспитания. Привычка учиться для службы не выработала в сословии внутренней потребности образования, а отсутствие сословного дела уничтожало и общественное побуждение к тому. Наконец, тогдашний класс «просвещенных людей» составлял очень тонкий слой, который случайно взбито пеной вертелся на поверхности общества, едва касаясь его. Отделенный от народной массы привилегиями, нравами, понятиями, предубеждениями, не освежаемый притоком новых сил снизу, он замирал в своих искусственных, призрачных интересах и никому ненужных суетах. Не такими ли наблюдениями внушены были замечания одного иностранца (Макартнея), бывшего в России в начале царствования Екатерины II и писавшего, что русское дворянство самое необразованное в Европе, что русскому правительству труднее будет цивилизовать своих дворян, чем крестьян, и что им

лучше было бы не иметь никакого образования, чем иметь такое, какое им дается, потому что оно не может сделать их полезными для общества?

Правительство Екатерины II чувствовало эти недуги русского просвещения и принимало меры против них. Отсюда его настойчивая проповедь о необходимости воспитания, которое нравственно переродило бы общество, его усиленные заботы о закрытых воспитательных заведениях, о создании «третьего чина», или среднего сословия, которое стало бы, как в других странах Европы, носителем научного образования, питомником просвещения в России. И. И. Бецкий в своих докладах императрице указывал именно на отсутствие у нас восприимчивой среды, питательной почвы, к которой могло бы прикрепиться научное образование, говорил, что люди, приобретающие такое образование, скоро теряли его и возвращались в прежнее невежество по недостатку спроса и практики для их знаний.

Эти просветительные усилия правительства не были свободны от иллюзий и недоразумений. Спешили заводить закрытые воспитательные училища. А где же учителя и учебники, где книги для чтения, которые восполняли бы учебники и учительские уроки? Как, наконец, подготовить общество к приему перерожденных в новых училищах питомцев, чтоб они не тонули в темной массе и не возвращались в прежнее невежество?

Новиков прямо и смело пошел навстречу этим усилиям и недоразумениям. Неизвестно, как складывался его взгляд на свое дело. Новиков появился в литературном мире как-то вдруг, исподтишка, без заметной подготовки. Сын достаточного, но небогатого дворянина, 16-ти лет исключенный из дворянской гимназии при Московском университете «за леность», признававший себя и в старости невеждой, не знающий никаких языков, после 8 лет службы в гвардии он вышел в отставку армейским поручиком, а с 1769 г., когда ему было 25 лет, последовательно выступал с тремя лучшими в то время сатирическими журналами, привлек к себе обширный круг читателей, стал известным литератором и издателем, в то же время и после выпустил ряд ученых изданий по русской истории и литературе, из которых некоторые, особенно *Древняя российская вивлиофика*, сборник разнообразных памятников по русской истории,

изданный при содействии Екатерины II, доселе не потеряли своей ученой цены. Из впечатлений и размышлений, накопившихся в продолжение 10-летних литературно-издательских опытов в Петербурге, у Новикова, повидимому, сложился ясный взгляд на то, что ему следует делать. С этим взглядом он в 1779 г. переехал в Москву, заарендовал на 10 лет университетскую типографию с книжною лавкой и принялся за дело.

В 1792 г., разбитый постигнутою его бедой, Новиков на допросе произвел на враждебного ему следователя впечатление человека острого, догадливого, с характером смелым и дерзким. Бесспорно, Новиков был человек умный и решительный. Труднее было заметить в нем еще одну черту, это — энтузиазм сдержанный и обдуманый. У него было два заветных предмета, на которых он сосредоточивал свои помыслы, в которых видел свой долг, свое призвание, это — служение отечеству и книга как средство служить отечеству. Если в первом сказывалась одна из лучших исторических привычек старого русского дворянства, поднимавшаяся в лучших людях сословия на высоту нравственного долга, то во взгляде на книгу надобно видеть личную доблесть Новикова. И до него бывали дворяне, посвящавшие литературе свой служебный досуг. В лице Новикова неслужащий русский дворянин едва ли не впервые выходил на службу отечеству с пером и книгой, как его предки выходили с конем и мечом. К книге Новиков относился, мало сказать, с любовью, а с какою-то верой в ее чудодейственную просветительную силу. Истина, зародившаяся в одной голове, так веровал он, посредством книги родит столько же подобных правомыслящих голов, сколько у этой книги читателей. Поэтому книгопечатание считал он наивеличайшим изобретением человеческого разума.

На этой вере в могущество книги Новиков строил практично обдуманный план действий. Этот план был тесно связан со взглядом на недостатки и нужду русского просвещения, какой просвечивает в изданиях и во всей деятельности Новикова. Один из главных врагов этого просвещения — галломания, не само французское просвещение, а его отражение в массе русских просвещенных умов, то употребление, какое здесь из него делали. «Благородные невежды, как называл

Новиков русских галломанов, сходились с простыми невеждами старорусского покроя в убеждении, что они достаточно все понимают и без науки, что, «и не учась грамоте, можно быть грамотеем». Значит, вольномыслие не от учения, а от невежества, и есть не более как легкомыслие. Всякий мыслящий человек, так писал Новиков в одном из своих журналов, чувствует сострадание, взирая на простодушных людей, которые беззащитно увлекаются надменными и остроумными мудрованиями, разрушающими основы человеческого общежития, или гнушаются всем отечественным, обольщаясь наружным блеском иноземного. Истинное просвещение должно быть основано на совместном развитии разума и нравственного чувства, на согласовании европейского образования с национальной самобытностью. В составе воспитания Новиков не отставлял разума на задний план, не ронял цены научного образования, как это делали иногда литературные и даже должностные педагоги того времени. Неосторожно было набрасывать тень на разум в обществе, где и без того многие им тяготились, воздерживать от увлечения науками, которыми и без того не занимались. Когда Сумароков в речи при открытии Академии художеств восклицал: «воссияли науки — и погибла естественная простота, а с нею и чистота сердца», сколько господ Простаковых готовы были аплодировать этим желанным словам, так легко и просто разрешавшим все их материнские муки с своими Митрофанами! Ведь Руссо у нас потому особенно и был популярен, что своим трактатом о вреде наук оправдывал нашу неохоту учиться. В *Живописце* Новиков насмешливо сопоставлял мудрость доморощенных философов донаучной чистоты с учением Руссо, говоря им: «он разумом, а вы невежеством доказываете, что науки бесполезны». Новикову принадлежит честь одного из первых, кто заговорил у нас о разграничении заимствуемого и самобытного, о черте, за которую не должно переступать иноземное влияние. В *Кошельке* 1774 г. он восстает против мнения, что русские должны заимствовать у иноземцев все, даже характер, который у всякого народа свой особый: не одной же России отказано в нем и суждено скитаться по всем странам, побираясь обычаями у разных народов, чтоб из этой сборной культурной милостыни составить характер,

никакому народу не свойственный, а идущий к лицу только обезьянам.

Где же было найти у нас опору истинному просвещению? Такою опорой не мог быть большой свет ничему не хотевших учиться вольтерянцев и модных петиметров: здесь надобно было предоставить мертвым хоронить своих мертвецов. Екатерина с Бецким задумывала отнять у всего дворянства принадлежавшее ему с Петра значение хранителя и проводника европейского научного образования и передать это значение особому «среднему сословию», подобному французской буржуазии, сделав его специальным питомником науки и художеств. Но такого сословия не существовало в России, его еще надобно было созидать. Это была радикальная мера, хлопотливая и несколько самонадеянная. В ней сказался философский XVIII век, любивший кроить общество по своим идеям. Новиков думал, что удобнее кроить платье по плечу, чем выламывать плечо по платью. Он надеялся обойтись наличными средствами, не ломая общества: ведь легче издавать полезные книги для читателей из готовых сословий, чем создавать особое сословие для чтения полезных книг. Он рассчитывал не на средний род людей, которого у нас не было, а на средний круг читателей, и его расчет состоял в том, чтобы из грамотного люда разных сословий создать читающую публику. В этой среде он находил благоприятные задатки для успехов просвещения. Он сам на себе испытал ее значение для литературы: его *Живописец* выдержал в прошлом веке пять изданий. Новиков объяснял такой успех журнала тем, что он пришелся по вкусу мещан, ибо, добавлял он, у нас те только книги четвертыми и пятыми изданиями печатаются, которые этим простосердечным людям по незнанию ими чужестранным языков нравятся. В самом выборе чтения здесь можно было найти более просвещенного вкуса и любознательности: по словам Новикова, в числе любимых книг у мещан были *Синописис*, учебник русской истории, *Совершенное воспитание детей* и тому подобные книги, не пользовавшиеся никаким уважением просвещенных людей большого света.

«Имей душу, имей сердце», — проповедовала гуманная педагогика века, а это была прекрасная проповедь при бездушной школьной выучке и бессердечном верто-

прашестве светской мысли. Но мало сказать доброе правило, надобно еще *сотворить* и *научить*, указать, как его исполнить, и подать пример исполнения. И в деле просвещения есть своя черновая часть. Сколько нужно понести пыли и грязи, чтобы вырастить хлебный злак? Современный сеятель просвещения, выходя на свою ниву, находит много готовых вспомогательных средств для своего дела: не говоря о широко распространенном сознании пользы учения, о внутренней потребности образования в значительной части общества, об обильном запасе учебной и образовательной литературы, достаточно вспомнить о довольно налаженном типографском и книгопродавческом деле. Правда, в книжном деле у нас и теперь бывают прискорбные недоразумения: так, нередко книга и читатель ищут друг друга и не находят, как будто играют друг с другом в жмурки с завязанными глазами; порой появляются книги, которых некому читать, и есть охотники чтения, которым нечего читать. Во времена Новикова таких недоразумений было несравненно больше, а вспомогательных средств просвещения гораздо меньше, даже совсем мало. В единственной тогда университетской столице просвещения было всего две книжные лавки, годовой оборот которых не превышал 10 тыс. рублей; в провинции книга была редкостью и продавалась втридорога, на что жаловался сам Новиков; издательское дело велось так вяло, что не поспевало за спросом читателей простонародных романов и повестей вроде *Бовы Королевича* или *Еруслана Лазаревича*, и были отставные подьячие, кормившиеся перепиской таких произведений. Новиков видел, что надо начинать дело с самого начала, с черновых вспомогательных средств просвещения, и, надев рабочий передник, не побрезговал подойти к типографской саже и стать за пыльным прилавком книжной лавки. В обществе, где, по сознанию самого новиковского *Живописца*, даже звание писателя считалось постыдным, надобно было иметь немалую долю решимости, чтобы стать типографщиком и книжным торговцем и даже видеть в этих занятиях свое патристическое призвание. У Новикова с энергией и предприимчивостью соединялась та добросовестность мысли, которая побуждает выбирать себе дело по наличным силам, не преувеличивая своих сил по внушениям

затейливого самомнения. Этим отчасти можно объяснить его нелюбовь действовать одиноко, без товарищей. Зато он глубоко верил в могущество совокупного труда и умел соединять людей для общей цели. Именно на поприще народного образования обнаружил он это умение собирать раздробленные силы в большое дружное дело.

Московский кружок Новикова — явление, не повторившееся в истории русского просвещения. Можно радоваться, что такой кружок составил именно в Москве, где особенно трудно было ожидать его появления. Про эту столицу русского просвещения, единственный тогда университетский город в России, Сумароков, конечно, в припадке капризного раздражения, писал, что там все улицы вымощены невежеством «аршина на три толщиной». Правда, это был тогда город разнообразных крайностей. В его многочисленном дворянском обществе с довольно независимым, даже оппозиционным настроением, направляемым выброшенными из С.-Петербурга величиями, у которых прошлое было лучше будущего и которые потому бранили настоящее, — в обществе, где встречались носители всех перебивавших в России мирозерцаний от *Голубиной книги* до *Системы природы* Гольбаха и где на одном и том же пиру за минуэтом иногда следовал доморощенный трепак, среди суетливого безделья и дарового довольства нашлось десятка два большею частью богатых или зажиточных и образованных людей, которые решились жертвовать своим досугом и своими средствами, чтобы содействовать заботам правительства о народном просвещении. Некоторые из этих людей стоят биографии и все — самого теплого воспоминания. Из них рядом с Новиковым мне бы хотелось поставить прежде других И. В. Лопухина. Чтение его записок доставляет глубокое внутреннее удовлетворение: как будто что-то проясняется в нашем XVIII в., когда всматриваешься в этого человека, который самым появлением своим обличает присутствие значительных нравственных сил, таившихся в русском образованном обществе того времени. С умом прямым, немного жестким и даже строптивым, но мягкосердечный и человеколюбивый, с тонким нравственным чувством, отвечавшим мягкому и тонкому складу его продолговатого лица, вечно сосредоточенный в работе над самим собой, он упорным

упражнением умел лучшие и редкие движения души человеческой переработать в простые привычки или ежедневные потребности своего сердца. Читая его записки, невольно улыбаешься над его усилиями уверить читателя, что его любовь подавать милостыню — не добродетель, а природная страсть, нечто вроде охоты, спорта; что с детства он привык любоваться удовольствием, какое доставлял другим, и для того нарочно проигрывал деньги крепостному мальчику, приставленному служить ему; что во время его судейской службы в уголовной палате, совестном суде и Сенате сделать неправду или не возражать против нее было для него то же, что взять в рот противное кушанье, — не добродетель, а случайность, каприз природы, вроде цвета волос. Все это очень напоминает красивую застенчивую женщину, которая краснеет от устремленных на нее пристальных взглядов и старается скрыть свое лицо, стыдясь собственной красоты как незаслуженного дара. Мы если не больше сочувствуем нашему высшему крепостническому обществу прошлого века, то лучше понимаем его, когда видим, что оно если не помогло, то и не помешало воспитаться в его среде человеку, который, оставаясь баринном и сторонником крепостного права, сберег в себе способность со слезами броситься в ноги своему крепостному слуге, которого он, больной, перед причащением, в припадке вспыльчивости только что разбил за неисправность. И в то время не на каждом шагу встречалась привычка во всяком Петрушке искать чело- века и во всяком человеке находить ближнего. А по другую сторону Новикова надобно поставить И. Г. Шварца, по выражению Новикова, немчика, с которым он, поговорив раз, на всю жизнь до самой его смерти сделался неразлучным. Откуда-то из Трансильвании попав домашним учителем в Могилев, а оттуда в Москву на профессорскую кафедру в университете, Шварц полюбил приютившую его чужбину, как не всегда любят и родину, и посвятил ей все еще молодые силы своего ума, весь жар своего горячего сердца. Восторженный и самоотверженный педагог до тончайшей фибры своего существа, неутомимый энтузиаст просвещения, вечно горевший, как неугасимый очаг, и успевший сжечь себя до тла в 33 года жизни, Шварц будил высшее московское общество, где был желанным гостем, без умолку

толкую в знатных и образованных домах о необходимости составить общество для распространения истинного просвещения в России, будил и университетскую молодежь своими одушевленными мистическими лекциями о гармонии наук в изучении таинств природы, о связи духа и материи, о союзе между богом и человеком, о стремлении к свету и добру, к познанию божества и внутреннего человека. А для изображения С. И. Гамалеи, правителя канцелярии московского главнокомандующего, у меня не найдется и слов: хотелось бы видеть такого человека, а не вспоминать о нем. Я недоумеваю, каким образом под мундиром канцелярского чиновника, и именно русской канцелярии прошлого века, мог уцелеть человек первых веков христианства. Гамалею подобает житие, а не биография или характеристика. Сомневаюсь, сердился ли он на кого-нибудь хоть раз в свою жизнь. Во всем мире только с одним существом он воевал непримиримо — это с своим собственным, с его пороками и страстями, и с какими страстями! — с нюханьем табаку, например, и т. п. Когда ему предложили обычную в то время награду за службу крепостными в количестве 300 душ, он отказался: ему-де не до чужих душ, когда и с своею собственной он не умеет справиться. Слуге, укравшему у него 500 руб. и пойманному, он подарил украденные деньги и самого его отпустил с богом на волю; но он не мог простить себе ежегодной траты 15 руб. на табак, которую считал похищением у бедных, и постарался победить столь преступную привычку, обратив новое сбережение на милостыню. Блаженный в лучшем смысле этого слова, которого современники справедливо прозвали «божьем человеком»! И другие члены кружка были проникнуты тем же новиковским или лопухинским духом: это были лучшие, образованнейшие люди московского общества, князя Трубецкие и Черкасский, И. П. Тургенев и другие, между которыми и Московский университет имел своих представителей в лице куратора Хераскова и нескольких профессоров. Среди этого товарищества просвещения и благотворительности радушною хозяйкой на Покровке и в подмосковном Очакове, самоотверженною пособницей и ободрительницей в каждом деле и затруднении кружка являлась царившая в нем энергичная княгиня Варвара Алексан-

дровна Трубецкая, урожденная княжна Черкасская, одна из прекраснейших русских женщин прошлого века, у которой ни дух времени, ни светское образование, ни таланты и влияние на окружающих не ослабили силы и непосредственности христианского чувства. Надобно думать, что дух и состав кружка сообщали ему большую притягательную силу, если ревностным сподвижником его стал богач, скупавший жизнью от пресыщения ее благами, сын бывшего недоброй памяти петербургского генерал-полицмейстера, П. А. Татищев, своим значительным вкладом давший возможность осуществить заветную мечту Шварца об основании просветительного общества; а другой богач, сын верхотурского ямщика и уральского горнозаводчика, Г. М. Походяшин, тронутый речью Новикова о помощи нуждающимся в голодный 1787 г., расстроил свое огромное состояние щедрыми пожертвованиями на дела просвещения и благотворения, но, умирая в бедности, услаждал свои последние минуты тем, что с умилением смотрел на портрет Новикова как своего благодетеля, указавшего ему истинный путь жизни.

Эта нравственная сила многим членам кружка далась не даром. Когда мы читаем признание Новикова, что он мучился сомнениями, находясь на распутье между вольтерьянством и религией, и не имел краеугольного камня, на котором мог бы основать свое душевное спокойствие, когда И. В. Лопухин рассказывает в своих записках, как он, быв усердным читателем Вольтера и Руссо и задумав распространять в рукописях свой перевод из восхитившей его *Системы природы* Гольбаха, вдруг охвачен был чувством неопisanного раскаяния, не мог заснуть прежде, нежели съел приготовленную к пропаганде красивую тетрадку вместе с черновой, и успокоился вполне только тогда, когда написал *Рассуждение о злоупотреблении разума некоторыми новыми писателями*, когда мы читаем о подобных пароксизмах совестливой мысли, может быть, мы впервые застаем образованного русского человека в минуту тяжкого раздумья, какое ему не раз пришлось и не раз еще придется переживать впоследствии. Это раздумье, естественно, рождалось из самого положения русского образованного человека. Запоздалый работник в культурной мастерской, принужденный учиться у тех,

кого должен был догонять, он уже в продолжение двух-трех поколений привык обращаться к западноевропейской мысли за советом, к общественному порядку, в котором эта мысль вырабатывалась, за опытами и уроками. Но западноевропейский разум, вырабатывавший и эту мысль, и этот порядок, в прошлом веке потянуло в противоположные стороны. Фонвизин резкими чертами изобразил это раздвоение, когда писал из Франции в 1777 г., что там при невероятном множестве способов к просвещению весьма нередко глубокое невежество с ужасным суеверием, что одни воспитываются духовенством в сильном отвращении к здравому рассудку, а другие заражаются новою философией, так что встречаются почти только крайности — или рабство, или нахальство разума. В борьбе, возникшей из этого раздвоения, европейская мысль, постепенно разгораясь и разгораясь, приняла отрицательное направление, из светоча превратилась в зажигательный факел и решительно пошла против служившего ей очагом общественного порядка. Тогда русский образованный человек, если он притом был еще и человек мыслящий, почувствовал себя в неловком положении: служивший ему образцом строй понятий, чувств, общественных отношений был осужден как неразумный. Здание отечественной гражданственности, над которым он призван был трудиться, нельзя стало продолжать ни по старым образцам, ни по новым идеалам. В ожидании огромного крушения, не надеясь ничего найти на Западе для этой постройки, кроме раскаленной лавы да гнилых развалин, он вынужден был искать доморощенных средств. Но, видя вокруг себя умы, больше воспаленные, чем просвещенные новыми идеями, люди новиковского направления решили, что для улучшения общественного порядка каждый отдельный человек, пока не касаясь его оснований, должен обратиться к самому себе, сосредоточить работу на своей личности, на своем личном умственном и нравственном усовершенствовании, чтоб этой дробною мозаическою работою приготовить живой годный материал для будущего общества. Так понимал этих людей хорошо знакомый с ними Карамзин: он называл их христианскими мистиками, пренебрегавшими школьною мудростью, но требовавшими от своих учеников истинных добродетелей и не вмешивавшимися

в политику. Та же мысль о необходимости и достаточности личного усовершенствования для подъема общественного порядка высказывалась и в любимых книгах этих людей, и в их собственных признаниях. «В школах и на кафедрах твердят: люби бога, люби ближнего, но не воспитывают той натуры, коей любовь сия свойственна». Это говорит И. В. Лопухин в своих записках, настаивая на необходимости для человека морально переродиться, чтобы сродниться с евангельскою нравственностью и стать в христианские отношения к ближним, к обществу. А как эти люди считали возможным достигнуть такого перерождения и чего от него ожидали, о том читайте в книге английского моралиста Иоанна Масона о самопознании, переведенной членом кружка И. П. Тургеневым и кружку же посвященной. Эта книга учит, что, чем лучше мы себя познаем, тем с большею пользой занимаем то место в жизни человеческой, на какое мы поставлены провидением, и что успехи в науке познания самого себя сопровождаются быстрым и счастливым изменением нравов и мыслей человеческих¹. Могут сказать, что в таком взгляде много оптимистического самообольщения, что нравственный уровень обществ так же мало зависит от совершенства отдельных его членов, как мало поднимается температура окружающего воздуха от подъема ртути в термометре, который держит теплая рука. Я и не вхожу в разбор этого взгляда, а хочу только отметить момент, когда, по моему мнению, образованный русский человек впервые почувствовал затруднительность своего культурного положения и как он пытался выйти из этого затруднения. Опять скажут: люди новиковского кружка нашли такой выход, потому что были масоны, мартинисты, и их христианские добродетели сильно омрачены этою сектантскою тенью. Можно сказать и так, можно и наоборот: они потому стали и масонами, что нашли такой выход из своего затруднения, больше масонствовали, чем были масонами; они — воспользуемся их же фигурным языком — вступили в состав «малого избранного народа» вольных каменщиков только для того, чтобы самих себя переработать в пригодные камни для мысленного храма Соломонова, т. е. для будущего идеального русского общества. Что же касается их добродетелей, то я не берусь судить, насколько нравствен-

ная доблесть Гамалеи тускнела оттого, что он прикрывал ее от недоброжелательных людских глаз театральным рубищем какого-то масонства. Но, когда я припоминаю, как отозвался о Новикове архиепископ московский Платон, испытавший его в законе божием по распоряжению императрицы и заявивший, что он молит бога, чтобы не только в его пастве, но и во всем мире были такие христиане, каков Новиков, у меня не хватает решимости искать пятен на христианстве этого мистика: ведь я не сумею быть православнее православного русского иерарха.

Вспоминая о Новикове и его сотрудиниках, я хотел напомнить характер светского образования в России их времени, их взгляды на недостатки и нужды этого образования и на свойства истинного просвещения, их цели, планы и нравственные средства. Но мне едва ли необходимо подробно говорить о том, как они проводили свои взгляды, какие материальные средства вводили в свое дело, какие встретили препятствия и чего добились: все это, кажется, достаточно известно, и я могу ограничиться наиболее крупными чертами, не входя в подробности.

План действий, как он обнаружился в предприятиях кружка и по частям был высказан в записках Лопухина и изданиях Новикова, можно изложить в таких чертах. Для успеха правительственных попечений о народном просвещении необходимо содействие частных лиц, соединяющих свои силы и средства с целью споспешествовать воспитанию юношества в полезных обществах наукам и издавать книги, утверждающие корень чистой нравственности и добродетели. Для этого такие общества частных людей на свои средства, во-первых, устрояют пробные или образцовые учебно-воспитательные заведения, во-вторых, готовят надежных учителей и воспитателей при помощи университета и, в-третьих, разборчивым изданием книг и журналов создают самобытную, дельную печать для обширного круга читателей. Такими способами можно вывести русское просвещение из тесного круга оторванных от народа «просвещенных людей», модно воспитанного высшего дворянства, в широкий мир «простосердечных мещан», простого грамотного люда, и обдуманном сочетании общечеловеческих и национально-историче-

ских элементов дать этому просвещению самобытный склад, который изменит дух общества, господствующее направление умов. Что было осуществлено из этого плана, который сам по себе есть уже немалая заслуга русскому просвещению?

Арендуя у Московского университета типографию и книжную лавку, Новиков имел в виду прежде всего потребности домашнего и школьного образования. Он старался, во-первых, составить достаточно обильный и легко доступный запас полезного и занимательного чтения для обширного круга читателей, во-вторых, войти в общение с университетом, чтобы воспользоваться его силами и средствами для приготовления надежных учителей. Расстроенную университетскую типографию он вскоре привел в образцовый порядок и менее чем в 3 года напечатал в ней больше книг, чем сколько вышло из нее в 24 года ее существования до поступления в руки Новикова. Он издавал книги довольно разнообразного содержания, особенно заботясь о печатании книг духовно-нравственных и учебных: в числе 366 книг, отпечатанных им до конца 1785 г., менее чем в 7 лет аренды, насчитываем около сотни изданий первого рода и более 30 учебников, разноязычных букварей, словарей, грамматик и т. п.

Новиков нашел деятельную поддержку в образовавшемся из его друзей по мысли Шварца *Дружеском ученом обществе*, которое при торжественном открытии своем в 1782 г. объявило одной из своих задач печатание и даровую раздачу учебных книг по школам. Указ 1783 г. о вольных типографиях дал обществу завести две собственные типографии на имя своих членов — Новикова и Лопухина; потом, в 1784 г., завелась еще обширная компанейская типография, когда из дружеского кружка Новикова образовалось издательское товарищество на паях под фирмой *Типографской компании*, со складочным капиталом в 57 500 руб. (более 150 тыс. руб. на наши деньги) и с поступившим от Новикова запасом книг на 320 тыс. руб. по продажной цене. При таких средствах Новиков превосходно устроил сбыт книг, завел комиссионеров, вступил в сношение с петербургскими книгопродавцами и вообще чрезвычайно оживил книжную торговлю в России. Случилось неслыханное дело: книжная лавка Новикова

у Воскресенских ворот по спросу ее товара стала соперничать с модными магазинами Кузнецкого моста. Вместо двух существовавших в Москве книжных лавок с оборотом в 10 тыс. руб. при Новикове и под его влиянием явилось их здесь до 20, и книг продавали они ежегодно тысяч на 200 руб. Ежегодный доход *Типографской компании*, по показанию Новикова, простирался свыше 40 тыс. руб., доходя в иные годы до 80 тыс. руб. О размерах предприятия можно судить по тому, что после закрытия компании в 1791 г., когда все дело ее было разрушено, несмотря на обширный сбыт изданных ею книг, их оставалось еще по каталожной цене без малого на 700 тыс. руб. (более 1½ млн. на наши деньги), не считая 25 тыс. экземпляров книг, сожженных или переданных в духовную академию и университет.

Трудно сметить даже на глаз, какие успехи достигнуты были такими усилиями. Люди, близкие к тому времени и к самому Новикову, утверждали, что он не распространил, а создал у нас любовь к наукам и охоту к чтению; что благодаря широкой организации сбыта и энергическому ведению дела новиковская книга стала проникать в самые отдаленные захолустья и скоро не только Европейская Россия, но и Сибирь начала читать. Если частный случай что-нибудь доказывает, я приведу библиографическую подробность из своего детства: в деревенской глуши, где нецерковная книга была большой редкостью, мне попались две изданные Новиковым поэмы — *Иосиф Битобэ* и *Потерянный рай* Мильтона и вместе с альманахом Карамзина *Аглаей* были в числе первых книг, мною прочитанных. Новиков хотел сделать чтение ежедневною потребностью грамотного человека и, кажется, в значительной мере достиг этого. Число подписчиков *Московских Ведомостей*, издание которых он взял на себя вместе с арендой университетской типографии, при нем увеличилось всемерно (с 600 до 4 тыс.). При них выходили прибавления разнообразного содержания: по литературе, сельскому хозяйству, натуральной истории, химии и физике, также листы для детского чтения. Не упоминаю о других московских периодических изданиях Новикова. Он был не только типографщиком и книгопродавцом, но и издателем, выбирал, что нужно печатать.

тать, заказывал работы переводчикам и сочинителям, небывалым гонораром оживил переводную и оригинальную письменность, отдавая предпочтение произведениям научным и духовно-нравственным. Этим он внес в текущую литературу того времени новую струю, шедшую против господствовавшего направления умов и литературных вкусов тогдашнего светского общества. Книжная лавка Новикова, откуда шла эта струя, получила своеобразный вид и в ней бывали характерные сцены: приходил покупатель, рылся в книжных новостях, разложенных на прилавке, находил все издания духовно-нравственного содержания, которых не хотел покупать, спрашивал, почему нет романов; Новиков отвечал, что переводчики что-то перестали носить ему такие сочинения, и, набрав связку книг, какие были на прилавке, просил покупателя принять их от него в дар. После сам Новиков показывал следователю об усилении спроса на духовные книги, а один из учеников Новикова писал, что целое море душеспасительных книг было им пущено против потока вольнодумческих сочинений. В продолжение 10 арендных лет издательская и книгопродавческая деятельность Новикова в Москве вносила в русское общество новые знания, вкусы, впечатления, настраивала умы в одном направлении, из разнохарактерных читателей складывала однородную читающую публику, и сквозь вызванную ею усиленную работу переводчиков, сочинителей, типографий, книжных лавок, книг, журналов и возбужденных ими толков стало пробиваться то, с чем еще незнакомо было русское просвещенное общество: это — *общественное мнение*. Я едва ли ошибусь, если отнесу его зарождение к годам московской деятельности Новикова, к этому *новиковскому десятилетию* (1779—1789). Типографщик, издатель, книгопродавец, журналист, историк литературы, школьный попечитель, филантроп, Новиков на всех этих прищах оставался одним и тем же — сеятелем просвещения.

Это новиковское десятилетие — одна из лучших эпох и в истории Московского университета. В тот год, когда Новиков взял в аренду университетскую типографию, этот университет доживал свое первое двадцатипятилетие. Но он еще не успел докончить своего обзаведения: были аудитории и кафедры, профессора и студенты,

были обстановка и личный состав науки, но сама наука с трудом пробивалась сквозь то и другое, не успела еще обжиться на новоселье. Число студентов в иные годы не доходило и до сотни; иногда на всем юридическом, как и на всем медицинском факультете, оставалось по одному студенту и по одному профессору, который читал все науки своего факультета; студенты занимались в университете не более 100 дней в году; родной речи почти не слышно было с кафедр; люди хорошего общества еще побаивались пускать в университет своих сыновей; благовоспитанность не всегда примечалась и порой как будто даже совсем отсутствовала. У Новикова литературная и издательская деятельность еще в Петербурге неразрывно соединялась с педагогической и благотворительной: с кружком тамошних друзей он основал два училища для бедных детей и сирот и в пользу этих школ назначил выручку от издававшегося им журнала *Утренний Свет*. Московский кружок по господствовавшему в нем направлению умов мог только усилить и расширить деятельность, начатую Новиковым в Петербурге. Главным дельцом по воспитательной части стал, разумеется, Шварц. Приготовление учителей было настоятельнейшею потребностью русского просвещения. Став профессором в 1779 г. и по поручению университета составляя учебники и проекты об улучшении преподавания, Шварц набрал у своих друзей пожертвований, присоединил к ним 5 тыс. руб. своих кровных сбережений и в конце того же года открыл при университете *учительскую семинарию*, в которой стал инспектором и начал преподавать педагогику. Так началась деятельность открывшегося позднее «Дружеского ученого общества», которое чрез епархиальных архиереев стало вызывать из духовно-учебных заведений лучших учеников, чтобы готовить их на свой счет к учительскому поприщу в университетской семинарии. Через 3 года в этой семинарии было уже до 30 стипендиатов, на содержание которых общество давало по 100 руб. на человека, купив притом дом для их помещения; в числе их находились два будущие с.-петербургские митрополита: Михаил и Серафим. Задумав переводить и издавать лучшие иностранные сочинения и желая заготовить себе хороших переводчиков, в которых чувствовался крайний недостаток, «Друже-

ское общество» по мысли Шварца в 1782 г. учредило при университете другую семинарию, *переводческую* или *филологическую*, в которую приняло 16 студентов; из них шестеро переведенных из духовных семинарий содержались на средства уже известного нам Татищева, остальные — на счет других членов кружка. Лучших своих питомцев «Дружеское общество» посылало для завершения образования за границу. Заботы общества распространялись на всех студентов: им подыскивали занятия, заказывали литературные работы, переводы и статьи для изданий общества. Студенты, преимущественно питомцы общества, были сотрудниками и даже руководителями периодических изданий Новикова — *Вечерней Зари* 1782 г. и *Покоящегося Трудолюбца* 1784 г. Неугомонный педагог общества не ограничивался этим: ему хотелось снабдить выходящего из университета студента возможно обильнейшим запасом надобного в пути багажа. Сверх лекций в университетской аудитории об эстетической критике, он читал еще у себя на дому приватный курс о видах познания и особый курс «философской истории» для семинаристов Общества, к которым присоединялись и посторонние слушатели «всякого рода и звания», по выражению одного из них, так что эти домашние лекции превращались сами собой в публичные курсы. Их цель обнаруживалась в их действии: они противодействовали вольнодумству. В этом направлении, может быть, наиболее сильное влияние имело на студентов устроенное Шварцем *Собрание университетских питомцев*. Это было если не первое, то, наверное, второе в России общество, составленное из учащейся молодежи². Это студенческое общество имело целью образование ума и вкуса своих членов, их нравственное усовершенствование, упражнения в человеколюбивых подвигах. Студенты на заседаниях читали и обсуждали свои литературные опыты, приносили речи на моральные темы, задумывали издания с благотворительною целью. Все это, конечно, было молодо, суетливо, немножко нервозно; молодежь больше чувствовала, чем познавала науку. Но по-тогдашнему и это разве было мало? В штатных лампах науки, прежде больше декорировавших, чем освещавших университетские стены, что-то затеплилось: дайте срок — они разгорятся. Среди студентов стали заро-

ждать ся нравственная товарищеская солидарность, наклонность к размышлению, некоторый навык самонаблюдения и та способность загораться от идей, которая, как фонарь впотьмах, предшествует исканию истины. Трудно проследить поприща, по которым рассыпались питомцы «Дружеского общества», как трудно уследить, куда попадали книги, которые оно рассывало. Известно, что оно дало Московскому университету одного директора (т. е. ректора) и пять профессоров.

Так кружок Новикова стал посредником, через которого завязалось тесное нравственное общение между московским обществом и Московским университетом. Эта связь не прервалась с исчезновением связующего звена, поддерживаемая взаимным нравственным тяготением и обоюдными научными услугами. Общество дало университету несколько профессоров, ожививших университетское преподавание. Университет с своей стороны немного позднее воспитал в своих аудиториях профессоров, ожививших общественную мысль и не раз собиравших московское общество на студенческих скамьях. Нет нужды напоминать всем памятные имена их. Кажется, университет не остался в долгу перед обществом. Да и зачем им сводить счеты между собою? Ведь они оба будут тем богаче, чем больше задолжают друг другу.

С. М. СОЛОВЬЕВ КАК ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

Сегодня 16-я годовщина смерти С. М. Соловьева. Многие ли из нас, здесь присутствующих, помнят его как преподавателя? По крайней мере далеко не все. Преподавание принадлежит к разряду деятельностей, силу которых чувствуют только те, на кого обращены они, кто непосредственно испытывает на себе их действие; стороннему трудно растолковать и дать почувствовать впечатление от урока учителя или лекции профессора. В преподавательстве много индивидуального, личного, что трудно передать и еще труднее воспроизвести. Писатель весь переходит в свою книгу, композитор — в свои ноты, и в них оба остаются вечно живыми. Раскройте книгу, разверните ноты, и, кто умеет читать то и другое, перед тем воскреснут их творцы. Учитель — что проповедник: можно слово в слово записать проповедь, даже урок; читатель прочтет записанное, но проповеди и урока не услышит.

Но и в преподавании даже очень много значит наблюдение, предание, даже подражание. Всегда ли знаем мы, преподаватели, свои средства, их сравнительную силу и то, как, где и когда ими пользоваться? В преподавательстве есть своя техника, и даже очень сложная. Понятное дело: преподавателю прежде всего нужно внимание класса или аудитории, а в классе и аудитории сидят существа, мысль которых не ходит, а летает и поддается только добровольно. В преподавании самое важное и трудное дело заставить себя слушать, поймать эту непоседливую птицу — юношеское внимание. С уди-

влением вспоминаешь, как и чем умели возбуждать и задерживать это внимание иные преподаватели. П. М. Леонтьев совсем не был мастер говорить. Живо помню его приподнятую над кафедрой правую с вилкообразно вытянутыми пальцами руку, которая постоянно надбилась в подмогу медленно двигавшемуся, усиленно искавшему слов, как будто усталому языку, точно она подпирала тяжелый воз, готовый скатиться под гору. Но бывало напряженно следишь за развертывавшейся постепенно тканью его ясной, спокойной, неторопливой мысли, и вместе с ударом звонка предмет лекции, какое-нибудь римское учреждение, вырезывался в сознании скульптурной отчетливостью очертаний. Кажалось, сам бы сейчас повторил всю эту лекцию о предмете, о котором за 40 минут до звонка не имел понятия. Известно, как тяжело слушать чтение написанной лекции. Но когда Ф. И. Буслаев вступал торопливым шагом на кафедру и, развернув сложенные, как складывают прошения, листы, исписанные крупными и кривыми строками, начинал читать своим громким, как бы нападающим голосом о скандинавской Эдде или какой-нибудь русской легенде, сопровождая чтение ударами о кафедру правой руки с зажатым в ней карандашом, битком набитая *большая словесная*, час назад только что вскочившая с холодных постелей где-нибудь на Козихе или Бронной (Буслаев читал рано по утрам первокурсникам трех факультетов), эта аудитория едва замечала, как пролетали 40 урочных минут. Не бесполезно знать, какими средствами достигаются такие преподавательские результаты и какими приемами, каким процессом складывается ученическое впечатление. В этом отношении воспоминание об учителе может пригодиться и тому, кто не был его учеником.

Я сел на студенческую скамью в Московском университете в пору, не скажу упадка, — об этом грешно и подумать, — а в пору кратковременного затишья исторического преподавания. Я не застал ни Грановского, ни Кудрявцева. Единственным преподавателем всеобщей истории был С. В. Ешевский. В. И. Герье находился еще за границей, и мне пришлось слушать его уже по окончании курса. Ешевский был превосходный, строгий, но уже угасавший профессор; мы его и похоронили весной 1865 г. при выходе нашего курса из университета.

Он читал нам курсы по древней и средней истории с продолжительными перерывами по болезни, а последний год; когда стояла на очереди новая история, не читал совсем. Мы его очень любили, немного побаивались и с глубокой скорбью шли за его гробом. Сколько помнится, Соловьев читал на третьем курсе общий обзор истории древней Руси, на четвертом более подробный курс русской истории XVIII в. В 1863 г., когда я начал его слушать, это был цветущий 42-летний человек. Не помню теперь, почему мне не пришлось послушать его ни разу до третьего курса; кажется, потому, что его лекции совпадали с лекциями Ф. И. Буслаева или Г. А. Иванова, которых мы не пропускали. На третьем курсе студент уже перестает блуждать по аудиториям с бездонным вниманием и вечно раскрытым ртом, выбирающим все, что ни попадется ему питательного по пути. Он уже становится несколько разборчив во впечатлениях и знаниях, начинает понимать удовольствие «свое суждение иметь» и даже покритиковать профессора. По аудиториям, театрам, заседаниям ученых обществ он уже довольно набрался впечатлений; пружина восприимчивости от усиленного нажима несколько ослабла и погнулась, и, пользуясь этим, из-под нее все с большим напряжением выступает прижатая дотоле другая сила — потребность разобраться в воспринятом, задержать и усвоить набегающие впечатления, пропитать их собственным духом, — словом, он начинает чувствовать себя хозяином своего я и в состоянии уже ухватить себя за свои собственные усы.

В момент этого перелома начали мы слушать Соловьева. Обыкновенно мы уже смирно сидели по местам, когда торжественной, немного раскachaивающейся походкой, с откинутым назад корпусом вступала в *словесную внизу* высокая и полная фигура в золотых очках, с необильными белокурыми волосами и крупными пухлыми чертами лица без бороды и усов, которые выросли после. С закрытыми глазами, немного раскachaиваясь на кафедре взад и вперед, не спеша, низким регистром своего немного жирного баритона начинал он говорить свою лекцию и в продолжении 40 минут редко поднимал тон. Он именно *говорил*, а не *читал*, и говорил отрывисто, точно резал свою мысль тонкими удобоприемлемыми ломтиками, и его было легко записывать,

так что я, по поручению курса составлявший его лекции, как борзописец, мог записывать его чтения слово в слово без всяких стенографических приспособлений. Сначала нас смущали эти вечно закрытые глаза на кафедре, и мы даже не верили своему наблюдению, подозревая в этих опущенных ресницах только особую манеру смотреть; но много после на мой вопрос об этом он признался, что действительно никогда не видел студента в своей аудитории.

При отрывистом произношении речь Соловьева не была отрывиста по своему складу, текла ровно и плавно, пространными периодами с придаточными предложениями, обильными эпитетами и пояснительными синонимами. В ней не было фраз: казалось, лектор говорил первыми словами, ему попадавшимися. Но нельзя сказать, чтобы он говорил совсем просто: в его импровизации постоянно слышалась ораторская струнка; тон речи всегда был несколько приподнят. Эта речь не имела металлического, стального блеска, отличавшего, например, изложение Гизо, которого Соловьев глубоко почитал как профессора. Чтение Соловьева не трогало и не пленяло, не било ни на чувства, ни на воображение; но оно заставляло размышлять. С кафедры слышался не профессор, читающий в аудитории, а ученый, размышляющий вслух в своем кабинете. Вслушиваясь в это, как бы сказать, говорящее размышление, мы старались ухватиться за нить развиваемых перед нами мыслей и не замечали слов. Я бы назвал такое изложение прозрачным. Оттого, вероятно, и слушалось так легко: лекция Соловьева далеко не была для нас развлечением, но мы выходили из его аудитории без чувства утомления.

Легкое дело — тяжело писать и говорить, но легко писать и говорить — тяжелое дело, у кого это не делается как-то само собой, как бы физиологически. Слово — что походка: иной ступает всей своей ступней, а шаги его едва слышны; другой крадется на цыпочках, а под ним пол дрожит. У Соловьева легкость речи происходила от ясности мысли, умевшей находить себе подходящее выражение в слове. Гармония мысли и слова — это очень важный и даже нередко роковой вопрос для нашего брата, преподавателя. Мы иногда портим свое дело нежеланием подумать, как надо сказать в дан-

ном случае, корень многих тяжелых неудач наших — в неумении высказать свою мысль, одеть ее, как следует. Иногда бедненькую и худенькую мысль мы облечем в такую пышную форму, что она путается и теряется в ненужных складках собственной оболочки и до нее трудно добраться, а иногда здоровую, свежую мысль выразим так, что она вянет и блекнет в нашем выражении, как цветок, попавший под тяжелую жесткую подошву. Во всем, где слово служит посредником между людьми, а в преподавании особенно, неудобно как переговорить, так и недоговорить. У Соловьева слово было всегда по росту мысли, потому что в выражении своих мыслей он следовал поговорке: сорок раз примерь и один раз отрежь. Голос, тон и склад речи, манера чтения — вся совокупность его преподавательских средств и приемов давала понять, что все, что говорилось, было тщательно и давно продумано, взвешено и измерено, отваяно от всего лишнего, что обыкновенно пристаёт к зреющей мысли, и получило свою настоящую форму, окончательную отделку. Вот почему его мысль чистым и полноценным зерном падала в умы слушателей.

Гармония мысли и слова! Как легко произнести эти складные слова и как трудно провести их в преподавании! Думаю, что возможность этого находится за пределами преподавательской техники, нашей дидактики и методики, и требует чего-то большего, чего-то такого, что требуется всякому человеку, а не преподавателю только. Студенты, как известно, обладают особым чутьем профессорской подготовки: они очень быстро угадывают, излагает ли им преподаватель продуманные и проверенные знания, хорошо выдержанные и устоявшиеся воззрения, или только вчерашние приобретения своего ума, сырые мысли, если можно так выразиться. Слушая Соловьева, мы смутно чувствовали, что с нами беседует человек, много и очень много знающий и подумавший обо всем, о чем следует знать и подумать человеку, и все свои передуманные знания сложивший в стройный порядок, в цельное мирозерцание, чувствовали, что до нас доносятся только отзвуки большой умственной и нравственной работы, какая когда-то была исполнена над самим собой этим человеком и которую должно рано или поздно исполнить над собой каждому из нас, если он хочет стать настоящим человеком.

Этим особенно и усиливалось впечатление лекций Соловьева: его слова представлялись нам яркими строками на освещенном изнутри фонаре. Оно и понятно: студенту старших семестров уже виднеется жизненный путь, на который ему придется вступить по окончании учебных годов, и он уже без студенческой беззаботности и самоуверенности начинает раздумывать, как-то вступит он на этот скользкий путь и какой походкой пойдет по нему. В этом раздумье он уже с деловым, не праздным любопытством и с молчаливым уважением присматривается и прислушивается к тем из старших, которые идут по этому пути твердыми прямыми шагами, с твердым и ясным взглядом на людей и на вещи. После, став ближе к Соловьеву и начав готовиться к профессуре под его руководством, я получил некоторую возможность следить за непрерывной, строго размеренной и разнообразной работой неутомимого ума, и я понял, как вырабатывается и во что обходится эта гармония мысли и слова. Чего только он не знал, не читал, чем не интересовался и о чем не думал! Он внимательно и с удивительной экономией досуга следил за иностранной литературой по географии, по всему кругу наук исторических и политических, как и за текущими международными отношениями. Прочитать дельную книжку какого-нибудь французского, немецкого или английского путешественника по Индии или Центральной Африке было для него наслаждением, которым он спешил поделиться с близкими людьми. Я уже не говорю о русской литературе, о русских делах и отношениях. Помню, я посетил его незадолго до смерти, когда приговор жизни был уже произнесен и исход болезни определен. С третьего слова он спросил меня: «А что новенького в литературе по нашей части? Давно ничего не читал». — Я встречал немного таких образованных и деятельных умов, а судьба нередко и незаслуженно дарила меня счастьем встречаться с образованными и мыслящими людьми.

Я не решаюсь сказать, входила ли русская история центральной составной частью в состав этого цельного и широкого мирозерцания. Я не решаюсь на это потому, что знаю, как много места занимали в выработке этого мирозерцания общие вопросы религии и науки. Я могу только утверждать, что на русскую историю он

положил всего больше своего научного труда. Но я не говорю об его *«Истории России»*, о нем как об ученом: это вопрос русской историографии, одна из страниц истории русского просвещения, и таких страниц, на которых с отрадой будет всегда останавливаться и раздумываться мыслящий русский человек. Вы позволили мне занять теперь ваше благосклонное внимание беседой о профессорском преподавании Соловьева, об его университетском курсе русской истории. Вместе с другими учениками Соловьева я часто докучал ему просьбой издать этот курс в какой-либо из тех редакций, в каких он излагал его из году в год с университетской кафедры; и я до сих пор не могу понять, почему он не сделал этого, даже неохотно вел разговор об этом. С ним вообще трудно было завести речь об его сочинениях; сам он был до несправедливости скромного о них мнения и отзываться о них с похвалой в его присутствии значило сделать ему неприятность. Ему и говорили об издании курса только как о его профессорской обязанности, даже прибегали к такому изысканному соображению, что его курс вовсе и не принадлежит ему одному, не есть его личное дело, что это беседа профессора со студентами, следовательно, совместная работа профессора и его аудитории. Он называл это плохим софизмом, не стоим и пяточка, и прекращал разговор об этом. Прибавлю в пояснение, что Соловьев очень любил остроты и при всяком удачном словце, при нем сказанном, шарил у себя в кармане со словами: «ах, жаль, пяточка не случилось!» Конечно, превосходная первая глава XIII тома его *«Истории»*, содержащая в себе общий обзор хода древней русской истории, вместе со статьями общего характера, напечатанными в посмертном издании некоторых сочинений С. М. Соловьева, каковы *«Начало Русской земли»*, *«Древняя Россия»*, *«Исторические письма»* и др., дают некоторую возможность читателю представить себе содержание и даже характер этого общего курса. В этих статьях есть все, что проводилось и развивалось в курсе; но для читателя останутся неуловимы концепция содержания и впечатление изложения, а в преподавании это — главное, если не все. Соловьев давал слушателю удивительно цельный, стройной нитью проведенный сквозь цепь обобщенных фактов взгляд на ход русской истории, а из-

вестно, какое наслаждение для молодого ума, начинающего научное изучение, чувствовать себя в обладании цельным взглядом на научный предмет. В курсе Соловьева эта концепция и это впечатление были тесно связаны с одним приемом, которым легко злоупотребить, по который в умелом преподавании оказывает могущественное образовательное влияние на слушателя. Обобщая факты, Соловьев вводил в их изложение осторожной мозаикой общие исторические идеи, их объяснявшие. Он не давал слушателю ни одного крупного факта, не озарив его светом этих идей. Слушатель чувствовал ежеминутно, что поток изображаемой перед ним жизни катится по руслу исторической логики; ни одно явление не смущало его мысли своей неожиданностью или случайностью. В его глазах историческая жизнь не только двигалась, но и размышляла, сама оправдывала свое движение. Благодаря этому курс Соловьева, излагая факты местной истории, оказывал на нас сильное методологическое влияние, будил и складывал историческое мышление: мы сознавали, что не только узнаем новое, но и понимаем узнаваемое, и вместе учились, как надо понимать что узнаем. Ученическая мысль наша не только пробуждалась, но и формировалась, не чувствуя на себе гнета учительского авторитета: думалось, как будто мы сами додумались до всего того, что нам осторожно подсказывалось.

Эти общие идеи, которыми перевивались факты русской истории, могут показаться элементарными; но их необходимо продумать на университетской скамье, и только тогда они становятся такими элементарными. С двух сторон Соловьев освещал излагаемые им исторические факты: одну из них можно назвать прагматической, другую — моралистической. Настоячиво говорил и повторял он, где нужно, о связи явлений, о последовательности исторического развития, об общих его законах, о том, что называл он необычным словом — *историчностью*. Вы думаете, легкое дело растолковать сидящему на школьной скамье понятие об основах человеческого общежития; об историческом процессе, о закономерности исторической жизни! Я встречал взрослых и по-своему умных людей, которым никак не удавалось усвоить себе самую идею исторического процесса. У Соловьева сравнения, аналогия жизни народов с жизнью

отдельного человека, отвлеченные аргументы и, наконец, его столь известная и любимая фраза *естественно и необходимо*, повторявшаяся при всяком случае, как припев, — все врезывало в сознание слушателя эту идею исторической закономерности. С другой стороны, — да не покажется нам это странным, — Соловьев был историк-моралист: он видел в явлениях людской жизни руку исторической Немезиды или, приближаясь к языку древнерусского летописца, *знамение правды божией*. Я не вижу в этом научного греха: эта моралистика у Соловьева была та же прагматика, только обращенная к сознанию своею нравственною стороной, та же научная связь причин и следствий, только приложенная к явлениям добра и зла, помышления и воздействия. Соловьев был историк-моралист в том простом смысле, что не исключал из сферы своих наблюдений мотивов и явлений нравственной жизни. Кто из слушателей Соловьева не запомнил на всю жизнь этих нравственных комментариев, что «общество» может существовать только при условии жертвы, когда члены его сознают обязанность жертвовать частным интересом интересу общему, что уже первоначальное, естественное общество человеческое, семейство, основано на жертве, ибо отец и мать перестают жить для самих себя, что общество тем крепче, чем яснее между его членами сознание, что основа общества есть «жертва», что «европейское качество всегда торжествовало над азиатским количеством» и что это качество состоит в «перевесе сил нравственных над материальными», что величие древней Руси заключалось в сознании своих несовершенств, в сбереженной ею способности не мириться со злом, в искреннем и горячем искании выхода в положение лучшее посредством просвещения. Все это, повторяю, довольно элементарно, но все это должно быть продумано на студенческой скамье и только на ней может быть продумано, как следует.

В детстве, помню, где-то я видел старинные колонны, оббитые вьющимся растением. Свежая жизнь бежала по холодному мрамору старины и так стройно обвивала его, что мне казалось, будто эти вьющиеся побеги растут из самого мрамора. Когда я вслушивался, как Соловьев перевивал факты нашей истории общими историческими идеями, своею прагматикой и моралистикой, мне не раз вспоминались эти старые колонны с обвивающими

их побегами вьющегося растения и мне думалось, что эти идеи органически выростали из объясняемых ими фактов.

Вот что считал я бесполезным в день памяти Соловьева — припомнить об его университетском преподавательстве. Сколько знаю, Соловьев никогда не был учителем среднеучебного заведения; он везде, где преподавал, был профессором. Но его университетский курс помогает уяснить отношение гимназического преподавания истории к университетскому. Мы знаем разницу между тем и другим; но у того и другого есть и точка соприкосновения. Неудобно профессорствовать, читать лекцию в *классе*; неудобно и сказывать урок в *аудитории*: в первом случае гимназист преждевременно забегает в настроение студента, во втором студент огорчается своим невольным возвращением в положение гимназиста. Учитель истории рассказывает ученикам, что *было*; профессор рассуждает со студентами, что это *было значило*. Но Соловьев так *рассуждал* со студентами о былом, что они живо представляли себе, *как* это происходило; желательно, чтобы учитель так *рассказывал* о былом, чтобы ученикам хотелось *рассуждать* о том, что оно значило. Выражу так это отношение, не умея выразить его удачнее.

НЕДОРОСЛЬ ФОНВИЗИНА

(Опыт исторического объяснения учебной пьесы)

Добрый дядя Стародум в усадьбе Простаковых, застав свою благодетельную племянницу Софью за чтением Фенелонова трактата о воспитании девиц, сказал ей: — Хорошо. Я не знаю твоей книжки; однако читай ее, читай! Кто написал Телемака, тот пером своим нравов развращать не станет.

Можно ли применить такое суждение к самому *Недорослю*? Современному воспитателю или воспитательнице трудно уследить за той струей впечатлений, какую вбирают в себя их воспитанники и воспитанницы, читая эту пьесу. Могут ли они с доверчивостью дяди Стародума сказать этим впечатлительным читателям, увидев у них в руках *Недоросля*: «хорошо, читайте его, читайте; автор, который устами дяди Стародума высказывает такие прекрасные житейские правила, пером своим нравов развращать не может». *Имей сердце, имей душу, и будешь человек во всякое время. Ум, коль он только что ум, самая безделица; прямую цену уму дает благонравие. Главная цель всех знаний человеческих — благонравие.* Эти сентенции повторяются уже более ста лет со времени первого представления *Недоросля* и хотя имеют вид нравоучений, заимствованных из детской прописи, однако до сих пор не наскучили, не стали приторными наперекор меткому наблюдению того же Стародума, что «всечасное употребление некоторых прекрасных слов так нас с ними знакомит, что, выговаривая их, человек ничего уже не мыслит, ничего не чувствует». Но, кроме прекрасных мыслей и чувств Ста-

родума, Правдина, Софьи, поучающих прямо своим простым, всем открытым смыслом, в комедии есть еще живые лица с своими страстями, интригами и пороками, которые ставят их в сложные, запутанные положения. Нравственный смысл этих драматических лиц и положений не декламируется громко на сцене, даже не нашептывается из суфлерской будки, а остается за кулисами скрытым режиссером, направляющим ход драмы, слова и поступки действующих лиц. Можно ли ручаться, что глаз восприимчивого молодого наблюдателя доберется до этого смысла разыгрываемых перед ним житейских отношений и это усилие произведет на него надлежащее воспитательное действие, доставит здоровую пищу его эстетическому ощущению и нравственному чувству? Не следует ли стать подле такого читателя или зрителя *Недоросля* с осторожным комментарием, стать внятным, но не навязчивым суфлером?

Недоросль включается в состав учебной хрестоматии русской литературы и не снят еще с театрального репертуара. Его обыкновенно дают в зимнее каникулярное время и, когда он появляется на афише, взрослые говорят: это — спектакль для гимназистов и гимназисток. Но и сами взрослые охотно следуют за своими подростками под благовидным прикрытием обязанности проводников и не скучают спектаклем, даже весело вторят шумному смеху своих несовершеннолетних соседей и соседок.

Можно без риска сказать, что *Недоросль* доселе не утратил значительной доли своей былой художественной власти ни над читателем, ни над зрителем, несмотря ни на свою наивную драматическую постройку, на каждом шагу обнаруживающую нитки, которыми сшита пьеса, ни на устарелый язык, ни на обветшавшие сценические условности екатерининского театра, несмотря даже на разлитую в пьесе душистую мораль оптимистов прошлого века. Эти недостатки покрываются особым вкусом, какой приобрела комедия от времени и которого не чувствовали в ней современники Фонвизина. Эти последние узнавали в ее действующих лицах своих добрых или недобрых знакомых; сцена заставляла их смеяться, негодовать или огорчаться, представляя им в художественном обобщении то, что в конкретной грубости жизни они встречали вокруг себя и даже в себе

самих, что входило в их обстановку и строй их жизни, даже в их собственное внутреннее существо, и чистосердечные зрители, вероятно, с горестью повторяли про себя добродушное и умное восклицание Простакова-тца: «хороши мы!» Мы живем в другой обстановке и в другом житейском складе; те же пороки в нас обнаруживаются иначе. Теперь вокруг себя мы не видим ни Простаковых, ни Скотининых, по крайней мере с их *тогдашними* обличиями и замашками; мы вправе не узнавать себя в этих неприятных фигурах. Комедия убеждает нас воочию, что такие чудовища могли существовать и некогда существовали действительно, открывает нам их в подлинном первобытном их виде, и это открытие заставляет нас еще более ценить художественную пьесу, которая их увековечила. В наших глазах пьеса утратила свежесть новизны и современности, зато приобрела интерес художественного памятника старины, показывающего, какими понятиями и привычками удобрена та культурная почва, по которой мы ходим и злаками которой питаемся. Этого исторического интереса не могли замечать в комедии современники ее автора: смотря ее, они не видели нас, своих внуков; мы сквозь нее видим их, своих дедов.

Что смешно в Недоросле, и одно ли и то же смешит в нем разные возрасты? Молодежь больше всего смеется, разумеется, над Митрофаном, героем драмы, неистощимым предметом смеха, нарицательным именем смешной несовершеннолетней глупости и учащегося невежества. Но да будет позволено немного заступиться за Митрофана: он слишком засмеян. Правда, он смешон, но не всегда и даже очень редко, именно только в лучшие минуты своей жизни, которые находят на него очень нечасто. В комедии он делает два дела: *размышляет*, чтобы выпутаться из затруднений, в которые ставит его зоологическая любовь матери, и *поступает*, выражая в поступках свои обычные чувства. Забавны только его размышления, а поступки — нисколько. По мысли автора, он дурак и должен рассуждать по-дурацки. Тут ничего смешного нет; грешно смеяться над дураком, и кто это делает, тот сам становится достойным предметом своего смеха. Однако на деле Митрофан размышляет по-своему находчиво и умно, только — недобросовестно и потому иногда невпопад, размышляет

не с целью узнать истину или найти прямой путь для своих поступков, а чтобы только вывернуться из одной неприятности, и потому тотчас попадает в другую, чем и наказывает сам себя за софистическое коварство своей мысли. Это самонаказание и вызывает вполне заслуженный смех. Он забавен, когда, объевшись накануне и для избежания неприятности учиться он старается преувеличить размеры и дурные следствия своего обжорства, даже подличает перед матерью, чтобы ее разжалобить; но, увертываясь от учителя, он подвергает себя опасности попасть в руки врача, который, разумеется, посадит его на диету, и, чтобы отклонить от себя эту новую напасть, сообразительно отвечает на предложение испугавшейся его болезни матери послать за доктором: «Нет, нет, матушка, я уж лучше сам выздоровлю», и убегает на голубятню. Он очень забавен со своей оригинальной теорией грамматики, со своим очень бойко и сообразительно изобретенным учением о двери существительной и прилагательной, за каковое изобретение умные взрослые люди, его экзаменовавшие торжественно, с митрофановским остроумием награждают его званием дурака. Но чувства и направляемые ими поступки Митрофана вовсе не смешны, а только гадки. Что смешного в омерзительной жалости, какая проняла объевшегося 16-летнего шалопая — в его тяжелом животном сне — при виде матери, уставшей колотить его отца? Ничего смешного нет и в знаменитой сцене ученья Митрофана, в этом бесподобном, безотрадно печальном квартете бедных учителей, ничему научить не могущих, — мамыши, в присутствии учащегося сынка с вязанием в руках ругающейся над ученьем, и разбираемого охотой жениться сынка, в присутствии матери ругающегося над своими учителями? ...Если современный педагог так не настроит своего класса, чтобы он не смеялся при чтении этой сцены, значит, такой педагог плохо владеет своим классом, а чтобы он был в состоянии сам разделять смех, об этом страшно и подумать. Для взрослых Митрофан вовсе не смешон; по крайней мере над ним очень опасно смеяться, ибо митрофановская порода мстит своей плодовитостью. Взрослые, прежде чем потешаться над глупостью или пошлостью Митрофана, пусть из глубины ложи представят себе свою настоящую или

будущую детскую или взглянут на сидящих тут же, на передних стульях птенцов своих, и налетевшая улыбка мгновенно слетит с легкомысленно веселого лица. Как Митрофан сам себя наказывает за свои сообразительные глупости заслуженными напастями, так и насмешливый современный зритель сценического Митрофана может со временем наказать себя за преждевременный смех не театральными, а настоящими, житейскими и очень горькими слезами. Повторяю, надобно осторожно смеяться над Митрофаном, потому что Митрофаны мало смешны и притом очень мстительны, и мстят они неудержимой размножаемостью и неуловимой пронизательностью своей породы, родственной насекомым или микробам.

Да я и не знаю, кто смешон в *Недоросле*. Г-н Простаков? Он только неумный, совершенно беспомощный бедняга, не без совестливой чуткости и прямоты юродивого, но без капли воли и с жалким до слез избытком трусости, заставляющей его подличать даже перед своим сыном. Тарас Скотинин также мало комичен: в человеке, который сам себя характеризовал известным домашним животным, которому сама родная сестрица нежно сказала в глаза, что хорошая свинья ему нужнее жены, для которого свиной хлев заменяет и храм наук, и домашний очаг, — что комичного в этом благородном российском дворянине, который из просветительного соревнования с любимыми животными доцивилизовался до четверенок? Не комична ли сама хозяйка дома, госпожа Простакова, урожденная Скотинина? Это лицо в комедии необыкновенно удачно задуманное психологически и превосходно выдержанное драматически: в продолжение всех пяти актов пьесы с крепколобым, истинно скотининским терпением ни разу она не смигнула с той жестокой физиономии, какую приказал ей держать безжалостный художник во все время неторопливого сеанса, пока рисовал с нее портрет. Зато она и вдвойне не комична: она глупа и труслива, т. е. жалка — по мужу, как Простакова, безбожна и бесчеловечна, т. е. отвратительна — по брату, как Скотинина. Она вовсе не располагает к смеху; напротив, при одном виде этой возмутительной озорницы не только у ее забитого мужа, но и у современного зрителя, огражден-

ного от нее целым столетием, начинает мутиться в глазах и колеблется вера в человека, в ближнего.

В комедии есть группа фигур, предводительствуемая дядей Стародумом. Они выделяются из комического персонала пьесы: это — благородные и просвещенные резонеры, академики добродетели. Они не столько действующие лица драмы, сколько ее моральная обстановка: они поставлены около действующих лиц, чтобы своим светлым контрастом резче оттенить их темные физиономии. Они выполняют в драме назначение, похожее на то, какое имеют в фотографическом кабинете ширмочки, горшки с цветами и прочие приборы, предназначенные регулировать свет и перспективу. Таковы они должны быть по тогдашней драматической теории; может быть, таковы они были и по плану автора комедии; но не совсем такими представляются они современному зрителю, не забывающему, что он видит перед собой русское общество прошлого века. Правда, Стародум, Милон, Правдин, Софья не столько живые лица, сколько моралистические манекены; но ведь и их действительные подлинники были не живее своих драматических снимков. Они наскоро затверживали и, запинаясь, читали окружающим новые чувства и правила, которые кой-как прилаживали к своему внутреннему существу, как прилаживали заграничные парики к своим щетинистым головам; но эти чувства и правила так же механически прилипали к их доморощенным, природным понятиям и привычкам, как те парики к их головам. Они являлись ходячими, но еще безжизненными схемами новой, хорошей морали, которую они надевали на себя как маску. Нужны были время, усилие и опыты, чтобы пробудить органическую жизнь в этих, пока мертвенных, культурных препаратах, чтобы эта моралистическая маска успела вращаться в их тусклые лица и стать их живой нравственной физиономией. Где, например, было взять Фонвизину живую благовоспитанную племянницу Софью, когда такие племянницы всего лет за 15 до появления *Недоросля* только еще проектировались дядюшкой Бецким в разных педагогических докладах и начертаниях, когда учрежденные с этой целью воспитательные общества для благородных и мещанских девиц по его заказу лепили еще первые пробные образчики новой благовоспитанности, а

сами эти девицы, столь заботливо задуманные педагогически, подобно нашей Софье, только еще садились за чтение Фенелоновых и других трактатов о своем собственном воспитании? Художник мог творить только из материала, подготовленного педагогом, и Софья вышла у него свежеизготовленной куколкой благодравия, от которой веет еще сыростью педагогической мастерской. Таким образом, Фонвизин остался художником и в видимых недостатках своей комедии не изменил художественной правде и в самых своих карикатурах: он не мог сделать живые лица из ходячих мертвецов или туманных привидений, но изображенные им светлые лица, не становясь живыми, остаются действительными лицами, из жизни взятыми явлениями.

Да и так ли они безжизненны, как привыкли представлять их? Как новички в своей роли, они еще нетвердо ступают, сбиваются, повторяя уроки, едва затвержденные из Лябрюйера, Дюкло, Наказа и других тогдашних учебников публичной и приватной морали; но как новообращенные, они немного заносчивы и не в меру усердны. Они еще сами не посмотрят на свой новенький нравственный убор, говорят так развязно, самоуверенно и самодовольно, с таким вкусом смакуют собственную академическую добродетель, что забывают, где они находятся, с кем имеют дело, и оттого иногда попадают впросак, чем усиливают комизм драмы. Стародум, толкующий госпоже Простаковой пользу географии тем, что в поездке с географией знаешь, куда едешь, — право, не менее и не более живое лицо, чем его собеседница, которая с обычной своей решительностью и довольно начитанно возражает ему тонким соображением, заимствованным из одной повести Вольтера: «Да извозчики-то на что ж? Это их дело». Умные, образованные люди так самодовольно потешаются над этим обществом грубых или жалких дикарей, у которых они в гостях, даже над такими петыми дураками, какими они считают Митрофана и Тараса Скотинина, — что последний обнаружил необычную ему зоркость, когда спросил, указывая на одного из этих благородных гостей, Софьина жениха: «Кто ж из нас смешон? Ха, ха, ха!» Сам почтенный дядя Стародум так игриво настроен, что при виде подравшихся в кровь братца и сестрицы, к которой в дом он только что приехал, не

мог удержаться от смеха и даже засвидетельствовал самой хозяйке, что он от роду ничего смешнее не видел, за что и был заслуженно оборван ее замечанием, что это, сударь, вовсе и не смешно. Во всю первую сцену пятого акта тот же честным трудом разбогатевший дядя Стародум и чиновник наместничества Правдин важно беседуют о том, как незаконно угнетать рабством себе подобных, какое удовольствие для государей владеть свободными душами, как льстецы отвлекают государей от связи истины и уловляют их души в свои сети, как государь может сделать людей добрыми: стоит только показать всем, что без благонравия никто не может выйти в люди и получить место на службе, и «тогда всякий найдет свою выгоду быть благонравным и всякий хорош будет». Эти добрые люди, рассуждавшие на сцене перед русской публикой о таких серьезных предметах и изобретавшие такие легкие средства сделать всех людей добрыми, сидели в одной из наполненных крепостными людьми усадеб многочисленных господ Простаковых, урожденных Скотининых, с одной из которых насилу могли справиться оба они, да и то с употреблением оружия офицера, проходившего мимо со своей командой. Внимая этим собеседникам, точно слушаешь веселую сказку, уносившую их из окружавшей их действительности «за тридевять земель, за тридесятое царство», куда заносила Митрофана обучающая его «историям» скотница Хавронья. Значит, лица комедии, призванные служить формулами и образцами добронравия, не лишены комической живости.

Все это — фальшивые ноты не комедии, а самой жизни, в ней разыгранной. Эта комедия — бесподобное зеркало. Фонвизину в ней как-то удалось стать прямо перед русской действительностью, взглянуть на нее просто, непосредственно, в упор, глазами, не вооруженными никаким стеклом, взглядом, не преломленным никакими точками зрения, и воспроизвести ее с безотчетностью художественного понимания. Срисовывая, что наблюдал, он, как испытанный художник, не отказывался и от творчества; но на этот раз и там, где он надеялся творить, он только копировал. Это произошло оттого, что на этот раз поэтический взгляд автора сквозь то, что *казалось*, проник до того, что действительно *происходило*; простая, печальная правда жизни,

прикрытая бьющими в глаза миражами, подавила шаловливую фантазию, обыкновенно принимаемую за творчество, и вызвала к действию высшую творческую силу зрения, которая за видимыми для всех прозрачными явлениями умеет разглядеть никем не замечаемую действительность. Стекло, которое достигает до невидимых простым глазом звезд, сильнее того, которое отражает занимающие досужих зрителей блуждающие огоньки.

Фонвизин взял героев *Недоросля* прямо из житейского омута, и взял, в чем застал, без всяких культурных покрытий, да так и поставил их на сцену со всей неурядицей их отношений, со всем содомом их неприбранных инстинктов и интересов. Эти герои, выхваченные из общественного толока для забавы театральной публики, оказались вовсе не забавны, а просто нетерпимы ни в каком благоустроенном обществе: автор взял их на время для показа из-под полицейского надзора, куда и поспешил возвратить их в конце пьесы при содействии чиновника Правдина, который и принял их в казенную опеку с их деревнями. Эти незабавные люди, задумывая преступные вещи, туда же мудрят и хитрят, но, как люди глупые и растерянные, к тому же до самозабвения злые, они сами вязнут и топят друг друга в грязи собственных козней. На этом и построен комизм Недоросля. Глупость, коварство, злость, преступление вовсе не смешны сами по себе; смешно только глупое коварство, попавшееся в собственные сети, смешна злобная глупость, обманувшая сама себя и никому не причинившая задуманного зла. *Недоросль* — комедия не лиц, а положений. Ее лица комичны, но не смешны, комичны как роли, и вовсе не смешны как люди. Они могут забавлять, когда видишь их на сцене, но тревожат и огорчают, когда встречаешь вне театра, дома или в обществе. Фонвизин заставил печально-дурных и глупых людей играть забавно-веселые и часто умные роли. В этом тонком различении людей и ролей художественное мастерство его *Недоросля*; в нем же источник того сильного впечатления, какое производит эта пьеса. Сила впечатления в том, что оно составляется из двух противоположных элементов: смех в театре сменяется тяжелым раздумьем по выходе из него. Пока разыгрываются роли, зритель

смеется над положениями себя пережитившей и самое себя наказывающей злой глупости. Но вот кончилась игра, ушли актеры, и занавес опустился — кончился и смех. Прошли забавные положения злых людей, но люди остались, и, из душного марева электрического света вырвавшись на пронизывающую свежесть уличной мглы, зритель с ущемленным сердцем припоминает, что эти люди остались и он их встретит вновь прежде, чем они попадутся в новые заслуженные ими положения, и он, зритель, запутается с ними в их темные дела, и они сумеют наказать его за это раньше, чем успеют сами наказать себя за свою же пережитившую себя злую глупость.

В *Недоросле* показана зрителю зажиточная дворянская семья екатерининского времени в невообразимо хаотическом состоянии. Все понятия здесь опрокинуты вверх дном и исковерканы; все чувства выворочены наизнанку; не осталось ни одного разумного и добросовестного отношения; во всем гнет и произвол, ложь и обман и круговое, поголовное непонимание. Кто сильнее, гнетет; кто послабее, лжет и обманывает, и ни те, ни другие не понимают, для чего они гнетут, лгут и обманывают, и никто не хочет даже подумать, почему они этого не понимают. Жена-хозяйка вопреки закону и природе гнетет мужа, не будучи умнее его, и ворочает всем, т. е. все переворачивает вверх дном, будучи гораздо его нахальнее. Она одна в доме лицо, все прочие — безличные местоимения, и когда их спрашивают, кто они, робко отвечают: «я — женин муж, а я — сестрин брат, а я — матушкин сын». Она ни в грош не ставит мнение мужа и, жалуясь на господ, ругается, что муж на все смотрит ее глазами. Она заказывает кафтан своему крепостному, который шить не умеет, и беснуется, негодуя, почему он не шьет, как настоящий портной. С утра до вечера не дает покоя ни своему языку, ни рукам, то ругается, то дерется: «тем и дом держится», по ее словам. А держится он вот как. Она любит сына любовью собаки к своим щенятам, как сама с гордостью характеризует свою любовь, поощряет в сыне неуважение к отцу, а сын, 16-летний детина, платит матери за такую любовь грубостью скотины. Она позволяет сыну объедаться до желудочной тоски и уверена, что воспитывает его, как повелевает родительский долг.

Свято храня завет своего великого батюшки воеводы Скотинина, умершего с голоду на сундуке с деньгами и при напоминании об учении детей кричавшего: «не будь тот Скотинин, кто чему-нибудь учиться захочет», верная фамильным традициям дочь ненавидит науку до ярости, но бестолково учит сына для службы и света, твердя ему: «век живи, век учись», и в то же время оправдывает его учебное отвращение неопытным намеком на полагаемую ею конечную цель образования: «Не век тебе, моему другу, учиться: ты благодаря бога столько уже смыслишь, что и сам взведешь деточек». Самый дорогой из учителей Митрофана, немец, кучер Вральман, подрядившийся учить всем наукам, не учит ровно ничему и учить не может, потому что сам ничего не знает, даже мешает учить другим, оправдывая перед матерью свою педагогику тем, что головушка у ее сына гораздо слабее его брюха, а и оно не выдерживает излишней набивки; и за это доступное материнско-простаковскому уму соображение Вральман — единственный человек в доме, с которым хозяйка обращается прилично, даже с посылным для нее уважением. Обобраз все у своих крестьян, госпожа Простакова скорбно недоумевает, как это она уже ничего с них содрать не может — такая беда! Она хвастается, что приютила у себя сиротку-родственницу со средствами, и исподтишка обирает ее. Благодетельница хочет пристроить эту сиротку Софью за своего брата без ее спроса, и тот не прочь от этого не потому, что ему нравится «девчонка», а потому что в ее деревеньках водятся отличные свиньи, до которых у него «смертная охота». Она не хочет верить, чтобы воскрес страшный ей дядя Софьи, которого она признала умершим только потому, что уж несколько лет поминала его в церкви за упокой, и рвет и мечет, готова глаза выцарапать всякому, кто говорит ей, что он и не умирал. Но самодурбаба — страшная трусиха и подличает перед всякой силой, с которой не надеется справиться, — перед богатым дядей Стародумом, желая устроить нечаянно разбогатевшую братнину невесту за своего сына; но когда ей отказывают, она решается обманом насильно обвенчать ее с сыном, т. е. вовлечь в свое безбожное беззаконие самую церковь. Рассудок, совесть, честь, стыд, приличие, страх божий и человеческий — все основы и

скрепы общественного порядка горят в этом простаковско-скотининском аду, где черт — сама хозяйка дома, как называет ее Стародум, и когда она наконец попала, когда вся ее нечестивая паутина разорвана была метлой закона, она, бросившись на колени перед его блюстителем, отпевает свою безобразную трагедию, хотя и не гамлетовским, но тартюфовским эпилогом в своей урожденной редакции: «Ах, я собачья дочь! Что я наделала!» Но это была минутная растерянность, если не было притворство: как только ее простили, она спохватилась, стала опять сама собой, и первую мыслью ее было перепороть насмерть всю дворню за свою несудачу, и, когда ей заметили, что тиранствовать никто не волен, она увековечила себя знаменитым возражением:

— Не волен! Дворянин, когда захочет, и слуги высесть не волен! Да на что ж дан нам указ о вольности дворянства?

В этом все дело. «Мастерица толковать указы!» — повторим и мы вслед за Стародумом. Все дело в последних словах госпожи Простаковой; в них весь смысл драмы и вся драма в них же. Все остальное — ее сценическая или литературная обстановка, не более; все, что предшествует этим словам, — их драматический пролог; все, что следует за ними, — их драматический эпилог. Да, госпожа Простакова мастерица толковать указы. Она хотела сказать, что закон оправдывает ее беззаконие. Она сказала бессмыслицу, и в этой бессмыслице весь смысл *Недоросля*; без нее это была бы комедия бессмыслиц. Надобно только в словах госпожи Простаковой уничтожить знаки удивления и вопрос, переложить ее несколько патетическую речь, вызванную тревожным состоянием толковательницы, на простой логический язык, и тогда ясно обозначится ее неблагоприятная логика. Указ о вольности дворянства дан на то, чтобы дворянин волен был сесть своих слуг, когда захочет. Госпожа Простакова, как непосредственная, наивная дама, понимала юридические положения только в конкретных, практических приложениях, каковым в ее словах является право произвольного сечения крепостных слуг. Возводя эту подробность к ее принципу, найдем, что указ о вольности дворянства дан был на права дворян и ничего, кроме прав, т. е. никаких обязанностей, на дворян не возлагал, по тол-

кованию госпожи Простаковой. Права без обязанностей — юридическая нелепость, как следствие без причины — нелепость логическая; сословие с одними правами без обязанностей — политическая невозможность, а невозможность существовать не может. Госпожа Простакова возомнила русское дворянство такую невозможностью, т. е. взяла да и произнесла смертный приговор сословию, которое тогда вовсе не собиралось умирать и здравствует доселе. В этом и состояла ее бессмыслица. Но дело в том, что, когда этот знаменитый указ Петра III был издан, очень многие из русских дворян подняли руки на свое сословие, поняли его так же, как поняла госпожа Простакова, происходившая из «великого и старинного» рода Скотининых, как называет его сам ее брат, сам Тарас Скотинин, по его же уверению, «в роде своем не последний». Я не могу понять, для чего Фонвизин допустил Стародума и Правдина в беседе со Скотининым трунить над стариной рода Скотининых и искушать генеалогическую гордость простака Скотинина намеком, что пращур его, пожалуй, даже старше Адама, «создан хоть в шестой же день, да немного попрежде Адама», что Софья потому и не пара Скотинину, что она дворянка: ведь сама комедия свидетельствует, что Скотинин имел деревню, крестьян, был сын воеводы, значит, был тоже дворянин, даже причислялся по табели о рангах к «лучшему старшему дворянству во всяких достоинствах и преимуществах», а потому пращур его не мог быть создан в одно время с четвероногими. Как это русские дворяне прошлого века спустили Фонвизину, который сам был дворянин, такой неловкий намек? Можно сколько угодно шутить над юриспруденцией госпожи Простаковой, над умом г. Скотинина, но не над их предками: шутка над скотининской генеалогией, притом с участием библейских сказаний, со стороны Стародума и Правдина, т. е. Фонвизина, была опасным, обоюдоострым оружием; она напоминает комизм Кутейкина, весь построенный на пародировании библейских терминов и текстов, — неприятный и ненадежный комический прием, едва ли кого забавить способный. Это надобно хорошенько растолковать молодежи, читающей *Недоросля*, и истолковать в том смысле, что здесь Фонвизин не шутил ни над предками, ни над текстами, а только по-своему обли-

чал людей, злоупотребляющих теми и другими. Эту шутку может извинить если не увлечение собственным остроумием, то негодование на то, что Скотинины слишком мало оправдывали свое дворянское происхождение и подходили под жестокую оценку того же Стародума, сказавшего: «Дворянин, недостойный быть дворянином, подлее его ничего на свете не знаю». Негодование комика вполне понятно: он не мог не понимать всей лжи и опасности взгляда, какой усвоили многие дворяне его времени на указ о вольности дворянства, понимая его, как он истолковывался в школе простаковского правоуправления. Это толкование было ложно и опасно, грозило замутить юридический смысл и погубить политическое положение руководящего сословия русского общества. Дворянская вольность по указу 1762 г. многими понята была как увольнение сословия от всех специальных сословных обязанностей с сохранением всех сословных прав. Это была роковая ошибка, вопиющее недоразумение. Совокупность государственных обязанностей, лежавших на дворянстве как сословию, составляла то, что называлось его *службой* государству. Знаменитый манифест 18 февраля 1762 г. гласил, что дворяне, находящиеся на военной или гражданской службе, могут оную продолжать или выходить в отставку по своему желанию, впрочем, с некоторыми ограничениями. Ни о каких новых правах над крепостными, ни о каком сечении слуг закон не говорил ни слова; напротив, прямо и настойчиво оговорены были некоторые обязанности, оставшиеся на сословию, между прочим, установленное Петром Великим обязательное обучение: «чтобы никто не дерзал без учения пристойных благородному дворянству наук детей своих воспитывать под тяжким нашим гневом». В заключение указа вежливо выражена *надежда*, что дворянство не будет уклоняться от службы, но с ревностью в оную вступать, не меньше и детей своих с прилежностью обучать благопристойным наукам, а, впрочем, тут же довольно сердито прибавлено, что тех дворян, которые не будут исполнять обеих этих обязанностей, как людей нерадивых о добре общем, *повелевается* всем верноподанным «презирать и уничтожать» и в публичных собраниях не терпеть. Как можно было еще сказать яснее этого, и где тут *вольность*, полное увольнение от обязательной службы?

Закон отменял, да и то с ограничениями, только обязательную срочность службы (не менее 25 лет), установленную указом 1736 г. Дворяне простаковского разума были введены в заблуждение тем, что закон не предписывал прямо служить, что было не нужно, а только грозил карой за уклонение от службы, что было не излишне. Но ведь угроза закона наказанием за поступок есть косвенное запрещение поступка. Это юридическая логика, требующая, чтобы угрожающее наказание вытекало из запрещаемого поступка, как следствие вытекает из своей причины. Указ 18 февраля отменил только следствие, а простаковские законоведы подумали, что отменена причина. Они впали в ошибку, какую сделали бы мы, если бы, прочитав предписание, что воры не должны быть терпимы в обществе, подумали, что воровство дозволяется, но прислуге запрещается принимать воров в дом, когда они позвонят. Эти законоведы слишком буквально понимали не только слова, но и недомолвки закона, а закон, желая говорить вежливо, торжественно объявляя, что он жалуется «всему российскому благородному дворянству вольность и свободу», говорил приятного больше, чем хотел сказать, и старался возможно больше смягчить то, что было неприятно напоминать. Закон говорил: будьте так добры, служите и учите своих детей, а, впрочем, кто не станет делать ни того, ни другого, тот будет изгнан из общества. Многие в русском обществе прошлого века не поняли этой деликатной апелляции закона к общественной совести, потому что получили недостаточно мягкое гражданское воспитание. Они привыкли к простому, немного солдатскому языку петровского законодательства, которое любило говорить палками, плетями, виселицей да пулей, обещало преступнику ноздри распороть и на катушку сослать, или даже весьма живота лишить и отсечением головы казнить, или нещадно аркебузировать (расстрелять). Эти люди понимали долг, когда он вырезывался кровавыми подтеками на живой коже, а не писался человеческой речью в людской совести. Такой реализм юридического мышления и помешал мыслителям вникнуть в смысл закона, который за нерадение о добре общем грозил, что нерадивые «ниже ко двору нашему приезд или в публичных собраниях и торжествах терпимы не будут»: ни палок, ни плетей, а

только закрытие придворных и публичных дверей! Вышло крупное юридическое недоразумение. Тогдашняя сатира вскрыла его источник: это слишком распушенный аппетит произвола. Она изобразила уездного дворянина, который так пишет сыну об указе 18 февраля: «Сказывают, что дворянам дана вольность; да чорт ли это слышал, прости господи, какая вольность! Дали вольность, а ничего невозможно своею волею сделать, нельзя у соседа и земли отнять». Мысль этого законоведа шла еще дальше простаковской, требовала не только увольнительного свидетельства от сословного долга, но и патента на сословную привилегию беззакония.

Итак, значительная часть дворянства в прошлом столетии не понимала исторически сложившегося положения своего сословия и недоросль, фонвизинский *недоросль Митрофан*, был жертвой этого непонимания. Комедия Фонвизина неразрывно связала оба эти слова так, что *Митрофан* стал именем нарицательным, а *недоросль* — собственным: недоросль — синоним Митрофана, а Митрофан — синоним глупого неуча и маменькина баловня. Недоросль Фонвизина — карикатура, но не столько сценическая, сколько бытовая: воспитание изуродовало его больше, чем пересмеяла комедия. Историческим прототипом этой карикатуры было звание, в котором столь же мало смешного, как мало этого в звании гимназиста. На языке древней Руси *недоросль* — подросток до 15 лет, дворянский недоросль — подросток, «поспевавший» в государеву ратную службу и становившийся *новиком*, «срослым человеком», как скоро поспевал в службу, т. е. достигал 15 лет. Звание дворянского недоросля — это целое государственное учреждение, целая страница из истории русского права. Законодательство и правительство заботливо устроили положение недорослей, что и понятно: это был подрастающий ратный запас. В главном военном управлении, в Разрядном московском приказе, вели их списки с обозначением лет каждого, чтобы знать ежегодный призывный контингент; был установлен порядок их смотров и разборов, по которым поспевших писали в службу, в какую кто годился, порядок надела их старыми отцовскими или новыми поместьями и т. п. При таком порядке недорослю по достижении призывного

возраста было трудно, да и невыгодно долго залежаться дома: поместное и денежное жалование назначали, к первым «новичным» окладам делали придачи только за действительную службу или доказанную служебную годность, «кто чего стоил», а «избывая от службы», можно было не только не получить нового поместья, но и потерять отцовское. Бывали и в XVII в. недоросли, «которые в службу успели, а службы не служили» и на смотры не являлись, «огурялись», как тогда говорили про таких неслухов. С царствования Петра Великого это служебное «огурство» дворянских недорослей усиливается все более по разным причинам: служба в новой регулярной армии стала несравненно тяжелее прежней; притом закон 20 января 1714 г. требовал от дворянских детей обязательного обучения для подготовки к службе; с другой стороны, поместное владение стало наследственным, и наделение новиков поместными окладами прекратилось. Таким образом, тягости обязательной службы увеличивались в одно время с ослаблением материальных побуждений к ней. «Лыняние» от школы и службы стало хроническим недугом дворянства, который не поддавался строгим указам Петра I и его преемниц об явке недорослей на смотры с угрозами кнутом, штрафами, «шельмованием», бесповоротной отпиской имений в казну за ослушание. Посошков уверяет, что в его время «многое множество» дворян веки свои проживали, старели, в деревнях живучи, а на службе и одною ногою не бывали. Дворяне пользовались доходами с земель и крепостных крестьян, пожалованных сословию для службы, и по мере укрепления тех и других за сословием все усерднее уклонялись от службы. В этих уклонениях выражалось то же недобросовестное отношение к сословному долгу, какое так грубо звучало в словах, слышанных тем же Посошковым от многих дворян: «Дай бог великому государю служить, а сабли б из ножен не вынимать». Такое отношение к сословным обязанностям перед государством и обществом воспитывало в дворянской среде «лежебоков», о которых Посошков ядовито заметил: «дома соседям своим страшен, яко лев, а на службе хуже козы». Этот самый взгляд на государственные и гражданские обязанности сословия и превратил дворянского недо-

росля, поспевавшего на службу, в грубого и глупого неуча и лентяя, всячески избежавшего от школы и службы.

Такой превращенный недоросль и есть фонвизинский Митрофан, очень устойчивый и живучий тип в русском обществе, переживший самое законодательство о недорослях, умевший «взвесть» не только деточек, по предсказанию его матери госпожи Простаковой, но и внучек «времен новейших Митрофанов», как выразился Пушкин. Митрофану Фонвизина скоро 16 лет; но он еще состоит в недорослях: по закону 1736 г. срок учения (т. е. звания) недоросля был продолжен до 20 лет. Митрофан по состоянию своих родителей учится дома, а не в школе: тот же закон позволял воспитываться дома недорослям со средствами. Митрофан учится уже года четыре, и из рук вон плохо: по часослову едва бредет с указкой в руке и то лишь под диктовку учителя, дьячка Кутейкина, по арифметике «ничего не перенял» у отставного сержанта Цыфиркина, а «по-французски и всем наукам» его совсем не учит и сам учитель, дорого нанятой для обучения этим «всем наукам» бывший кучер, немец Вральман. Но мать очень довольна и этим последним учителем, который «ребенка не неволит», и успехами своего «ребенка», который, по ее словам, столько уже смыслит, что и сам «взведет» деточек. У нее природное, фамильное скотининское отвращение от ученья: «без наук люди живут и жили», внушительно заявляет она Стародуму, помня завет своего отца, сказавшего: «не будь тот Скотинин, кто чему-нибудь учиться захочет». Но и она знает, что «ныне век другой», и, труся его, с суетливой досадой готовит сына «в люди»: неученый поезжай-ка в Петербург — скажут, дурак. Она балует сына, «пока он еще в недорослях»; но она боится службы, в которую ему, «избави боже», лет через десяток придется вступить. Требования света и службы навязывали этим людям ненавистную им науку, и они тем искреннее ее ненавидели. В этом и состояло одно из трагикомических затруднений, какие создавали себе эти люди непониманием своего сословного положения, наделавшим им столько Митрофанов; а в положении сословия происходил перелом, требовавший полного к себе внимания.

В комедии Фонвизина, сознательно или бессознательно для ее автора и первых зрителей, нашли себе

художественное выражение и эти затруднения, и создавшее их непонимание перелома в положении русского дворянства, который имел решительное влияние на дальнейшую судьбу этого сословия, а через него и на все русское общество. Давно подготовляемый, этот перелом наступил именно с минуты издания закона 18 февраля 1762 г. Много веков дворянство несло на себе тяжесть военной службы, защищая отечество от внешних врагов, образуя главную вооруженную силу страны. За это государство отдало в его руки огромное количество земли, сделало его землевладельческим классом, а в XVII в. предоставило в его распоряжение на крепостном праве и крестьянское население его земель. Это была большая народная жертва: в год первого представления *Недоросля* (1782) за дворянством числилось более половины (53%) всего крестьянского населения в старых великороссийских областях государства — более половины того населения, трудом которого преимущественно питалось государственное и народное хозяйство России. При Петре I к обязательной службе дворянства прибавилось по закону 20 января 1714 г. еще обязательное обучение как подготовка к такой службе. Так дворянин становился государственным, служилым человеком с той минуты, как только дорос до возможности взять учебную указку в руки. По мысли Петра, дворянство должно было стать проводником в русское общество нового образования, научного знания, которое заимствовалось с Запада. Между тем воинская повинность была распространена и на другие сословия; поголовная военная служба дворянства после Петра стала менее прежнего нужна государству: в устроенной Петром регулярной армии дворянство сохранило значение обученного офицерского запаса. Тогда мирное образовательное назначение, предположенное для дворянства преобразователем, все настойчивее стало выступать вперед. Готово было, ожидая деятелей, и благодатное, мирное поле, работая на котором дворянство могло сослужить отечеству новую службу, нисколько не меньше той, какую оно служило на ратном поле. Крепостные крестьяне бедствовали и разорялись, предоставленные в отсутствие помещиков произволу сборщиков податей, старост, управляющих, приказчиков, которых само правитель-

ство уподобляло волкам. Помещик считался тогда естественным покровителем и хозяйственным опекуном своих крестьян, и его присутствие рассматривалось как благодеяние для них. Потому и для государства дворянин в деревне стал не менее, если не более, нужен, чем в казарме. Вот почему со смерти Петра постепенно облегчались лежавшие на дворянстве тягости по службе, но взамен того осложнялись его обязанности по землевлáдению. С 1736 г. бессрочная военная служба дворянина ограничена 25-летним сроком, а в 1762 г. дано служащим дворянам право отставки по их усмотрению. Зато на помещиков возложена ответственность за податную исправность их крестьян, а потом обязанность кормить их в неурожайные годы и ссужать семенами для посевов. Но и в деревне государству нужен был образованный, разумный и человеколюбивый помещик. Потому правительство не допускало ни малейшего ослабления учебной повинности дворянства, угрозой отдавать неучей в матросы без выслуги загоняло недорослей в казенные школы, устанавливало периодические экзамены для воспитывавшихся дома, как и в школе, предоставляло значительные преимущества по службе обученным новикам. Самую обязанность дворянства служить стали рассматривать не только как средство комплектования армии и флота офицерским дворянским запасом, но и как образовательное средство для дворянина, которому военная служба сообщала вместе с военной и известную гражданскую выправку, знание света, людскость, обтесывала Простаковых и человекообразила Скотининых, вколачивала в тех и других рáдение «о пользе общей», «знание политических дел», как выражался манифест 18 февраля 1762 г., и побуждала родителей заботиться о домашней подготовке детей к казенной школе и службе, чтоб они не явились в столицу круглыми невеждами с опасностью стать посмешищем для товарищей. Такое значение службы живо чувствовала даже госпожа Простакова. Из-за чего она надрывается, хлопоча о выучке своего сынка? Она соглашается с мнением Вральмана об опасности набивать слабую голову непосильной для нее ученой пищей. «Да что ты станешь делать?» — горюет она: «ребенок, не выучась, поезжай-ка в тот же Петербург — скажут, дурак. Умниц-то ныне завелось много; их-то я боюсь».

И фонвизинский бригадир уговаривает свою жену записать их Иванушку в полк: «Пусть он, служа в полку, ума набирается». Надобно было победить упорное отвращение от науки в дворянских детях, на которых указ императрицы Анны 1736 г. жаловался, что они предпочитают вступать в холопскую дворовую службу, чем служить государству, от наук убегают и тем сами себя губят. Ввиду опасности одичания неслужащего дворянства правительство долго боялось не только отменить, но и сократить обязательную службу сословия. На предложение комиссии Миниха установить 25-летний срок дворянской службы с правом сокращать его на известных условиях Сенат в 1731 г. возражал тем соображением, что богатые дворяне, пользуясь этими условиями, никогда волею своею в службу не пойдут, а будут дома жить «во всякой праздности и лености и без всяких добрых наук и обхождения». Надобно было отучить русских вральмановских учеников от нелепого мнения их учителя, выраженного им так просто: «Как будто бы российский дворянин уж и не может в свете авансировать без российской грамоты!» И вот в 1762 г. правительство решило, что упорство сломлено, и в манифесте 18 февраля торжественно возвестило, что принудительной службой дворянства «истреблена грубость в нерадивых о пользе общей, переменилось невежество в здравый рассудок, благородные мысли вкоренили в сердцах всех истинных России патриотов беспредельную к нам верность и любовь, великое усердие и отменную к службе нашей ревность». Но законодатель знал пределы этой «беспредельной верности и отменной ревности» и потому заключил даруемую сословию «вольность и свободу» в известные условия, которые сводились к требованию, чтобы сословие по доброй совести продолжало делать то, что оно дотоле делало из-под палки. Значит, *принудительную срочность 25-летней службы закон заменил ее нравственной обязательностью*, из повинности, предписываемой законом, превратил ее в требование государственной благопристойности или гражданского долга, неисполнение которого наказуется соответственной карой — изгнанием из порядочного общества; так учебная повинность была подтверждена строго-настрою.

Дальнейшая судьба сословия была предначертана законодательством очень доброжелательно и довольно обдуманно. Дворянство выводили из столичных казарм и канцелярий в провинцию для деятельности на новом поприще. Законом 18 февраля ему облегчали служебную повинность настолько, чтобы она не мешала этой деятельности как повинность и удерживали ее настолько, чтобы она помогала этой деятельности как образовательное средство. На этом провинциальном поприще дворянству предстояла двоякая работа — в деревне и в городе. В деревне ему предстояло позаботиться о заброшенном классе, крестьянстве, большей половиной которого оно владело на крепостном праве и которое составляло почти $\frac{9}{10}$ всего населения государства, которое вынесло на себе все военные и финансовые тяготы страшной реформы, по наряду ставило рекрутов для полтавских и кунерсдорфских полей, по запросу отдавало последние деньги бироновским податным сборщикам и даже без запроса и наряда поставило такого рекрута науки, как Ломоносов. Дворянству предстояло своим знанием и примером приучить этот класс к трезвости, к правильному труду, производительному употреблению своих сил, к бережливому пользованию дарами природы, умелому ведению хозяйства, к сознанию своего гражданского долга, к пониманию своих прав и обязанностей. Этим благородное сословие оправдало бы, — нет, искупило бы исторический грех обладания крепостными душами. Такой грех обыкновенно создавался завоеванием, а русское дворянство не завоевывало своих крестьян, и тем нужнее было ему доказать, что его власть не была нарушением исторической справедливости. Другое дело предстояло дворянству в городе. Когда *Недоросль* впервые появился на сцене, в полном ходу была реформа губернских учреждений, предоставлявшая дворянству преобладающее значение в местном управлении и суде. Как сословие дисциплинированное и приученное к общественной деятельности самым свойством своей обязательной службы, оно могло бы стать руководителем других классов местного общества, приучая их к самостоятельности и самообладанию, к дружной совместной работе, от которой они отвыкли, обособленные специальными сословными правами и обязанностями, — словом, могло бы образовать подготовлен-

ные кадры местного самоуправления, как прежде оно давало армии подготовленный офицерский запас.

Для той и другой деятельности, городской, как и деревенской, требовалась серьезная и осторожная подготовка, которой предстояло бороться с большими затруднениями. Прежде всего необходимо было запастись средствами, доставляемыми образованием, наукой. Дворянству предстояло на себе самом показать другим классам общества, какие средства дает для общежития образование, когда становится такой же потребностью в духовном обиходе, какую составляет питание в обиходе физическом, а не служит только скаковым препятствием, через которое перепрыгивают для получения больших чинов и доходных мест, или средством приобретения великосветского лоска как косметическое подспорье парикмахерского прибора.

Можно было опасаться, сумеет ли русское дворянство выбрать из бывшего в европейском обороте запаса знаний, идей, воззрений то, что было ему нужно для домашнего дела, а не то, чем можно было приятно наполнить досужее безделье. Опасение поддерживали вести, шедшие из-за границы, о посланных туда в науку русских молодых людях, которые охотнее посещали европейские австерии и «редуты» (игорные дома), чем академии и другие школы, и «срамотными поступками» изумляли европейскую полицию. Грозилась и другая опасность: в новые губернские учреждения дворянство могло принести свой старый привычный взгляд на гражданскую службу как на «кормление от дел». Дворяне прошлого века относились к этой службе с пренебрежением, однако не брезговали ею ради ее «наживочных» удобств и даже пользовались ею как средством уклоняться от военной службы. Посошков в свое время горько сетовал на дворян «молодииков», которые «живут у дел вместо военного дела», да учатся, «как бы им наживать и службы отлынять».

Правительство начало заботиться об учебной подготовке дворянства к гражданской службе раньше, чем снята была с сословия срочная воинская повинность. По многопредметной программе открытого в 1731 г. шляхетного кадетского корпуса кадеты должны были обучаться, между прочим, риторике, географии, истории, геральдике, юриспруденции, морали. Образован-

ные русские люди того времени, например Татищев (в *Разговоре о пользе наук и училищ* и в *Духовной*), настойчиво твердили, что всему русскому шляхетству после исповедания веры прежде всего необходимо знание законов гражданских и состояние собственного отечества, русской географии и истории. Разумеется, при Екатерине II «гражданское учение», которое воспитывало бы не столько ученых, сколько граждан, стало еще выше в предначертаниях правительства. По плану Бецкого из преобразованного шляхетного корпуса дворянский недоросль должен был выходить воином-гражданином, знающим и военное, и гражданское дело, способным вести дела и в лагере, и в Сенате, короче, мужем одинаково пригодным *belli domique*.

Это было бы великое дело, если бы план удался и из среды Иванушек и Митрофанушек пошли бы такие разносторонне пригодные мужи. Случилось так, что в ту же осень, когда впервые сыгран был *Недоросль*, в Петербурге совершились два важные события: составлена комиссия об учреждении народных школ в России и открыт памятник Петру Великому. Знаменательное совпадение! Если бы дворянство шло путем, какой указан был ему Петром I, ода того века могла бы, пользуясь случаем, изобразить, как преобразователь, вышедши из своей петропавловской гробницы и «увидев себя на вольном воздухе» — выражение Екатерины II в письме к Гримму по поводу открытия памятника, — отверзает свои давно сомкнутые уста, чтобы сказать: *Ныне отпускаеши*. Но вышла не ода, а комедия, чтобы предостеречь сословие от опасности не попасть на указанный ему путь. *Недоросль* дает такое предостережение в резких, внушительных формах, понятных и публике, непривычной к комическим тонкостям; его понял даже брат попавшейся госпожи Простаковой, сам Тарас Скотинин, сказав: «Да этак и всякий Скотинин может попасть под опеку». В усадьбе г-жи Простаковой прообразовательно, для примера, разыграна дальнейшая судьба той части дворянства, которая мыслила и понимала свое положение по-простаковски. Сословию предстояло приготовиться к ответственной и патриотической роли руководителя местного управления и общества, а г-жа Простакова говорит: «да что за радость и выучиться? Кто посмышленее, того свои же братья тотчас

выберут еще в какую-нибудь должность». Сословие призывалось к почитательной и человеколюбивой деятельности в крепостной деревне, а г-жа Простакова, видя, что чиновник наместника отнял у нее власть буйствовать в доме, в комической тоске восклицает: «Куда я гожусь, когда в моем доме моим же рукам и воли нет?» Зато господам Простаковым и опека. Ништо им!

В *Недоросле* дурные люди старого закала поставлены прямо против новых идей, воплощенных в бледные добродетельные фигуры Стародума, Правдина и других, которые пришли сказать тем людям, что времена изменились, что надобно воспитываться, мыслить и поступать не так, как они это привыкли делать, что дворянину бесчестно ничего не делать, «когда есть ему столько дела, есть люди, которым помогать, есть отечество, которому служить». Но старые люди не хотели понять новых требований времени и своего положения, и закон готов наложить на них свою тяжелую руку. На сцене представлено было то, что грозило в действительности: комедия хотела дать строгий урок непонятливым людям, чтобы не стать для них зловещим пророчеством.

Ф. И. БУСЛАЕВ КАК ПРЕПОДАВАТЕЛЬ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬ

Что сделал Буслаев для изучения русской истории? Задав себе этот вопрос, я прежде всего вспомнил свои студенческие годы. Я уверен, так поступит каждый ученик Буслаева, когда спросит себя, что сделал он для *его* отрасли знания, для избранной им науки, если она входила в обширную область научного ведения, в пределах которой трудился Буслаев.

И я думаю, что это — недаром. Теперь в этой обширной области у нас трудится много работников и большею частью благодаря Буслаеву. Складывается значительная литература предмета. Первые, элементарные сведения по этому предмету, сообщаемые профессором и даже гимназическим учителем, суть только наиболее признанные в этой литературе положения науки. В этом случае профессор и учитель — только ученые посредники между литературой и аудиторией или классом.

Тридцать пять лет назад, когда я начал в Московском университете слушать Буслаева, положение дела было совсем иное. Большая часть того, что он повторял в аудитории из печатного, была недавно напечатана им же самим. Многие, что он сообщал своей аудитории, студент узнавал раньше читателя. Буслаев был не посредник между своей аудиторией и литературой своего предмета, а первый поставщик той и другой. Ученикам его часто приходилось первым усвоить его идеи, новые факты, приемы их изучения и потом проводить их в преподавании, частной беседе, даже в литературе. Но всякий ученик Буслаева по роду своих дальнейших занятий может с достаточной полнотой и глубиной оценить его как ученого, взвесить его значение в той науке, кото-

рой посвящена была его ученая деятельность. Но в личных воспоминаниях каждого о том, как он учился у Буслаева, могут найтись черты, впечатления и замечания, которые пригодятся для изображения того, как усвоились и распространялись ученые взгляды Буслаева, как они отражались в преподавании и литературе, — словом, может оказаться пригодный материал хотя не для истории самой науки, то по крайней мере для истории русского просвещения.

С такими именно мыслями и обратился я к своим студенческим воспоминаниям, чтобы отдать себе отчет в значении Буслаева для изучения русской истории. Я вступил в Московский университет и стал слушать Буслаева в тот самый 1861 год, когда появились два тома его *Исторических очерков* русской народной словесности и искусства; в этом издании были собраны и приведены в некоторую систему исследования и характеристики, рассеянные в разных изданиях, с исправлениями и пополнениями. Не только специалист, но и простой образованный читатель мог по 34 «главам», точнее монографиям, этого обширного издания в связанном подборе следить за развитием основной мысли и метода исследователя. Но этим изданием далеко не завершилась ученая деятельность исследователя, а только очерчивался круг явлений, избранных им для изучения, намечалась программа и выяснялись задачи дальнейших работ. Когда я стал слушателем Буслаева, его ученая деятельность шла полным ходом. И после издания *Очерков* аудитория продолжала для него стоять впереди публики. Многие исследования, появлявшиеся потом в печати, составлялись из курсов, читанных им в университете. Будущая ученая биография Буслаева, конечно, выяснит связь его профессорской и авторской деятельности, восстановив отношение его печатных исследований к его университетским курсам: это отношение — вообще очень любопытное дело как для определения влияния университетского преподавания на нашу научную литературу, так и для истории русского просвещения, и биография профессора, так долго преподававшего и так много писавшего, как Буслаев, может пролить яркий свет на эту всеми живо чувствуемую и признаваемую, но еще далеко не выясненную связь университета с литературой.

Впрочем, как бы много ни писал профессор по своей науке, он не может перелить в свои сочинения всего своего преподавательского влияния. Воображаемая публика, от которой писатель отделен типографией и книжной лавкой, никогда не заменит аудитории, живьем присутствующей прямо перед глазами преподавателя и возбуждающей его своим немым, но выразительным вниманием. Потому перу остаются недоступны многие средства действия, какими обладает живое слово. С кафедры идут дидактические и методологические впечатления, которые уносятся слушателями и которых печатный станок никогда не передает читателю. Но и эти неуловимые впечатления не пропадают бесследно в общем движении науки...¹ И прежде всего мы обязаны Буслаеву тем, что он растолковал нам значение языка как исторического источника. Теперь это значение так понятно и общеизвестно; но тогда оно усвоилось с некоторым трудом и не мной одним. Живо помню впечатление, произведенное на меня чтением статьи «Эпическая поэзия». Это было в 1860 или 1861 г. Заглавие вызвало во мне привычные школьные представления об эпосе, Магабарате, Илиаде, Одиссее, о русских богатырских былинах. Читаю и нахожу нечто совсем другое². Вместо героических подвигов и мифических приключений я прочитал в статье лексикографический разбор, вскрывший в простейших русских словах вроде *думать, говорить, делать* сложную сеть первичных житейских впечатлений, воспринятых человеком, и основных народных представлений о божестве, мире и человеке, какие отложились от этих впечатлений.

С течением времени, слушая Буслаева в аудитории и на квартире, читая сочинения его собственные и чужие, какие он нам указывал, вдумываясь в дело, мы постепенно входили в круг идей, внушавших совсем непривычное представление о содержании, границах и приемах изучения той отрасли знания, которую называют историей словесности.

В моей памяти, как и в студенческих заметках, уцелели следы того диалектического процесса, какой задавал Буслаев нашему мышлению и которым мы усвоили столь новые для нас воззрения. Может быть, вспомнить эти усилия студенческой мысли не будет лишним не для самой науки, конечно, а для истории университетского образования и для биографии Буслаева.

Первое и главное произведение народной словесности есть самое *слово*, язык народа. Слово — не случайная комбинация звуков, не условный знак для выражения мысли, а творческое дело народного духа, плод его поэтического творчества³. Это — художественный образ, в котором запечатлелось наблюдение народа над самим собой и над окружающим миром. В первых своих очертаниях этот образ заключился в корне слова. По мере накопления опыта и наблюдения, по мере осложнения впечатлений и отношений и первичный образ разрастается в *верование*, в идею божественной силы, незримо присутствующей в видимом мире, потом в миф, в представление о видимом, ощутительном проявлении этой незримой силы, в закон или житейское правило, устанавливаемое этим верованием и представлением, наконец, в обычай и предание, создаваемые верованиями, мифами и законами путем их передачи из поколения в поколение. Вместе с тем по мере развития понятий и отношений корни слов обрастали этимологическими и фонетическими новообразованиями; система грамматических форм, первичное коренное значение слова последовательно изменялось и разветвлялось, давая от себя сложную систему производных, складывалась синонимическая и омонимическая лексика, выражавшая оттенки и соотношение впечатлений и явлений и т. д. Так язык рос вместе с народной жизнью, и его история есть летопись этой жизни и летопись художественная, своего рода эпоса, в поэтических образах отразившая народные верования, понятия, убеждения, обычаи и права в темную эпоху их зарождения.

Все это теперь кажется так просто и элементарно. Но усвоенные вовремя, эти элементарные сведения о строении языка и его отношении к жизни народа оказали нам потом неоценимую услугу. Немногим ученикам Буслаева пришлось по выходе из университета заниматься специально историей русского языка и литературы: из нашего выпуска 1865 г., если не ошибаюсь, никто не избрал этой специальности. Но многим из нас пришлось после иметь дело со старыми текстами, с памятниками древней письменности, и, сидя за ними, мы с благодарностью вспоминали и вспоминаем доселе уроки и советы Буслаева. Уча нас строению языка и его связи с народным бытом, он учил нас читать древние

памятники, разбирать значение, какое имели слова на языке известного времени, сопоставлять изучаемый памятник с другими одновременными и посредством этого разбора и сопоставления приводить его в связь со всем складом жизни и мысли того времени.

Я не берусь говорить, что сделал он, собственно, для изучения словесности. Упомяну об этом только по связи с другою заслугой, оказанною им изучению русской истории. В изучении русской словесности он поставил новые задачи и принял новый метод. Главным предметом его внимания была народность и отрасль знания, на которой он сосредоточивал свои работы, он сам называл сравнительным изучением народности, этой новой наукой XIX в., по его выражению. Перемена, внесенная этою новою наукой в направление изучения словесности, состояла в том, что научный интерес от отдельных памятников личного творчества перенесен был на народную массу. Он подробно изложил эту перемену в начале своей монографии *Сравнительное изучение народного быта и поэзии*. «В прежнее время, — пишет он здесь, — . . . главнейшие предметы для этой науки — язык, религия, начатки семейного и общественного быта, народная поэзия и обычное право. Все эти предметы должны быть изучаемы сравнительно. Необходимость такого изучения вытекает из открывающегося все явственнее факта первобытного сродства индоевропейской семьи народов и даже народов всего земного шара, т. е. сродства общечеловеческого». Сравнительная грамматика и сравнительная мифология языков индоевропейских, по его словам, привели к тем результатам. . . Материалы для такого изучения заключаются в разнообразных формах словесного творчества народа: краткие изречения, заговоры, пословицы, поговорки, клятвы, загадки, приметы, песни, сказки и пр. — все эти разрозненные члены эпического предания, в которых выражалось народное мирозерцание, в которых сказывалась народная душа и которых поэтому можно назвать источниками науки народной психологии. Но не одна устная словесность народа дает такие материалы: самородное творчество народа разорванными отзвуками западало и в письменную словесность. Восстановить связь между устной народной и письменную словесностью было задачей и заслугой Буслаева. В его ученом плане история литературы по

лучала новый, научный склад и характер: из критико-библиографического обзора отдельных памятников письменности без внутренней связи, являвшихся более или менее удачными, но всегда случайными проявлениями личного творчества, история словесности превращалась в изображение течений литературного творчества с указанием их народных источников, картину стройного и последовательного развития народного духа и быта, насколько тот и другой отразился в памятниках устной и письменной словесности, и не только словесности, но и искусства. Для восстановления этой связи устной словесности с письменной Буслаев предпринял неутомимое и широкое изучение обильного рукописного запаса, какой накопился в наших древлехранилищах, частных и общественных, и какой он сам мог найти на рынке старых книг и рукописей.

Это был другой общий источник как для истории русской словесности, так и для русской истории, и в изучение этого обильного и мало тронутого источника Буслаев внес большое оживление, даже, можно сказать, новое направление, благотворно отразившееся на успехах русской историографии вообще. Древнерусская письменность, почти исключительно духовная, церковная по своему содержанию, рассматривалась прежде как выражение нового христианского порядка жизни, какой строился на старой языческой почве русского народа. Этот порядок должен был стать на языческой почве, подавив в ней все корни и поросли языческой старины. Но предполагалось, что эта христианская письменность по положению письменного дела в древней Руси питала мысль и чувство только высших классов общества и, слабо действуя на простонародье, на эту старую языческую почву, ничего и от нее не заимствовала, была от нее изолирована. Она представлялась течением, шедшим поверх общенародной жизни, освещавшим ее, но за нее не зацеплявшимся. Из этой письменности опускалась на народную жизнь освежительная, но скоро высыхавшая роса, а по временам падали грозные обличения, но самый этот быт своими отношениями, повериями и чувствами не поднимался до высоты порядка, какой проводился в этой письменности. Так, например, в житиях русских святых история литературы черпала преимущественно образчики благочестия отдельных древнерус-

ских людей. В этой-то письменности, в чуде жития, в набожной легенде, в миниатюре, которою украшались поля рукописей, даже в ином назидательном сказании Буслаев стал находить мотивы и образы чисто народного происхождения, как в пословице, загадке и т. п. Многие главы первого тома его *Исторических очерков* и весь второй том, носящий заглавие *Древнерусская народная литература и искусство*, посвящены изысканию этих народных мотивов и образов в древнерусской литературе. Можно сказать, что это — ряд монографий, дающих частичные ответы, прямые или косвенные, на один общий вопрос о влиянии народных поверий, мифов, понятий и обычаев на древнерусскую письменность. Оказалось, что течение, шедшее поверх старой русской жизни, не было совсем с ней разобщено, питалось и ее испарениями.

Так восстановлена была связь древнерусской письменности с ее туземными народными источниками. В содействии этому делу состояла несомненная научная заслуга Буслаева, частью испытанная мною на самом себе. Я помню, как оживился интерес к древнерусской рукописной литературе, и я раскрывал древнерусскую рукопись с нетерпеливой надеждой найти в ней свежие следы древнерусского народного быта и мышления. Изучение древнерусской письменности оживилось потому, что расширилось и углубилось. В ней стали искать отражение не одних только идеалов, норм пришлого порядка, который водворялся на Руси и часто терпел неудачи, но и той среды, которая его медленно и не всегда понятно воспринимала. Таким образом, по этой письменности стали изучать совместную работу новых культурных влияний и старых туземных сил, которые перерабатывались теми влияниями в культурные средства. Разумеется, и изучение письменности тем самым осложнилось, сделалось труднее: ее стало необходимо изучать в неразрывной связи и с народным бытом и мышлением.

Его эстетическая и патриотическая антипатия к искусственной литературе во имя самородной народной словесности не помешала его ученому беспристрастию помирить противниц и соединить их в единый цельный неисчерпаемый источник истории русской народной жизни — мысли и художественной фантазии. . .

О ВЗГЛЯДЕ ХУДОЖНИКА НА ОБСТАНОВКУ И УБОР ИЗОБРАЖАЕМОГО ИМ ЛИЦА

Человек — главный предмет искусства. Художник изображает его так, как он сам себя выражает или старается выразить. А человек любит выражать, обнаруживать себя. Понятно его побуждение: мы любим понимать себя и стараемся, чтобы и другие понимали нас так же, как мы сами себе представляемся.

Говорят, лицо есть зеркало души. Конечно так, если зеркало понимать как окно, в которое смотрит на мир человеческая душа и чрез которое на нее смотрит мир. Но у нас много и других средств выражать себя. Голос, склад речи, манеры, прическа, платье, походка, все, что составляет физиономию и наружность человека, все это окна, через которые наблюдатели заглядывают в нас, в нашу душевную жизнь. И внешняя обстановка, в какой живет человек, выразительна не менее его наружности. Его платье, фасад дома, который он себе строит, вещи, которыми он окружает себя в своей комнате, все это говорит про него и прежде всего говорит ему самому, кто он и зачем существует или желает существовать на свете. Человек любит видеть себя вокруг себя и напоминать другим, что он понимает, что он за человек.

Обстановку, какой окружает себя человек дома и в какой он выходит на улицу, вид, в каком он появляется в обществе, художнику необходимо наблюдать и надобно уметь, т. е. привыкнуть наблюдать. На это есть свои правила и приметы. Когда вы входите в кабинет к человеку со средствами, у которого все просто и опрятно, по стенам ни одной картинке, на столе ни одной

фотографии, никакой блестящей безделки и даже лампа какая-то матовая, будьте уверены, что перед вами человек замкнутый, но доброжелательный, очень мало интересующийся вами при первой встрече, но человек с подвижным и сильным воображением, не нуждающимся во внешних возбуждениях, и по вашему уходу он мысленно сделает из вас что угодно, вылепит какой угодно идеал, и уж непременно запомнит вас надолго, если только вы оставили в нем сколько-нибудь благоприятное впечатление. Я раз пришел к очень богатому барину. В маленьком кабинете на антресолях его собственного дома я заметил несколько худеньких стульев, кожаный сильно просиженный рваный диван, небольшой письменный стол на курьих ножках, с озеровидными пятнами на потертом зеленом сукне. Человек в опрятном фраке и безукоризненных белых перчатках на дорогом подносе поставил на стол кофе и при этом передвинул стоявшие на нем два подсвечника: тут я заметил, что это были бронзовые подсвечники старинной работы, ценное качество которой без труда почувствовал даже мой несведущий в таких вещах глаз. Мы долго и оживленно говорили о предмете, сильно его занимавшем, он с видимым любопытством меня выслушивал, при прощанье крепко жал мне руку за полученные сведения, а через неделю при встрече в гостях не узнал меня. Есть люди, которые любят щеголять нарядными драгоценными рубищами, чтобы заставить людей запомнить себя, и забывают о собеседнике тотчас, как только расстанутся с ним.

Человек украшает то, в чем живет его сердце, во что кладет он свою душу, свои умственные и нравственные усилия. Современный человек, свободный и одинокий, замкнутый в себе и предоставленный самому себе, любит окружать себя дома всеми доступными ему житейскими удобствами, украшать, освещать и согреть свое гнездо. В древней Руси было иначе. Дома жили неприхотливо, кой-как. Домой приходили как будто только поесть и отдохнуть, а работали, мыслили и чувствовали где-то на стороне. Местом лучших чувств и мыслей была церковь. Туда человек нес свой ум и свое сердце, а вместе с ними и свои недостатки. Иностранцы, въезжая в большой древнерусский город, прежде всего поражались видом многочисленных каменных церквей, внушительно поднимавшихся над темными рядами деревянных доми-

ков, уныло глядевших своими тусклыми слюдяными окнами на улицу или робко выглядывавших своими трубами из-за длинных заборов. В 1289 г. умирал на Волыни в местечке Любомли Владимир Васильевич, очень богатый, могущественный и образованный для своего времени князь, построивший несколько городов и множество церквей, украшавший церкви и монастыри дорогими коваными иконами с жемчугом, серебряными сосудами, золотом шитыми бархатными завесами и книгами в золотых и серебряных окладах. Он умирал от продолжительной и тяжелой болезни, во время которой лежал в своих хоробах *на полу на соломе*. Или возьмем жившего немного позднее московского князя Ивана Даниловича Калиту. Это был один из самых сильных и богатых князей, если не сильнейший и богатейший князь Северной Руси в начале XIV в., отличавшийся притом большим скопидомством, а между тем, перечисляя в своей первой духовной грамоте (не позднее 1328 г.) наиболее ценную домашнюю движимость, которую он оставлял своим наследникам, он прописывает 12 золотых цепей, 9 поясов золотых и несколько серебряных, 1 женское ожерелье, одно монисто, 14 женских обручей, 1 чело, 1 гривну, 7 кожухов и кафтанов, 1 золотую шапку, 6 золотых чаш и чар, 17 штук блюд и другой посуды золотой и серебряной и 1 золотую коробочку — все это, как видите, можно уложить в один порядочный сундук.

Теперь обстановка и убор человека далеко не имеют того значения, какое они имели в старые времена. Современный человек обставляет и убирает себя по своим понятиям и вкусам, по своему взгляду на жизнь и на себя, по той цене, какую он дает самому себе и людскому мнению о себе. Современный человек в своей обстановке и уборе ищет самого себя или показывает себя другим, афиширует, выставляет свою личность и потому заботится о том, чтобы все, чем он себя окружает и убирает, шло ему к лицу. Если исключить редких чудачков, мы обыкновенно стараемся окружить и выставить себя в лучшем виде, показаться себе самим и другим даже лучше, чем мы на самом деле. Вы скажете: это суетность, тщеславие, притворство. Так, совершенно так. Только позвольте обратить ваше внимание на два очень симпатичные побуждения. Во-первых, стараясь показаться себе самим лучше, чем мы на деле,

мы этим обнаруживаем стремление к самоусовершенствованию, показываем, что хотя мы и не то, чем хотим казаться, но желали бы стать тем, чем притворяемся¹. А во-вторых, этим притворством мы хотим понравиться свету, произвести наилучшее впечатление на общество, т. е. выражаем уважение к людскому мнению, свидетельствуем почтение к ближнему, следовательно, заботимся об умножении удобств и приятностей общежития, стараемся увеличить в нем количество приятных впечатлений. Видимая суетность и тщеславие становится вспомогательным средством или орудием альтруизма. Конечно, мы улыбаемся при виде иной дамы в пожилых годах и с юным сердцем, которая любит рядиться в молодые цвета. Но вы отдадите справедливость ее доброму намерению: скрывая свой пожилой возраст, она ведь отклоняет вас от мысли о неприятности, которая ждет и каждого из вас.

В старые времена личности не позволялось быть столь свободной и откровенной. Лицо тонуло в обществе, в сословии, корпорации, семье, должно было своим видом и обстановкой выражать и поддерживать не свои личные чувства, вкусы, взгляды и стремления, а задачи и интересы занимаемого им общественного или государственного положения. Над личными вкусами и понятиями, даже над личными доблестями царили общеобразовательное приличие, общепризнанный обычай. В древней Греции даже честным и даровитым позволялось². . . В настоящее время зачастую встречаешь гимназиста, который идет с выражением Наполеона I или по меньшей мере Бисмарка, хотя в кармане у него бальная книжка, где все двойка, двойка и двойка; встречаешь порой и гимназистку, особенно в очках, что теперь нередкость, которая смотрит императрицей Екатериной II или даже самой Жорж Занд, хотя это просто Машенька Гусева с Зацепы и больше ничего. Теперь такие несвойственные возрасту и положению выражения величия вызывают только веселую улыбку, а в старину они навлекли бы строгое внушение. В прежние времена положение обязывало и связывало, обстановка, как и самая физиономия человека в значительной мере имела значение служебного мундира. Каждый ходил в приличном состоянии костюме, выступал присвоенной званию походкой, смотрел на

людей штатным взглядом. Занимал человек властное положение в обществе — он должен был иметь властные жесты, говорить властные слова, глядеть повелительным взглядом, с утра до вечера не скидывать с себя торжественного костюма, хотя бы все это было ему тяжело и противно. Родился князем Воротынским — поднимай голову выше и держи себя по-княжески, по-воротынски, а стал монахом — так и складывай смиренно руки на груди и береги глаза, опускай их долу, а не рассыпай по встречным и поперечным. Словом, назвался груздем, так полезай в кузов.

Когда древнерусский боярин в широком охабне и высокой горлатной шапке выезжал со двора верхом на богато убранном ногойском аргамаче, чтобы ехать в Кремль челом ударить государю, всякий встречный человек меньшего чину по костюму, посадке и самой физиономии всадника видел, что это действительно боярин, и кланялся ему до земли или в землю, как требовал обычай, потому что ведь он — столп, за который весь мир держится, как однажды выразился про родовитых бояр знаменитый, но неродовитый князь Пожарский. Появись он на улице кой-как, запросто, в растрепанном виде, с легкомысленными, смеющимися глазами, он только неприятно смутил бы встречных, как смутились бы молящиеся в соборном храме, если бы при полном праздничном освещении, среди всего церковного благолепия из царских дверей вышел владыка-митрополит в рубище и с улыбкой на устах.

Припоминаю один давний случай. Давали благотворительный концерт с участием какой-то дивы и с очень повышенными ценами. В первом ряду сидел в блестящих мундирах, фраках и туалетах цвет местного общества. К распорядителю, принимавшему у входа билеты, подходит скромно одетая и с скромным видом дама и подает один из первых номеров. Подозрительный и неловкий распорядитель посмотрел на билет, потом на даму, потом опять на билет и имел неосторожность спросить: позвольте узнать, как ваша фамилия? — Княгиня такая-то, тихо ответила дама, выговорив такую фамилию, от которой у распорядителя зарябило в глазах, и он, растерянно извиняясь, повел ее к первому ряду, который встал весь при ее появлении. В старые времена житейская обстановка пред-

отвращала подобные недоразумения. Отдельные лица прятались за типами; внешними признаками резко отмечались и различались целые классы людей, общественные состояния, а классы, состояния рассматривались не как простые случайности рождения или капризы счастья, а как естественные нормы жизни или предначертания всем правящей всевышней десницы: кому что на роду написано, судьба.

Если вы потрудитесь вникнуть в логику такого исторического разума гения, который строил формы и отношения людского общежития, вам не покажутся странными некоторые явления старинной русской жизни, с которыми вы можете встретиться, изучая русские исторические памятники для своих художественных композиций. Столь известная в истории раскола, неизвестная в русской живописи Федосья Прокофьевна Морозова, урожденная Соковнина, была большая московская боярыня времен царя Алексея Михайловича. Она была замужем за родным братом боярина Бориса Ивановича Морозова, воспитателя и свояка этого царя, и обладала огромным богатством: у ней было 8 тыс. душ крестьян; дома ей прислуживало человек 300 челяди; в дому у нее всякого добра было больше чем на 2¹/₂ миллиона рублей на нынешние деньги. После, когда ей пришлось встать за благочестие, хотя и ложно понятое, за то, что она считала старой истинной верой, за двуперстие и сугубую аллилуйю, она показала, как она мало дорожит всеми дарованными ей житейскими благами и честью при дворе и золоченной кроватью дома, не побоялась ни допросов, ни сырого боровского подземелья, куда ее посадили. А посмотрите, как она, оставшись молодой вдовой, в «смирном образе», по-нашему в трауре, выезжала из дома: ее сажали в дорогую карету, украшенную серебром и мозаикой, в шесть или двенадцать лошадей, с гремющими цепями; за нею шло слуг, рабов и рабынь человек со сто, а при особенно торжественном поезде с двести и с триста, оберегая честь и здоровье своей государыни-матушки. Царица ассирийская да и только, скажете вы, — раба суеверного и тщеславно пышного века! Хорошо. Перейдем к концу XVIII столетия, в век Вольтера, Руссо и императрицы Екатерины II, в эпоху разума, свободы, равенства и естественной простоты, когда под горячими

лучами разгоревшейся человеческой мысли таяли людские суеверия и предрассудки. Вице-канцлер Екатерины II граф Иван Андреевич Остерман был сын любимца Петра Великого барона Андрея Ивановича Остермана. Этот вице-канцлер был образованный, неглупый и богатый дипломат, в домашней жизни не любил роскоши, держал себя важно, но без гордости. На святой неделе, когда в Петербурге бывало народное гулянье с качелями, он любил поглядеть, как веселится народ. Посмотрите, в какой обстановке появлялся он на гульбище. Он приезжал один в одноместной позолоченной карете с большими стеклами, точно фонарь, на шестерке белых лошадей; на запятках стояли два гайдука в голубых епанчах, из под которых выглядывали казакины с серебряными снурками, а на головах высокие картузы с перьями и с серебряными бляхами на лицевой стороне, на которых виден был именной вензель господина; перед лошадьми шли два скорохода с булавами в руках, в нарядных костюмах, в щегольских чулках и башмаках, какая бы ни была слякоть. Ныне появление в такой обстановке придало бы народному гулянью характер публичного маскарада под открытым небом и было бы встречено веселым хохотом. Сто лет назад эту процессию столичная толпа встречала с обнаженными головами и почтительным шепотом: «Его сиятельство граф Остерман едет!»

Конечно, и в современной жизни много условного, ненужного для прямых целей общежития, но удобного для прикрытия его недостатков. Люди, которым приходится видаться, но не о чем говорить, поневоле говорят о политике и погоде, чтобы не смотреть молча в глаза друг другу. Но эти условности, еще удержавшиеся в жизни по привычке или необходимости, эти переживания быстро теряют свою обязательность в общем сознании или в общественном мнении. Все более торжествует мысль, что каждый имеет право быть самим собой, если не мешает другим быть тем же и не производит общего затруднения. Мы улыбнемся при виде вороны в павлиньих перьях, но едва ли осудим ее в душе — за что? Если она умеет носить их прилично и не задевая ими простых неукрашенных ворон. В старые времена, при других понятиях и нравах, такая своеобычность была менее удобна и, во-первых,

не совсем безопасна. Общественное мнение было более завистливо и нетерпимо, не выносило ничего выдающегося, незаурядного, своеобразного. Будь как все, шагай в ногу со всеми — таково было общее правило.

Известно, что в древней Руси дамы любили белиться и румяниться. Может быть, в этом обычае был свой смысл: он делал красивых менее красивыми, а дурных приближал к красивым и таким образом сглаживал произвол судьбы в неравномерном распределении даров природы. Если так, то обычай имел просветительно-благотворительную цель, заставляя счастливо одаренных поступаться долей полученных даров в пользу обездоленных. Но духовенство не благоволило к обычаю, подозревая в нем иные, худшие побуждения. Однако были софисты, которые замысловато оправдывали этот обычай. Вот что случилось в 1653 г. в доме муромского воеводы. В праздник собрались к нему гости. Пришел и протопоп Логгин и, благословляя хозяйку, спросил: не белишься ли? Гости вместе с хозяином подхватили это слово и накинулись на батюшку: так что ж, что белится? Ты, протопоп, белила хулишь, а ведь без белил и образов не пишут. Рассерженный о. Логгин жестко возразил: да если таким составом, каким иконы пишутся, ваши рожи намазать, так всем это, пожалуй, и не понравится. Однако от воеводы полетел в Москву донос к патриарху, что-де муромский протопоп Логгин хулит иконы. Один иноземец, бывший в Москве при царе Михаиле, рассказывает, что одна красивая московская боярыня не хотела белиться и румяниться. Тогда все дамы боярского круга взъелись на нее: она осрамить нас вздумала: «я-де солнце, а вы оставайтесь тусклыми свечками при солнечном сиянии», и чрез мужей заставили-таки красавицу подчиниться обычаю: гори-де и ты, подобно нам, тусклой свечкой при солнечном сиянии. Будь как все, шагай в ногу со всеми. Вот характерная нравоописательная картинка из записок известного московского подьячего времен царя Алексея Михайловича. «В домах своих живут они смотря по чину и общественному весу каждого, вообще же без особенных удобств. Малочинному приказному человеку нельзя построить хорошего дома: оболгут перед царем, что-де взяточник,

мздоимец, казнокрад, и много хлопот наделают тому человеку, пошлют на службу, которой исполнить нельзя, инструкцию такую напишут, что ничего не поймешь, и непременно упекут под суд, а там — батоги и казенное взыскание, продажа движимого и недвижимого с публичного торга. А ежели торговый человек или крестьянин необычно хорошо обстроится, ему подачей навалют. И потому, — заключает Котошихин, — люди Московского государства домами живут негораздо устроенными и города и слободы у них неблагоустроенные же».

Впрочем, свобода убора и обстановки стеснялась не одной людской зависимостью, но и соображениями благочиния и благоустройства³. При тогдашних нравах свобода могла повести и приводила к вредным излишествам и чудачествам, рассказами о которых так обильны наши предания о добрых старых временах. Правительство тогда считало своим долгом отечески опекать подданных и во имя общественной дисциплины вмешиваться в их частную жизнь. У нас, как и в других странах, к этой цели было направлено целое законодательство о платье и роскоши. Еще в прошедшем столетии у нас запрещался ввоз из-за границы некоторых дорогих материй и других предметов роскоши. Закон хотел сделать из людской слабости поощрение к труду, к образованию и общественному служению, из личной суетности и тщеславия средство общественного порядка, щегольство превратить в стимул гражданского чувства. Обстановка должна была стать не просто выставкой богатства, но и отметкой общественного положения, социального распорядка лиц, знаком отличия за умение вести дела и за заслуги обществу и государству. Хочешь блеснуть перед людьми, доставить себе удовольствие, кольнуть их завистливые глаза своей персоной, ливреей лакея или упряжкой — приобрети на это установленный патент трудолюбием и искусством да и делай это разумно и осторожно, чтобы люди не посмеялись и над тобой, и над тем, кто патентовал тебе привилегию колоть им глаза своей персоной или упряжкой. Раскройте жалованную грамоту императрицы Екатерины II на права и выгоды городам Российской империи: вы найдете там ряд статей о том, как могли по закону выезжать люди разных городских состояний. Городское

население по грамоте делилось на именитых граждан, на купечество трех гильдий, на цеховых ремесленников и простых рабочих. Эти звания приобретались городской общественной службой, образованием, искусством и размером капитала, т. е. величиной платимого с него в казну процентного сбора, значит, трудолюбием, талантом, услугами обществу и государству. Грамота прямо говорит, что «название городских обывателей есть следствие трудолюбия и добронравия, чем и приобрели отличное состояние». Так к высшему состоянию именитых граждан причислились наравне с крупнейшими капиталистами ученые, имеющие академические или университетские аттестаты, художники четырех художеств, именно архитекторы, живописцы, скульпторы и музыкосочинители также с академическими аттестатами «и по испытаниям главных российских училищ признанные таковыми». И вот что мы читаем в грамоте о правах выезда для лиц высших городских состояний: именитым гражданам дозволяется ездить по городу в карете парюю и четвернею; купцам первой гильдии дозволяется ездить по городу в карете только парюю, купцам второй — в коляске парюю, третьей же гильдии запрещается ездить в карете и впрягать зимою и летом больше одной лошади; тоже и цеховым ремесленникам или мещанам.

Но довольно, господа! Теперь подсчитаем, до чего мы договорились. Я обещал сказать вам свое мнение о том, как надобно художнику смотреть на обстановку и убор изображаемых им лиц. Этот взгляд устанавливается различным значением обстановки и убора в прежние времена и теперь, иначе говоря, историческим значением этих житейских подробностей. Это различие в свою очередь зависит от неодинакового отношения лица к обществу теперь и в прежние времена. Теперь человек старается сознавать и чувствовать себя свободной цельной единицей общества, которая живет для себя и даже свою деятельность на пользу общества рассматривает как свободное проявление своей личной потребности быть полезным для других. Согласно с этим он подбирает себе, разумеется, в пределах своих средств, обстановку и убор по своим личным вкусам и понятиям, по своему взгляду на жизнь, на людей и на себя. Все, что мы видим на современном человеке и около него, — есть

его автобиография и самохарактеристика, так сказать. Мода, общепринятый обычай, общеобязательное приличие указывают только границы личного вкуса и произвола. Прежде лицо тонуло в обществе, было дробной величиной «мира», жило одной с ним жизнью, мыслило его общими мыслями, чувствовало его мирскими чувствами, разделяло его повальные вкусы и оптовые понятия, не умея выработать своих особых, личных, розничных, и ему позволялось быть самим собой лишь настолько, насколько это необходимо было для того, чтобы помочь ему жить как все, чтобы поддержать энергию его личного участия в хоровой гармонии жизни или в трудолюбиво автоматическом жужжании пчелиного улья. Люди прежних времен умели быть эгоистами не хуже нас, даже бывали чудаками и самодурами, какими не сумеем стать мы; но они менее нас умели быть оригинальными, без странностей, своеобразными и самобытными, без неудобных чудачеств, без потребности в полицейском надзоре. Потому в своей житейской обстановке, как и в своем наружном уборе, они были столь же мало своеобразны и изобретательны, как в своих чувствах и вкусах, повторяли общепринятые завитки, цвета и покрои, исторически сложившиеся, отцами и дедами завещанные. Теперь обстановка — есть характеристика личного настроения и положения человека, его средств и взгляда на свое отношение к обществу. Прежде она была выставкой его общественного положения, выражением не его взгляда на свое отношение к обществу, а взгляда общества на его общественное положение и значение. Ныне обставляет и держит себя, как сам себя понимает, а прежде — как его понимали другие, т. е. общество, в котором он жил. Отсюда следует, что, изображая современного человека, вы, разумеется, в указанных пределах общепризнаваемого обычая и приличия можете придумывать своему герою какую угодно обстановку, платье и прическу, лишь бы все это верно выражало его своеобразный характер, можете быть для него и портными и парикмахерами, только оставаясь художниками и психологами. Но в изображении стародавних людей художник обязан быть историком, окружать и убирать его, как тогда все себя окружали и убирали, хотя бы это окружение и этот убор и не согласовались с характером изображаемого лица⁴.

ПАМЯТИ А. С. ПУШКИНА

Для чего мы празднуем юбилейные годовщины великих деятелей нашего прошлого? Не для того ли, чтобы питать национальную гордость воспоминаниями о своих великих поколениях? Едва ли. Национальная гордость — культурный стимул, без которого может обойтись человеческая культура. Национальное самомнение, как и национальное самоуничижение, — это только суррогаты народного самосознания. Надобно добиваться настоящего блага, истинного самосознания без участия столь сомнительных побуждений.

Самосознание — трудное и медленное дело, венчающее работу человека или народа над самим собой, и достигается разносторонними путями. Праздники в память людей, двинувших или облегчивших эту работу, — минутные остановки, чтобы осмотреться, перевести дух, оглянуться на пережитое, сосчитать прожитые годы. Так в пути оглядываются назад, чтобы по выдающимся пунктам сообразить пройденное расстояние и проверить направление.

Великие деятельности — проверочные моменты народной жизни. Каким-то трудно уловимым процессом общения лица с окружающей средой в них собираются мелкие, раздробленные интересы и стремления и действием личного творчества перерабатываются в цельное и крупное дело, которое в одно и то же время и вскрывает запас нажитых обществом сил и средств, и предуглаживает их дальнейшее развитие. Такие деятельности — и показатели народного роста, и указатели на

правления его жизни. В них, как в зеркале, мы видим самих себя, сквозь них всматриваемся в собственную душу; они объясняют нам нас самих. Великие исторические могилы тем и памятны, что оживляют народное самосознание.

На протяжении двух последних столетий нашей истории были две эпохи, решительно важные в движении русского самосознания. Они ознаменованы деятельностью двух лиц, работавших на очень далеких одно от другого поприщах, но тесно связанных логикой исторической жизни. Один из этих деятелей был император, другой — поэт. *Полтава* и *Медный всадник* образуют поэтическую близость между ними.

Древняя Русь, целые века изнывая в изнурительной борьбе с восточным варварством, оторванная этой борьбой от живого общения с образованным Западом, из доступного домашнего материала и домашними средствами с трудом сколотила невзрачное, тяжелое, но прочное государство. В ней скрывались богатые материальные средства, которых она не умела найти и разработать, а силы духовные росли кое-как, без надлежащего призора и ухода, не зная сами себя. Петр Великий разглядел те и другие и начал с первых, мощными мозолистыми руками взрыл это, как он говорил, божие благословение, втуне под землею скрывающееся, призвав на помощь техническое знание Запада, и трудным ломаным путем из Москвы через Полтаву, Гангут и Ништадт вдвинул Россию в семью европейских держав и народов. С той минуты Европа была объединена и закончена, впервые стала цельной и сплоченной, Западно-Восточной Европой. Оплакивая смерть своего преобразователя, и Россия впервые почувствовала сквозь слезы свою столь неожиданно и быстро создавшуюся международную и политическую мощь. Это было чувство ей непривычное и незнакомое; оно и было первым движением пробуждавшегося народного самосознания. Но силы духовные все еще оставались как бы в забытьи, в привычном коснении, да и новая материальная работа, грозно заданная народу, мало помогала их возбуждению. Петр трогал их мимоходом, отдельными толчками, вызывая в лучших умах первые проблески русской политической мысли, а в массе — крики боли, выражавшиеся в заговорах, в протестую-

щих подпольных памфлетах и темных толках про антихриста и близкую кончину мира. Конечно, и они, эти силы, не были совсем безучастны в работе Петра: они сказывались в политической выносливости, с какою народ, несмотря на свое чувство боли и эти протесты, отдавал все, и труд, и достояние, и жизнь, на пользу государства. Но преждевременно оторванный от своего дела, Петр завещал дальнейшим поколениям средство довершить его, оставил своему народу ключ, которым можно было бы разомкнуть сковывавшие его дух цепи, — насажденную им науку.

И ключ понадобился скоро. Один русский писатель недавнего прошлого хорошо сказал, что Петр своей реформой сделал вызов России, ее гению, и Россия ответила ему.

Но ответ дан был не сразу: и Пушкин исторически подготавливался; между ним и Петром легло три поколения. На призыв, раздавшийся с престола, прежде всего откликнулся человек с самого низа общества и откликнулся так, что преобразователь из глубины своей петропавловской гробницы был вправе воскликнуть: *ныне отпущаеши*. Холмогорский крестьянский сын, отведав московской славяно-греко-латинской, а потом марбургской немецкой науки, внес первое русское и очень крупное имя в историю европейского научного знания. Потом в неширский еще поток русского просвещения введена была тонкая, но довольно энергическая струйка вроде электрического тока. Петр брал с Запада, что находил пригодным для России в самой его жизни, брал готовое, бытовое, практически испробованное — парики, кафтаны, машины, мастерства, учебники, государственные коллегии. Идеи и чувства, над которыми много нужно работать, чтобы переработать их в нравы, в житейские отношения, занимали его гораздо менее. Он и английский парламент понял и оценил именно с этой практической стороны: на одном заседании в присутствии короля, наслушавшись речей оппозиции, Петр сказал своим: «Весело слушать, когда сыны отечества открыто говорят королю правду; вот чему должно у англичан учиться». Екатерина II поступала иначе: брезгая как философ исторической действительностью, не желая мараить рук не всегда опрятной практикой западноевропейской жизни, она брала оттуда прямо идеалы, последние

лучшие слова западноевропейской мысли, которые и на родине-то казались светлыми и несбыточными мечтами. Уровень русской жизни не поднялся, но Екатерина добилась некоторого подъема русских умов. С той поры над нашей доморощенной действительностью стала парить идея, чуждая, заимствованная идея, но все же служившая путеводной звездой для тех, кто из родной мглы искал выхода к вифлеемскому свету.

Я не скажу фразы, если скажу, что поэзия Пушкина была подготовлена последовательными усилиями двух эпох — Петра I и Екатерины II. Целый век нашей истории работал, чтобы сделать русскую жизнь способной к такому проявлению русского художественного гения. Что сказалось в этой поэзии? До сих пор она не перестает изумлять разнообразием своих мотивов: здесь и детская сказочка и детская песенка про птичку божью, и знобящий душу анализ скупого рыцарского сердца перед раскрытыми сундуками с золотом, и *Брожу ли я вдоль улиц шумных* и *Безумных лет угасшее веселье* и разгулье удалое и злые речи Мефистофеля, и священный ужас поэта, внимающего кроткому поэтическому укору московского митрополита, и озаренная теплым светом холодная пустыня скучающей души великосветского бродяги, и «горный ангелов полет и гад морских подземный ход и дольней лозы прозябанье».

Пушкин не был поэтом какого-либо одинокого чувства или настроения, даже целого порядка однородных чувств и настроений: пришлось бы перебрать весь состав души человеческой, перечисляя мотивы его поэзии. Недаром муза еще в младенчестве вручила ему семистольную цевницу, способную на семь ладов петь и «гимны важные, внушенные богами, и песни мирные фригийских пастухов». Перечитывая его лирические пьесы в хронологическом порядке, испытываешь какую-то ободряющую поэтическую качку от этой быстрой смены несходных чувств и образов, где летучей очередью в стройном разнозвучии проносятся и скучно-грустные впечатления зимней дороги под звуки длинной разгульно-тоскливой песни ямщика, и исполненное светлых надежд послание в Сибирь к декабрьским заточникам, и шаловливый альбомный комплимент, и высокое призвание поэта в величавом образе библейского пророка, а рядом в *Поэте* так жизненно-просто объяснены и самые эти кажущиеся

столь своенравными переходы от низменной сцены малодушных состояний к вдохновенным подъемам свыше призванного духа. Это необъятное протяжение поэтического голоса, дававшее ему силу «владеть и смехом и слезами», еще расширялось необычайной восприимчивостью и гибкостью поэтического понимания, умением проникать в самые разнообразные людские положения, вживаться в чужую душу, всевозможные мирозерцания и настроения, в дух самых отдаленных друг от друга веков и самых несродных один другому народов, воспроизводить и коран и Анакреона, и Шенье и Парни, и Байрона и Данте, и рыцарские времена и песни западных славян, и волшебные сказания старинной русской былины и темную эпоху Бориса Годунова, и не остывшие еще предания пугачевской и помещицкой старины. И из этого плавного и мирного потока впечатлений складывается в воображении образ поэта, который не живет, а горит, постепенно разгораясь ровным и сильным пламенем, сжигая нечистую примесь возраста и времени и в себе самом переплавляя в образы и звуки разнообразные движения человеческой души, великие и малые явления человеческой жизни.

Да в поэзии Пушкина и нет ни великого, ни малого: все уравнивается, становясь прекрасным, и стройно укладывается в цельное мирозерцание, в бодрое настроение. Простенький вид и величественная картина природы, скромное житейское положение и трагический момент, самое незатейливое ежедневное чувство и редкий порыв человеческого духа — все это выходит у Пушкина реально-точно и жизненно-просто и все освещено каким-то внутренним светом, мягким и теплым. Источник этого света — особый взгляд на жизнь, вечно бодрый, светлый и примирительный, умеющий разглядеть затерявшиеся в житейской сумятице едва тлеющие искры добра и порядка и ими осветить темный смысл людских зол и недоразумений. Как сложился, откуда внушен этот взгляд? Конечно, прежде всего усилиями счастливо одаренного личного духа, стремящегося проникнуть в затемняемый житейскими противоречиями смысл жизни. Вспомните, как Пушкин ночью, в часы бессонницы, тревожимый «жизни мышью беготней», вслушиваясь в ее скучный шепот, силится понять ее смысл и учит ее темный язык. Но неуловимы источники и способы поэтического пони-

мания, умеющего и вокруг себя подметить незаметное для простого глаза, рассеянные там и сям проблески разума жизни и собрать их в светоч, способный осветить темные пути и цели нашего существования. Тот же взгляд просвечивает из глубины русского народного мышления и чувствования, в наших песнях и пословицах, в ходе истории нашего народа, в основе всего его бытового склада. Заглянув пристально в самого себя, каждый из нас найдет его и в основе своего личного настроения, не мимолетного, случайно набегающего, а того постоянного настроения, которым определяются направление и темп жизни каждого из нас. Вникните в него еще глубже, разберите мотивы поддерживаемого им настроения, и вы увидите, что они даже не специфически русские, национальные, а общечеловеческие мотивы общечеловеческого бытия. Да разве это чье-либо национальное дело или монополия каких-либо избранных поколений, а не всегдашняя и общая задача человеческого духа — внести нравственный порядок в анархию людских отношений, как некогда творческое слово вызвало зримый нами космос из мирового хаоса?

Поэзия Пушкина — русский народный отзвук этой общечеловеческой работы. Общечеловеческим ее содержанием и направлением измеряется и ее значение для нашего национального самосознания. Она впервые показала нам, как русский дух, развернувшись во всю ширь и поднявшись полным взмахом, попытался овладеть всем поэтическим содержанием мировой жизни, и восточным и западным, и античным и библейским, и славянским и русским. Этой широтой поэтического захвата она дала нам почувствовать, какие нетронутые силы таятся в глубине выросшего ее народного духа, ожидая своего призыва на общечеловеческое дело. Вместе с тем она приподняла настроение, повысила тон жизни русского читающего общества, дав столько новой изящной пищи сердцу и воображению, необъятно расширила наш поэтический кругозор, обогатив наш духовный обиход таким запасом отовсюду собранных чувств, впечатлений и образов, разновременных и разнородных картин и воспоминаний, облеченных в небывалые по совершенству литературные формы. Русский читатель более прежнего стал любить свой язык, ценить свою словесность, чтить своего писателя, наконец, уважать самого себя и свое отече-

ство; за многое привычное в русской жизни ему стало теперь стыдно, иное стало казаться нетерпимым, другое обязательным, если не по чувству нравственного долга, то хотя из приличия. Литература перестала быть развлечением для скучающих, стала серьезным, ответственным делом, убежищем и органом мыслящих людей. Но что еще важнее для нашего самосознания: если через поэзию Пушкина мы стали лучше понимать чужое и серьезнее смотреть на свое, то через нее же мы сами стали понятнее и себе самим и чужим. В тоне и настроении этой поэзии, в свойстве и сочетании основных мотивов, ее вдохновлявших, во взгляде поэта на жизнь, во всем складе его мирозерцания впервые обозначился духовный облик русского человека. В одной пьесе Пушкин сам назвал свой поэтический голос эхом русского народа. Но он видел народность писателя не в особенностях языка, не в выборе предметов из отечественной истории, а в особом образе мыслей и чувствований, принадлежащем исключительно какому-либо народу, в его особенной физиономии, создавшейся физическими и нравственными условиями его жизни и отражающейся в его поэзии. Вот эта физиономия русского народа с его образом мыслей и чувствований и отразилась образно и внятно в поэзии Пушкина. Это, как и сама эта поэзия, народ восприимчивый и наблюдательный, с трезвым и бодрым взглядом на жизнь, терпеливый и исполненный терпимости, чуждый сомнений и непритязательный, благодарный судьбе за радость и за горе, умеющий ценить хорошее чужое и шутить над дурным своим, простодушно и задушевно отзывчивый на все человеческое, незлопамятный и осторожный, мирный и примирительный.

В *Медном всаднике*, помните, есть два стиха с вопросами, обращенными к гиганту, который «с простертою рукою сидит на бронзовом коне»:

Какая дума на челе?
Какая сила в нем сокрыта?

Сто лет спустя после рождения Пушкина мы можем ответить на эти вопросы. Дума на челе, — разумеется, о будущем России, а сокрытая в нем сила сказалась в том, что он овладел народной массой, похожей на ту бесформенную скалу, на которой остановился его бронзовый конь, и державно простертою рукою начал над ней

свою преобразовательную работу. Та же сила сказала еще в том, что русский поэт, ставший возможным по мановению той же простертой руки, сквозь окружавшее его общество, о котором я ради памятного дня ничего не хочу сказать, кроме того, что ему, право, было бы не грешно и не трудно быть немного получше, — сквозь это общество первый прозрел в народной массе тот облик народа, который и отпечатлел в своей поэзии. Этим он преуказал задачу и дальнейшим поколениям: точно запечатлев в своем самосознании образ своего народа, провиденный поэтом, мы и наши потомки обязаны отделять от своего народного существа все лишнее, как случайный нарост, пока не предстанет пред миром и русский народ с тем обликом, который провиден поэтом. Тогда и исполнится то, о чем некогда мечтал Пушкин вместе с Мицкевичем, тогда еще «мирным, благосклонным»

«...о временах грядущих,
Когда народы распри позабыв,
В великую семью соединятся»...

В этой мирной семье народов под знаменем Петра Великого и займет свое место мирный русский народ.

ПЕТР ВЕЛИКИЙ СРЕДИ СВОИХ СОТРУДНИКОВ

I

Мы привыкли представлять себе Петра Великого более дельцом, чем мыслителем. Таким обыкновенно видали его и современники. Жизнь Петра так сложилась, что давала ему мало досуга заранее и неторопливо обдумывать план действий, а темперамент мало внушал и охоты к тому. Спешность дел, неуменье, иногда и невозможность, выждать, подвижность ума, необычайно быстрая наблюдательность — все это приучило Петра задумывать без раздумья, без колебания решаться, обдумывать дело среди самого дела и, чутко угадывая требования минуты, на ходу соображать средства исполнения. В деятельности Петра все эти моменты, так отчетливо различаемые досужим размышлением и как бы рассыпающиеся при раздумьи, шли дружно вместе, точно вырастая один из другого, с органически-жизненной неразделимостью и последовательностью. Петр является перед наблюдателем в вечном потоке разнообразных дел, в постоянном деловом общении со множеством людей, среди непрерывной смены впечатлений и предприятий; всего труднее вообразить его наедине с самим собою, в уединенном кабинете, а не в людной и шумной мастерской.

Это не значит, что у Петра не было тех общих руководящих понятий, из которых составляется образ мыслей человека; только у Петра этот образ мыслей выражался несколько по-своему, не как подробно обдуманый план действий или запас готовых ответов на всевозможные запросы жизни, а являлся случайной импрови-

зацией, мгновенной вспышкой постоянно возбужденной мысли, ежеминутно готовой отвечать на всякий запрос жизни при первой с ним встрече. Мысль его выработывалась на мелких подробностях, текущих вопросах практической деятельности, мастерской, военной, правительственной. Он не имел ни досуга, ни привычки к систематическому размышлению об отвлеченных предметах, а воспитание не развило в нем и склонности к этому. Но когда среди текущих дел ему встречался такой предмет, он своей прямой и здоровой мыслью составлял о нем суждение так же легко и просто, как его зоркий глаз схватывал структуру и назначение впервые встреченной машины. Но у него всегда были наготове две основы его образа мыслей и действий, прочно заложенные еще в ранние годы под неуловимыми для нас влияниями: это — неослабное чувство долга и вечно напряженная мысль об общем благе отечества, в служении которому и состоит этот долг. На этих основах держался и его взгляд на свою царскую власть, совсем непривычный древнерусскому обществу, но бывший начальным, исходным моментом его деятельности и вместе основным ее регулятором. В этом отношении древнерусское политическое сознание испытало в лице Петра Великого крутой перелом, решительный кризис.

Ближайшие предшественники Петра, московские цари новой династии, родоначальник которой сел на московский престол не по отцовскому завещанию, а по всенародному избранию, конечно, не могли видеть в управляемом ими государстве только свою вотчину, как смотрели на него государи прежней династии. Та династия построила государство из своего частного удела и могла думать, что государство для нее существует, а не она для государства, подобно тому как дом существует для хозяина, а не наоборот. Избирательное происхождение новой династии не допускало такого удельного взгляда на государство, составившего основу политического сознания государей Калитина племени. Соборное избрание дало царям нового дома новое основание и новый характер их власти. Земский собор просил Михаила на царство, а не Михаил просил царство у земского собора. Следовательно, царь необходим для государства, и хотя государство существует не для государя, но без него оно существовать не может. Идеей

власти как основы государственного порядка, суммой полномочий, вытекающих из этого источника, исчерпывалось все политическое содержание понятия о государе. Власть исполняет свое назначение, если только не бездействует, независимо от качества действия. Назначение власти править, а править — значит приказывать и взыскивать. Как исполнить указ — это дело исполнителей, которые и отвечают перед властью за исполнение. Царь может спросить совета у ближайших исполнителей, своих советников, даже у советных людей всей земли, у земского собора. Это его добрая воля и много-много требование правительственного обычая или политического приличия. Дать совет, подать мнение о деле, когда его спрашивают, — это не политическое право Боярской думы или земского собора, а их верноподданническая обязанность. Так понимали и так практиковали свою власть первые цари новой династии; по крайней мере так понимал и практиковал ее второй из них, царь Алексей, который даже не повторил тех неопределенных, никогда не обнародованных и ничем политически не обеспеченных обязательств, на которых целовал крест боярам — только боярам, а не земскому собору, — его отец. И с 1613 по 1682 г. никогда ни в Боярской думе, ни на земском соборе не возникало вопроса о пределах верховной власти, потому что все политические отношения устанавливались на основе, положенной избирательным собором 1613 г. Сами просили на царство, сами дайте и средства царствовать — такова основная нота в грамотах новоизбранного царя Михаила к собору.

Конечно, и по происхождению нового царственного дома, и по общему значению власти в христианском обществе христианская мысль и в составе московского самодержавия XVII в. могла найти идею долга царя как блюстителя общенародного блага и идею если не юридической, то нравственной его ответственности не только перед богом, но и перед землей; а здравый смысл указывал, что власть не может быть сама себе ни целью, ни оправданием и становится непонятной, как скоро перестает исполнять свое назначение — служить народному благу. Все это, вероятно, чувствовали и московские цари XVII в., особенно такой благодушный и набожный носитель власти, как царь Алексей Михайлович. Но они слабо давали чувствовать все это своим поддан-

ным, окруженные в своем дворце тяжелой церемониальной пышностью, при тогдашних, сказать мягко, суровых нравах и приемах управления, являясь перед народом земными богами в неземном величии каких-то царей ассирийских. Тот же благожелательный царь Алексей, может быть, и сознавал одностороннюю постановку своей власти; но у него не доставало сил пробиться сквозь накопившуюся веками и плотно окутавшую его толщу условных понятий и обрядностей, чтобы вразумительно показать народу и другую, оборотную сторону власти. Это и лишало московских государей XVII в. того нравственно-воспитательного влияния на управляемое общество, которое составляет лучшее назначение и высшее качество власти. Своим образом правления, чувствами, какие они внушали управляемым, они значительно дисциплинировали их поведение, сообщали им некоторую наружную выдержку, но слабо смягчали их нравы и еще слабее проясняли их политические и общественные понятия.

В деятельности Петра Великого впервые ярко проявились именно эти народно-воспитательные свойства власти, едва заметно мерцавшие и часто совсем погасавшие в его предшественниках. Трудно сказать, под какими сторонними влияниями или каким внутренним процессом мысли удалось Петру перевернуть в себе политическое сознание московского государя изнанкой на лицо; только он в составе верховной власти всего яснее понял и особенно живо почувствовал «долженства», обязанности царя, которые сводятся, по его словам, к «двум необходимым делам правления»: к *распорядку*, внутреннему благоустройству, и *обороне*, внешней безопасности государства. В этом и состоит *благо отечества*, общее благо родной земли, русского народа или государства — понятия, которые Петр едва ли не первый у нас усвоил и выражал со всею ясностью первичных, простейших основ общественного порядка. Самодержавие — средство для достижения этих целей. Нигде и никогда не покидала Петра мысль об отечестве; в радостные и скорбные минуты она ободряла его и направляла его действия, и о своей обязанности служить отечеству, чем только можно, он говорил просто, без пафоса, как о деле серьезном, но естественном и необходимом. В 1704 г. русские войска взяли Нарву, смыв позор первого поражения. На радо-

стях Петр говорил находившемуся в походе сыну Алексею, как необходимо ему, наследнику, для обеспечения торжества над врагом следовать примеру отца, не бояться ни труда, ни опасностей. «Ты должен любить все, что служит ко благу и чести отечества, не щадить трудов для общего блага; а если советы мои разнесет ветер, я не признаю тебя своим сыном». Впоследствии, когда возникла опасность исполнить эту угрозу, Петр писал царевичу: «За мое отечество и людей моих я живота своего не жалел и не жалею; как могу тебя непотребного пожалеть? Ты ненавидишь дела мои, которые я для людей народа своего, не жалея здоровья своего, делаю». Однажды какой-то знатный господин улыбнулся, видя, с каким усердием Петр, любя дуб, как корабельное дерево, сажал желуди по петергофской дороге: «Глупый человек, — сказал ему Петр, заметив его улыбку и догадавшись о ее значении: — ты думаешь, не дожить мне до матерых дубов? Да я ведь не для себя тружусь, а для будущей пользы государства». В конце жизни, большим отправившись в дурную погоду осматривать работы на Ладожском канале и усилив болезнь этой поездкой, он говорил лейб-медику Блюментросту: «Болезнь упряма, природа знает свое дело; но и нам надлежит пешисть о пользе государства, пока силы есть». Соответственно характеру власти изменилась и ее обстановка: вместо кремлевских палат, пышных придворных обрядов и нарядов — плохой домик в Преображенском и маленькие дворцы в новой столице; простенький экипаж, в котором, по замечанию очевидца, не всякий купец решился бы показаться на столичной улице; на самом — простой кафтан из русского сукна, нередко стоптанные башмаки со штопанными чулками — все платье, по выражению князя Щербатова, писателя Екатеринина века, «было так просто, что и беднейший человек ныне того носить не станет».

Жить для пользы и славы государства и отечества, не жалеть здоровья и самой жизни для общего блага — такое сочетание понятий было не вполне ясно для обычного сознания древнерусского человека и мало привычно для его обиходной житейской практики. Он понимал служение государству и обществу как службу по назначению правительства или по мирскому выбору, смотрел на это как на повинность или как на средство для уст-

ройства личного и семейного благополучия. Он знал, что слово божие заповедует любить ближнего, как самого себя, полагать душу свою за *други своя*. Но под ближними он разумел прежде всего своих семейных и родных, как самых близких из ближних; а *другами своими* считал, пожалуй, и всех людей, но только как отдельных людей, а не как общества, в которые они соединены. В минуты всенародного бедствия, когда опасность грозила всем и каждому, он понимал обязанность и мог чувствовать в себе готовность умереть за отечество, потому что, защищая всех, он защищал и самого себя, как каждый из всех, защищая себя, защищал и его. Он понимал общее благо как частный интерес каждого, а не как общий интерес, которому должно жертвовать частным интересом каждого. А Петр именно и не понимал частного интереса, не совпадающего с общим, не понимал возможности замкнуться в кругу частных, домашних дел. «Что вы делаете дома? — с недоумением спрашивал он иногда окружающих: — я не знаю, как без дела дома быть», т. е. без дела общественного, государственного. «Горько нам! он наших нужд не знает», — жаловались на него в ответ на это люди, утомленные его служебными требованиями, постоянно отрывавшими их от домашних дел: — «как бы присмотрел он хорошенько за своим домом да увидел, что либо дров не хватает, либо другого чего, так бы и узнал, что мы дома делаем». Вот это трудное для древнерусского ума понятие об общем благе и усиливался выяснить ему своим примером, своим взглядом на власть и ее отношение к народу и государству Петр Великий.

II

Этот взгляд служил общей основой законодательства Петра и выражался всенародно в указах и уставах как руководящее правило его деятельности. Но особенно любил Петр высказывать свои взгляды и руководящие идеи в откровенной беседе с приближенными, в компании своих «друзей», как он называл их. Ближайшие исполнители должны были знать прежде и лучше других, с каким распорядителем имеют дело и чего он от них ждет и требует. То была столь памятная в нашей истории

компания сотрудников, которых подобрал себе преобразователь, — довольно пестрое общество, в состав которого входили и русские, и иноземцы, люди знатные и худородные, даже безродные, очень умные и даровитые и самые обыкновенные, но преданные и исполнительные. Многие из них, даже большинство и притом самые видные и заслуженные дельцы, были многолетние и ближайшие сотрудники Петра: князь Ф. Ю. Ромодановский, князь М. М. Голицын, Т. Стрешнев, князь Я. Ф. Долгорукий, князь Меншиков, графы Головин, Шереметев, П. Толстой, Брюс, Апраксин. С ними он начинал свое дело; они шли за ним до последних лет шведской войны, иные пережили Ништадтский мир и самого преобразователя. Другие, как граф Ягужинский, барон Шафиров, барон Остерман, Волинский, Татищев, Неплюев, Миних, постепенно вступали в редевшие ряды на место раньше выбывших князя Б. Голицына, графа Ф. А. Головина, Шеина, Лефорта, Гордона. Петр набирал нужных ему людей всюду, не разбирая звания и происхождения, и они сошлись к нему с разных сторон и из всевозможных состояний: кто пришел юнгой на португальском корабле, как генерал-полицеймейстер новой столицы Девиер, кто пас свиней в Литве, как рассказывали про первого генерал-прокурора Сената Ягужинского, кто был сидельцем в лавочке, как вице-канцлер Шафиров, кто из русских дворовых людей, как архангельский вице-губернатор, изобретатель гербовой бумаги, Курбатов, кто, как Остерман, был сын вестфальского пастора; и все эти люди вместе с князем Меншиковым, когда-то, как гласила молва, торговавшим пирогами по московским улицам, встречались в обществе Петра с остатками русской боярской знати. Иноземцы и люди новые из русских, понимая дело Петра или нет, делали его, не входя в его оенку, по мере сил и усердия, по личной преданности преобразователю или по расчету. Из родовитых людей большинство не сочувствовало ни ему самому, ни его делу. Они были тоже люди преобразовательного направления, только не такого, какое дал реформе Петр. Они желали, чтобы реформа шла так, как повели было ее цари Алексей, Федор и царица Софья, когда, по выражению князя Б. Куракина, Петрова свояка, «политес восставлена была в великом шляхетстве и других придворных с манеру польского и в экипажах, и в домовном

строении, и в уборах, и в столах», с науками греческого и латинского языка, с риторикой и священной философией, с учеными киевскими старцами. Вместо того они видели политес с манеру голландского, матросского, с нешляхетскими науками — артиллерией, навтикой, фортификацией, с заграничными инженерами, механиками да с безграмотным и безродным Меншиковым, который всеми ими, родословными боярами, командует, которому даже сам фельдмаршал Б. П. Шереметев вынужден искательно писать: «Как прежде всякую милость получал через тебя, так и ныне у тебя милости прошу».

Нелегко было сладить столь разнохарактерный набор в дружную компанию для общей деятельности. Петру досталась трудная задача не только подыскивать годных людей для исполнения своих предприятий, но и воспитывать самих исполнителей. Неплюев впоследствии говорил Екатерине II: «Мы, Петра Великого ученики, проведены им сквозь огонь и воду». Но в этой суровой школе применялись не одни только суровые воспитательные приемы. Посредством раннего и прямого общения Петр приобрел большое умение распознавать людей даже по одной наружности, редко ошибался в выборе, верно угадывал, кто на что годен. Но, за исключением иностранцев, да и то не всех, люди, подобранные им для своего дела, не становились на указанные им места готовыми дельцами. Это был добротный, но сырой материал, нуждавшийся в тщательной обработке. Подобно своему вождю, они учились на ходу, среди самого дела. Им нужно было все показать, растолковать наглядным опытом, собственным примером, за всяким присмотреть, каждого проверить, иного ободрить, другому дать хорошую острастку, чтоб не дремал, а смотрел в оба.

Притом Петру нужно было приручать их к себе, стать к ним в простые и прямые отношения, чтобы личной к ним близостью вовлечь в эти отношения их нравственное чувство, по крайней мере чувство некоторой стыдливости, хотя бы только перед ним одним, и таким образом получить возможность действовать не только на ощущение официального страха должностного холопа, но и на совесть как не лишнюю подпорку гражданского долга или по крайней мере общественного приличия. В этом отношении, что касается долга и приличия, большинство русских сотрудников Петра вышло из

старого русского быта с большими недочетами, а в западноевропейской культуре, при первом знакомстве с нею, им больше всего пришлось по вкусу ее последняя прикладная часть, что ласкала чувства и возбуждала аппетиты. Из этой встречи старых пороков с новыми соблазнами вышла такая нравственная неурядица, которая заставляла многих неразборчивых людей думать, что реформа несет только крушение добрых старых обычаев и ничего лучшего принести не может. Эта неурядица особенно ярко проявлялась в злоупотреблениях по службе. Своjak Петра князь Б. Куракин в записках о первых годах его царствования рассказывает, что после семилетнего правления царевны Софьи, веденного «во всяком порядке и правосудии», когда «торжествовало довольство народное», наступило «непорядочное» правление царицы Натальи Кирилловны, и тогда началось «мздоимство великое и кража государственная, что донныне (писано в 1727 г.) продолжается с умножением, а вывести сию язву трудно». Петр жестоко и безуспешно боролся с этой язвой. Многие из видных дельцов с Меншиковым впереди были за это под судом и наказаны денежными взысканиями. Сибирский губернатор князь Гагарин повешен, петербургский вице-губернатор Корсаков пытан и публично высечен кнутом, два сенатора тоже подвергнуты публичному наказанию, вице-канцлер барон Шафиров снят с плахи и отправлен в ссылку, один следователь по делам о казнокрадстве расстрелян. Про самого князя Я. Долгорукова, сенатора, считавшегося примером неподкупности, Петр говорил, что и князь Яков Федорович «не без причины». Петр ожесточался, видя, как вокруг него играют в закон, по его выражению, словно в карты, и со всех сторон подкапываются «под фортецию правды». Есть известие, что однажды в Сенате, выведенный из терпения этой повальной недобросовестностью, он хотел издать указ вешать всякого чиновника, укравшего хоть настолько, сколько нужно на покупку веревки. Тогда блюститель закона, «око государево», генерал-прокурор Ягужинский встал и сказал: «Разве ваше величество хотите царствовать один, без слуг и без подданных? Мы все воруюем, только один больше и приметнее другого». Человек снисходительный, доброжелательный и доверчивый, Петр в такой среде стал проникаться недоверием к людям и приобрел

наклонность думать, что их можно обузывать только «жесточью». Он не раз повторял Давидово слово, что *всяк человек есть ложь*, приговаривая: «Правды в людях мало, а коварства много». Такой взгляд отразился и на его законодательстве, столь щедром на жестокие угрозы. Впрочем, дурных людей не переведешь. Раз в кунсткамере он говорил своему лейб-медику Арескину: «Я велел губернаторам собирать монстры (уродов) и присылать к тебе; прикажи заготовить шкафы. Если бы я захотел присылать к тебе монстры человеческие не по виду телес, а по уродливым нравам, у тебя бы места для них не хватило; пускай шляются они во всенародной кунсткамере: между людьми они более приметны».

Петр сам сознавал, как трудно очистить столь испорченную атмосферу одной грозой закона, как бы суров он ни был, и вынужден был нередко прибегать к более прямым и коротким способам действия. В письме к непобедимому упрямцу сыну он писал: «Сколько раз я тебя бранивал, и не только бранил, но и бивал!» То же «отеческое наказание», как назван в манифесте об отрешении царевича от престолонаследия такой способ исправления в отличие от «ласки и укоризненного выговора», Петр применял и к своим сподвижникам. Нерасторопным губернаторам, которые в ведении своих дел «зело раку последуют», он назначал последний срок с угрозой, что потом станет уж «не словом, но руками с оными поступать». В этой ручной политической педагогике нередко появлялась в руках Петра его знаменитая дубинка, о которой так долго помнили и так много рассказывали по личному опыту или со слов испытавших ее на себе отцов русские люди XVIII в. Петр признавал в ней большие педагогические способности и считал ее своей неизменной помощницей в деле политического воспитания своих сотрудников, хотя знал, как трудна ее задача при неподатливости наличного воспитательного материала. Воротясь из Сената, вероятно, после крупного объяснения с сенаторами, и глядя увивавшуюся около него любимую свою собачку Лизету, он говорил: «Когда бы упрямцы так же слушались меня в добром деле, как послушна мне Лизета, я не гладил бы их дубиною; собачка догадливее их, слушается и без побой, а в тех заматерелое упрямство». Это упрямство, как спица в глазу, не давало покоя Петру. Занимаясь в токарной и

довольный своей работой, он спросил своего токаря Нартова: «Каково я точу?» — Хорошо, ваше величество! — «Так-то, Андрей, кости я точу долотом изрядно, а вот упрямцев обточить дубиной не могу».

С царской дубинкой близко знаком был и светлейший князь Меншиков, даже, пожалуй, ближе других сподвижников Петра. Этот даровитый делец занимал совершенно исключительное положение в кругу сотрудников преобразователя. Человек темного происхождения, «породы самой низкой, ниже шляхетства», по выражению князя Б. Куракина, едва умевший расписаться в получении жалованья и нарисовать свое имя и фамилию, почти сверстник Петра, сотоварищ его воинских потех в Преображенском и корабельных занятий на голландских верфях, Меншиков, по отзыву того же Куракина, в милости у царя «до такого градуса взошел, что все государство правил, почитай, и был такой сильный фаворит, что разве в римских гисториях находят». Он отлично знал царя, быстро схватывал его мысли, исполнял самые разнообразные его поручения, даже по инженерной части, которой совсем не понимал, был чем-то вроде главного начальника его штаба, успешно, иногда с блеском командовал в боях. Смелый, ловкий и самоуверенный, он пользовался полным доверием царя и беспремерными полномочиями, отменял распоряжения его фельдмаршалов, не боялся противоречить ему самому и оказал Петру услуги, которых он никогда не забывал. Но никто из сотрудников не огорчал его больше, чем этот «мейн липсте фринт» (мой любимый друг) или «мейн герцбрудер» (мой сердечный брат), как называл его Петр в письмах к нему. Данилыч любил деньги, и ему нужно было много денег. Сохранились счета, по которым с конца 1709 по 1711 г. он издержал лично на себя 45 тыс. руб., т. е. около 400 тыс. на наши деньги. И он не стеснялся в средствах добывать деньги, как показывают известия о его многочисленных злоупотреблениях: бедный преображенский сержант впоследствии имел состояние, которое современники определяли в 150 тыс. руб. поземельного дохода (около 1300 тыс. на наши деньги), не считая драгоценных камней на 1½ млн. руб. (около 13 млн.) и многомиллионных вкладов в заграничных банках. Петр не был скуп для заслуженного любимца; но такое богат-

ство едва ли могло составиться из одних царских щедрот да из барышей беломорской компании моржевого промысла, в которой князь состоял пайщиком. «Зело прошу, — писал ему Петр в 1711 г. по поводу его мелких хищений в Польше, — зело прошу, чтобы вы такими малыми прибытками не потеряли своей славы и кредита». Меншиков и старался исполнить эту просьбу царя, только уж слишком буквально: избегал «малых прибытков», предпочитая им большие. Через несколько лет следственная комиссия по делу о злоупотреблениях князя сделала на него начет более 1 млн. руб. (около 10 млн. на наши деньги). Петр сложил значительную часть этого начета. Но такая нечистота на руку выводила его из терпения. Царь предостерегал князя: «Не забывай, кто ты был и из чего сделал я тебя тем, каков ты теперь». В конце своей жизни, прощая ему новые вскрывшиеся хищения, он говорил всегдашней его заступнице, императрице: «Меншиков в беззаконии зачат, во гресех родила его мать, и в плутовстве скончает живот свой; если не исправится, быть ему без головы». Кроме заслуг, чистосердечного раскаяния и ходатайства Екатерины, в таких случаях выручала Меншикова из беды и царская дубинка, покрывавшая забвением грех наказанного. Но и царская дубинка о двух концах: исправляя грешника одним концом, она другим роняла его во мнении общества. Петру нужны были дельцы с авторитетом, которых бы уважали и слушались подчиненные; а какое уважение мог внушать битый царем начальник? Петр надеялся устранить это деморализующее действие своей исправительной дубинки, делая из нее строго келейное употребление в своей токарной. Нартов рассказывает, что он часто видал, как здесь государь знатных чинов людей потчевал за вины дубинкою, как они после того с веселым видом выходили в другие комнаты и в тот же день приглашаемы были к государеву столу, чтобы посторонние ничего не заметили. Не всякий виноватый удостоивался дубинки: она была знаком известной близости, доверия к наказуемому. Потому испытанные такое наказание вспоминали о нем без горечи, как о милости, даже когда считали себя наказанными незаслуженно. А. П. Волынский после рассказывал, как во время персидского похода, на Каспийском море Петр по наговорам недругов прибил его, бывшего тогда астра-

ханским губернатором, тростью, заменявшей дубинку в ее отсутствии, и только императрица «до больших побой милостиво довести не изволила». «Но, — добавлял рассказчик, — государь изволил наказать меня, как милостивый отец сына, своею ручкою и назавтра сам всемиловнейше изволил в том обмыслиться, что вины моей в том не было, милосердуя, раскаялся и паки изволил меня принять в прежнюю свою высокую милость». Петр наказывал так лишь тех, кем дорожил и кого надеялся исправить этим средством. На доклад об одном корыстном поступке все того же Меншикова Петр отвечал: «Вина не малая, да прежние заслуги больше ее», подверг князя денежному взысканию, а в токарной прибил его дубиной при одном Нартове и выпроводил со словами: «В последний раз дубина; впредь смотри, Александр, берегись!»

Но когда добросовестный делец ошибался, делал невольный промах и ждал грозы, Петр спешил утешить его, как утешают в несчастье, умаляя неудачу. В 1705 г. Б. Шереметев испортил порученную ему стратегическую операцию в Курляндии против Левенгаупта и был в отчаянии. Петр взглянул на дело просто, как на «некоторый несчастливый случай», и писал фельдмаршалу: «Не извольте о бывшем несчастье печальны быть, понеже всегдашняя удача многих людей ввела в пагубу, но забывать и паче людей ободривать».

III

Петр не успел стряхнуть с себя дочиста древнерусского человека с его нравами и понятиями даже тогда, когда воевал с ними. Это сказывалось не только в отеческой расправе с людьми знатных чинов, но и в других случаях, например в надежде искоренить заблуждения в народе, выгоняя кнутом бесов из ложнобеснующихся — «хвост-де кнута длиннее хвоста бесовского» или в способе лечения зубов у жены своего камердинера Полубоярова. Камердинер жаловался Петру, что жена с ним неласкова, ссылаясь на зубную боль. — «Хорошо, я лечу ее». Считая себя достаточно опытным в оперативной хирургии, Петр взял зубоврачебный прибор и зашел к камердинерше в отсутствие мужа. «У тебя, слышал я,

зуб болит?» — Нет, государь, я здорова. — «Неправда, ты трусишь». Та, оробев, признала у себя болезнь, и Петр выдернул у нее здоровый зуб, сказав: «Помни, что жена да боится своего мужа, иначе будет без зубов». — «Вылечил!» — с усмешкой заметил он мужу, воротившись во дворец.

При уменье Петра обращаться с людьми, когда нужно, властно или запросто, по-царски или по-отечески келейные поучения вместе с продолжительным общением в трудах, горях и радостях устанавливали известную близость отношений между ним и его сотрудниками; а участливая простота, с какою он входил в частные дела близких людей, придавала этой близости отпечаток задушевной короткости. После дневных трудов, в досужие вечерние часы, когда Петр по обыкновению или уезжал в гости или у себя принимал гостей, он бывал весел, обходителен, разговорчив, любил и вокруг себя видеть веселых собеседников, слышать непринужденную, умную беседу и терпеть не мог ничего, что расстраивало такую беседу, никакого ехидства, выходок, колкостей, а тем паче ссор и брани; провинившегося тотчас наказывали, заставляли *пить штраф* — опорожнить бокала три вина или одного *орла* (большой ковш), чтоб «лишнего не врал и не задирали». П. Толстой долго помнил, как он раз принужден был выпить штраф за то, что принялся чересчур неосторожно расхваливать Италию. Ему и в другой раз пришлось пить штраф, только уже за излишнюю осторожность. Некогда, в 1682 г., как агент царевны Софьи и Ивана Милославского, он сильно замешался в стрелецкий бунт и едва удержал голову на плечах, но вовремя покаялся, получил прощение, умом и заслугами вошел в милость и стал видным дельцом, которым Петр очень дорожил. Однажды на пирушке у корабельных мастеров, подгуляв и разблагодушествовавшись, гости принялись запросто выкладывать царю, что у каждого лежало на дне души. Толстой, незаметно уклонившийся от стаканов, сел у камелька, задремал, точно во хмелю, опустил голову и даже снял парик, а между тем, покачиваясь, внимательно прислушивался к откровенной болтовне собеседников царя. Петр, по привычке ходивший взад и вперед по комнате, заметил уловку хитреца и, указывая на него присутствующим, сказал: «Смотрите, повисла голова — как бы с плеч не свалилась». — Не

бойтесь, ваше величество, — отвечал вдруг очнувшийся Толстой: — она вам верна и на мне тверда. — «А! так он только притворился пьяным, — продолжал Петр: — поднесите-ка ему стакана три доброго флина (гретого пива с коньяком и лимонным соком), — так он поравняется с нами и так же будет трещать по-сорочьи». И, ударя его ладонью по плечи, продолжал: «Голова, голова! кабы не так умна ты была, давно б я отрубить тебя велел». Щекотливых предметов, конечно, избегали, хотя господствовавшая в обществе Петра непринужденность располагала неосторожных или чересчур прямодушных людей высказывать все, что приходило на ум. Флотского лейтенанта Мишукова Петр очень любил и ценил за знание морского дела и ему первому из русских доверил целый фрегат. Раз — это было еще до дела царевича Алексея — на пиру в Кронштадте, сидя за столом возле государя, Мишуков, уже порядочно выпивший, задумался и вдруг заплакал. Удивленный государь с участием спросил, что с ним. Мишуков откровенно и во всеуслышание объяснил причину своих слез: место, где сидят они, новая столица, около него построенная, балтийский флот, множество русских моряков, наконец, сам он, лейтенант Мишуков, командир фрегата, чувствующий, глубоко чувствующий на себе милости государя, — все это создание его государевых рук; как вспомнил он все это, да подумал, что здоровье его, государя, все слабеет, так и не мог удержаться от слез. «На кого ты нас покинешь?» — добавил он. — Как на кого? — возразил Петр: — у меня есть наследник — царевич. — «Ох, да ведь он глуп, все расстроит». Петру понравилась звучащая горькой правдой откровенность моряка; но грубоватость выражения и неуместность неосторожного признания подлежали взысканию. «Дурак! — заметил ему Петр с усмешкой, треснув его по голове: — этого при всех не говорят».

Участники этих досужих товарищеских бесед уверяют, что самодержавный государь тогда как бы исчезал в веселом госте или радушном хозяине, хотя мы, зная рассказы про вспыльчивость Петра, скорее расположены думать, что благодушные его собеседники должны были чувствовать себя подобно путешественникам, любующимся видами с вершины Везувия, в ежеминутном ожидании пепла и лавы. Случались, особенно в молодости,

и грозные вспышки. В 1698 г. на пиру у Лефорта Петр едва не заколол шпагой генерала Шеина, всплыв на него за торговлю офицерскими местами в своем полку. Лефорт, удержавший раздраженного царя, поплатился за это раной. Однако, несмотря на подобные случаи, видно, что гости на этих собраниях все-таки чувствовали себя весело и непринужденно; корабельные мастера и флотские офицеры, подбадриваемые радушным потчеванием из рук развеселившегося Петра, запросто с ним обнимались, клялись ему в своей любви и усердии, за что получали соответственные выражения признательности. Частное, не официальное обхождение с Петром облегчалось одной новостью, заведенной еще во время потех в Преображенском и вместе со всеми потехами превратившейся незаметно в прямое дело. Верный рано усвоенному правилу, что руководитель должен прежде и лучше руководимых знать дело, в котором он ими руководит, и вместе с тем желая показать собственным примером, как надо служить, Петр, заводя регулярно армию и флот, сам проходил сухопутную и морскую службу с низших чинов: был барабанщиком в роте Лефорта, бомбардиром и капитаном, дослужился до генерал-лейтенанта и даже до полного генерала. При этом он позволял производить себя в высшие чины не иначе, как за действительные заслуги, за участие в делах. Производство в эти чины было правом потешного короля, князя-кесаря Ф. Ю. Ромодановского. Современники описывают торжественное пожалование Петра в вице-адмиралы за морскую победу при Гангуте в 1714 г., где он в чине контр-адмирала командовал авангардом и взял в плен командира шведской эскадры Эреншильда с его фрегатом и несколькими галерами. Среди полного собрания Сената восседал на троне князь-кесарь. Позван был контр-адмирал, от которого князь-кесарь принял письменный рапорт о победе. Рапорт был прочитан всему Сенату. Следовали устные вопросы победителю и другим участникам победы. Затем сенаторы держали совет. В заключение контр-адмирал, «в рассуждении верно оказанные и храбрые службы отечеству», единогласно провозглашен вице-адмиралом. Однажды на просьбу нескольких военных о повышении их чинами Петр не шутя отвечал: «Постараюсь, только как заблагорассудит князь-кесарь. Видите, я и о себе просить не смею, хотя

отечеству с вами послужил верно; надо выбрать удобный час, чтоб его величество не прогневать; но что ни будет, я за вас ходатай, хоть и рассердится; помолимся прежде богу, авось, дело сладится». Стороннему наблюдателю все это могло показаться пародией, шуткой, если не шутовством. Петр любил мешать шутку с серьезным, дело с бездельем; только у него обыкновенно выходило при этом так, что безделье превращалось в дело, а не наоборот. У него ведь и регулярная армия незаметно выросла из шуточных полков, в которые он играл в Преображенском и Семеновском. Нося армейские и флотские чины, он действительно служил, точно исполнял служебные обязанности и пользовался служебными правами, получал и расписывался в получении присвоенного чину жалованья, причем говаривал: «Эти деньги мои собственные; я их заслужил и могу употреблять, как хочу; но с государственными доходами надо поступать осторожно: в них я должен дать отчет богу». Службой Петра по армии и флоту с ее кесарским чинопроизводством создавалась форма обращения, упрощавшая и облегчавшая отношения царя к окружающим. В застольной компании, в частных, внеслужебных делах, обращались к сослуживцу, товарищу по полку или фрегату, «басу» (корабельному мастеру) или капитану Петру Михайлову, как звался царь по морской службе. Становилась возможна доверчивая близость без панибратства. Дисциплина не колебалась, напротив, получала опору во внушительном примере: опасно было шутить службой, когда ею не шутил сам Петр Михайлов.

В своих воинских инструкциях Петр предписывал капитану с солдатами «братства не иметь», не браться: это повело бы к поблажке, распушенности. Обращение самого Петра с окружающими не могло повести к такой опасности: в нем было слишком много царя для того. Близость к нему упрощала обхождение с ним, могла многому научить добросовестного и понятливого человека; но она не баловала, а обязывала, увеличивала ответственность приближенного. Он высоко ценил талант и заслугу и много грехов прощал даровитым и заслуженным сотрудникам. Но ни за какие таланты и заслуги не ослаблял он требований долга; напротив, чем выше ценил он дельца, тем взыскательнее был к нему и тем доверчивее полагался на него, требуя не только

точного исполнения своих распоряжений, но, где нужно, и действий на свой страх, по собственному соображению и почину, строго предписывая, чтобы в донесениях ему отнюдь не было привычного *как изволишь*. Никого из своих сотрудников не уважал он больше эрестферского и гумельсгофского победителя шведов, Б. Шереметева, встречал и провожал его, по выражению очевидца, не как подданного, а как гостя-героя; но и тот нес на себе всю тяжесть служебного долга. Предписав осторожному и медлительному, к тому же не совсем здоровому фельд-маршалу ускоренный марш в 1704 г., Петр не дает ему покоя своими письмами, настойчиво требуя: «Иди днем и ночью, а если так не учинишь, не изволь на меня впредь пенять». Сотрудники Петра хорошо понимали смысл такого предостережения. Потом, когда Шереметев, не зная, что делать за неимением инструкций, отвечал на запрос царя, что согласно указу никуда идти не смеет, Петр с укоризненной иронией писал ему, что он похож на слугу, который, видя, что хозяин его тонет, не решается его спасать, пока не справится, прописано ли у него в наемном контракте вытаскивать из воды утопающего хозяина. К другим генералам в случае их неисправности Петр обращался уже без всякой иронии, с суровой прямоотой. В 1705 г., задумав нападение на Ригу, он запретил пропускать туда Двиной товары. Князь Репнин по недоразумению пропустил лес и получил от Петра письмо с такими словами: «Негг, сегодня получил я ведомость о вашем толь худом поступке, за что можешь шею заплатить; впредь же, аще единая щепка пройдет, ей богом клянусь, без головы будешь».

Зато и умел Петр ценить своих сподвижников. Он уважал в них столько же таланты и заслуги, сколько и нравственные качества, особенно преданность, и это уважение считал одною из первейших обязанностей государя. За своим обеденным столом он пивал тост «за здравие тех, кто любит бога, меня и отечество», и сыну вменял в непременную обязанность любить верных советников и слуг, будут ли они свои или чужие. Князь Ф. Ю. Ромодановский, страшный начальник тайной полиции, «князь-кесарь» в шуточной компанейской иерархии, «собою видом как монстра, нравом злой тиран», по отзыву современников, или просто «зверь», как величал его сам Петр в минуты недовольства им, не отличался

особенно выдающимися способностями, только «любил пить непрестанно и других поить да ругаться»; но он был предан Петру, как никто другой, и за то пользовался его безмерным доверием и наравне с фельдмаршалом Б. П. Шереметевым имел право входить в кабинет Петра без доклада — преимущество, которое не всегда имел даже сам «полудержавный властелин» Меншиков. Уважение к заслугам своих сотрудников иногда получало у Петра задушевно-теплое выражение. Раз в разговоре с лучшими своими генералами, Шереметевым, М. Голицыным и Репниным, о славных полководцах Франции он с одушевлением сказал: «Слава богу, дожил я до своих Тюреннов, только вот Сюллия у себя еще не вижу». Генералы поклонились и поцеловали у царя руку, а он поцеловал их в лоб. Своих сподвижников Петр не забывал и на чужбине. В 1717 г., осматривая укрепления Намюра в обществе офицеров, отличившихся в войне за испанское наследство, Петр был чрезвычайно доволен их беседой, сам рассказывал им об осадах и сражениях, в которых участвовал, и с сияющим от радости лицом сказал коменданту: «Словно я нахожусь теперь в отечестве среди своих друзей и офицеров». Вспомнив раз о покойном Шереметеве (умер в 1719 г.), Петр, вздохнув, с грустным предчувствием сказал окружающим: «Нег уже Бориса Петровича, скоро не будет и нас; но его храбрость и верная служба не умрут и всегда будут памятны в России». Незадолго до своей смерти он мечтал соорудить памятники своим покойным военным сподвижникам — Лефорту, Шеину, Гордону, Шереметеву, говоря про них: «Сии мужи — верностию и заслугами вечные в России монументы». Ему хотелось поставить эти памятники в Александро-Невском монастыре под сению древнего святого князя, невского героя. Рисунки памятников были уже отправлены в Рим к лучшим скульпторам, но за смертью императора дело не состоялось.

IV

Воспитывая себе дельцов самым обхождением с ними, требованиями служебной дисциплины, собственным примером, наконец, уважением к таланту и заслуге, Петр хотел, чтобы его сотрудники ясно видели, во имя чего

он требует от них таких усилий, и хорошо понимали как его самого, так и дело, которое вели по его указаниям, — хотя бы только понимали, если уж не могли в душе сочувствовать ни ему самому, ни его делу. Да и самое это дело было настолько серьезно само по себе и так чувствительно всех задевало, что поневоле заставляло над ним задумываться. «Трехвременная жестокая школа», как называл Петр длившуюся три школьных семилетия шведскую войну, приучала всех проходивших ее учеников, как и самого учителя, ни на минуту не выпускать из виду тяжелых задач, какие она ставила на очередь, отдавать себе отчет в ходе дел, подсчитывать добытые успехи, запоминать и соображать полученные уроки и допущенные ошибки. В досужие часы, иногда и за пиршественным столом, в возбужденном и приподнятом настроении по случаю какого-нибудь радостного события, в обществе Петра и завязывались беседы о таких предметах, к каким редко обращаются в минуты отдыха много занятые люди. Современники записали почти только монологи самого царя, который обыкновенно и заводил эти разговоры. Но едва ли где еще можно найти более явственное выражение того, о чем хотел Петр заставить думать и как настроить свое общество. Содержание бесед было довольно разнообразно: говорили о библии, о мощах, о безбожниках, о народных суевериях, Карле XII, о заграничных порядках. Иногда среди собеседников заходила речь и о предметах, более им близких, практических, о начале и значении того дела, которое они делали, о планах будущего, о том, что им предстоит еще сделать. Тут-то и сказывалась в Петре та скрытая духовная сила, которая поддерживала его деятельность и обаянию которой волей-неволей подчинялись его сотрудники. Видим, как война и возбуждаемая ею реформа поднимала их, напрягала их мысль, воспитывала их политическое сознание.

Петр, особенно к концу царствования, очень интересовался прошлым своего отечества, заботился о собирании и сохранении исторических памятников, говорил ученому Феофану Прокоповичу: «Когда же мы увидим полную историю России?», неоднократно заказывал написать общедоступное руководство по русской истории. Изредка мимоходом вспоминал он в беседах, как начиналась его деятельность, и раз в этих воспоминаниях

мелькнула древняя русская летопись. Казалось бы, какое участие могла принять в его деятельности эта летопись? Но в деловом уме Петра каждое приобретаемое знание, каждое набегающее впечатление получало практическую обработку.

Он начинал эту деятельность под гнетом двух наблюдений, вынесенных им из знакомства с положением России, как только он начал понимать его. Он видел, что Россия лишена тех средств внешней силы и внутреннего благосостояния, какие дают просвещенной Европе знание и искусство; видел также, что шведы и турки с татарами лишали ее самой возможности заимствовать эти средства, отрезав ее от европейских морей: «Разумным очам, — как он писал сыну, — к нашему нелюбозрению добрый задернули завес и со всем светом коммуникацию пресекли». Вывести Россию из этого двойного затруднения, пробиться к европейскому морю и установить непосредственное общение с образованным миром, сдернуть с русских глаз наброшенную на них неприятелем завесу, мешающую им видеть то, что им хочется видеть, — это была первая, хорошо выясненная и твердо поставленная цель Петра.

Однажды в присутствии гр. Шереметева и генерал-адмирала Апраксина Петр рассказывал, что в ранней молодости он читал летопись Нестора и оттуда узнал, как Олег посылал на судах войско под Царьград. С этих пор запало в нем желание сделать то же против врагов христианства, вероломных турок, и отмстить им за обиды, какие они вместе с татарами наносили России. Эта мысль окрепла в нем, когда во время поездки в Воронеж в 1694 г., за год до первого азовского похода, обозревая течение Дона, он увидел, что этой рекой, взяв Азов, можно выйти в Черное море, и решил завести в пригодном месте кораблестроение. Точно так же первое посещение города Архангельска породило в нем охоту завести и там строение судов для торговли и морских промыслов. «И вот теперь, — продолжал он, — когда при помощи божией у нас есть Кронштадт и Петербург, а вашей храбростью завоеваны Рига, Ревель и другие приморские города, строящимися у нас кораблями мы можем защищаться от шведов и других морских держав. Вот почему, друзья мои, полезно государю путешествовать по своей земле и замечать, что может служить к

пользе и славе государства». В конце жизни, осматривая работы на Ладожском канале и довольный их ходом, он говорил строителям: «Видим, как Невой ходят к нам суда из Европы; а когда кончим вот этот канал, увидим, как нашей Волгой придут торговать в Петербург и азиаты». План канализации России был одною из ранних и блестящих идей Петра, когда это дело было еще новостью и на Западе. Он мечтал, пользуясь речной сетью России, соединить все моря, примыкающие к русской равнине, и таким образом сделать Россию торговой и культурной посредницей между двумя мирами, Западом и Востоком, Европой и Азией. Вышневолоцкая система, замечательная по остроумному подбору вошедших в нее рек и озер, осталась единственным законченным при Петре опытом осуществления задуманного грандиозного плана. Он смотрел еще дальше, за пределы русской равнины, за Каспий, куда посылал экспедицию князя Бековича-Черкасского, между прочим, с целью разведать и описать сухой и водный, особенно водный, путь в Индию; за несколько дней до смерти вспомнил он давнюю свою мысль об отыскании дороги в Китай и Индию Ледовитым океаном. Уже страдая предсмертными припадками, он спешил написать инструкцию Камчатской экспедиции Беринга, которая должна была расследовать, не соединяется ли Азия на северо-востоке с Америкой, — вопрос, на который давно уже и настойчиво обращал внимание Петра Лейбниц. Передавая документ Апраксину, он говорил: «Нездоровье заставило меня сидеть дома; на днях я вспомнил, о чем думал давно, но чему другие дела мешали, — о дороге в Китай и Индию. В последнюю поездку мою за границу ученые люди там говорили мне, что найти эту дорогу возможно. Но будем ли мы счастливее англичан и голландцев? Распорядись за меня, Федор Матвеевич, все исполнить по пунктам, как написано в этой инструкции».

Чтобы быть умелой посредницей между Азией и Европой, России, естественно, надлежало не только знать первую, но и обладать знаниями и искусствами последней. На беседах, разумеется, заходила речь и об отношении к Европе, к иноземцам, приходившим отсюда в Россию. Этот вопрос давно, чуть не весь XVII век, занимал русское общество. Петра с первых лет царствова-

ния по низвержении Софьи сильно осуждали за привязанность к иноземным обычаям и к самим иноземцам. В Москве и Немецкой слободе много было толков о почестях, с какими Петр в 1699 г. хоронил Гордона и Лефорта. Он ежедневно навещал больного Гордона, оказавшего ему большие услуги в азовских походах и во второй стрелецкий мятеж 1697 г., сам закрыл глаза покойнику и поцеловал его в лоб; при погребении, бросив землю на опущенный в могилу гроб, Петр сказал предстоящим: «Я даю ему только горсть земли, а он мне дал целое пространство с Азовом». Еще с большей горестью хоронил Петр Лефорта: сам шел за его гробом, обливался слезами, слушая надгробную проповедь реформатского пастора, восхвалявшего заслуги покойного адмирала, и прощался с ним в последний раз с сокрушением, вызвавшим крайнее удивление присутствовавших иностранцев; а на похоронном обеде сделал целую сцену русским боярам. Они не особенно скорбели о смерти царского любимца, и некоторые из них, пользуясь минутной отлучкой царя, пока накрывали поминальный стол, спешили убраться из дома, но на крыльце наткнулись на возвращавшегося Петра. Он рассердился и, воротив их в зал, приветствовал речью, в которой говорил, что понимает их побег, что они боятся выдать себя, не надеясь выдержать за столом притворную печаль. «Какие ненавистники! Но я научу вас почитать достойных людей. Верность Франца Яковлевича пребудет в сердце моем, доколе я жив, и по смерти понесу ее с собою в могилу!» Но Гордон и Лефорт были исключительные иностранцы: Петр ценил их за преданность и заслуги, как потом ценил Остермана за таланты и знания. С Лефортом он был связан еще личной дружбой и преувеличивал достоинства «дебошана французского», как назвал его кн. Б. Куракин; готов был даже признать его начинателем своей военной реформы. «Он начал, а мы довершили», — говаривал о нем Петр впоследствии (зато и пошел в народе слух, что Петр был сын «Лаферта да немки беззаконной», подкинутый царице Наталье). Но к иностранцам вообще Петр относился разборчиво и без увлечения. В первые годы деятельности, заводя новые дела военные и промышленные, он не мог обойтись без них как инструкторов, сведущих людей, каких не находил между своими, но при первой возможности старался

заменять их русскими. Уже в манифесте 1705 г. он прямо признается, что дорого стоившими наемными офицерами «желаемого не возмогли достигнуть», и предписывает более строгие условия приема их на русскую службу. Паткуль сидел в крепости за растрату денег, назначенных на русское войско; а с наемным австрийским фельдмаршалом Огильви, человеком деловитым, но «дерзновенником и досадителем», как называл его Петр, он кончил тем, что приказал его арестовать и потом «с неприятною» отослать обратно.

Столь же расчетливо было отношение Петра и к иноземным обычаям, как оно сказывалось в беседах. Раз при шутовом столкновении с князем-кесарем из-за длинного бешмета, в каком Ромодановский приехал в Преображенское, Петр сказал, обращаясь к присутствовавшим гвардейцам и знатым господам: «Длинное платье мешало проворству рук и ног стрельцов; они не могли ни работать хорошо ружьем, ни маршировать. Для того-то велел я Лефорту пообрезать сперва зипуны и зарукавья, а потом сделать новые мундиры по европейскому обычаю. Старая одежда больше похожа на татарскую, чем на сродную нам легкую славянскую; не годится являться на службу в спальном платье». Петру же приписывали и обращенные к боярам слова о брадобритии, отвечающие обычному тону его речи и образу мыслей: «Наши старики по невежеству думают, что без бороды не войдут в царство небесное, хотя оно отверсто для всех честных людей, с бородами ли они или без бород, с париками или плешивые». Петр видел только дело приличия, удобства или суеверия в том, чему старорусское общество придавало значение религиозно-национального вопроса, и ополчался не столько против самых обычаев русской старины, сколько против суеверных представлений, с ними соединенных, и упрямства, с каким их отстаивали.

Это старорусское общество, так ожесточенно обвинявшее Петра в замене добрых старых обычаев дурными новыми, считало его беззаветным западником, который предпочитает все западноевропейское русскому не потому, что оно лучше русского, а потому, что оно не русское, а западноевропейское. Ему приписывали увлечения, столь мало сродные его рассудительному характеру. По случаю учреждения в Петербурге ассамблей,

очередных увеселительных собраний в знатных домах, кто-то при государе стал расхваливать парижские обычаи и манеры светского обхождения. Петр, выдавший Париж, возразил: «Хорошо перенимать у французов науки и художества, и я бы хотел видеть это у себя; а в прочем Париж воняет». Он знал, что хорошо в Европе, но никогда не обольщался ею, и то хорошее, что удалось перенять оттуда, считал не ее благосклонным даром, а милостью провидения. В одной собственноручной программе празднования годовщины Ништадтского мира он предписывал возможно сильнее выразить мысль, что иностранцы всячески старались не допустить нас до света разума, да проглядели, точно в глазах у них помутилось, и он признавал это чудом Божиим, содеянным для русского народа. «Сие пространно развести надлежит, — гласила программа, — и чтоб сенсу (смыслу) было довольно». Предание донесло отзыв одной беседы Петра с приближенными об отношении России к Западной Европе, когда он будто бы сказал: «Европа нужна нам еще несколько десятков лет, а потом мы можем повернуться к ней задом».

В чем сущность реформы, что она сделала и что ей предстоит еще сделать? Эти вопросы все более занимали Петра по мере того, как облегчалась тяжесть шведской войны. Военные опасности всего более ускоряли движение реформы. Потому главное ее дело было военное, «чем мы от тьмы к свету вышли и прежде незнанные в свете ныне почитаемы стали», — как писал Петр сыну в 1715 г. А что дальше? На одной беседе, живо рисующей отношения Петра к сотрудникам и сотрудников друг к другу, на этот вопрос пришлось отвечать кн. Я. Ф. Долгорукому, правдивейшему законоведу своего времени, нередко смело спорившему с Петром в Сенате. За эти споры Петр иногда досадовал на Долгорукого, но всегда уважал его. Раз, воротившись из Сената, он говорил про князя: «Кн. Яков в Сенате прямой мне помощник: он судит дельно и мне не потакает, без красноречия режет прямо правду, несмотря на лицо». В 1717 г. блеснула наконец надежда на скорое окончание тяжелой войны, чего Петр желал нетерпеливо: в Голландии открылись предварительные переговоры о мире с Швецией, и был назначен конгресс на Аландских островах. В этом году раз, сидя за столом, на пиру

со многими знатными людьми, Петр разговорился о своем отце, о его делах в Польше, о затруднениях, какие наделал ему патриарх Никон. Мусин-Пушкин принялся выхвалять сына и унижать отца, говоря, что царь Алексей сам мало что делал, а больше Морозов с другими великими министрами; все дело в министрах: каковы министры у государя, таковы и его дела. Государя раздосадовали эти речи; он встал из-за стола и сказал Мусину-Пушкину: «В твоём порицании дел моего отца и в похвале моим больше брани на меня, чем я могу стерпеть». Потом, подошедши к князю Я. Ф. Долгорукому и став за его стулом, говорил ему: «Вот ты больше всех меня бранишь и так больно досаждаешь мне своими спорами, что я часто едва не теряю терпения; а как рассужу, то и увижу, что ты искренно меня и государство любишь и правду говоришь, за что я внутренно тебе благодарен. А теперь я спрошу тебя, как ты думаешь о делах отца моего и моих, и уверен, что ты нелицемерно скажешь мне правду». Долгорукий отвечал: «Изволь, государь, присесть, а я подумаю». Петр сел подле него, а тот по привычке стал разглаживать свои длинные усы. Все на него смотрели и ждали, что он скажет. Помолчав немного, князь начал так: «На вопрос твой нельзя ответить коротко, потому что у тебя с отцом дела разные: в одном ты больше заслуживаешь хвалы и благодарности, в другом — твой отец. Три главные дела у царей: первое — внутренняя расправа и правосудие; это — ваше главное дело. Для этого у отца твоего было больше досуга, а у тебя еще и времени подумать о том не было, и потому в этом отец твой больше тебя сделал. Но когда ты займешься этим, может быть, и больше отца сделаешь. Да и пора уж тебе о том подумать. Другое дело — военное. Этим делом отец твой много хвалы заслужил и великую пользу государству принес, устройством регулярных войск тебе путь показал; но после него неразумные люди все его начинания расстроили, так что ты почти все вновь начинал и в лучшее состояние привел. Однако хоть и много я о том думал, но еще не знаю, кому из вас в этом деле предпочтение отдать; конец твоей войны прямо нам это покажет. Третье дело — устройство флота, внешние союзы, отношения к иностранным государствам. В этом ты гораздо больше пользы государству принес и себе чести заслужил,

нежели твой отец, с чем, надеюсь, и сам согласишься. А что говорят, якобы каковы министры у государей, таковы и дела их, так я думаю о том совсем напротив, что мудрые государи умеют и умных советников выбирать и верность их наблюдать. Потому у мудрого государя не может быть глупых министров, ибо он может о достоинстве каждого рассудить и правые советы отличить». Петр выслушал все терпеливо и, расцеловав Долгорукого, сказал: *«Благий рабе верный, в мале был еси мне верен, над многими тя поставлю»*. «Меншикову и другим сие весьма было прискорбно, — так заканчивает свой рассказ Татищев, — и они всеми мерами усиливались озлобить его государю, но ничего не успели».

Скоро представился и удобный к тому случай. В 1718 г. следственное дело о царевиче вскрыло предосудительные сношения с ним одного из князей Долгоруких и дерзкие слова его о царе. Беда потерять доброе имя грозила фамилии. Но энергическое оправдательное письмо старшего в роде князя Якова к Петру, уваженное царем, помогло провинившемуся избавиться от розыска, а фамилии от бесчестья носить звание «злодейского рода».

Петра занимало не соперничество с отцом, не счеты с прошедшим, а результаты настоящего, оценка своей деятельности. Он одобрил все, сказанное на пиру князем Яковом, согласился, что на ближайшей очереди реформы стало устройство внутренней расправы, обеспечение правосудия. Отдавая предпочтение в этом деле отцу, князь Долгорукий имел в виду его законодательство, особенно Уложение. Как практический законовед, он лучше многих понимал и значение этого памятника для своего времени, и его устарелость во многом для настоящего. Но и Петр не хуже Долгорукого сознавал это и сам возбудил вопрос об этом задолго до беседы 1717 г., еще в 1700 г. приказав пересмотреть и пополнить Уложение новоизданными узаконениями, а потом в 1718 г., вскоре после описанной беседы, предписал свести русское Уложение со шведским. Но ему не удалось это дело, как не удавалось оно и после него целое столетие. Князь Долгорукий не договаривал, говорил не все, что, по мысли Петра, было нужно. Законодательство — только часть предстоявшего дела. Пересмотр Уложения заставил обратиться к шведскому законодательству в

надежде найти там готовые нормы, выработанные наукой и опытом европейского народа. Так было и во всем: для удовлетворения домашних нужд спешили воспользоваться произведениями знания и опыта европейских народов, готовыми плодами чужой работы. Но не все же брать готовые плоды чужого знания и опыта, теории и техники, того, что Петр называл «науками и искусствами». Это значило бы вечно жить чужим умом, «подобно молодой птице в рот смотреть», по выражению Петра. Необходимо пересадить самые корни на свою почву, чтобы они дома производили свои плоды, овладеть источниками и средствами духовной и материальной силы европейских народов. Это была всегдашняя мысль Петра, основная и плодотворнейшая мысль его реформы. Она нигде и никогда не выходила у него из головы. Осматривая «вонючий» Париж, он думал о том, как бы видеть у себя такой же расцвет наук и искусств; рассматривая проект своей Академии наук, он при Блументросте, Брюсе и Остермане говорил Нартову, составлявшему проект Академии художеств: «Надлежит притом быть департаменту художеств, а паче механическому; желание мое насадить в столице сей рукоделие, науки и художества вообще».

Война мешала решительному приступу к исполнению этой мысли. Да и самая эта война была предпринята с целью открыть прямые и свободные пути к тем же источникам и средствам. Мысль эта росла в уме Петра по мере того, как перед его глазами начинал светиться желанный конец войны. Передавая Апраксину в начале января 1725 г. инструкцию Камчатской экспедиции, написанную уже слабеющей рукой, он признался, что это его давняя мысль, что, «оградя отечество безопасностью от неприятеля, надлежит стараться находить славу государству чрез искусство и науки». Беспokoйно заботясь о будущем, нередко говоря о своих недугах и возможности скорой смерти, Петр едва ли надеялся прожить две жизни, чтобы по окончании войны исполнить и это второе свое великое дело. Но он верил, что оно будет сделано, если не им, то его преемниками, и эту веру высказал как в словах — если только они были сказаны — о нескольких десятках лет русской нужды в Западной Европе, так и по другому случаю. В 1724 г. лейб-медик Блументрост просил отправлявшегося по поручению Петра в Швецию Татищева подыскивать там ученых для

Академии наук, открытие которой он подготовлял как будущий ее президент. «Напрасно ищите семян, — возразил Татищев, — когда самой почвы для посева еще не приготовлено». Вслушавшись в этот разговор, Петр, по мысли которого учреждалась Академия, отвечал Татищеву такую притчей. Некий дворянин хотел у себя в деревне мельницу построить, а воды у него не было. Тогда, видя обильные водой озера и болота у соседей, он начал с их согласия канал в свою деревню копать и материал для мельницы заготавливать, и хотя при жизни не успел этого к концу привести, но дети, жалея отцовых издержек, поневоле продолжали и доканчивали дело отца. Эта крепкая вера поддерживалась в Петре и со стороны таким славным ученым, как Лейбниц, давно предлагавшим ему и учреждение высшей ученой коллегии в С.-Петербурге с многосложными научными и практическими задачами, и исследование границ между Азией и Америкой, и широкие планы водворения наук и художеств в России с раскинутой по всей стране сетью академий, университетов, гимназий и, главное, с надеждой на полный успех этого дела. На взгляд Лейбница, это не беда, что здесь не доставало ни научных преданий и навыков, ни учебных пособий и вспомогательных учреждений, что Россия в этом отношении белый лист бумаги, по выражению философа, или непочатое поле, где надо все заводить вновь. Это даже лучше, потому что, заводя все вновь, можно избежать недостатков и ошибок, каких наделала Европа, потому что при возведении нового здания скорее можно достигнуть совершенства, чем при исправлении и перестройке старого.

V

Трудно сказать, кем была внушена или как возникла в уме Петра мысль о круговороте наук, тесно связанная с его просветительными помыслами. Мысль эта высказана в приписке к черновому письму, которое Лейбниц писал Петру в 1712 г.; но в письме, посланном к царю, эта приписка опущена. «Провидение, — писал философ в этой приписке, — по-видимому, хочет, чтобы наука обошла кругом весь земной шар и теперь перешла в Скифию, и потому избрало ваше величество орудием, так

как Вы можете и из Европы и из Азии взять лучшее и усовершенствовать то, что сделано в обеих частях света». Может быть, эту мысль Лейбниц высказывал Петру в личной беседе с ним. Нечто похожее на ту же мысль как бы вскользь высказано и в одном сочинении славянского патриота Юрия Крижанича: после многих народов древнего и нового мира, поработавших на поприще наук, очередь дошла наконец и до славян. Но это сочинение, писанное в Сибири при царе Алексее, едва ли было известно Петру.

Как бы то ни было, в одной превосходной беседе с сотрудниками Петр изложил ту же мысль по-своему, кстати воспользовавшись ею, чтобы дать почувствовать некоторым из собеседников, что ему слышен идущий вокруг него шепот не о пользе, даже не о бесполезности наук, а о прямом вреде их. В 1714 г., празднуя спуск военного корабля в Петербурге, царь был в самом веселом расположении духа и за столом на палубе среди приглашенного на пир высшего общества много говорил об успешном ходе русского кораблестроения. Между прочим, он обратился с целой речью прямо к сидевшим около него старым боярам, которые видели мало проку в опытности и знаниях, приобретенных русскими министрами и генералами, искренне преданными реформе. Надобно иметь в виду, что речь изложена бывшим на торжестве немцем, брауншвейгским резидентом Вебером, который всего месяца два как приехал в Петербург и едва ли был в состоянии уловить и точно передать ее оттенки, хотя и называет ее самой глубокомысленной и остроумной из всех речей, им слышанных от царя. Читая его изложение, легко заметить, что некоторым мыслям царя он дал свою окраску и свое толкование.

«Кому из вас, братцы мои, хоть бы во сне снилось лет 30 тому назад, — так начал царь, — что мы с вами здесь, у Остзейского моря, будем плотничать и в одежде немцев, в завоеванной у них же нашими трудами и мужеством стране построим город, в котором вы живете, что мы доживем до того, что увидим таких храбрых и победоносных солдат и матросов русской крови, таких сынов, побывавших в чужих странах и возвратившихся домой столь смысленными, что увидим у себя такое множество иноземных художников и ремесленников, доживем до того, что меня и вас станут

так уважать чужестранные государи? Историки полагают колыбель всех знаний в Греции, откуда по превратности времен они были изгнаны, перешли в Италию, а потом распространились было и по всем австрийским землям, но невежеством наших предков были приостановлены и не проникли далее Польши; а поляки, равно как и все немцы, пребывали в таком же непроходимом мраке невежества, в каком мы пребываем доселе, и только непомерными трудами правителей своих открыли глаза и усвоили себе прежние греческие искусства, науки и образ жизни. Теперь очередь приходит до нас, если только вы поддержите меня в моих важных предприятиях, будете слушаться без всяких отговорок и привыкнете свободно распознавать и изучать добро и зло. Это передвижение наук я приравниваю к обращению крови в человеческом теле, и сдаётся мне, что со временем они оставят теперешнее свое местопребывание в Англии, Франции и Германии, продержатся несколько веков у нас и затем снова возвратятся в истинное отечество свое — в Грецию. Покамест советую вам помнить латинскую поговорку: *Oga et laboga* (молись и трудись), и твердо надеяться, что, может быть, еще на нашем веку вы пристыдите другие образованные страны и вознесете на высшую степень славу русского имени».

— Да, да, правда! — отвечали царю старые бояре, в глубоком молчании слушавшие его слова, и, заявив ему, что они готовы и будут делать все, что он им повелит, снова обеими руками ухватились за любезные им стаканы, предоставляя царю рассудить в глубине его собственных помышлений, насколько успел он убедить их и насколько мог надеяться достигнуть конечной цели своих великих предприятий.

Рассказчик придал этой беседе иронический эпилог. Петр огорчился бы, даже, пожалуй, сказал бы боярам другую, менее возвышенную и ласковую речь, если бы заметил, что они отнеслись к его словам так безучастно, себе на уме, как это представил иноземец. Ему известно было, как судили об его реформе в России и за границей, и эти суждения болезненно отзывались в его душе. Он знал, что там и здесь очень многие видели в его реформе насильственное дело, которое он мог вести, только пользуясь своей неограниченной и

жестокой властью и привычкой народа слепо ей повиноваться. Стало быть, он не европейский государь, а азиатский деспот, повелевающий рабами, а не гражданами. Такой взгляд оскорбляет его, как незаслуженная обида. Он столько сделал, чтобы придать своей власти характер долга, а не произвола; думал, что на его деятельность иначе и нельзя смотреть, как на служение общему благу народа, а не как на тиранию. Он так старательно устранял все унижительное для человеческого достоинства в отношениях подданного к государю, еще в самом начале столетия запретил писаться уменьшительными именами, падать перед царем на колени, зимою снимать шапки перед дворцом, рассуждая так об этом: «К чему унижать звание, безобразить достоинство человеческое? Менее низости, больше усердия к службе и верности ко мне и государству — таков почет, подобающий царю». Он устроил столько госпиталей, богаделен и училищ, «народ свой во многих воинских и гражданских науках обучил», в *Воинских статьях* запретил бить солдата, писал наставление всем принадлежащим к русскому войску, «каковой ни есть веры или народа они суть, между собою христианскую любовь иметь», внушал «с противниками церкви с кротостью и разумом поступать по Апостолу, а не так, как ныне, жестокими словами и отчуждением», говорил, что господь дал царям власть над народами, но над совестью людей властен один Христос, — и он первый на Руси стал это писать и говорить, — а его считали жестоким тираном, азиатским деспотом. Об этом не раз заводил он речь с приближенными и говорил с жаром, с порывистой откровенностью: «Знаю, что меня считают тираном. Иностранцы говорят, что я повелеваю рабами. Это неправда: не знают всех обстоятельств. Я повелеваю подданными, повинующимися моим указам; эти указы содержат в себе пользу, а не вред государству. Надобно знать, как управлять народом. Английская вольность здесь не у места, как к стене горох. Честный и разумный человек, усмотревший что-либо вредное или придумавший что полезное, может говорить мне прямо без боязни. Вы сами тому свидетели. Полезное я рад слушать и от последнего подданного. Доступ ко мне свободен, лишь бы не отнимали у меня времени бездельем. Недоброхоты мои

и отечеству, конечно, мной недовольны. Невежество и упрямство всегда ополчались на меня с той поры, как задумал я ввести полезные перемены и исправить грубые нравы. Вот кто настоящие тираны, а не я. Я не усугубляю рабства, обуздывая озорство упрямых, смягчая дубовые сердца, не жестокосердствую, переодевая подданных в новое платье, заводя порядок в войске и в гражданстве и приучая к людскости, не тиранствую, когда правосудие осуждает злодея на смерть. Пускай злость клеветает: совесть моя чиста. Бог мне судья! Неправые толки в свете разносит ветер».

VI

Защищая царя от обвинения в жестокости, любимый токарь его Нартов пишет: «Ах, если бы многие знали то, что известно нам, дивились бы снисхождению его. Если бы когда-нибудь случилось философу разбирать архиву тайных дел его, вострепетал бы он от ужаса, что соделывалось против сего монарха». Эта «архива» уже разбирается и все яснее обнаруживает, по какой раскаленной почве шел Петр, ведя реформу со своими сотрудниками. Все вокруг него роптало на него, и этот ропот, начинаясь во дворце, в семье царя, широко расходился оттуда по всей Руси, по всем классам общества, проникая в глубь народной массы. Сын жаловался, что отец окружен злыми людьми, сам очень жесток, не жалеет человеческой крови, желал смерти отцу, и духовник прощал ему это грешное желание. Сестра, царевна Марья, плакалась на бесконечную войну, на великие подати, на разорение народное, и «ее милостивое сердце снедала печаль от вздыханий народных». Ростовский архиерей Досифей, лишенный сана по делу о бывшей царице Евдокии, говорил на соборе архиереям: «Посмотрите, что у всех на сердцах, извольте пустить уши в народ, что в народе говорят». А в народе говорили про царя, что он враг народа, омок мирской, подкидыш, антихрист, и бог знает, чего не говорили про него. Роптавшие жили надеждой, авось либо царь скоро умрет, либо народ поднимется на него; сам царевич признался, что готов был пристать к заговору против отца. Петр слышал этот ропот,

знал толки и козни, против него направленные, и говорил: «Страдаю, а все за отечество; желаю ему полезного, но враги пакости мне делают демонские». Он знал также, что было и на что роптать: народные тягости все увеличивались, десятки тысяч рабочих гибли от голода и болезней на работах в Петербурге, Кроншлоте, на Ладожском канале, войска терпели великую нужду, все дорожало, торговля падала. По целым неделям Петр ходил мрачный, открывая все новые злоупотребления и неудачи. Он понимал, что донельзя, до боли напрягает народные силы, но раздумье не замедляло дела; никого не щадя, всего менее себя, он все шел к своей цели, видя в ней народное благо: так хирург, скрепя сердце, подвергает мучительной операции своего пациента, чтобы спасти его жизнь. Зато по окончании шведской войны первое, о чем заговорил Петр с сенаторами, просившими его принять титул императора, это — «стараться о пользе общей, от чего народ получит облегчение». Узнавая людей и вещи, как они есть, привыкнув к дробной, детальной работе над крупными делами, за всем следя сам и всех уча собственным примером, он выработал в себе вместе с быстрым глазомером тонкое чутье естественной, действительной связи вещей и отношений, живое, практическое понимание того, как делаются дела на свете, какими силами и с какими усилиями поворачивается тяжелое колесо истории, то поднимая, то опуская судьбы человеческие. Оттого неудача не приводила его в уныние, а удача не внушала самонадеянности. Это, когда нужно, ободряло, а порой отрезвляло и сотрудников. Рассказывали, что после поражения под Нарвой он говорил: «Знаю, что шведы еще будут бить нас; пусть бьют; но они выучат и нас бить их самих; когда же ученье обходится без потерь и огорчений?» Он не обольщался ни успехами, ни надеждами. В последние годы жизни, лечась олонецкими целебными водами, он говорил своему лейб-медику: «Врачую тело свое водами, а подданных примерами; в том и другом исцеление вижу медленное; все решит время». Он ясно видел все трудности своего положения, в котором из 13 правителей 12 опустили бы руки, и в самую тяжелую пору своей жизни, во время следствия над царевичем, описывал судьбу Толстому с сострадательной изобрази-

тельностью стороннего наблюдателя: «Едва ли кто из государей сносил столько бед и напастей, как я. От сестры (Софьи) был гоним до зела: она была хитра и зла. Монахине (первой жене) несносен: она глупа. Сын меня ненавидит: он упрям». Но Петр поступал в политике, как на море. Вся его бурная деятельность, как в миниатюре, изобразилась в одном эпизоде из его морской службы. В июле 1714 г., за несколько дней до победы при Гангуте, крейсируя с своей эскадрой между Гельсингфорсом и Аландскими островами, он был в темную ночь застигнут страшною бурей. Все пришли в отчаяние, не зная, где берег. Петр с несколькими матросами бросился в шлюпку, не слушая офицеров, которые на коленях умоляли его не подвергать себя такой опасности, сам взялся за руль, в борьбе с волнами, встряхнул опускавших руки гребцов грозным окриком: «Чего боитесь? Царя везете! С нами бог!», благополучно достиг берега, развел огонь, чтобы показать путь эскадре, согрел сбитнем полумертвых гребцов, а сам, весь мокрый, лег и, покрывшись парусиной, заснул у костра под деревом.

Неослабное чувство долга, мысль, что этот долг — неуклонно служить общему благу государства и народа, беззаветное мужество, с каким подобает проходить это служение, — таковы основные правила той школы, проводившей своих учеников сквозь огонь и воду, о которой говорил Неплюев Екатерине II. Эта школа способна была воспитывать не один страх грозной власти, но и обаяние нравственного величия. Рассказы современников дают только смутно почувствовать, как это делалось; а делалось, кажется, довольно просто, как бы само собой, действием неуловимых впечатлений. Неплюев рассказывает, как он с товарищами в 1720 г. по окончании заграничной выучки держал экзамен перед самим царем, в полном собрании адмиралтейской коллегии. Неплюев ждал представления царю, как страшного суда. Когда дошла до него очередь на экзамене, Петр сам подошел к нему и спросил: «Всему ли ты научился, для чего был послан?» Тот отвечал, что старался по всей своей возможности, но не может похвалиться, что всему научился, и, говоря это, стал на колени. «Грудиться надобно», — сказал на это царь и, оборотив к нему ладонью правую руку, приба-

вил: «Видишь, братец, я и царь, да у меня на руках мозоли, а все для того — показать вам пример и хотя бы под старость видеть себе достойных помощников и слуг отечеству. Встань, братец, и дай ответ, о чем тебя спросят, только не робей; что знаешь, сказывай, а чего не знаешь, так и скажи». Царь остался доволен ответами Неплюева и потом, ближе узнав его на корабельных постройках, отзывался о нем: «В этом малом путь будет». Петр заметил дипломатические способности в 27-летнем поручике галерного флота и в следующем же году прямо назначил его на трудный пост резидента в Константинополе. При отпуске в Турцию Петр поднял упавшего ему в ноги со слезами Неплюева и сказал: «Не кланяйся, братец! Я вам от бога приставник, и должность моя смотреть, чтобы недостойному не дать, а у достойного не отнять. Будешь хорошо служить, не мне, а более себе и отечеству добро сделаешь, а буде худо, так я истец, ибо бог того от меня за всех вас востребует, чтоб злomu и глупому не дать места вред делать. Служи верой и правдой; вначале бог, а по нем и я должен буду не оставить. Прости, братец! — прибавил царь, поцеловав Неплюева в лоб. — Приведет ли бог свидеться?» Они уже не свиделись. Этот умный и неподкупный, но суровый и даже жесткий служака, получив в Константинополе весть о смерти Петра, отметил в своих записках: «Ей-ей, не лгу, был более суток в беспамятстве; да иначе мне и грешно бы было: сей монарх отечество наше привел в сравнение с прочими, научил нас узнавать, что и мы люди». После, пережив шесть царствований и дожив до седьмого, он, по отзыву его друга Голикова, не переставал хранить беспредельное почитание к памяти Петра Великого и имя его не иначе произносил, как священное, и почти всегда со слезами.

Впечатление, какое производил Петр на окружающих своим обращением, своими ежедневными суждениями о текущих делах, взглядом на свою власть и на свое отношение к подданным, замыслами и заботами о будущем своего народа, самыми затруднениями и опасностями, с которыми ему приходилось бороться, — всей своею деятельностью и всем своим образом мыслей, трудно передать выразительнее того, как передал его Нартов. «Мы, бывшие сего великого государя слуги,

воздыхаем и проливаем слезы, слыша иногда упреки жестокосердию его, которого в нем не было. Когда бы многие знали, что претерпевал, что сносил и какими уязвляем был горестями, то ужаснулись бы, колико снисходил он слабостям человеческим и прощал преступления, не заслуживающие милосердия; и хотя нет более Петра Великого с нами, однако дух его в душах наших живет, и мы, имевшие счастье находиться при сем монархе, умрем верными ему и горячую любовь нашу к земному богу погребем вместе с собою. Мы без страха возглашаем об отце нашем для того, что благородному бесстрашию и правде учились от него».

Нартов, подобно Неплюеву, как близкий человек, стоял под непосредственным влиянием Петра. Но деятельность преобразователя так захватывала общее внимание, ее побуждения были так открыты и так нравственно убедительны, что ее впечатление из тесного круга приближенных пробивалось в глубь общества, заставляло даже простые и грешные, но непредубежденные души понимать и чувствовать, чему она учила, и бояться царя, по удачному выражению Феофана Прокоповича, не только за гнев его, но и за совесть. Петру едва ли приходилось слышать о себе суждения, подобные высказанному Нартовым: он не любил этого. Но его должно было глубоко утешить предсмертное письмо некоего Ивана Кокошкина, полученное им в 1714 г. и сохранившееся в его бумагах. Лежа на смертном одре, этот Кокошкин страшится предстать пред лицом Божиим, не принеши чистого покаяния пресветлому монарху, покуда еще грешная душа с телом не разлучилась, и не получив прощения в своих грехах по службе: состоял он при рекрутских наборах в Твери и от тех рекрутских наборов брал себе взятки, кто что приносил; да он же Иван Кокошкин ему, государю, виновен: оговоренного в воровстве человека отдал в рекруты за своих крестьян. Великая награда государю стать заочно предсмертным судьей совести своего подданного. Петр Великий полностью заслужил эту награду.

ПАМЯТИ С. М. СОЛОВЬЕВА

(умер 4 октября 1879 г.)

Двадцать пять лет прошло со дня кончины С. М. Соловьева. Смерть застала историка за XXIX томом его *«Истории России с древнейших времен»* и прервала его тридцатилетний труд на полуфразе.

Когда стало известно, что работа, столько лет привлекавшая к себе внимание образованного русского общества, остановилась навсегда, что замерла энергия, ее двигавшая, первым побуждением было воздать должное покойному ученому, оценить, что сделал он своим многолетним трудом для науки, для изучения русской истории, для национального самопознания. Время строго проверяет чувства и суждения. Двадцать пять лет — достаточно продолжительный срок для проверки. Пишущий эти строки, которому досталась ответственная честь стать преемником С. М. Соловьева по кафедре, под первым впечатлением понесенной утраты написал несколько внушенных чувством ученика строк о характере почившего историка и значении его труда. Перечитав написанное четверть века спустя, автор не нашел преувеличения, к какому обыкновенно располагает еще не закрытая могила. Скорее напротив: черты кажутся бледными и неполными, взгляд недостаточно широким. Этим впечатлением оправдывается решимость предложить вниманию читателя этот спешный коротенький очерк, анонимно помещенный в давно прерванном издании. По нему можно отчасти судить, как значение этих 29 томов *«Истории России»* уяснялось и росло по смерти историка, разрушая опасения и его собственные предсказания, что громадная книга будет скоро снята со стола и забыта.

...Биография и историческая критика спокойно и на досуге опишут его жизнь и характер, изобразят ход и значение его учено-литературной деятельности, его образ мыслей и убеждения, его взгляд на исторические судьбы России. Под неостывшим еще впечатлением тяжелой утраты попытаемся припомнить хотя только наружные, самые поверхностные черты его как ученого.

Соловьев рано стал и до конца жизни остался ученым. Он умер, не дожив до конца своего 60-го года; но имя его уже 34 года известно в русской ученой литературе. Его деятельность в эти 34 года была разделена между архивами, университетской аудиторией и письменным столом его кабинета. Он удивительно много и правильно работал и на успехи русской исторической науки имел влияние, которое пока трудно еще оценить достаточно. С 1845 г., когда появилось его первое исследование по русской истории, и до последней строки, им написанной незадолго до смерти, он работал в одном направлении, которое прямо или косвенно отразилось на ходе всей русской исторической литературы. В движении русской историографии это время можно смело обозначить именем Соловьева: живущие ныне писатели, вместе с ним наиболее поработавшие над историей своего отечества, охотно согласятся с этим. Вооружившись приемами и задачами, выработанными исторической наукой первой половины нашего века, он первый пересмотрел всю массу исторического материала, оставшегося от жизни русского народа с половины IX до последней четверти XVIII в., связав одной мыслью разорванные доскучи исторических памятников, и вынес на свет всю наличность уцелевших фактов нашей истории.

Есть и будут десятки трудолюбивых исследователей русского прошедшего, которые останавливаются и будут останавливаться на том или другом факте долгие Соловьева, изучают и будут изучать то или другое явление подробнее, чем изучал он; но каждый из них, чтобы идти прямо и твердо в своей работе, должен начинать с того, чем кончил Соловьев свою речь о том же, и он, как маяк, еще долго будет служить первым указателем пути даже для тех, кто далеко разойдется с ним в своих последних выводах. В 1851 г. вышел первый том его

«Истории России», и с тех пор каждый год читатель получал новый том в урочное время с точностью, которой не могла победить даже предсмертная болезнь автора: умирая, он сдал XXIX том в типографию почти законченным; перо выпало из руки недалеко от предполагаемого конца книги — описания казни Пугачева. Никогда прежде в продолжение почти трех десятилетий в нашу историческую литературу не вливалось так последовательно, такой непрерывной струей столько свежих знаний. После продолжительного и трудного пути повествователь подходил уже к порогу нашего века; жизнь одного поколения отделяла его от времени наших отцов, когда оборвалась нить его повести и его жизни. Он напоминает своей деятельностью нашего древнего колонизатора, который, отыскав протоптанную тропу по опушке дремучего леса, первый отважился продолжить ее в не пройденную никем глубь и упал, когда уже стал показываться просвет с другой стороны чаши.

Сам историк очень спокойно смотрел на значение труда, которому он отдал 30 лучших лет своей жизни. Задолго до смерти он высказывал уверенность, что в недалеком будущем напишут историю России лучше его; за собой он удерживал только заслугу первой тяжелой расчистки пути, первой обработки сырого материала. Но по многим причинам 29 томов его «Истории» не скоро последуют в могилу за своим автором. Даже при успешном ходе русской исторической критики в нашем ученом обороте надолго удержится значительный запас исторических фактов и положений в том самом виде, как их впервые обработал и высказал Соловьев: исследователи долго будут их черпать прямо из его книги, прежде чем успеют проверить их сами по первым источникам. Еще важнее то, что Соловьев вместе с огромным количеством прочно поставленных фактов внес в нашу историческую литературу очень мало ученых предположений. Трезвый взгляд редко позволял ему переступить рубеж, за которым начинается широкое поле гаданий, столь удобное для игры ученого воображения. При недостатке твердых оснований Соловьев скорее готов был обойти вопрос, подвергаясь упрекам критики, чем решить его какой-либо остроумной догадкой, которая поселила бы самодовольную уверенность, что вопрос покончен, или легла бы лишним камнем на пути для других исследователей.

Вот почему от такой продолжительной и быстрой работы над неопрятным, неочищенным материалом у Соловьева осталось так мало *ученого сора*. Найдут разные недостатки в его огромном труде; но нельзя упрекнуть его в одном, от которого всего труднее освободиться историку: никто меньше Соловьева не злоупотреблял доверием читателя во имя авторитета знатока.

Это был ученый со строгой, хорошо воспитанной мыслью. Черствой правды действительности он не смягчал в угоду патологическим наклонностям времени. Навстречу фельетонным вкусам читателя он выходил с живым, но серьезным, подчас жестким рассказом, в котором сухой, хорошо обдуманый факт не приносился в жертву хорошо рассказанному анекдоту. Это создало ему известность *сухого* историка. Как относился он к публике, для которой писал, так же точно относился он и к народу, историю которого писал. Русский до мозга костей, он никогда не закрывал глаз, чтобы не видеть темных сторон в прошедшем и настоящем русского народа. Живее многих и многих патриотов чувствовал он великие силы родного народа, крепче многих верил в его будущее; но он не творил из него кумира. Как нельзя больше был он чужд того грубого пренебрежения к народу, какое часто скрывается под неумеренным и ненужным воспеванием его доблестей или под высокомерным и равнодушным снисхождением к его недостаткам. Он слишком глубоко любил и уважал русский народ, чтобы лстить ему, и считал его слишком взрослым, чтобы под видом народной истории сказывать ему детские сказки о народном богатстве.

Истории Соловьев не ронял до памфлета. Он умел рассматривать исторические явления данного места и времени независимо от временных и местных увлечений и пристрастий. Его научный исторический кругозор не ограничивался известными градусами географической широты и долготы. Изучая крупные и мелкие явления истории одного народа, он не терял из вида общих законов, правящих жизнью человечества, коренных оснований, на которых строятся людские общества. Мыслитель скрывался в нем за повествователем; его рассказ развивался на историко-философской основе, без которой история становится забавой праздного любопытства. Оттого исторические явления стоят у него на

своих местах, освещены естественным, а не искусственным светом; оттого в его рассказе есть внутренняя гармония, историческая логика, заставляющая забывать о внешней беллетристической стройности изложения.

Широта исторического взгляда была отражением широты его исторического образования. В области русской истории трудно быть специалистом более Соловьева. Не много будет после него ученых, которым удастся так последовательно и полно изучить источники нашей истории. Но Соловьев не закапывался в свою специальность. В этом отношении он — поучительный образец, особенно для занимающихся отечественной историей, между которыми часто проявляется склонность уединяться в своей цеховой келье. Первый мастер своего дела, Соловьев хранил в себе хорошие свойства ученых старого времени, когда научные специальности еще не расходились между собою так далеко, как разошлись они теперь. Образцовые произведения исторической и политической литературы Европы со времени Геродота и до наших дней он изучал в подлинниках и знал превосходно. Библейские книги были ему знакомы, как древние русские летописи. Знатоки поражались внимательностью, с какой он следил за текущей иностранной литературой по истории, географии, этнографии и другим смежным отраслям знания; для них остается неразрешимой загадкой, где находил время для этого человек, с такой педантической точностью исполнявший свои служебные обязанности, постоянно писавший в периодических изданиях и ежегодно издававший новый том *«Истории России»*. В минуты отдыха он особенно охотно говорил о какой-нибудь замечательной литературной новости, иностранной или русской, часто очень далекой от предмета его текущих специальных занятий. Феноменально счастливая память помогала этой безустанной работе. Казалось, эта память не умела забывать, как мысль, которой она служила, не умела уставать. Наблюдатель, изучив свойства его таланта, образ его мыслей, круг его интересов, наконец с недоумением останавливался перед самым устройством его ума: оно поражало его, как редкий ученый механизм, способный работать одинаково спокойно и правильно бесконечное число часов, перерабатывая самый разнообразный материал. Он знал тайну искусства удвоить время и восстанавливать

силы простой переменной занятий. Ни годы, ни житейские тревоги, ни физический недуг не могли ослабить живости его умственных интересов. Прошедшим летом, прикованный болезнью к креслу, он не мог оторваться от только что изданной переписки Погодина со славянскими учеными и знакомым, пришедшим навестить больного и напрасно усиливавшимся сдерживать его участие в разговоре, передавал свои воспоминания о Шафарике и народно-литературном движении среди чехов сороковых годов с живостью недавнего впечатления, хотя прошло уже 37 лет с тех пор, как он был в Праге. Вслед за тем показал он только что полученный выпуск географического труда Реклю, где помещен рисунок старинного деревянного храма в Норвегии, близко напоминающего своей архитектурой московский храм Василия Блаженного, готов был без конца рассуждать о происхождении и значении этого сходства. Недели за три до смерти голосом, которого уже не хватало на окончания слов, он еще спрашивал посетителя: не вышло ли чего новенького по нашей части? Интерес знания еще живо горел, когда гасла физическая жизнь.

Эта энергия умственных интересов поддерживалась единственно нравственной бодростью и не знала тех искусственных возбуждений, которые приходят со стороны на помощь писателю. Соловьев никогда не заблуждался насчет количества читателей своей книги; он даже преувеличивал равнодушие к ней публики. Говоря об увеличивающемся спросе на книгу, о необходимости новых изданий разных ее томов, он объяснял это исключительно заглавием своего труда и размножением казенных и общественных библиотек, которым надобно же иметь на полках *«Историю России с древнейших времен»*. Но он принадлежал к числу людей, готовых проповедовать в пустыне. Для Соловьева книга его была задачей жизни, а для таких людей задача жизни имеет значение иноческого обета.

Его нравственный характер очень поучителен. Готовый поступить многим в своей теории родовых княжеских отношений на Руси в виду достаточных оснований, Соловьев не допускал сделок в нравственных отношениях; осторожный в решении научных вопросов, он был решителен в вопросах нравственных, потому что основные правила, которыми он руководился при решении этих

последних вопросов, имели в его сознании значение не теории, а простой математической аксиомы. Это был один из тех характеров, которые вырубаются из цельного камня; они долго стоят прямо и твердо и обыкновенно падают вдруг, подточенные не столько временем, сколько непогодой.

II

Все это бледно, неполно, поверхностно. Сказать это теперь — значит сказать слишком мало. К двадцать пятой годовщине смерти историка стало ясно и общепризнано многое, что лишь смутно предчувствовалось или чаялось при гробе. Большое компактное издание *«Истории»* в шести полновесных книгах, начатое в 1893 г., стало быстро расходиться, и три года спустя, когда явился подробный указатель к этим книгам, первые три книги вышли уже вторым изданием. Труд жил, продолжал свою работу и по смерти автора. К нему обращался образованный читатель, желавший расширить, упорядочить и освежить идеями и конкретными впечатлениями свои познания по русской истории. Работой над неисчерпаемым запасом данных, почерпнутых из первых, часто нетронутых источников, фактов, обдуманно подобранных и прагматически истолкованных, начинало пробу своей мысли уже не одно поколение молодых ученых, приступавших к научному изучению нашего прошлого. Целый ряд специальных исследований, посвященных ученой разработке отдельных фактов, эпизодов, учреждений, источников нашей истории, шел от положений, изложенных в *«Истории России»*, в ней искал первых руководительных указаний и ею же проверял свои выводы и открытия, даже когда частично пополнял и поправлял ее. В популярных изложениях русской истории нередко сквозят материал, фон, мысли и краски, данные тем же произведением. Широкие обобщения и сопоставления, стереотипные положения о естественности и необходимости исторических явлений, о закономерности в истории, параллели между личной, индивидуальной и массовой народной жизнью — такие общие исторические идеи, которыми Соловьев любил, как световыми полосками, прокладывать в своем изложении фон исторической жизни, оказывали формирующее дей-

ствие на мышление русского читателя, еще не отвыкшего мешать историю с анекдотом, мирили его с мыслью, что и в истории есть своя таблица умножения, свое непререкаемое *дважды два*, без которого немыслимо никакое историческое мышление, невозможно даже никакое людское общежитие.

Все это было признано и ценилось еще при жизни историка. Теперь, отдаленные от него таким пространством времени, можем ввести в его оценку еще один мотив: к признанию того, что им сделано для русской истории, можно присоединить сожаление о том, что преждевременная смерть помешала ему сделать. В минуту смерти речь об этом могла показаться неуместной жалобой; через 25 лет такое сожаление — спокойно грустное воспоминание о научной потере, которая для русской историографии осталась доселе невознагражденной.

Эта утрата ближайшим образом касалась русской истории XVIII в. В *«Истории России»* этот век впервые вскрывался во всей полноте своего нетронутого научной содержания и в непрерывной, тщательно выясненной преемственной связи с его *девятью* предшественниками. Уже три четверти столетия были пройдены историком, пером и словом которого более 30 лет возбуждалось и поддерживалось внимание русского читающего общества и учащегося юношества к своему прошлому. Тогда уже привыкали думать: еще несколько лет, еще немного усилий неутомимого труда, и этот век, русский XVIII век, столь важный в судьбах нашего отечества, исполненный столь громких дел, вызвавший столько шумных и разноречивых толков своими грехами и успехами, наконец предстанет перед читателем в цельном научном изображении.

В XIII томе *«Истории России»*, где изложены царствование Федора Алексеевича и следовавшая за смертью этого царя московская Смута 1682 г., автор поставил рядом с общим заглавием своего труда другое, частное, повторенное и в дальнейших пяти томах до смерти Петра Великого: *«История России в эпоху преобразования»*. Большую половину XIII тома занимает предпосланная царствованию Федора вводная глава, в которой за общим обзором хода древней русской истории следует превосходное изображение состояния России перед

эпоху преобразования. Таким образом, на 1676 г., когда началось царствование Федора, сам историк провел раздельную черту между древней и новой Россией. Этот XIII том появился в 1863 г. Семнадцать лет писал Соловьев новую русскую историю. Быстро развившаяся болезнь остановила работу, которая по возрасту автора могла бы продолжаться еще немало лет. Неоконченный XXIX том, изданный по смерти историка в 1879 г., доводит обзор внешней политики до 1774 г., когда был заключен мир с Турцией в Кучук-Кайнарджи, а в описании внутреннего состояния России прерывается на делах 1772 г., перед самым мятежом Пугачева, казнь которого (в январе 1775 г.) предположено было закончить этот том. Соловьев признавался, что не рассчитывает вести свой труд дальше царствования Екатерины II. Рассказ о нем начат в XXV томе. Если первые 12 лет деятельности этой императрицы потребовали пяти томов, то на остальные 22 года необходимо было не менее шести. И если бы плану историка суждено было осуществиться, читатель получил бы громадный исторический труд в 35 томах, из коих 23 были бы посвящены изображению всех 120 лет нашей новой истории с последней четверти XVII до последних лет XVIII в. Так *«История России»*, по замыслу автора, — собственно история новой России, подготовляемой к преобразованию, преобразуемой и преобразованной, и первые 12 томов труда — только пространное введение в это обширное повествование о петровской реформе.

Дело биографии рассказать о редко удающемся совмещении в одном лице качеств, которым удивлялись в Соловьеве, такой научной подготовки, широты исторического взгляда, любви и способности к непрерывной умственной работе, умения беречь время, силы воли, наконец, такого запаса физических сил, личных условий, встреча которых сделала возможным создание *«Истории России»*. Оглядываясь на этот труд на расстоянии 25 лет от минуты, навсегда его прервавшей, невольно останавливаешься мыслью на его отношении к своему времени, спрашиваешь себя, что он давал своему времени и что воспринимал от него. Это довольно сложный вопрос, относящийся к истории нашего общества, просвещения, нашего общественного самосознания. Было бы опрометчиво входить в разбор такого вопроса в воспоминании

по случаю; но позволительно сделать некоторые сопоставления.

Первые томы «Истории России» появлялись в то время, когда в русском литературном мире, не в литературе и не в обществе, а именно в кругу людей, близко стоявших к литературе, но в ней вполне не высказывавшихся, боролись два взгляда на наш XVIII век, собственно на петровскую реформу, наполнявшую его собой и своими разносторонними последствиями. Это очень известные взгляды сороковых и пятидесятих годов прошлого столетия. Люди, смотревшие одним из этих взглядов, видели в реформе Петра пробуждение России, поднятой на ноги толчком могучей руки преобразователя, который, призвав на помощь средства западноевропейской цивилизации, вывел Россию из ее векового культурного застоя и бессильного одиночества и заставил развивать свои мощные, но дремавшие силы в общечеловеческой жизни, в прямом общении с образованным европейским миром. Другие находили, что в последовательном и самобытном движении нашей народной жизни реформа Петра произвела насильственный перерыв, сбивший ее с прямой исторической дороги в чужую сторону, убивший зачатки ее самобытного развития чуждыми формами и началами, навязанными ей гениальным капризом. Смотриая на дело с противоположных точек зрения, пользуясь для наглядного выражения своих взглядов образами, взятыми из различных порядков явлений, обе стороны сходились в одном основном положении: обе признавали, что реформа Петра была глубоким переворотом в нашей жизни, изменившим русское общество сверху донизу, до самых его корней и основ; только одна сторона считала этот переворот великой заслугой Петра перед человечеством, а другая — великим несчастьем для России.

Читающее русское общество относилось к борьбе обеих сторон не безучастно, но довольно эклектично, выбирая из борющихся мнений, что кому нравилось, охотно слушало речи одних о самобытном развитии скрытых сил народного духа, одобряло и суждения других о приобщении к жизни культурного человечества. Притом новое время наступало, принося новые потребности и заботы, поворачивая прошедшее другими сторонами, с которых не смотрели на него ветераны обоих

лагерей, возбуждая вопросы, не входившие в программу старого спора о древней и новой России. Начиналась генеральная переверстка мнений и интересов, предвиделся общий пересмотр застоявшихся отношений. Среди деловых людей крепла мысль, что все равно, пошла ли русская жизнь с начала XVIII в. прямой или кривой дорогой, что это вопрос академический: существенно важно лишь то, что полтора столетия спустя она шла очень вяло, нуждалась в обновлении и поощрении. Умы стали практичнее относиться к вопросу о месторождении форм и начал жизни; многие становились на ту точку зрения, что пусть известные формы и начала и не совсем самородны по происхождению, лишь бы они вызвали к действию дремлющие или опустившиеся народные силы, помогли справедливо развязать запутавшиеся узлы общественных отношений. Во всяком случае можно безобидно сказать, что в начале шестидесятых годов прошлого столетия в нашем обществе не существовало прочно установившегося, господствующего взгляда на ход и значение нашей истории в последние полтора века. В это время, в пору сильнейшего общественного возбуждения и самых напряженных ожиданий, в самый разгар величайших реформ, когда-либо испытанных одним поколением, в год издания Положения о земских учреждениях и Судебных уставов 20 ноября, Соловьев издал XIV том своей *«Истории России»*, в котором начал рассказ о царствовании Петра после падения царевны Софьи и описал первые годы XVIII в.

Казалось, редко работа историка так совпадала с текущими делами его времени, так прямо шла навстречу нуждам и запросам современников. Соловьеву пришлось описывать один из крутых и глубоких переломов русской жизни в те именно годы, когда русское общество переживало другой такой же перелом, даже еще более крутой и глубокий во многих отношениях. И, однако, то время нельзя признать особенно благоприятным для развития в обществе интереса к отечественной истории. Общий подъем настроения, конечно, давал историку много сильных возбуждений, много наблюдений, пригодных для исторического изучения, а начавшаяся многосторонняя перестройка быта располагала к историческим справкам, задавала вопросы, усиленно побуждавшие искать указаний в опыте прошедшего. Это сказалось

в сильном оживлении русской исторической литературы, в появлении ряда монографий, имевших прямую связь с текущими вопросами, с готовившимися или совершавшимися переменами в положении крестьян, в судеустройстве и местном управлении. Но самому обществу было, по-видимому, не до опытов прошедшего: внимание всех было слишком поглощено важностью настоящего и надеждами на ближайшее будущее. При первых успехах преобразовательного движения в обществе возобладало немного благодушное настроение, покоившееся на уверенности, что дело решено бесповоротно и пойдет само собой, лишь бы не мешали его естественному ходу, силе вещей. При таком настроении не любят оглядываться. Чего можно искать в темном прошедшем, когда в приближавшейся дали виднелось такое светлое будущее? При виде желанного берега охотнее считают, сколько узлов осталось сделать, чем сколько сделано. Оптимизм так же мало расположен к историческому размышлению, как и фатализм.

И дела пошли своим естественным ходом: порывы сменялись колебаниями, уверенность уступала место унынию. Стороннему наблюдателю Россия представлялась большим кораблем, который несется на всех парусах, но без карт и компаса. От появления случайностей, недостаточно предусмотренных, от преемственной смены подъемов и понижений духа в общественном сознании, наконец, отложилось одно несколько выяснившееся историческое представление, что русская жизнь безвозвратно сошла со своих прежних основ и пробует стать на новые. Тогда русская история опять разделилась на две неравные половины: дореформенную и реформированную, как прежде делилась она на допетровскую и петровскую, или древнюю и новую. Решив, что Россия сошла со старых основ своей жизни, в обществе по этому решению настраивали свое историческое мышление. Так явилась новая опора для равнодушия к отечественному прошлому. Еще недавно думали: зачем оглядываться назад, когда впереди так много дела и так светло? Теперь стали думать: чему может научить нас наше прошлое, когда мы порвали с ним всякие связи, когда наша жизнь бесповоротно перешла на новые основы?

Но при этом был допущен один немаловажный недостаток. Любуясь, как реформа преображала русскую

старину, не доглядели, как русская старина преобразила реформу. Эту встречную работу прошлого замечали, негодовали на нее, но ее недостаточно строго учитывали, считали только временным неудобством или следствием несовершенства человеческой природы. Скорбели, видя, как исполнительные органы, подобно старым дьякам московских приказов, клавшим в долгий ящик указы самого царя Алексея Михайловича, замедляли исполнение или изменяли смысл и направление актов верховной власти, внушенных доверием к разуму и нравственному чувству народа. Негодовали на консервативную пугливость людей, которые в неосторожной вспышке незрелой политической мысли или в мужественном презрении противозаконных, но обычных околичностей видели подкоп под вековые основы государственного порядка и испуганно обращались по принадлежности со стереотипным предостережением, *saveant consules*, а это значило в переводе, чтобы опасность была предотвращена соответственным испугу градусом восточной долготы. Образованные и состоятельные классы, обязанные показать своим поведением, как следует переходить со старых основ жизни на новые, выставляли из своей среды деятелей, являвшихся в уголовных отделениях новообразованных окружных судов печально-убедительными показателями уровня, на каком покоились их нравы. При таких примерах слишком взыскательное отношение к тому, как только что вышедшие на волю крестьяне понимали и практиковали дарованное им сословное самоуправление, было бы общественной несправедливостью.

При своей замкнутой жизни и строго размеренной работе Соловьев внимательно и чутко следил за важными событиями того тревожного времени, волнуясь и негодуя на все, что мешало успехам преобразовательного движения. В журнальных статьях он по временам отзывался на текущие вопросы, занимавшие русское общество. Достаточно вспомнить хотя бы его *«Исторические письма»* 1858 г., начинающиеся указанием на то, как много жизнь требует от науки, как много объяснений требует настоящее от прошедшего. Здесь же он высказал и свой взгляд на отношение науки к жизни. «Жизнь, — писал он, — имеет полное право предлагать вопросы науке; наука имеет обязанность отвечать на

вопросы жизни; но польза от этого решения для жизни будет только тогда, когда, во-первых, жизнь не будет торопить науку решить дело как можно скорее, ибо у науки сборы долгие, и беда, если она ускорит эти сборы, и, во-вторых, когда жизнь не будет навязывать науке решение вопроса, заранее уже составленное вследствие господства того или другого взгляда; жизнь своими движениями и требованиями должна возбуждать науку, но не должна учить науку, а должна учиться у нее».

Все знали, что историк — сторонник одного из указанных выше взглядов, что он даже один из самых убежденных и сильных его защитников в нашей исторической литературе. Но с каждым дальнейшим томом читателю становилось все яснее, что изображение реформы делается не под исключительным углом зрения, какой установлен был взглядом его стороны, что, не изменяя основным ее воззрениям, он значительно преломляет их, исправляя и углубляя привычные суждения. В пяти томах, посвященных собственно деятельности Петра, и потом во всех дальнейших читатель встречает полное изображение реформы с многообразными последствиями и связями, какие соединяли с ней все явления нашей внешней и внутренней жизни как при самом преобразователе, так и при его преемниках и преемницах до последней четверти того века — и все это на основании изучения обширнейшего, большею частью нетронутого исторического материала, изучения, какого не предпринимал еще ни один русский ученый до Соловьева. Историк остался верен благоговейному удивлению перед деяниями Петра, который в его повествовании вырастает в величавый, колоссальный образ, во всю свою историческую величину. Но история не превращалась в эпос: самый процесс реформы при Петре и после него описан удивительно просто или, как говорится, объективно, со всеми колебаниями и ошибками, с намеренными и нечаянными уклонениями в сторону и с тревожными, как бы инстинктивными поворотами на прежний путь. Читатель, переживший реформы императора Александра II, мог по книге Соловьева с большим для себя назиданием наблюдать, во что обходился, каких усилий и жертв стоил Петру каждый успех в общем улучшении народной жизни, как при каждом шаге могучего двигателя старина силилась отбросить его назад,

как, по печально удачному выражению Посошкова, «наш монарх на гору сам-десять тянет, а под горы миллионы тянут», — короче, сколько условности, метафоры в наших словах, когда мы, из своей обобщающей дали оглядываясь на прошлое, говорим о переходах народной жизни со старых основ на новые.

Но самое сильное и поучительное впечатление, какое выносил из книги читатель, заключалось во взгляде на происхождение реформы, на ее отношение к древней Руси. «Никогда, — писал историк в заключительной оценке деятельности Петра, — ни один народ не совершал такого подвига, какой был совершен русским народом в первую четверть XVIII века». «История ни одного народа не представляет нам такого великого, многостороннего преобразования, сопровождавшегося такими великими последствиями как для внутренней жизни народа, так и для его значения в общей жизни народов, во всемирной истории». И рядом с этим читаем суждение о реформе Петра как о перевороте, необходимо вытекшем со всеми своими последствиями из условий предшествовавшего положения русского народа, что деятельность Петра была подготовлена всей предшествовавшей историей, необходимо из нее вытекала, требовалась народом. Итак, ни личного произвола, ни насильственного, хотя бы творческого перерыва в естественном движении народной жизни, ничего чудесного не понадобилось для научного объяснения единственного в своем роде исторического дела, совершенного «величайшим из исторических деятелей», как назвал Соловьев Петра I: достаточно было простой мысли, что народная жизнь никогда не порывает со своим прошедшим, что такой разрыв — только новая метафора.

В повествовании о времени, следовавшем за смертью Петра, по мере того как оскудевал запас подготовительных трудов в русской исторической литературе и историк оставался один перед громадным сырым материалом, перед мемуарами, журналами Сената, бумагами Государственного совета, делами польскими, шведскими, турецкими, австрийскими и т. д., «История России» все более переходила к летописному, погодному порядку изложения, изредка прерываемому главами о внутреннем состоянии России с очерками просвещения за известный ряд лет. Но мысль о реформе как связующая

основа в ткани проходит в повествовании из года в год, из тома в том. Читая эти 11 томов, иногда как будто забываешь, что постепенно удаляешься от времени Петра. Меняются лица и обстановка, а преобразователь как будто продолжает жить, наблюдает за своими приемниками и преемницами, одобряет или порицает их деятельность: так живо чувствуется действие его идей и начинаний, либо непонимание тех и других в мерах и намерениях его продолжателей и так часто напоминает об этом сам историк, для которого реформа Петра — неизменный критерий при оценке всех развивающихся из нее или после нее явлений.

Так читатель приближается к концу третьей четверти века, и тут прерывается рассказ, покидая его накануне пугачевщины, перед эпохой усиленной внутренней деятельности правительства, перед обществом, которому этот мятеж впервые так ярко и так грозно осветил его положение. Но было бы в высшей степени желательно, чтобы именно эту эпоху, конец века, изобразил историк, описавший его начало и продолжение. То было время житейской проверки того, чем жило русское общество дотеле; тогда и в самом обществе появляются первые попытки спокойно, без вражды и без обожания взглянуть на дело Петра. С наступлением нового века возникнут такие внутренние потребности, придут такие сторонние влияния, которые поставят правительству и обществу задачи, не стоявшие перед Петром. Но до той поры дела бежали, еще движимые толчком, полученным от Петра. Оставалось подвести итоги, подсчитать результаты и объяснить неожиданности. Один из питомцев Петра выразился о преобразователе: «На что в России ни взгляни, все его началом имеет, и что бы впредь ни делалось, от сего источника черпать будут». Но к исходу века откуда-то почерпались дела, не сродные сему источнику. Петр ограничил пытку, и если сражение при Лесной, где преобразованная русская армия в 1708 г. впервые победила шведов, не имея численного превосходства, было, говоря словами Петра, «первой солдатской пробой» его дела, то распространение телесных наказаний на привилегированные сословия три четверти века спустя после указа о пытке можно признать последней законодательной пробой того же дела, только с другой стороны. Одна из любопытнейших частей на-

шей истории — судьба петровских преобразований после преобразователя — осталась недосказанной в книге Соловьева. Долгим трудом воспроизведенное, глубоко продуманное историческое строение силлогизма русской жизни в продолжение столетия роковым образом перервалось перед моментом, которого читатель давно ждал с напряженным вниманием, — перед завершительным *итак*. Этот перерыв оставил и, может быть, надолго в научной полутьме наш XVIII век. Вот чего жаль и вот в чем потеря. Никто ближе Соловьева не стоял к источникам истории этого века, никто глубже его не проникал в наиболее сокрытые ее течения; ничье суждение не могло бы больше успешному разрешению трудных вопросов, какие она ставит. Об историческом труде Карамзина Соловьев писал, что остановка его на Смутном времени, отсутствие подробной истории XVII в., этого моста между древней и новой Россией, надолго должны были способствовать распространению мнения, что новая русская история есть следствие произвольного уклонения от прежнего правильного пути. Соловьев перекинул этот мост, восстановил историческую связь между древней и новой Россией, разрушил предрассудок о произвольном уклонении; но и у него остался недостроенным путь между началом и концом XVIII в. Отсюда ряд недоумений. Век, начавшийся усиленными правительственными заботами о народном просвещении, заведением русской книгопечатни за границей, завершился закрытием частных типографий в самой России. Правнук преобразователя, впервые заговорившего об *отечестве* в высоком народно-нравственном, а не в узком местническом смысле этого слова, о служении отечеству как о долге всех и каждого, запретил употребление самого этого слова. Если никогда ни один народ не совершал такого подвига, какой был совершен русским народом в первой четверти XVIII в., то редко когда идея исторической закономерности подвергалась такому искушению, как в последней его четверти.

Повторю: в двадцать пятую годовщину смерти Соловьева, вспоминая, что сделала эта трудовая жизнь для русского исторического сознания, сожалеешь невольно о том, что смерть помешала ей сделать.

**ОТЗЫВ О ИССЛЕДОВАНИИ Н. А. РОЖКОВА
«СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО МОСКОВСКОЙ РУСИ
В XVI В.»**

Автор поставил целью своего исследования разрешение двух основных вопросов: 1) какова была техническая сторона сельскохозяйственной промышленности и 2) под какими влияниями слагалась сельскохозяйственная производительность в Московском государстве XVI в. От обстоятельного разрешения третьего вопроса, входящего в состав темы, о влиянии сельского хозяйства XVI в. на общественный и государственный строй автор отказался, ограничившись немногими случайными и общими замечаниями. Оба вопроса автор и разрешает в семи главах своего сочинения. Разделив во введении всю территорию Московского государства на шесть «естественных областей» и описав климатические и почвенные их условия, он в первой главе исследует технику сельскохозяйственного производства, систему земледелия и хозяйства в каждой области, во второй — формы и размеры сельскохозяйственного производства, барской пашни, земледельческого труда холопов, крестьянской запашки, отношение барщины и оброка и т. п., в третьей рассматривает цены на хлеб, скот и землю и изменения ценности рубля в XVI в., в четвертой — распределение продуктов сельскохозяйственного производства между крестьянами, землевладельцами и государством, в пятой — сельскохозяйственный обмен, условия и размеры внутренней и внешней торговли сельскохозяйственными продуктами, в шестой — распределение населения, причины, направления и размеры колонизации и, наконец, в седьмой главе — распределение и мобилизацию зе-

мельной собственности, распределение земли по видам земельного владения во всех областях, влияние видов и размеров владения, равно как и мобилизации земельной собственности на хозяйство и условия, определившие историю форм и размеров земельной собственности.

По изложенному плану сочинения можно видеть, что автор вел свою работу по очень широкой программе, в состав которой введены сложные вопросы, мало тронутые изучением и требующие для успешного разрешения обильного исторического материала, осторожного и тонкого анализа данных, не говоря уже о знакомстве с общими условиями и порядками сельского хозяйства в России, действовавшими до и после XVI в., отчасти действующими и доселе. Для исполнения своей обширной программы автор собрал очень обильный и разнообразный материал, извлеченный из печатных и особенно из неизданных источников. С этой стороны его нельзя упрекнуть в недостатке изучения: он старался не пропустить даже неопределенных указаний, какие находил по изучаемому предмету в старинных житиях русских святых, в известиях иностранцев, посещавших Россию и т. п.¹ Основным источником послужили автору писцовые книги XVI в., изданные и особенно рукописные. Он широко пользуется и обширным собранием грамот Коллегии экономии в Московском архиве министерства юстиции. Писцовыми книгами XVI в. обильно пользовались, хотя и для других целей, раньше автора гг. Соколовский, Чечулин и др. Но можно без преувеличения сказать, что неизданные писцовые книги конца XVI в., которых сохранилось около сотни, и грамоты Коллегии экономии еще не были предметом такого внимательного и широкого изучения, каким они являются в книге г. Рожкова. Тем более можно пожалеть об одном пробеле в этой книге.

По новости темы и важности дела читатель прежде всего надеялся бы найти в книге предварительный критический обзор по крайней мере этих основных ее источников. Но такого обзора автор не дает ему, обещая только в предисловии со временем обратиться к обстоятельному критическому изучению писцовых книг. Этим пробелом в книге создается немаловажное затруднение для ее читателя. При самом начале работы перед автором должен был стать важный методологический вопрос

об отношении плана предпринятого труда к материалу, каким мог располагать исследователь, — вопрос о том, выдержит ли этот материал все научные требования, какие вытекают из существа избранной темы в той постановке, какую дал ей автор. Вопрос этот может быть разрешен только специальным критическим разбором основных источников. После Неволлина, Иванова и Калачова в писцовых книгах как историческом источнике, очень многое выяснено трудами покойного Миклашевского и гг. Лаппо-Данилевского, Милюкова, Чечулина, Лаппо. И сам автор принял участие в этой работе, незадолго до издания своей диссертации напечатав в *Трудах Археографической комиссии московского Археологического общества* статью «К вопросу о степени достоверности писцовых книг»². Но в диссертации о сельском хозяйстве в Московской Руси было бы желательным не разъяснение общего критического вопроса о степени достоверности писцовых книг, а специальная, как бы сказать, техническая установка способа, как следует их читать и понимать, чтобы пользоваться ими как источником для истории народного и именно сельского хозяйства.

Писцовое дело в древней Руси имело свою технику, еще не вполне выясненную, и в писцовых книгах не мало условностей, о которых можно спорить. Тем или другим решением этих спорных подробностей условливаются способы ученого пользования источником. Как составлялись обывательские «сказки» для писца и по ним производился писцовый «досмотр», как писец писал «по своему наезду», когда «сказывались ему сами», как составленные писцами книги сличались в Поместном приказе с подлинными сказками и почему между ними оказывались несходства — все моменты и приемы писцового дела надобно выяснить читателю, чтобы он не затруднялся понять, почему исследователь пользуется писцовыми книгами так, а не иначе, какое значение придает извлекаемым из них данным. Если бы для выяснения всего этого в писцовых книгах XVI в. не нашлось достаточных указаний, можно обратиться к XVII в., потому что основные приемы и цели дела оставались прежние, хотя обстоятельства, при которых составлялись позднейшие писцовые книги, были иные, по замечанию автора в упомянутой его статье.

Писцовые книги — это книги «сошного письма», а сошное письмо не совсем кадастр, или кадастр, как его понимали в древней Руси. Внимание писца было обращено не на точное определение совокупности наличных хозяйственных средств, даже не на определение тягловой «мóчи» податных сил, а на поддержание или подъем прежнего уровня фискальной доходности описываемого податного округа, на то, чтобы в государевых податях перед прежними писцовыми книгами ничего «не убыло», а по возможности «прибыло». Писец высчитывал условные окладные единицы, а не действительные платежные силы. Эти окладные единицы, *сохи* с их подразделением — *вытями*, высчитывались чисто математически, по пространству «пашни паханой», без внимания к колебаниям в хозяйственном положении плательщиков; вследствие того обложение иногда оказывалось непосильным, и целые деревни пустели «от государевых податей и от тяжелые описи». Условность писцового кадастра увеличивалась еще тем, что в состав этой пашни паханой, числившейся при дворах «в живущем», т. е. в тягле, не вводилась пашня «наезжая» на стороне, в лесу, в «диком поле» или неокладных пустошах, где такие угодья были, а этой наезжей, так сказать, сверхштатной пашни в иных местах было намного больше живущей, окладной, тогда как в других она совсем отсутствовала. При таких приемах описи и оклада писцовые сохи и вытя теряли характер действительных хозяйственных величин, а становились счетными окладными единицами, напоминающими ревизские души Петра Великого. Неизбежная при таком порядке неравномерность обложения могла быть устраняема или облегчаема только мирской раскладкой «по силе», по сравнительной тягловой способности каждого тяглового двора.

Такие недостатки или неудобства писцового дела подавали немало поводов к ошибкам и злоупотреблениям со стороны писцов, к разнообразным изворотам со стороны плательщиков. Возможны были и в XVI в. случаи, подобные тому, о котором доносил кн. В. В. Голицыну приказчик его Боев: писец «раденьем» своего помощника отмежевал сыну князя вместо указанных 450 четвертей целых 1000 четвертей. С другой стороны, из одного акта начала XVII в. узнаем, что «*прожиточные крестьяне* горланы с себя убавливали пашни, с выги

стали жить на полвыти или на трети, не хотя государевых податей платити, а те свои доли наметывали на молодых людей, а вместо той своей пашни пашут на пустошах и сено косят на пустых долях». Казна в свою очередь изощрялась в мерах противодействия этим ухищрениям, предписывала крестьянам тяглых пашен с себя не сбавливать, платить с своих вытей «по животом и по промыслом», а пустые выти отдавала крестьянам пахать из четвертого либо пятого снопа, смотря по пашне, а сено косить из денежного найму. При таких отношениях писцовое дело было ареной двойной борьбы плательщика с писцом и казной и казны с писцом и плательщиком. При чтении такого крупного и научно-интересного по новизне предмета труда, как исследование г. Рожкова, надежда найти в нем сравнительно-критическую оценку возможных способов проверки писцовых книг является не требованием «строгого судьи», о котором говорит автор в предисловии, а скромным желанием читателя, которому хотелось бы освоиться с любопытным, но довольно запутанным материалом, положенным в основу работы. Для самого писца при господстве у него фискальных целей наиболее энергичным коррективом должно было служить сличение скоплавшихся в его руках данных с прежними книгами: если его опись давала значительный минус, понижение окладного дохода, предстоял «дозор», ревизия, своего рода следствие над писцом и плательщиками. Но дозорщик был такой же писец, как и тот, кого проверял и поправлял он. Потому казна по крайней мере в XVII в. не вполне полагалась на ревизионный способ обеспечения своего интереса и искала опоры в религиозно-нравственном средстве. По государевым указам и боярским приговорам 1648 и 1649 гг., подтвержденным в 1687 г., в делах о поземельных дачах старым приправочным и платежным и даже старым писцовым книгам до 1622 г. верить не велено, «а велено верить писцовым книгам с 130 (1622) г., потому что писцы посыланы были за крестным целованием»³.

Автор, по его собственному признанию в предисловии, нашел себя вынужденным отказаться от специального критического изучения писцовых книг «с целью уменьшить размеры исследования» и ограничился в одном из приложений указаниями на неправильное вычисление

лесных площадей писцами XVI в. и на ошибочность их итогов, а потом библиографическими замечаниями об отдельных писцовых книгах XVI в., весьма полезными для будущих исследователей этих памятников⁴. Но в писцовых книгах остается еще много такого, что требует предварительного детального объяснения, без которого неизбежны недоразумения. Прежде всего этого требует лексикология писцовых книг. Чем, например, отличался лес *поверстный* от *десятинного* или что значил лес *пашенный*, назывался он так потому, что вырос на заброшенной пашне, или потому, что в нем распахивалась пашня (выражения писцовых книг: «пашни перелогом и лесом поросло», «лесу пашенного десять *нив*»)?

На отдельном примере можно видеть неудобства, порождаемые указанным пробелом в книге автора. Во второй главе он высчитывает размеры крестьянской запашки на двор и рабочего в шести областях, на которые он разделил Московскую Русь в сельскохозяйственном отношении. Собранные им из разных источников данные за весь XVI в. о размерах крестьянской пашни, о количестве крестьянских дворов, ее пахавших, и численности рабочего земледельческого населения их он свел в таблицу⁵. Из этой таблицы видим, что за сравнительно незначительными исключениями на крестьянский двор приходилось всего по одному земледельческому рабочему: именно на 14 226 дворов по этой таблице приходится 14 281 рабочий, т. е. по 1,04 рабочего на 1 двор. Внимание невольно останавливается на такой статистической неожиданности. Мы привыкли думать, что личный состав русского крестьянского двора в продолжение веков все сокращался, а теперь оказывается, что три-четыре века назад он, пожалуй, был даже малолюднее нынешнего, в котором статистики считают средним числом около 1½ взрослого работника (от 18 до 60 лет)⁶. Дело объясняется условной техникой писцовых книг, о которой была речь выше. Эти книги, перечисляя тяглые дворы, поименовывают и «людей во дворе», обыкновенно одного человека, реже двоих, весьма редко больше. Автор и принял этих людей «во дворе» за единственных рабочих, предполагая или заставляя думать, что ими ограничивалось все взрослое мужское население крестьянского двора XVI в. Но это только домохозяева, Рабочий состав двора был сложнее.

Автор не рассматривает подробно состава крестьянского двора XVI в., касаясь этого предмета по частям и мимоходом. Между прочим, описывая формы сельскохозяйственного производства в северной полосе, он говорит о *складниках, соседях* или *сябрах*⁷. Он видит в соседях тех же складников, членов землевладельческих товариществ. Но между теми и другими, между соседями и складниками, была существенная разница. Прежде всего надобно отметить, что слово *соседи* уже к концу XVI в., даже раньше, начало приобретать значение людей, живущих рядом: в таком значении, единственном, оставшемся за ним впоследствии, является оно и именно рядом со складниками в так называемом *Судебнике* царя Федора Иоановича 1589 г., по статье 225 которого «суседи» — не все складники, а только живущие в смежных дворах⁸. С подобным значением встречаем это слово и в Псковской судной грамоте. Но кроме этого топографического значения, *сосед* в старину имел еще значение хозяйственно-юридическое, отличное от *складника*. Складник — товарищ-приобретатель; первоначальная основа складничества — приобретение земельного владения в складчину. Сосед — участник в готовом земельном владении или хозяйстве. Совместно приобретенным владением складники могли владеть совместно или раздельно: это было делом их доброй воли; со временем складники-приобретатели заменялись людьми, к которым их владельческие права переходили путем наследования или отчуждения. В том и другом случае владельцы продолжали зваться складниками, совладельцами, так как даже при раздельном владении пашней угодья и даже хозяйственные постройки оставались в совместном или долевом пользовании. Сосед — участник в чужом владении по соглашению с владельцем. Предмет соглашения — сотрудничество в несении податных тягостей, лежащих на владении, и участие в его обработке и эксплуатации. По отношению к составу двора разница была еще в том, что складники обыкновенно жили особыми дворами, а жилье соседа причислялось к двору хозяина. В описании Западного Полесья автор упоминает еще о *захребетниках*, видя в них наемных рабочих, батраков⁹. Но захребетниками бывали и отцы за своими сыновьями, которым они сдали свои участки. Притом в той же переписной книге Шелонской

пятины 1498 г., в которой автор насчитывает до 15 захребетников, некоторые из них являются не бездомными батраками, а людьми, живущими в особых, по-видимому, своих собственных дворах, наряду с крестьянами-дворовладельцами: это явление, очень редкое, следовало бы объяснить¹⁰.

Соседи и захребетники при домохозяевах — это не все рабочие элементы крестьянского двора, в состав которого входили еще сыновья домохозяев, их братья, племянники, зятья, также *подсоседники*. Переписные книги XVII в., перечисляя все эти составные элементы двора, разделяют их на два разряда: 1) на «людей во дворах» и 2) на их детей, братьев, племянников, соседей, подсоседников и захребетников. Конечно, не везде в состав крестьянского двора входили все эти элементы. В иных местах чаще встречаются соседи и подсоседники, в других захребетники. Предстоит изучить географическое распространение этих званий с их местными значениями. Людей второго разряда по местам значительно больше людей первого, иногда вдвое, втрое и даже более, так что на двор приходилось круглым числом иногда до пяти и более человек и притом только взрослых работников (с 15 лет), кроме «недорослей», которые перечислялись особо. Встречались на Севере, в Архангельском краю, крестьянские дворы с мужским взрослым населением свыше 10 человек и все родственников. Писцовые книги XVI в. в перечнях дворов поименовывают только людей первого разряда, как лиц, которые принимали на себя ответственность за исправное отбывание тягла, лежавшего на дворе. Эти люди так и назывались «тяглыми и письменными», записанными в тягло по книгам. Если в этих письменных людях писцовых книг предположить все рабочее мужское население крестьянских дворов, трудно будет объяснить некоторые явления в тогдашнем земледельческом хозяйстве. По этим книгам нередко во главе крестьянских дворов оставались вдовы крестьян; такие дворы так и назывались «вдовьими». За этими дворовладельцами надобно предполагать настоящих землевладельческих работников, какими и являются при них в переписных книгах XVII в. их сыновья и «соседи». Или по книге Тверского уезда 1540 г. в починке Стопкине двое в одном дворе пахали всего три десятины, а в починке Иванове один двор с одним записанным в нем

жильцом обрабатывал 27 дес., в деревне Титунове два двора, с одним жильцом каждый, были в состоянии пахать даже 75 дес.¹¹ Действительный рабочий состав этих дворов едва ли мог соответствовать числу людей, какое показано в них писцовой книгой.

Другой вопрос и, кажется, еще недостаточно выясненный доселе, — почему, по каким признакам некоторые обыватели двора заносились в писцовую книгу как лица ответственные за двор и в чем состояла их ответственность? Характерный случай в этом отношении встречаем в писцовой книге того же Тверского уезда 1580 г.¹² В селе Едиманове один крестьянин, сидевший на чети выти, должен был платить всякие подати еще с $\frac{1}{6}$ выти, доли своего зятя, «с пуста, и от того охудал и одолжал», а потому писцы дали ему на эту долю льготы на два года. Если крестьянин оплачивал запустевшую долю своего зятя, значит, зять жил во дворе тестя, от него «не в отделе». Очевидно также, что тесть не в состоянии был сам обрабатывать зятней доли; следовательно, зять, живя с ним в одном дворе, обрабатывал свою шестину своими средствами, своим инвентарем, имел свое земледельческое хозяйство и, вероятно, свою избу на дворе тестя. Если тесть и зять, составляя один двор, не совместно обрабатывали подворный участок, а разделили его на особые доли и однако тестю пришлось через силу оплачивать опустевшую долю зятя, как свою собственную, значит, этот раздел был делом их частного соглашения, а не обязательством, положенным на них казной или сельским миром. Они сообща взяли в свое держание, или «владение», участок в $\frac{5}{12}$ выти, оба были записаны в книгу, как люди *письменные*, совместно ответственные, разделили участок между собою на неравные доли по силе каждого, и, когда одного совладельца не стало, ответственность за совместное обязательство вся перешла на другого, который остался «в лице». Так, по-видимому, было дело.

Все это вводит в гуманный круг хозяйственных и юридических отношений, какие устанавливались между составными элементами крестьянского двора, и показывает, как важно выяснение этих отношений для понимания строя тогдашней сельскохозяйственной жизни. Эти отношения вскрываются и с другой стороны. Неписьменные обыватели двора, как люди вольные, могли сво-

бодно выходить из состава. Для людей письменных правительство стесняло свободу передвижения уже во второй половине XVI в. Землевладельцам, заселявшим свои земли, запрещалось принимать к себе людей тяглых и письменных, а принятых велено было возвращать по требованию местных властей на старые места. Разрешалось перезывать от отцов детей, от братьев братьев, от дядей племянников; но в одной грамоте встречаем любопытную прибавку к этому перечню: «и от сусед захребетников»¹³. Из этого неясного выражения можно, однако, заключить, что самих «суседов» нельзя было перезывать; стало быть, они вообще считались людьми письменными и составные элементы двора представляли своего рода иерархию, степени которой различались хозяйственным и юридическим отношением к главному дворохозяину, мерой участия в его землевладельческом хозяйстве и уровнем собственной хозяйственной достаточности.

Указанные неудобства исследования произошли от недостаточно осторожного отношения исследователя к основным своим источникам; другие вышли из отношения этих источников к задачам, какие он решает на их основании. По-видимому, автор приступал к работе над своими источниками с полным подробно разработанным планом труда, по отделам которого и распределял встречавшиеся данные. Это помогло ему внести в свое исследование цельность и твердость взгляда на предмет, стройность и последовательность развития темы. Но при этом он принужден был бороться с затруднением, вытекавшим из свойства материала, над которым он работал. Давая обильные или по крайней мере достаточно указания по одним, более простым отделам программы, например о размерах барской, холопией и крестьянской записки или о внутренней и внешней торговле хлебом, этот материал оказывался недостаточно способным отвечать на трудные научные вопросы, с какими обращался к нему автор в других отделах. Писцовые книги, сохранившиеся от XVI в., не обнимают с достаточной равномерностью ни всего этого столетия, ни всей территории Московского государства, а грамоты Коллегии экономии, равно как и другие акты, которыми пользовался автор, дают отрывочные, случайные указания, по которым трудно делать надежные широкие

обобщения и которые могут входить только мозаическими подробностями, как частичные дополнения и иллюстрации, в общее изображение предмета по писцовым книгам. Таким источникам могут оказаться не под силу слишком сложные или глубокие вопросы, требующие некоторой широты и полноты наблюдения.

Приведем один пример. Изложив известия о климате Московской Руси XVI в., автор приходит к заключению, что «эти известия не дают оснований для предположения о более или менее значительных переменах в климате с XVI столетия до нашего времени». Одним из обстоятельств, которые «могли способствовать некоторым отличиям древнерусского климата от современного», он признает обширные лесные пространства, теперь сократившиеся¹⁴.

Чтобы вопросу о влиянии лесистости страны на ее климат дать научно ценное решение, исследователю необходимы данные, которые указывали бы достаточно точное количество лесов на значительном сплошном пространстве. «Нет сомнения, — пишет автор, приступая к исследованию лесов Центральной области, — что здесь была очень значительная территория, почти столь же бедная лесами, как и теперь». Такою территорию он признает 15 уездов, группировавшихся около Москвы и отчасти к северу и северо-западу от столицы, да один уезд к северо-востоку от нее — Юрьево-Польский. Но приводимые автором наблюдения доказывают даже больше того, что он утверждает: оказывается, что эта территория была не почти столь же скудна лесами, как и теперь, а много скуднее теперешнего. Так, в писцовой книге 1584—1586 гг. в 11 станах Московского уезда на 172 тыс. дес. поместных и вотчинных земель, по счету автора, леса показано всего 5137 дес., что составляет 2,9%¹⁵. Пространство описанных в книге частновладельческих земель в этих станах равняется почти 0,72 нынешнего Московского уезда (240 тыс. дес.). Между тем, по данным 1881 г., в этом уезде значилось 108 тыс. дес., т. е. по пропорции 72 к 100 в 15 раз больше, чем триста лет назад. Очевидно, здесь или какой-нибудь недосмотр, или неудачный выбор исключительной местности, которая по своей исключительности не доказывает никакого правила. Вероятнее последнее: в этих 11 станах, составлявших немного менее 72% всей площади

нынешнего Московского уезда, тогда пашни значилось, по счету автора, 163 тыс. дес., а в 1881 г. во всем Московском уезде распахивалось только 66 тыс.¹⁶ Итак, автору подвернулась местность исключительная, по тому времени перенаселенная. В приложении I автор свел в таблицу дополнительные сведения о размерах лесов в XVI в. по 11 уездам разных полос, в том числе и по Московскому¹⁷. Об этой таблице он говорит в тексте: «Целый ряд мелких наблюдений над отдельными имениями частных лиц подтверждает, что в Московском уезде XVI в. лесу было мало»¹⁸. Эти слова надобно понимать так, что наблюдения над отдельными частными имениями подтверждают скудость леса в частных имениях Московского уезда, а не в Московском уезде вообще, что не одно и то же. Неудобство этого расчета в том и состоит, что он построен на мелких наблюдениях только над 20 мелкими частными имениями Московского уезда, которые своими лесами ничего не могут сказать на общий вопрос о количестве леса даже в частных имениях того же уезда, потому что все в совокупности заключали в себе всего 3195 дес. на 163 тыс. пахотной земли и 314 дес. на 5137 дес. леса во всех частных имениях 11 станов уезда по книге 1584—1586 гг., как считает сам автор. Слишком тесно поле наблюдения, чтобы из столь малых величин делать такие крупные выводы. Надобно припомнить обширные лесные рощи для царской охоты и царские заповедные леса, которыми исстари окружена была Москва, также рассеянные в разных местах царские «дикие» и «вопчие» леса, в которые окрестные обыватели могли въезжать «для хорошего и дровяного лесу про себя, а не на продажу». Все эти казенные лесные площади или совсем не попадали в писцовые книги, или отмечались писцом глухо, без точного измерения, тем не менее влияли на климат страны, как и на хозяйство окрестных крестьян и землевладельцев.

Таким же способом определено процентное отношение леса и в уездах Звенигородском, Рузском, Верейском, Волоколамском, Дмитровском, Тверском, Кашинском и в остальных из тех 16 уездов, которые составляли скудную лесом территорию Центральной полосы и которые автор называет «почти безлесными местностями московского центра»: всюду здесь процент лесной

площади у автора ниже выведенного, по данным 1881 г., иногда во много раз. Трудно сказать, можно ли по лесам на землях Троицкого и Новодевичьего монастырей в Кашинском уезде заключить, что в этом уезде «под лесом было только 0,9% *всей* площади», т. е. в 22 раза меньше, чем в 1881 г.: количество монастырских лесов, как и отношение монастырских земель ко всей площади уезда, у автора не обозначено¹⁹. В общем выводе о распределении лесов автор говорит, что «только довольно значительная местность в Центре и в Степи по лесистости подходила к современным условиям»²⁰. Кажется бы, по отношению к Центру автор шел к другому выводу в том смысле, что эта полоса по лесистости далеко не подходила к современным условиям, как страна «почти безлесная». На всем остальном громадном пространстве страны автор находит «настоящее лесное царство», и здесь мозаически собранные данные и процентные выводы подтверждают взятое на глаз общее впечатление тогдашних наблюдателей. Но опыт автора с лесами показал также, что источники XVI в. при их настоящей обработке не в состоянии дать более точного ответа на вопрос о количестве и географическом распределении лесов в Московской России.

То же затруднение чувствуется и при решении других вопросов. Автор видит в наезжей пашне и перелогe признаки упадка, «регресса» земледелия²¹. Но они не всегда имели такое значение. Наезжая пашня иногда является следствием не ухудшения хлебопашества, а перемещения хлебопашца: крестьянин переходил в соседнее селение, но не покидал своего участка, продолжая пахать его наездом. Чаше такая пашня была признаком не упадка, а зачатка земледелия там, где его не было, или средством его поддержания там, где оно падало: наездом или разрабатывались пустоши, или обрабатывались доли, покинутые прежними работниками. Увеличивался рабочий состав двора, а вместе с ним и рабочий инвентарь: распахивалась по близости пустошь, на которой потом садился «на льготе» отделявшийся сын от отца, либо брат от брата и т. п. Тогда «пустая пашня, паханая наездом», превращалась в жилой починок или деревню. Вообще наезжая пашня вызывалась потребностью расширения или передвижения крестьянского труда, обыкновенно не понижая сама по себе его техники, и сам

автор на 226 тыс. дес. нормальной пашни в Коломенском уезде мог найти не более 49 дес. наезжей пашни «в одном поле» без правильного трехпольного севооборота. Неправильность наезжей пашни была не столько агрономическая, сколько юридическая: пользование ею было фактическое, не нормированное законом, и, как мы видели выше, подавало повод к злоупотреблениям. Мысль о ее нормировке встречаем в так называемом Судебнике царя Федора Иоановича: одна статья этого проекта позволяла пахать деревню наездом не более 3 лет, а потом такая деревня должна быть сдаваема законным порядком «с суда и с жеребья». В связи с наезжей пашней рос и перелог. Автор видит благоприятный признак в том, что на монастырских и митрополичьих землях Костромского уезда в 1562 г. было мало или совсем не было ни наезжей пашни, ни перелога, и признает некоторым ухудшением «системы земледелия» появление первой и увеличение второго к концу века²². Но в этом можно видеть и другое: к 1562 г. у поселенцев или их ближайших преемников еще не успело накопиться много выпаханной пашни, требовавшей отдыха, а 30—40 лет спустя у монастырей Троицкого Сергиева и Ипатьевского образовалось перелога гораздо больше, чем сколько прежде было пашни паханой; появился и «наезд», пробная разведка будущих поселений и распашек. Зато и пашня паханая и наезжая в этот промежуток времени у первого монастыря увеличилась почти в 4, а у второго почти в 2¹/₂ раза; излишек был распахан либо из-под старого монастырского леса, либо из новых приобретений обоих монастырей: очевидно, крестьянам здесь было что забрасывать под перелог и было что распахивать вновь. Едва ли в этих успехах монастырского земельного хозяйства можно видеть какое-либо ухудшение системы тогдашнего земледелия.

Руководясь своим взглядом на перелог и наезжую пашню, автор замечает в двух уездах, Нижегородском и Коломенском, «прогрессивное движение сельскохозяйственной промышленности, постепенно усиливающееся к концу века»²³. В половине XVI в. хозяйство в Нижегородском уезде находилось «в совершенном расстройстве». Об этом автор заключает из того, что в 1554 г. деревня Гнилица с 9 дворами всю свою пашню пахала наездом, в одном имении Благовещенского монастыря

вся земля — 975 дес. была в перелог, а в 1576 г. во владениях Печерского монастыря пашни было 600 дес., а перелогу — 1650 дес. Но Гнилица была оброчная бортная деревня: ей отведен был дворцовый бортный лес, за который она и платила оброку в год по 2 пуда меду, и не было отведено ни одной десятины тяглой пашни; она уже сама расчистила себе в своем лесу наезжей, нетяглой пашни, сколько ей было надобно. А 2625 дес. перелога у монастырей Благовещенского и Печерского если и показывают совершенное расстройство хозяйства, то только у этих монастырей, а не во всем уезде, в котором и при нынешних его пределах считается до 200 тыс. десятин земли. Тем не менее, по словам автора, к концу века «уезд ушел далеко вперед». В чем же это обнаружилось? В 1587 г. в дворцовых, бортных и мордовских селах на 6382 дес. пашни оказалось в $4\frac{1}{2}$ раза больше перелогу и нашлось только одно имение, где «торжествует» уже лучшая система: «при 192 дес. пашни на перелог приходилось здесь только 150 дес.». Сам автор принужден признаться в заключение, что «по отношению к Нижегородскому уезду может быть речь только об относительном улучшении земледельческой культуры в сравнении с явлениями, наблюдаемыми в половине столетия». Зато в Коломенском уезде «высокое состояние полевого хозяйства в конце столетия ясно и само по себе»: у Троицкого Сергиева монастыря на 1317 дес. пашни приходилось залежи только 652 дес., а в одной черной волости еще в 1561 г. при 5179 дес. пашни было лишь 22 дес. перелога. Но итог по *всему* Коломенскому уезду (по книге 1578 г.) совсем разрушил это высокое состояние: наезжая пашня и перелог почти в $3\frac{1}{2}$ раза превосходили тяглую пашню, которой было 51186 дес., и этот «несравненно менее благоприятный вывод» едва ли смягчается тем, что автор вычитает из неблагоприятного итога большую половину перелога и почти всю наезжую пашню, так как то и другое значит в пустых вотчинах и поместьях: от этого наезжая пашня не переставала быть наезжей, а перелог перелогом. Так наглядно обнаружилась опасность крупных выводов, сделанных из бесконечно малых величин. Числовое данное только при известной количественной высоте или при известном отношении его как части к своему целому перестает быть случайностью и становится фактом.

Автору поневоле приходилось прибегать к выводам, столь шатко обоснованным: к тому приводило свойство его источников и тех научных запросов, с которыми он к ним обращался. В писцовых книгах и отдельных грамотах, уцелевших от XVI в., исследователь сельского хозяйства находит дефективные, отрывочные данные, недостаточные для полного изучения предмета, и принужден рассматривать явления сквозь этот тусклый просвет, не дающий им всестороннего освещения. Эта неполнота материала иногда вынуждала автора случайные местные явления возводить в общий факт, предположения в положения, из недостаточных данных делать решительные выводы. Приступив к работе с готовой схемой, построенной из общих политико-экономических и сельскохозяйственных представлений, автор усиленно искал осуществления этой схемы в строе русской сельскохозяйственной жизни XVI в., ловил в источниках малейшие признаки, намекавшие ему на искомый процесс, и видел движение взад или вперед, «регресс или прогресс» сельскохозяйственного производства там, где имел дело только с известиями о несходных местных условиях или положениях сельского хозяйства, — вообще шел не от данных к выводам, а от предположений к данным.

Такой способ исследования, частью вынужденный, отразился на ходе изучения факта, составляющего едва ли не центральный пункт диссертации и изложенного во втором ее тезисе²⁴: в центральных уездах государства в первой половине XVI в. господствовала «паровая зерновая» система земледелия с незначительным количеством залежи (менее половины пахотной земли) и с трехпольным севооборотом, а в последнем тридцатилетии XVI в. в уездах, занимавших средину и северо-запад Центра, как и в большей части Новгородско-Псковской земли (Западного Полесья), получает преобладание переложная система полевого хозяйства²⁵. Этот тезис автор признает «чрезвычайно важным выводом», в констатируемом им факте видит «земледельческий регресс», и мысль о его причинах не покидает его на всем протяжении исследования: в конце первой главы он замечает, что этого регресса нельзя объяснить ни техническими требованиями скотоводства, ни одними естественными условиями этих областей, в конце второй — что сокращение дворовой крестьянской запашки, замечаемое в

одно время с переходом к переложной системе в Центре и в Западном Полесье, не зависело от уменьшения населенности двора, в конце четвертой — что причин упадка благосостояния крестьян, бывшего следствием этого сокращения, надо искать не в государственном обложении и не в росте землевладельческого оброка, в конце пятой — что и не в условиях торговли следует искать причин упадка сельскохозяйственного производства в тех областях. Наконец, изучение вопроса о распределении населения и о колонизации в шестой главе приводит автора к тому основному положению, что «населенность Центра и Западного Полесья в течение века постепенно и неуклонно слабела», но что запустение этих областей, бегство населения является только «подкладкою земледельческого регресса», а не его причиной. Чтобы найти эту причину, «надо идти дальше, поискать разрешения вопроса о причинах самого отлива населения»²⁶.

Так перед исследователем становится ряд одновременных явлений, в которых проявлялся один общий процесс народнохозяйственной жизни: отлив населения из двух старых областей, упадок системы земледелия, сокращение крестьянской запашки и тесно связанное с ним расширение барской пашни и холопьяго земледелия. Оставалось найти внутреннюю связь между этими явлениями, выяснить, что здесь было причиной и что следствием. Изыскивая эту причину в последней главе, автор прибавляет к перечисленным явлениям еще одно — постепенно усиливающееся преобладание помещного и монастырского землевладения. В этом преобладании он и видит непосредственную причину упадка сельскохозяйственного производства, оба эти вида земельного владения признает «вредными в сельскохозяйственном отношении»²⁷.

Наиболее характерными симптомами упадка земледелия автор признает сокращение средней запашки на крестьянский двор и рост перелога. Первый признак иллюстрируется таблицей, представляющей ход этого сокращения на монастырских землях Центра и Западного Полесья с 1552 г. до конца века²⁸. С методологической стороны таблица эта не совсем понятна. Чтобы показать постепенное уменьшение крестьянской пашни, следовало проследить его на протяжении ряда лет по

нескольким уездам в одних и тех же местностях или имениях. Таблица построена на другом основании: она берет за известный год вотчины одного монастыря в одном уезде за другой год вотчины другого монастыря в другом уезде и т. д. Из того, что на 199 дес. Толгского монастыря в Ярославском уезде приходилось в 1556 г. по 16 дес. на крестьянский двор, а в боровской вотчине Троицкого Сергиева монастыря в 1594 г. на 579 дес. — всего по 4,8 дес. на двор, не следует, конечно, что в эти 38 лет соразмерно тому сократилась крестьянская запашка и в Ярославском, и в других уездах Центра, и не только на монастырских, но и на других землях. В иных уездах, например в Переяславльском, по таблице, одновременно существовали и крупные, и мелкие нормы подворной запашки от 18 до 7 дес. на двор. Разнообразная величина запашки могла зависеть от местных условий уездов и отдельных имений, не указывая на постепенное общее ее понижение. К другому признаку упадка относится таблица, показывающая отношение перелога к пашне²⁹. По замечанию автора, эта таблица убеждает, что за редкими исключениями сельскохозяйственное производство находилось в лучшем состоянии на церковных (принадлежавших отдельным церквям), дворцовых черных землях и в служилых вотчинах, чем на землях монастырских, архиерейских и поместных. Но она не вполне поддерживает это убеждение. Она составлена из показаний, заимствованных из писцовых книг двух новгородских пятин и г. Пскова с пригородами, трех центральных и трех степных уездов, и показывает разное: в иных уездах в лучшем состоянии сравнительно с землями всех других видов оказываются земли монастырские, в других — земли церковные, архиерейские или дворцовые, а в некоторых поместьям принадлежит преимущество перед землями церковными, монастырскими и даже перед служилыми вотчинами. Но если бы таблица даже вполне поддержала мысль автора, она только внесла бы этим еще большее затруднение в дело. Поясняя во второй главе труда таблицу сокращения подворной крестьянской запашки с 1570-х годов на монастырских землях центральных уездов, автор доказывал, что этот процесс одновременно совершался и на землях других видов, черных дворцовых, служилых, и приведенные им данные показывают, что дворцовые

земли и служилые вотчины в этом отношении падали даже ниже уровня земель поместных и монастырских³⁰. А сокращение крестьянской запашки автор признает таким же признаком упадка земледелия, как и расширение перелога.

Вопрос о земледельческом кризисе во второй половине века — основной вопрос исследования — получает у автора такую постановку. Отлив населения из Центра и Западного Полесья, по мнению автора, не причина, а только подкладка земледельческого регресса. Чтобы объяснить происхождение этого регресса, надобно идти дальше и найти причину самого этого отлива. Причина найдена «в постепенном росте поместного и крупного монастырского землевладения», недостатки которого, по выражению автора, заставляли крестьян целыми массами отливать из Центра и Западного Полесья. Как теперь оказывается, что-то заставляло крестьян бежать и с других земель, не разделявших этих недостатков. Самые эти недостатки, которыми автор объясняет плохое состояние поместного и монастырского сельского хозяйства, — большею частью отдельные случаи или предположения и не могли иметь решающего в деле значения, если даже вполне соответствуют действительности³¹. Очевидно, действовала более общая причина, простиравшая свое действие не на одни поместные и монастырские земли. В иных местах поместья до половины XVI в. являются с признаками благоустройства, с хорошей крестьянской запашкой, с незначительным перелогом, а потом расстраивались, хотя переходили в дворцовое ведомство. Не в видах землевладения было дело.

Надобно поставить автору в большую заслугу возбуждение вопроса о сельскохозяйственном кризисе во второй половине века; но решение его нуждается в пересмотре. Условия, создавшие этот кризис, не ограничивались сферой сельского хозяйства, произвели общий и один из самых крутых переломов, когда-либо испытанных русским народным трудом, и когда вопрос будет обследован возможно разностороннее, тогда, может быть, и самый процесс получит иное освещение и иную оценку, явления, какими он обнаруживался, станут перед исследователем в другом сочетании и взаимоотношении, причины окажутся следствиями и наоборот.

Указанные пробелы, недосмотры, проблематичные положения — не столько недостатки рассматриваемого исследования, сколько затруднения, с которыми пришлось бороться исследователю и которых он не успел вполне преодолеть по свойству предмета и по состоянию своих источников. Методологические и другие затруднения и неудачи неизбежны во всяком научном труде, который ставит важные и мало подготовленные в литературе предмета задачи и для решения их принужден пользоваться мало тронутым и притом недостаточным материалом. Но почин в трудном деле сохраняет свою цену при всяких недочетах в исполнении. Несмотря на все встреченные затруднения, автору благодаря его настойчивости и умению не бояться мелочной, хотя бы микроскопической работы удалось добиться серьезных научных результатов.

Прежде всего надобно признать большой заслугой автора то, что он собрал обильный и разнообразный архивный материал по разным отраслям народного хозяйства Московской Руси и данные, относящиеся к сельскому хозяйству, подвергнул тщательной разборке в длинном ряде статистических таблиц, которые внес в текст своей книги и в приложении к ней. Этот материал и эти таблицы много помогут при дальнейшей разработке предмета, исследованного автором, и пригодятся даже при решении многих вопросов, не входивших прямо в программу его диссертации.

В истории Московского государства у нас охотнее изучались юридические отношения, чем подробности экономической жизни народа. Особенно много оставалось пробелов в строе сельского хозяйства, в движении главной производительной силы страны — земледелия: ни материал не был в должной мере обследован и даже приведен в известность, ни задачи и приемы изучения достаточно прочно установлены. Исследование г. Рожкова надолго останется в руках изучающих историю этого государства по весьма значительному ряду подробностей сельскохозяйственной жизни, которые им впервые разработаны и выяснены посредством тщательного детального изучения источников, большую часть неизданных и трудных для изучения или отрывочных. Каждая глава книги дает читателю такую работу над какой-либо отраслью сельского хозяйства,

иногда по несколько таких работ, ценных либо по новизне предмета, либо по обилию собранных данных. Достаточно просмотреть целые страницы цитат, которыми сопровождается очерк земледельческих орудий, употреблявшихся в XVI в., чтобы видеть, какого микроскопического изучения стоили такие работы³². Помощью настойчивых статистических наблюдений автор детально осветил много мелких, мало заметных процессов, какие происходили в русском сельском хозяйстве XVI в., но из совокупности которых складывались крупные исторические факты. Так, при изучении крестьянских платежей в казну и землевладельцам автору удалось впервые выяснить одну любопытную подробность государственного обложения земли — *обеление*, освобождение от тягла барской пашни, и определить его время, условия и размеры³³. Потом книга дает ответы на многие вопросы по истории сельского хозяйства Московской Руси, доселе оставшиеся недостаточно обследованными, или по крайней мере сообщает обильный материал для дальнейшей разработки таких вопросов: именно о размерах лесов в частных имениях, о сравнительной величине пашни, перелога и луговой земли, о видах хлебов и других культурных растений, производившихся в XVI в., о росте барской и холопьею пашни в связи с расширением перелога к концу XVI в., о размерах средней запашки на крестьянский двор по областям, о движении цен на хлеб, скот и землю в течение века, о видах и размерах государственного поземельного налога и землевладельческого оброка, о запустении центральных уездов и Западного Полесья с 1570-х годов, о местном распределении, размерах и количественном отношении разных видов земельного владения, о количестве населенных мест и числе крестьянских дворов на поселение, об условиях и степени напряженности мобилизации земельной собственности в XVI в., об отношении пашни к перелогу и проч.

Приемы исследования, какие применил автор к своему труду, его способ обращения с источниками, некоторые выводы, им добытые, могут быть изменены, улучшены и исправлены при дальнейшей обработке предмета другими исследователями, даже им самим помощью опыта и размышления. Но книга г. Рожкова несомненно облегчит самое отношение исследователей

к той области русско-исторического изучения, из которой взята ее тема: исследователь будет входить в эту область с меньшим смущением, без тяжелого чувства риска, с более ясным представлением о свойстве источников, о количестве требуемого их изучением труда и о степени разрешимости научных вопросов, с какими можно или желательно было бы к ним обратиться.

Признавая исследование г. *Рожкова* серьезным научным трудом, думаю, что оно вполне заслуживает искомой автором премии.

ПАМЯТИ Т. Н. ГРАНОВСКОГО

(умер 4 октября 1855 г.)

Полвека прошло, как закрылась могила Грановского. От него пошло университетское предание, которое чувствует, которое носит в себе всякий русский образованный человек. Все мы более или менее — ученики Грановского и преклоняемся перед его чистою памятью, ибо Грановский, не другой кто, создал для последующих поколений русской науки идеальный первообраз профессора. Едва он успел закрыть глаза, а Соловьев, Дмитриев, Бабст, Кавелин, Чичерин уже благоговейно приникают к памяти человека, с которым расходились в иных научных взглядах, в складе ума и характера. Их соединяла с Грановским идея, которая в свое время и привлекала студентов в его аудиторию.

Грановский преподавал науку о прошедшем, а слушатели выносили из его лекций веру в свое будущее, ту веру, которая светила им путеводной звездой среди самых беспросветных ночей нашей жизни. Лекции Грановского о Греции и Риме, о феодальном средневековье воспитывали деятельную любовь к русскому отечеству, ту энтузиастическую жажду работы на его благо, ту крепость общественного духа, которая помогла лучшим русским людям минувшего полувека пронести на своих плечах сквозь вековые препятствия все тягости преобразовательной эпохи. История, сохраняя в чтении Грановского свой строгий характер науки, становилась

учительницей жизни. Это Грановский научил свою аудиторию ценить научное знание как общественную силу. С его времени, с его публичных лекций Московский университет стал средоточием лучших чаяний и помыслов для образованного русского общества. Грановский завязал ту внутреннюю духовную связь между Московским университетом и обществом, которая крепка доселе и для обоих стала старозаветной традицией. *Наш университет, наш Грановский* — эти слова стали привычными выражениями в Москве с того времени. Эта связь в многотысячном лице московского студенчества тонкими нитями расходилась далеко-далеко от Москвы во все стороны². В эпоху общего нравственного колебания и общественного уныния Грановский, вещая правду и свободу, стоял на своем месте твердо и прямо. Имя его стало лозунгом, символом общественного возрождения, совершаемого переработкой слова науки в дело жизни.

Таково предание, сложившееся о Грановском в продолжение пятидесяти лет со дня его смерти. Можно было бы думать, что мысль Грановского, привыкшая работать над великими мировыми делами и деятелями, неохотно обращалась к отечественной истории, к ее невзрачным или печальным явлениям, о которых повествуют тощие страницы его летописей. Но русская история стояла вокруг Грановского со всеми своими тяжелыми условиями, над которыми поработали века. От этой истории, точнее, от действительности, ею созданной, невозможно было укрыться в академическую келью: она вторгалась в каждое независимое личное существование со своими грубыми требованиями. Да и натура Грановского была не такова, чтобы он мог стать ученым-отшельником. Он рано почувствовал, что только упорной борьбой можно пронести сквозь толщу тогдашней жизни общественные начала, которым он решил служить. Он искал вокруг себя и прежде всего в своей аудитории свежих сил, которые можно было бы подготовить к делу. В 1845 г., предупреждая задуманную студентами оvacию, Грановский, тогда 32-летний преподаватель, сказал в аудитории своим слушателям, что он и они принадлежат к молодому поколению, в руках которого жизнь и будущее отечества, что им предстоит долгое служение «нашей великой России»,

преобразованной Петром, идущей вперед и с одинаковым презрением относящейся и к клевете иноземцев, которые видят в нас только легкомысленных подражателей Западу, и к «старческим жалобам людей, которые любят не живую Русь, а ветхий призрак, вызванный ими из могилы, и нечестиво преклоняются перед кумиром, созданным их праздным воображением». «Побережем себя на великое служение», — сказал в заключение Грановский³. В этих словах выразился его взгляд на свое профессорское дело, а в этом взгляде сказалось глубокое понимание окружающих условий, в которых жило русское общество. Нужно было действовать не только на мысль, но и на *настроение* и готовить деятелей для будущего. Грановский и смотрел на свою аудиторию как на школу гражданского воспитания. Художественная обработка изложения, мягкий пафос профессора помогали слушателю переноситься в область общественно-исторических идей, которые в будущем, в деятелях, выраставших из слушателей, уже сами приложатся к действительности и облагоделят ее. Грановский не проводил своих идей как запретного товара среди поразительной наивности правительства, видевшего конституционную прокламацию в альманахе, и среди пугливого общества, чувшего запах революции в трескучем письме Погодина. Лояльно — прямо, возвышенно и художественно он воспитывал в слушателях на своих исторических построениях, на уроках, даваемых ходом истории, идею долга и ответственности перед обществом. И этим Грановский шевелил смутную тревогу в людях николаевского режима. Его долго не пускали в деканы, чтобы затруднить ему общение со студентами и влияние на строй преподавания, ославили чуть не тайным революционером, а после его, всколыхнувших московское общество, публичных курсов, позаботились, чтобы в Москве забыли, что такое публичные университетские лекции. Но самую идею профессорской деятельности Грановского все более цепеневшие казенные руки уловить и задушить были бессильны.

Жизненная драма Грановского навеивает глубокую грусть. Грановский верил и надеялся, верил в свое дело и надеялся на его успех. Веру он мужественно сберег до конца, но успех становился все безнадежнее,

особенно после 1848 г., хотя в личности Грановского соединялись свойства, способные в⁴ другом порядке⁴ обеспечить ему торжество. Он обладал в высшей степени силой нравственного обаяния, тайна которого скрывалась во всем его духовном складе. Это был оптимист в лучшем смысле слова. Не игнорируя зла, он во всем и во всех искал добра, в каждом явлении умел находить положительную сторону; в его широком взгляде на жизнь и историю смягчались слишком односторонние или резкие направления. Так отзывались о нем люди, хорошо его знавшие, без различия личного к нему отношения. Отрицание было совсем не свойственно его ясному и стройному уму. Но, примирительный по природе, он не был уступчив в принципах. Мягкость отношений соединялась у него с твердостью характера; никого не вызывая на бой, он никому не хотел сдаваться. Между тем вокруг себя он видел только нетерпимость или духовную апатию. Под гнетом господствовавшего порядка люди озлоблялись или теряли нравственное и общественное понимание. Известен невольный идейный разрыв Грановского с ближайшими друзьями, известно и то, как он утратил веру в их эмигрантскую деятельность. Еще более известны ужасные слова его про славянофилов: «Эти люди противны мне, как гробы; от них пахнет мертвечиной; ни одной светлой мысли, ни одного благородного взгляда; оппозиция их бесплодна, потому что основана на одном отрицании всего, что сделано у нас в полтора столетия новейшей истории». Но, разорвав с обеими оппозициями в обществе, он не стал менее подозрителен для правительства, и там не могли ничего усвоить из того, за что он стоял. Он изверился, наконец, и в будущем. Заступаясь за Петра, он написал Герцену полные уныния слова: «Надобно носить в себе много веры и любви, чтобы сохранить какую-нибудь надежду на будущность самого сильного и крепкого из славянских племен; наши матросы и солдаты славно умирают в Крыму, но жить здесь никто не умеет». Но Грановский умел сохранить эту веру и любовь, остался рыцарем, как его называли, благороднейшим крестоносцем, шедшим беззаветно к своей обетованной цели, без надежды на победу, но и без страха перед поражением. Весть о падении Севастополя заставила его плакать. Всего за несколько

недель до смерти, уже больной, он писал: «Будь я здоров, я ушел бы в милицию, без желания победы России, но с желанием умереть за нее; душа наболела за это время; здесь все порядочные люди поникли головами». И, однако, он не опускал рук⁵. В последнем письме он жалуется на несвоевременность своей болезни, через двое суток покончившей его жизнь: у него много спешной работы; ему, как декану, надо много сделать для факультета, для улучшения преподавания; он задумал с Кудрявцевым журнал *Исторический сборник*, надеясь, что «эластическое слово *исторический* дало бы издателям возможность касаться самых жизненных вопросов», уговаривает Кавелина стряхнуть лень и снова взяться за дело... Грановский не разбивал своих скрижалей.

В 1855 г. Грановскому случилось увидеть портрет Петра Великого, писанный с мертвого, вероятно, тотчас после кончины преобразователя. «Мне кажется, — писал Грановский, — я был бы в состоянии по целым часам стоять перед этой картиной; я охотно отдал бы за нее любимые книги мои». Его поразило выражение бледного лица на фоне красной подушки. «Верхняя часть божественно прекрасного лица запечатлена величавым спокойствием: мысли нет более, но выражение ее осталось. Такой красоты я не видал никогда. Но жизнь еще как будто не застыла в нижней части лица. Уста сжаты гневом и скорбью; они как будто дрожат. Целый вечер смотрел я на это изображение человека, который дал нам право на историю и едва ли не один заявил наше историческое призвание».

Теперь, спустя 50 лет по смерти Грановского, можно еще представить себе скорбный облик, с каким он ушел из жизни, подобный посмертному облику любимого им Петра, можно представить его в сонме таких же обликов, таких же теней гнева и скорби: Кавелин, думавший, что с освобождением крестьян все в России изменится к лучшему, С. М. Соловьев, веривший, что встающий от времени до времени русский богатырь вынесет Россию на своих плечах, Чичерин, в 1860-х годах предпочитавший «честное самодержавие несостоятельному представительству», а 30 лет спустя принужденный печатать за границей свои последние и заветные мысли, и много, много других, менее видных людей⁶.

Все это были люди меры и порядка, надеявшиеся на улучшение действительности, и все они были обмануты в своих надеждах. Каждый независимый русский общественный деятель таит в себе хотя малую крупницу Петра Великого, своего духовного родоначальника, и каждый уходит с той же печатью гнева и скорби на сомкнутых устах.

ЛЕКЦИИ ПО РУССКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ

ЛЕКЦИЯ I

Г. З. Байер. — Его трактат о варягах. — Г. Ф. Миллер. — Сибирская экспедиция. — Речь «О происхождении народа и имени российского»

Г. З. Байер Со второй половины 1725 г.¹ приглашенные русским правительством западноевропейские ученые стали съезжаться в Петербург. В числе их был *Готлиб Зигфрид Байер* (1694—1738), преподаватель классических древностей в Кенигсберге. Он родился в 1694 г., еще в гимназии усердно занимался латинским языком и предпочитал его немецкому; он сам признавался, что отвык мыслить по-немецки и думал по-латыни. Он усердно изучал Восток, его языки и древности и успел приобрести необыкновенную массу познаний в восточных языках. От усиленных занятий он стал страдать нервными припадками и ясновидением, впал в тоску². Блументорст пригласил его в Петербургскую академию на кафедру истории, но Байер выбрал древности классические и восточные и восточные языки. Он получал жалованье в 600 руб. с казенной квартирой. По расчету хлебных цен 1 рубль времени Екатерины I равен 8 руб., из этого можно заключить, что тогдашний оклад академика был значительно выше нынешнего (около 5 тыс. руб.). Байер хотел изучать китайский язык; Феофан Прокопович и Остерман помогали ему отчасти в этом деле. Но постепенно он стал интересоваться местной историей, только не хотел изучать русского языка. При Академии наук издавались ученые записки, «Комментарии»; Байер вел в них исторический отдел.

Но доступное ему поле вопросов русской истории было очень нешироко³. Байер занялся изучением иностранных источников начальной истории России, греко-латинских, немецких и скандинавских. Его труды по критической разработке этих источников оказали несомненную пользу русской историографии. В «Комментариях» с конца 20-х годов он поместил ряд специальных исследований по истории и исторической географии России, о происхождении и первоначальных жилищах скифов, «*De russionum prima expeditione constantinopolitana*» (Comment., VI, 365) и много других. Самой важной из этих работ была его диссертация «*De varagis*»⁴. Недовольный порядками в Петербургской академии, Байер стал подумывать о возвращении на родину⁵; смерть в 1738 г. помешала этому.

**Его трактат
о варягах**

Трактат о варягах, открывший длинный ряд исследований по этому вопросу, послужил краеугольным камнем целой норманской теории⁶. Байер ставит вопрос в довольно тесных границах. Он отправляется от сказания нашей Начальной летописи, по Кенигсбергскому списку, который прямо цитует⁷, с которой он познакомился с помощью Паузе⁸. Он сосредоточил свое внимание на одном пункте — факте призвания князей из варягов. Байер так начинает свой рассказ: «Исстари русами владели варяги; потом их прогнали, Гостомysl начал править государством. Но вследствие неурядиц он дал совет призвать тех же варягов, и был призван Рюрик с братьями»⁹. Он прежде всего опровергает появляющееся в наших летописных сводах с XVI в. сказание о призвании Рюрика из Пруссии¹⁰; далее, он не согласился и с мнением Герберштейна о происхождении варягов от вагров, славянского племени из Голштинии. Он утверждал, что это простое созвучие. Опровергая эти мнения, Байер ставит тезис, что варяги были из Скандинавии и Дании¹¹; это были воины благородного происхождения, союзники русов, нанимавшиеся на военную службу к ним. Они же были царскими телохранителями, оберегателями границ, и по ним все шведы, норвежцы и датчане стали слыть за варягов. Здесь он сделал слабый намек на отношения Руси к варягам. Хотя русские летописцы ведут рассказ от Рюрика, но смутно помнят, что он происходит от прежних русских государей, варягов же¹².

Байер далее излагает свои основания. Во-первых, он ссылается на рассказ Бертинской летописи о послах Руси в Константинополе (839), где послы названы шведами. Затем он обращается к скандинавским сагам и другим северным и западным источникам и приводит из этих источников доказательства тому, что имена первых князей и их дружинников все скандинавские, только Синеуса не мог объяснить. Впоследствии многое здесь оказалось неверным, натянутым¹³, но самый прием доказательства держится доселе. Таким образом, Байер приходит к выводу, что *варяги были скандинавы*. Относительно значения слова¹⁴ Байер принимает мнение одного скандинавского ученого, что *варяг* — от эстонского *varas* — разбойник, сопоставляя с ним русское *вор*¹⁵. Он старался успокоить русское самолюбие¹⁶ сравнением с греческими пиратами¹⁷, нередко основывавшими государства. Изучая скандинавские саги, он встретил вместе со словом «викинг» слово «*vaeringiag*» — наемные стражи, охранители, от корня *varga* — беречь, охранять: *Ajo, milites svionas. . .*¹⁸ Еще до Байера было высказано кем-то мнение, что *vaeringiag* значит *гвардия*. В таком значении они (варанги)¹⁹ являлись на службу византийских императоров. Так называли себя, по мнению Байера, сами скандинавские выходцы²⁰. Русь и привыкла прилагать это название ко всем выходцам из-за моря. Вывод Байера лег в основу учения *норманской школы*.

Г. Ф. Миллер Указаниями Байера пользовался молодой немецкий ученый, также приглашенный в Академию наук при ее открытии. Это был *Герард Фридрих Миллер* (1705—1783). Он родился в 1705 г. и кончил свое образование в Лейпцигском университете — отсюда его и вызвал в Петербург Блюментрост, президент Академии²¹. Молодой ученый был вызван в качестве академического студента (это учитель академической гимназии) с окладом жалованья в 200 руб. Он взял на себя преподавание латинского языка, исторической географии в открытой при Академии гимназии. Библиотекарь академии и советник академической канцелярии Шумахер, всемогущий воротила, поручал Миллеру различные издательские работы. Он получил звание профессора Академии вместе с математиком Эйлером. Миллер хотел прочно устроиться, составил себе хорошо рассчитанный план жизни. Он хотел

жениться на дочери Шумахера, чтобы наследовать его должность и заниматься изучением энциклопедии наук, чтобы подготовить себя к должности библиотекаря такой обширной библиотеки. По смерти отца он ездил за границу, но, вернувшись, увидел, что Шумахер на него более смотреть не хочет. Миллер сообразил тогда, что всего больше условий для успеха представляла ему разработка такой неведомой области историографии, как начало русской истории. Байер поддерживал его намерение не без личного расчета; он ему советовал поспешить с изучением русского языка, чтобы потом сделать его своим помощником по разработке источников русской истории. Миллер предложил Академии наук издавать собрание памятников по русской истории, которое и стало выходить начиная с 1732 г. на немецком языке²². В этом сборнике помещались извлечения и переводы из летописей и других неизданных памятников²³. Для переводов он пригласил также немца Паузе, бывшего учителя в школе Глюка. В списке летописи, которым пользовался Паузе, так называемом Кенигсбергском, как и в некоторых других, заглавие — «Повесть временных лет черноризца Феодосьева монастыря». При переводе Паузе допустил несколько грубых ошибок: так, в черноризце Феодосиева монастыря он увидел самого основателя монастыря, и этот промах долго повторялся в заграничной литературе.

**Сибирская
экспедиция**

В 1732 г. находился в Петербурге Беринг, возвратившийся из известной экспедиции, назначенной еще Петром Великим и снаряженной при Екатерине I. Тогда готовилась вторая камчатская экспедиция, между прочим для устройства плавания в Камчатку Ледовитым океаном вместо трудного сухопутного переезда через Сибирь. Миллер, наскучив академическими дрязгами, решил принять участие в этой экспедиции. Он провел вместе с натуралистом Гмелиным в путешествии 10 лет (от 1733 до 1743 г.) и возвратился в Петербург в 1743 г. Изучение сибирских архивов он начал с Тобольска, перерыл архивы во многих других городах, нанимал писцов для переписки интересовавших его документов и все эти материалы привез с собой в Петербург. Так составил известный портфель Миллера: более 30 фолиантов — запас, не исчерпанный еще и доселе²⁴. Миллер

изучал также быт различных народов, встреченных им на пути. Вернувшись в Петербург, Миллер составил обширный план изучения русской истории и географии и представил его на рассмотрение в Академию. Миллер предлагал учредить при Академии особый департамент для сочинения истории и географии Российской империи, который должен был состоять под председательством историографа²⁵: последний должен был иметь при себе двух адъюнктов; один должен был помогать ему составлять самую историю и географию, другой — непременно из русских — должен был по поручению историографа разъезжать по империи для собирания нужных сведений. При них должны были находиться один переводчик и два переписчика в качестве студентов, которые, обучаясь при Академии языкам и наукам, подготавливались бы к должности адъюнктов. Необходимая сумма для содержания этого департамента русской истории и географии исчислена в 3500 руб. Граф Разумовский, президент Академии с 1746 г., отклонил предложение Миллера. Миллеру и другому академику — Фишеру²⁶ была поручена разработка сибирской истории. «Описание Сибирского царства» Миллера печаталось в 1748—1749 гг. Этот труд показывает, что Миллер сделал большие успехи в изучении русских летописей и других исторических памятников. Первые шаги в этой области были соединены с большими трудностями²⁷. В 1747 г. Миллер возобновил свой контракт с Академией и назначен был *историографом* с переходом в русское подданство; вместе с тем он сделался ректором академического университета с освобождением от обязанности читать лекции.

Речь
«О происхождении
народа и имени
российского»

6 сентября 1749 г., на другой день после тезоименитства императрицы Елизаветы Петровны, должно было состояться торжественное заседание Академии, для которого поручено было Миллеру и Ломоносову составить речи. Миллер написал на латинском языке речь «О происхождении народа и имени российского»²⁸. Эта речь, имеющая важное значение в русской историографии, надолго усеяла терниями путь Миллера. В 1734 г. в Академии было решено обратиться к сенату за разрешением издать русские летописи без всяких изменений. Сенат признал себя не

компетентным в этом деле и обратился к св. Синоду²⁹; «последний же объявил, что это только нанесет ущерб казенному капиталу, так как летописи полны лжи, и кто прочитает первый том, не купит уже второго». В таком положении находилась русская наука, когда Миллер готовился произнести свою речь. Некий Крекшин³⁰, оскорбленный Миллером, распустил слухи, что в рукописях Миллера находились места, позорящие русский народ. По академическим обычаям речь Миллера была отдана на рассмотрение комиссии³¹, в состав которой входили Тредьяковский и Ломоносов. Тредьяковский поступил с большим тактом: он не нашел в речи Миллера ничего предосудительного. «Все предосуждение сделал сам себе сочинитель выбором столь спорной материи»³². Ломоносов нашел речь ночи подобной и говорил, зачем автор упустил лучший случай восхвалить русский народ. Речь Миллера, уже печатавшуюся, велено было отобрать у него³³. По жалобе Миллера на пристрастие судей президент велел рассмотреть речь на генеральном собрании Академии, где автор мог бы защищать свои взгляды. Рассмотрение речи с диспутами продолжалось с октября 1749 г. по март 1750 и отличалось большой бурностью. Большинство академиков высказалось против речи, и она не была не только прочитана, но ее отобрали и постановили уничтожить, так как она предосудительна для России³⁴.

ЛЕКЦИЯ II

Г. Ф. Миллер и варяжский вопрос. — Возражения Академии. — Доводы М. В. Ломоносова. — Дальнейшая деятельность Миллера. — В. К. Тредьяковский. — М. В. Ломоносов

Г. Ф. Миллер и варяжский вопрос Миллер этой речью открыл длинный ряд ученых споров по так называемому варяжскому вопросу. Миллер в своей речи хотел, собственно, решить вторую часть вопроса — о Руси³⁵, но по своему задорному характеру он обострил выводы Байера, каждому положению придал форму, щекотливую для русского самолюбия. Вот почему его речь возбудила такой шум в петербургском обществе.

Миллер доказывал в своей речи три главных тезиса³⁶. Первый из них основан на рассказе Начальной летописи о приходе славян с Дуная на Днепр. Это переселение совершилось, по мнению Миллера, уже в христианские времена, не раньше Юстиниана. Миллер доказывал, что славяне были прогнаны с Дуная на Днепр волохами-римлянами и поселились в стране, занятой финнами.

Второй тезис состоит в отождествлении варягов со скандинавами (у Байера варяги — это нарицательное, не собственное племенное имя).

Третий тезис состоит в тождестве руси с варягами. Стало, скандинавы дали Руси государей. Это — новая мысль.

Эти положения и вызвали³⁷ бурю. Причиной запальчивости этих возражений было общее настроение той минуты, когда была написана речь. Речь Миллера явилась не во время; то был самый разгар национального возбуждения, которое появилось после царствования Анны и которому была обязана престолом Елизавета Петровна. Минувшее десятилетие стало предметом самых ожесточенных нападков; даже церковные проповеди обратились в политические памфлеты, направленные против этого темного десятилетия. С церковной кафедры говорили, что хищные совы и нетопыри засели тогда в гнезде российского орла. Новое, национальное царствование началось среди войны со Швецией, которая кончилась миром в Або 1743 г. В это время готовиться сказать по случаю тезоименитства государыни на торжественном заседании Академии, что шведы дали Руси и народное имя и государей, едва ли значило украсить торжество³⁸.

Академики, рассматривавшие речь по поручению президента, дали такой отзыв: во всей речи автор ни одного случая не показал, который служил бы к славе русского народа, а говорит только то, что служит к его уничтожению³⁹. Тредьяковский опять в длинной записке признал диссертацию вероятней даже всех других систем по тому же предмету и задался вопросом, кто такие были россы. Он собрал всевозможные известия о россах — всюду шарил, даже в Шотландии и Туркестане. Слово «росс» навело его на мысль, что оно произошло от слова «рази», следовательно, они были очень воинственные. У византийцев они звались россами от русских волос, у Страбона — от роксалан, у Прокопия — от глагола «рассеиваться». Но все это не удовлетворяет исследователя. Вдруг он разворачивает летопись и находит в ней известное место: «суть новгородцы варяжское племя, прежде быша словене»⁴⁰. Тредьяковский отбрасывает свои прежние догадки. Взгляд Миллера кажется ему весьма вероятным; он не одобряет только формы, в какой Миллер его выражает. Он говорит: нагая истина ненависть рождает⁴¹.

С Ломоносовым разделаться было труднее. Его доводы не столько *убедительны*, сколько *жестоки*. Положения Миллера, по мнению Ломоносова, не только шатки, но

и опасны: 1) они произведут соблазн в православной церкви ⁴², потому что Миллер полагает поселение славян на Днепре и в Новгороде уже после времен апостольских, а русская церковь ежегодно вспоминает хождение апостола Андрея Первозванного на Днепр и в Новгород к славянам, где крест его, и ныне высочайшим ее величества указом строится на том месте каменная церковь; 2) если, как утверждает Миллер, хождение это есть сказка, то что же сделать с орденом Андрея Первозванного? 3) Байер и Миллер так рассуждают: варяги, т. е. русь, произошли от скандинавов, а имя — от финского племени ⁴³. Значит, шведы нам дали князей, а чухна — имя? Свое возражение Ломоносов заканчивает словами, что речь Миллера не может служить к чести российской Академии и побуждать российский народ на любовь к наукам. Миллер действительно потерпел за речь. По крайней мере она была косвенным источником тех преследований, которым он подвергся. Теперь ему все начинали ставить в строку. Он получал жалованье профессора, но уже 18 лет, как ректор академического университета, не читал лекций; теперь отняли у него ректорство, президент предложил ему читать лекции по всеобщей истории. Наконец, Миллера разжаловали из профессоров в адъюнкты с жалованьем в 360 вместо 1 тыс. руб. После ему возвратили и звание и оклад. Забавной интермедией к этой истории может служить пародия на речь Миллера, написанная Шумахером ⁴⁴. В одном письме он касается речи Миллера и находит в ней много учености, но мало благоразумия. Если бы ему, Шумахеру, пришлось говорить речь, он сказал бы: Происхождение всех народов весьма неизвестно: каждый производит себя то от богов, то от героев. Так как я говорю о русском народе, то я прежде всего приведу мнения различных писателей, а потом выскажу и свое мнение. Такой-то думает и т. д. Я же, основываясь на шведских писателях, представляю себе, что русская нация происходит от скандинавских народов. Впрочем, откуда бы ни происходил русский народ, он всегда был народом храбрым, отличавшимся геройскими подвигами. По краткости времени коснемся только замечательнейших, отложив прочие до другого случая. Здесь он мог бы говорить о подвигах князей, царей, императоров и императриц. А Миллер хотел умничать —

так ништо ему! Habeat sibi, дорого заплатит за свое тщеславие ⁴⁵.

Все это любопытно для характеристики ученой и нравственной обстановки, среди которой развивалась русская историография в XVIII в.

Дальнейшая
деятельность
Миллера

Деятельность Миллера продолжалась еще долго после этой злосчастной речи. Он представил план издания первого учено-литературного журнала в России, то были «Ежемесячные сочинения», редактором которых назначен был Миллер ⁴⁶. «Ежемесячные сочинения» начали выходить с 1755 г. ⁴⁷ Миллер поместил в них множество своих специальных работ по русской истории, географии и этнографии. В первом году он поместил замечательную для того времени критическую статью о Несторовой летописи, о составе ее и значении как исторического источника. Она долго служила основанием ученых суждений об этом памятнике. Взгляд Миллера очень основателен; он говорит, что ни у одного славянского народа нет подобной летописи, да и во всей анналистической литературе нет памятника, столь древнего и важного; вот почему он считает необходимым издать летопись для обращения в народе. «Ежемесячные сочинения» прекратились в 1765 г., когда Миллер перешел на службу в Москву, а преемника ему по редактированию журнала в Академии не нашлось. Наскучив академическими интригами, Миллер охотно принял предложение на место главного смотрителя Воспитательного дома в Москве, но уже в следующем году он благодаря князю Голицыну стал начальником Московского архива иностранной коллегии. С этой минуты ожил этот архив, столь важный для русской истории. Здесь хранится не одна дипломатическая переписка московского правительства с конца XV в.; Посольский приказ заведовал и другими отраслями управления, и все документы по этим частям государственного управления также сохранились в его архиве, причем в замечательной полноте. Миллер почувствовал себя, как дома, в этой атмосфере. Он начал систематическое описание архива, продолженное его преемниками. Кроме того, он начал обрабатывать находившийся там материал; он хотел написать новую русскую историю начиная со времени самозванцев.

Ломоносов не спускал глаз с Миллера долго после речи и в Москве⁴⁸; он очень опасался работ Миллера, в каждом его произведении он видел занозливость и предосудительные речи, говорил, что Миллер замечает только пятна на одежде российского тела, не замечая ее украшений.

Первые статьи Миллера по новой русской истории были напечатаны еще в «Ежемесячных сочинениях»⁴⁹. Ломоносов подал записку и добился того, что Миллеру было запрещено продолжать его труды.

Екатерина благоволила к Миллеру и купила у него за 20 тыс. руб. его богатую рукописную библиотеку, которая присоединена была к Петербургской публичной библиотеке. Миллер умер в 1783 г. Важнейшие его сочинения: 1) «Речь о происхождении имени и народа русского»; 2) начатое им «Описание сибирского царства» и 3) «Опыт новейшей истории России». После Татищева в XVIII в. никто не сделал больше по собиранию и предварительной обработке источников русской истории⁵⁰.

В. К. Тредьяковский Академик профессор *Василий Кириллович Тредьяковский* (1703—1769), первоначально примкнувший к мнению Миллера по вопросу о варяжском происхождении Руси, потом перешел на сторону его противников, вероятно, под влиянием взглядов Ломоносова и Татищева. Роль Тредьяковского в Академии была очень печальна: он постоянно был «сатирически прободаем». Это происходило от полного отсутствия у него литературного таланта. В 1758 г. он написал три исторические диссертации. В этих трех диссертациях, тесно между собой связанных единством мысли, Тредьяковский примыкает частью к Татищеву, частью к Ломоносову. Он доказывает, что некогда, еще до немцев, в Пруссии господствовали славяне. Он потратил много учености, чтобы доказать свои положения; но о них можно сказать, что в них много пустоши, часто досадительной и для России предосудительной, как сказал Ломоносов о сочинениях Миллера. Для доказательства своих положений он дает полную волю воображению в области грамматики: Каледония — Хладония (холодная страна), скифы — от «скитаться», варяги — от ворять, предварять (забегать вперед), сарматы — от замарать и пр. Легко понять, что эти исследования не могли оставить заметного следа в русской историографии.

М. В. Ломоносов *Болезнь* *Михаила Васильевича Ломоносова* (1711—1765)⁵¹. Нападки Ломоносова на Миллера не просто личного свойства: они вытекали из его патриотических взглядов⁵².

Ломоносов случайно должен был приняться за изложение русской истории — работу, ему наименее сподручную. И без того ученые его работы были чрезвычайно разнообразны; что он со вниманием относился к современному гигиеническому и экономическому положению народа, это доказывает его письмо к Шувалову о средствах к размножению и сохранению русского народа. Сами немцы признавали огромные таланты и ум Ломоносова, но они говорили, что с ним жить нельзя по его самолюбию⁵³. Он нашел себе покровителя в лице знаменитого тогда мецената Ив. Ив. Шувалова. Последний (через посредство которого Вольтеру было предложено написать историю Петра Великого) задался мыслью создать историю России, составленную в патриотическом направлении. Разумеется, за такое дело естественнее всего было взяться первому уму и самому блестящему перу в России. Шувалов доложил об этом императрице, и она изъявила свою волю⁵⁴. После этого отказываться уже нельзя было. Поручение, очевидно, было официальное. До нас дошли отчеты Ломоносова Шувалову по исполнению этого поручения. Ломоносов тотчас вошел в сношения с Татищевым, который жил тогда в своей подмосковной деревне, махнув рукой на свой громадный труд. Ломоносов собрал важнейших писателей, древних и средневековых, у которых находились известия о России, и все это тщательно прочитал. В отчетах Шувалову он говорил о том, что прочитал и сколько выписок сделал. Пожилой ученый, очевидно, с трудом одолевал громадный и непривычный материал. Среди этих усиленных работ Ломоносов с горечью должен был покидать свои занятия в химической лаборатории⁵⁵, которые он притом считал очень полезными для России⁵⁶. В 1753 г. Ломоносов обещал окончить первый том своей истории, но кончил работу только в 1763 г. Он умер в 1765 г., а этот первый том вышел в 1766 г. Здесь находится прежде всего свод известий о России иностранных писателей, а потом рассказ по Начальной летописи до смерти Ярослава. Сохранилось известие, что Ломоносов пригото-

вил еще две части, но где они, неизвестно. Чтобы встать на дорогу Миллеру, Ломоносов приготовил сокращенный рассказ о Смутном времени, но он утерян.

Ломоносов приступил к обработке русской истории с тенденцией, подсказанной ему патриотическим настроением елизаветинского общества. Он хотел восполнить пробел в русской истории, он хотел сделаться русским Ливием, который «открыл бы миру древность и славу русского народа». Судьбы русского народа мало известны не по своему внутреннему качеству, а по случайному обстоятельству, потому что они не нашли до сих пор талантливого историка⁵⁷. Пока он оставался на почве начальной истории и имел дело с отдельными *фактами*, он показал свою силу: его критический очерк в некоторых частях и до сих пор не утратил своего значения. Но когда ему пришлось иметь дело с явлениями древней *жизни*, которую он начал обдумывать, только когда стал писать, он оказался просто повествовательным риториком.

ЛЕКЦИЯ III

Исторические труды М. В. Ломоносова. — Исторические взгляды М. В. Ломоносова. — Направления в историографии в середине XVIII в. — Скептицизм западников. — Люборусы. — Стародумы. — Сравнительно-апологетическое направление

Исторические труды М. В. Ломоносова «Древней российской историей» Ломоносова завершились труды по русской истории в царствование Елизаветы. Этот труд по смерти автора не получил большого распространения в обществе и не оказал большого влияния ни на историческое сознание общества, ни на ход историографии. Он разве только поддержал до времени Карамзина потребность в художественном изложении русской истории. Довольно сухой рассказ этот не мог удовлетворять вкус читающего общества времени Екатерины II. Гораздо большее значение если не в развитии русской историографии, то в развитии исторической любознательности, вкуса к историческому чтению имела сокращенная переделка этого труда (1760 г.) — «Краткий русский летописец»⁵⁸. Это очень любопытный опыт краткого учебного руководства. Изложив историю происхождения русского народа, Ломоносов дает здесь краткую таблицу русских государей. Перечень царей оканчивается Петром Великим. При имени каждого государя сообщаются главные события его княжения. Этот короткий перечень живо напоминает собой те конспекты по истории, которые готовит каждый гимназист к выпускному экзамену. К этому перечню присоединена родословная таблица российских государей. «Краткий российский летописец» Ломоносова во все царствование Екатерины был довольно распространенным школьным руководством по русской истории.

В исторических взглядах Ломоносова отразилось влияние господствующей идеи царствования Елизаветы: Россия живет для самой себя и должна все делать своими руками — такова была господствующая мысль того времени. В этом взгляде сказалось сознание народной силы, а творцом этой силы был Петр; вот чем объясняется культ Петра, который характеризует то время⁵⁹. Созданию этого культа содействовал отчасти и сам Ломоносов («Похвальное слово Петру» в 1755 г.). Это был последний момент союза между стремлением к самобытности и поклонением перед реформой Петра. В царствование Елизаветы еще не сопоставляли реформы Петра с той жизнью, которую она реформировала: тогда еще древнюю Россию не думали ссорить с новой. Патриотический подъем народного духа, разумеется, как он выражался в высшем обществе, нуждался в историческом оправдании. При таком взгляде на задачу историографии понятны приемы Ломоносова в изложении русской истории. Он хотел показать, что русская национальная гордость не случайное настроение какого-либо поколения, не имеющее почвы в истории. Русская история должна была обнаружить, что оно искони было присуще народу и проявилось его подвигами. Итак, чувствовалась потребность написать русскую историю, но еще не сознавали, что ее надо изучать и понимать. Ломоносов читал летописи без выписок⁶⁰; он хотел мгновенным вдохновением уловить дух русской истории. Это, очевидно, прием оратора или поэта. Потому и история Ломоносова вышла риторической, где размышления самого автора смело ставятся в ряд с историческими событиями. В отдельных местах, где требовалась догадка, ум, Ломоносов иногда высказывал блестящие идеи, которые имеют значение и теперь. Такова его мысль о смешанном составе славянских племен⁶¹, его мысль о том, что история народа обыкновенно начинается раньше, чем становится общеизвестным его имя; Ломоносов ясно рассмотрел, что волохи, напавшие на славян дунайских, были никто иные, как римляне. Он думал, что птолемеи ставаны (греческие скловинии, склавы) — это славяне⁶²; аланы — алазаны (самохвалы) — это славяне; греческие скифы — это греческая форма славянского племенного имени чуди, зна-

чит, греки взяли слово «скиф» у славян, значит, уже Геродот знал славян. Это, во всяком случае, большой шаг вперед сравнительно с филологическими догадками современника Ломоносова почтенного Тредьяковского. Но где требовалось цельное и связанное изучение всего хода русской истории, там он механически связывал явления заимствованной со стороны исторической схемой: отсюда вышло сближение его русской истории с римской. Наконец, надо отметить в труде Ломоносова исторические догадки, внушенные автору веянием времени, так сказать, патриотическим упрямством, и поэтому не имеющие научного значения. Ему никак не хотелось вывести Рюрика из Скандинавии, поэтому он, отовсюду собирая догадки, скомбинировал новую теорию: Рюрик был вызван из Пруссии, пруссы были славяне, Рюрик был варягорус, значит, варягорусы — славяне.

Направления в историографии в середине XVIII в. Можно отметить разницу между двумя направлениями в способе обработки русской истории, которые обнаружились в царствование Елизаветы. Одно — держались академики-немцы, другого — русские писатели. Первые собирали исторические документы и подвергали их тщательной исторической критике; они предпринимали ряд специальных критических исследований, не заботясь о большой публике. Писатели русские старались работать на глазах большой публики и старались представить в возможно популярном изложении весь ход русской истории. Мы увидим, что оба эти направления продолжали существовать и в царствование Екатерины. Я перехожу к изложению хода историографии в это время.

Это время отличалось значительными успехами образования и знания в умственном и нравственном развитии России преимущественно под влиянием просветительных идей. Есть показатель этих успехов: таков птенец Петра и делец петровского времени Ив. Ив. Неплюев. Он дожил до времени Екатерины, т. е. до того времени, которое перестал понимать. Он сам рассказал Голикову о своем свидании с Екатериной, а Голиков записал его рассказ. Потеряв зрение, он поехал на придворный куртаг, чтобы лично просить у императрицы отставки. Екатерина очень дорожила им, она просила его по крайней мере указать на свое место человека с та-

кими же достоинствами, как он сам. «Нет, государыня, — ответил он, — мы Петра Великого ученики, мы иначе воспитаны и иначе мыслим, а теперь воспитывают иначе. . .» При такой перемене в понятиях общества, разумеется, должны были произойти значительные перемены и во взглядах на задачи и прием исторического изучения. Писание истории должно было смениться изучением ее; украшенное повествование о прошлом или откровение свету славных дел предков сменилось потребностью уяснить себе самим ход своего прошлого; патриотическое самопрославление уступило место национальному самосознанию. Старое направление исторической мысли изменилось, притом возникли и новые направления. Переворот в пользу Екатерины, как известно, имел такое же патриотическое значение, как вступление на престол Елизаветы: оба были направлены против господства немцев. Поэтому патриотическое настроение времени Елизаветы не могло погаснуть и в царствование Екатерины, но дипломатический патриотизм народной *гордости* теперь с успехами знания обратился в нравственный патриотизм *любви* к отечеству. Согласно с этим эпопея народных героев Ломоносова обратилась в панораму народных доблестей или национальных добродетелей, как тогда любили выражаться. По мере углубления исторической мысли в свой предмет обособлялись и кристаллизовались особые, даже враждебные направления, до того времени сливавшиеся в одно настроение.

**Скептицизм
западников**

В царствование Екатерины к обработке русской истории приступали с различными точками зрения; эти точки зрения указывались различными взглядами на историческое значение России в Европе. Одни ставили своей задачей историческое изучение русского национального характера, «врожденных» (т. е. исторически сложившихся) свойств русского народа. Это направление имело в виду народно-воспитательные цели. Историография должна вскрыть запас таких «врожденных» сил народа, которые бы ободряли общество, поощряли к деятельности отечественные умы и таланты, не давая места унынию. Это направление усвоило себе полемические приемы потому, что оно должно было бороться со скептицизмом тогдашних западников, указывавших на отсталость России от Западной Европы. Самый этот

скептицизм западников конца XVIII столетия мешал им быть историками, и они не оставили важных трудов в русской историографии. Причина этого понятна. Отечественная история занимала их очень мало: у России еще нет исторического прошедшего, а есть только будущее. Главное, на что должно быть обращено внимание мыслителей,— это постепенное увеличение запаса надежд и средств к их осуществлению.

Люборусы Противники этого скептицизма называли себя *люборусами*. Как сталкивались эти два направления, показывает одна полемика, разыгравшаяся в конце царствования Екатерины на страницах «Зрителя» (в 1792 г.). Известный автор комедий Плавильщиков выразил взгляд люборусов в статье «Нечто о врожденных свойствах душ российских», напечатанной без его имени в «Зрителе». Статья была вызвана одним разговором в обществе о том, что такое национальный характер. Некий француз выразился, между прочим, что подражательность есть врожденное свойство русских; он встретил сочувствие в молодых вертопрахах. Такой взгляд, говорит автор, есть плод русского воспитания: юноши знают Цезаря, Цицерона, но ничего не слышали о Рюрике, о Владимире. Автор раскрывает в русском обществе целый ряд свойств, которых нельзя найти у других народов: неустрашимая любовь к слову, скромность, мягкосердечие.

Против такого патриотического самодовольства восстал некий из Орла и послал в «Зритель» письмо, в котором сведены взгляды тогдашних западников. Орловский публицист — тоже патриот, но смотрит на вещи с другого конца. «Неужели нельзя хвалить отечество, не соплетая чудес в его славу?» — спрашивает он. Прекрасное средство ободрить науки — говорить, что нам нечему больше учиться. Плавильщиков не оставил этого письма без возражения. С большим жаром настаивал он на том, что усвоение западной науки не должно мешать самобытности русского духа. «Не оружие, а сердца, души российские славны».

Стародумы Рядом с этим направлением пробуждается *другое* направление. Люборусы продолжали с прежним благоговением относиться к Петру и его реформе. Но стало возникать и недовольство этой реформой. Оно было вызвано, во-первых, на-

пльвом иностранцев, призванных Петром [нашествие сатаны (Бирона) и аггелов его], во-вторых, привычку к подражанию и, в-третьих, практическим, грубо утилитарным характером реформы. Спрашивали: заслуживает ли избранный образец подражания? Возникло скептическое отношение к Западу. Лучшим выражением этого скептического отношения были письма Фонвизина из-за границы⁶³. Уехав зоилом отечественных порядков, он за границей сделался их горячим поклонником. Если здесь, пишет он, раньше нас начали жить, зато мы можем дать себе такую форму, какую захотим. Тот, кто родится, кажется, счастливее того, кто умирает. Одной из причин недовольства реформой Петра было сожаление об утрате национальной самостоятельности и о материальном характере реформ; мысль возвратилась к дореформенной старине — началась идеализация ее. Это направление мы назовем историческим *стародумством*, стародумством в истории. Очень любопытное выражение его мы находим в записках княгини Дашковой⁶⁴. В 1780 г. она попала в Вену и была на обеде у графа Кауница, с которым имела разговор о Петре. Дашкова выступает с критикой реформы. Похвала Петру иностранцев, говорит она, суть простое самовосхваление. Древняя Русь выработала цельную и самобытную культуру, которую предстоит изучить, — вот взгляд сторонников этого направления.

Сравнительно-апологетическое направление

Между этими двумя направлениями стоит *третье*, как бы примирительное. Представительницей его была сама Екатерина. Она патриотически настроена; она хочет защищать прошедшее России от клеветы, но не считает нужным жертвовать правдой. России нет повода краснеть за свое прошлое. Всякий беспристрастный наблюдатель согласится, что род человеческий везде имеет одинаковые взгляды, стремления и желания и для исполнения их употреблял одинаковые средства. Это было *сравнительно-апологетическое* направление в изучении истории русского народа. Легко заметить генетическую связь его с настроением елизаветинского времени. Оно развилось, очевидно, под влиянием новых идей, из дипломатического патриотизма того времени; его цель — защитить Россию от обвинений и клеветы. И у нас не все было хорошо, но вовсе не хуже, чем у других народов, — такова точка зрения Екатерины.

ЛЕКЦИЯ IV

Новые идеи. — А. И. Мусин-Пушкин. — Издания Н. И. Новикова

Новые идеи

Мы знаем, чем вызывался и поддерживался интерес к изучению русской истории с начала XVIII в. Два мотива выступают особенно явственно: 1) чувствовавшаяся в административном миру потребность в исторических справках (Татищев); 2) раздражение щекотливого национального самолюбия, вызванное академическим решением вопроса о варягах — руси. Это национальное самолюбие по побуждению обороны стремилось сделать отечественную историю опорой для чувства народной гордости и потому хотело сделать русскую историю академическим похвальным словом в честь России (Ломоносов). Это течение в царствование Екатерины осложнилось новыми политическими и умственными идеями, которые тогда начали приливать с Запада. Не лишним будет отметить одну особенность этих идей, которая не осталась без влияния на ход историографии. Эти идеи шли, как известно, из отвлеченных рассуждений; это были философские рассуждения, столь же далекие от западноевропейской, сколько от русской действительности. Они были не выражением, а отрицанием исторически сложившегося порядка. Поэтому на их почве дружелюбно могли встретиться даже совершенно противоположные, враждебные друг другу самолюбия. Две идеи особенно были пригодны для этого: мысль о закономерности исторического процесса и мысль о необходимости и возможности

перестройки человеческого общества на началах разума. Эти две идеи при первом взгляде кажутся исключаящими одна другую. Если историческая жизнь подчинена законам, то как можно перестраивать эту жизнь? Но эта несовместимость только видимая; обе идеи связаны внутренним согласием. Историческая действительность, по взгляду философов XVIII в., есть неразумная действительность, но она вовсе не есть отрицание исторических законов, она только искажение этих законов. Значит, разумная перестройка человеческого общежития есть восстановление не силы законов, а только правильного хода их действия. Русские публицисты едва ли усвоили эти идеи во всей их полноте; руководствуясь национально-патриотическим направлением своей мысли, они извлекли из них одно представление: что исторический ход событий есть ход закономерный, естественный, самобытный. Легко понять, что это представление направилось против реформы Петра, т. е. против того же Запада. Это первый, но не последний опыт применения западноевропейского оружия против Запада же. Из этого-то представления и вышли те три направления, о которых я говорил в прошлый раз (русские апологеты, русские стародумы и люборусы).

Эти три направления представляют некоторую прогрессию в одном и том же направлении. Они были направлены в одну сторону, но взгляды их простирались неодинаково далеко. Если у нас были темные стороны, то они были и у других. Довольно мы гнулись под чужую мерку, пора нам жить самобытно, выработать свой характер. Да он уже и есть, но он закрыт привозной маской; чтобы открыть его, нужно начать изучение русской истории. Понятно, какое значение при такой точке зрения получили памятники русской истории: эти свитки хранят черты русского национального характера.

А. И. Мусин-Пушкин *Алексей Иванович Мусин-Пушкин* (1744—1818)⁶⁵ родился в 1744 г., в один год с Новиковым. Он получил образование в артиллерийском училище и состоял адъютантом при гр. Г. Орлове. Трудно понять, как и чем в людях, как Мусин-Пушкин, воспитывалась любовь к родной старине. Во всяком случае не тогдашней школой; там преподавалось все, кроме того, что касалось отечества. Может быть, здесь было влияние национально-патриот-

тического направления времен Елизаветы, еще не угасшее в то время. С любовью к родной стране Мусин-Пушкин соединял не меньшую любовь к искусствам. По выходе в отставку он предпринял трехлетнее путешествие по Европе. По возвращении он несколько лет был церемонеймейстером при дворе Екатерины, потом обер-прокурором св. Синода (1791), наконец, президентом академии художеств (1794), которая была учреждена Елизаветой и преобразована Екатериной. Обладая значительными средствами, он принялся за соби́рание письменных и вещественных памятников отечественной старины. По смерти Петра Крекшину для окончания его записок о преобразователе был открыт кабинет Петра. Мусину-Пушкину сообщили, что все книги и бумаги Крекшина куплены торговцем Сопиковым. Мусин-Пушкин немедленно купил всю кучу, не разбирая ее. Здесь оказался древнейший из известных списков Начальной летописи — Лаврентьевский. В провинции он имел комиссионеров для покупки старинных рукописей. Когда стала известна страсть Мусина-Пушкина, многие дарили ему находившиеся у них рукописи, между прочим, и сама Екатерина. Особенно обильный источник открылся Мусину-Пушкину с назначения его в обер-прокуроры св. Синода. Тогда под его рукой оказались часто знающие дело помощники из духовенства. По его настоянию Екатерина в августе 1791 г. издала указ об извлечении из монастырских архивов старинных документов. Между этими бумагами нашелся оригинальный список Русской Правды. В 1792 г. Мусин-Пушкин, вышедши в отставку, переехал в Москву; дом его на Разгуляе был всем известен. Между своими манускриптами он нашел «Слово о полку Игореве», сразу понял значение памятника и издал его в 1800 г. под заглавием «Героическая песнь о походе» и пр. Таким блестящим открытием завершились в последний год века усилия этого любителя старины.

Громадную коллекцию Мусина-Пушкина постигла печальная судьба. Мусин-Пушкин думал о том, что станет с библиотекой после его смерти. Лаврентьевский список он поднес государю, который передал его императорской публичной библиотеке, благодаря чему он и сохранился. Незадолго до нашествия французов он обратился к государю с прошением о присоединении его

рукописной библиотеки к московскому архиву иностранной коллегии. Но просьба его, к сожалению, не была тотчас исполнена; вскоре пришли французы, и, пока Мусин-Пушкин собирал в Ярославле ополчение, весь дом его с библиотекой сгорел до тла. Сам Мусин-Пушкин умер в 1818 г.

Цель его деятельности была не просто научная, а нравственно-патриотическая — «показать отцов наших почтенные обычаи и нравы». Это был антикварий-публицист, и таковы были они все. Ноты публициста звучали у него, как и у других, в самых специальных изысканиях. Он имел в виду только средства к устранению вредных последствий иноземного влияния.

Мусин-Пушкин издал Русскую Правду, Поучение Владимира Мономаха — оба памятника с примечаниями; ученые замечания постоянно прерываются жалобами на увлечение иностранным и пр.

Такое отношение к памятникам и такой взгляд на дело их изучения разделялись всеми тогдашними издателями памятников из русских. Этим и объясняется, почему в царствование Екатерины было так много изданий старых отечественных летописей: князь М. М. Щербатов, Н. И. Новиков, И. Н. Болтин и первые русские профессора в Московском университете: Поповский, по кафедре философии и риторики, и Барсов, профессор математики, а потом преемник Поповского. Издатели памятников в то время обыкновенно не подписывали своих имен, но, несомненно, в издательстве принимали участие все перечисленные лица. «Библиотеки русской истории» вышел только первый том в 1767 г. В нем был помещен Кенигсбергский, или Радзивилловский, список Начальной летописи, перешедший к нам после Семилетней войны. Изданию предпослана биография Нестора и предисловие⁶⁶, дающее подробные инструкции для издания памятников. Тогда же были изданы Никоновский список летописи, Царственная книга, летопись по Воскресенскому списку⁶⁷.

В 70-х годах за издание принялся *Николай Иванович Новиков* (1744—1818); он издал 10 книг «Древней российской вивлиофики», а в 80-х годах повторил это издание в 20 книгах с целым рядом дополнительных томов⁶⁸. Новиков предлагал план другого сборника под харак-

Издания
Н. И. Новикова

терным названием: «Сокровищница российских древностей». В 1771 г., вероятно, при содействии Барсова, при Университете основалось «Вольное российское собрание», которое в издаваемых им трудах (6 частей, М. 1774—1783) также помещало немало древних памятников (например, оно издало разрядные книги). Таким образом, к концу столетия русское читающее общество получило значительный запас разнообразных памятников русской старины. По мере накопления этого материала предпринимались попытки полного изложения хода российской истории с той же точки зрения, какой руководились сами собиратели. Из них мы остановимся на Екатерине, Щербатове и Болтине.

ЛЕКЦИЯ V

Направления в историографии во второй половине XVIII в. — Записки по русской истории Екатерины II. — М. М. Щербатов. — Теория историко-политической миссии дворянства. — Исторические труды М. М. Щербатова. — Дидактическая заметка о внутренних состояниях. — И. Н. Болтин. — Подготовка русско-историческая. — Леклерк

**Направления
в историографии
во второй
половине XVIII в.**

При первом взгляде на движение историографии времени Екатерины легко заметить одну характерную ее особенность: занятия отечественной историей становятся в это время решительно любительским делом. Им предаются люди разных состояний. К этому побуждала их одна практическая потребность. Сознывая себя руководителями России, они считали себя обязанными защищать ее от нареканий со стороны сторонних наблюдателей. Таким образом, они занимались историей с апологетико-полемическими целями. Из этих апологетико-полемических приемов особенно важен один: апологеты начинают колоть глаза врагам историей и состоянием их собственного отечества, говоря, что оно несколько не лучше истории и состояния России. Этот обычный аргумент вводит в изучение отечественной старины и настоящего России твердый принцип, развивает цельный взгляд на отношение России к Европе и к ее прошлому. Этот взгляд утверждается в обществе и литературе и дает тон позднейшим историографическим работам; под его влиянием воспитывалась и историческая мысль Карамзина. Так патриотическая тенденция, введенная в изучение отечественной истории, привела к сравнительному изучению прошлого России и Западной Европы.

В 1761 г. Парижская академия наук командировала своего ученого члена, астронома аббата Шайна (Шайн

д'Отерош. 1722—1769. *Relation d'un voyage en Sibirie*, Paris 1769) в Тобольск, чтобы наблюдать прохождение Венеры мимо солнца. По возвращении Шайн в 1768 г. издал описание своего путешествия. Здесь он пристрастно и резко изобразил быт страны, через которую он ехал, а также коснулся ее прошлого. Сочинение написано заносчиво и задорно, с французским легкомыслием и со множеством неточностей. Книга была осуждена и в Париже, например Дидеротом. Екатерина сочла своим долгом выступить с опровержением. В 1771 г. вышла в Амстердаме на французском языке книга анонимного автора: «Антидот⁶⁹, или разбор дурной, великолепно напечатанной книги...» Участие в этом издании Екатерины несомненно, хотя, может быть, «Антидот» и не весь написан ею. Автор бьет Шайна принципом космополитизма, общепризнанным тогда. Шайн, мол, описывая в дурном свете быт русских, упустил из виду, что имеет дело с людьми, а люди везде одинаковы. Он сам говорит, что побуждением к написанию «Антидота» было для него то, что ни один народ не подвергается стольким нареканиям, как русские, между тем как легко доказать, что они стоят несколько не ниже прочих европейских народов⁷⁰.

Записки
по русской истории
Екатерины II

Этот сравнительно-космополитический взгляд проведен Екатериной в ее «Записках по русской истории», которые в 1783 и 1784 гг. печатались в «Собеседнике российского слова». Записки эти, очевидно, только редактировались ею, а материал собирали Барсов, Мусин-Пушкин, Болтин. Автор преследует двоякую цель — ученую и педагогическую. Он хотел придать систематический вид своему сочинению и предпослал ему несколько историко-философических положений: что такое история, каково ее содержание и цель. История — слово греческое, обозначает деяние, она учит добро творить и зла остерегаться. Для уяснения истории отечественной необходимо знакомство с иностранной. Кроме того, история должна произносить свой суд. Записки рассказывают о событиях в летописном порядке с очень редкими критическими замечаниями. Но важна система автора; он делит ход русской истории на несколько эпох: первая простирается до 862 г., до того времени, когда начинается связный непрерывный рассказ летописи,

второй — до 1224 г., до битвы на Калке, третий — до 1462 г., до Иоанна III, четвертый — до 1613 г., пятый — до днесь. Это почти то же деление, которое и позже соблюдала русская историография.

Важнее педагогическая цель книги: она написана для чтения юношества. Автор старается внушить читающему юношеству, что главная цель истории — показать, что человечество всюду руководилось одинаковыми идеями и страстями, которые только видоизменялись под влиянием местных особенностей. В этом-то общем потоке надо стараться уловить умоначертание каждого века. Другие любители проводили эту же сравнительно-историческую идею в более обширных сочинениях.

М. М. Щербатов Преемником Миллера в звании русского историографа был князь *Михаил Михайлович Щербатов* (1733—1790). Биография его покажет побуждения, какие заставили его прийтись за изучение отечественной истории.

Князя Щербатовы шли от Михаила Черниговского и были отраслью князей Оболенских. Они нередко занимали высокие посты при московском дворе XVI и XVII вв. Некоторые были в Думе окольными и даже боярами⁷¹. Может быть, этим обстоятельством обуславливается родовитая гордость нашего публициста⁷². Он родился в 1733 г., получил хорошее домашнее воспитание, поступил на службу унтер-офицером гвардии и в 1764 г. вышел в отставку капитаном. В 1767 г. он был избран ярославским дворянством депутатом в комиссию для составления проекта нового Уложения. Впоследствии Екатерина возлагала на него некоторые важные поручения (о злоупотреблениях по службе, различные следствия). Потом он был герольдмейстером, президентом Камер-коллегии и, наконец, сенатором. В этом звании он и умер в 1790 г.

В комиссии Щербатов стал очень заметен своей начитанностью, литературной обработкой речей и пылкой борьбой за честь и интересы русского дворянства. Начитанность его объясняется его чрезвычайным трудолюбием и любознательностью — после него осталась библиотека тысяч в 50 томов. И враги не отказывали ему в здравомыслии. Его речи о дворянстве, произнесенные в комиссии, составляли тогда предмет оживленных толков в Москве. Раз зашел спор в комиссии о законе

Петра, по которому каждый, дослужившийся до обер-офицерского чина, получал потомственное дворянство. Щербатов восстал против этого закона.

Теория историко-политической миссии дворянства

Дворянское сословие, говорил он, пошло от предков, отличившихся личными доблестями на пользу отечества; личные доблести в потомстве этих деятелей перестают быть личными качествами, случайностью, а посредством примера, предания, воспитания, общественного положения делаются наследственными качествами или по крайней мере фамильным примером. Этот исторически воспитанный класс народа и должен стоять во главе общества. Когда Щербатову возражали, что если потомки доблестных предков становятся знатными людьми по рождению, то сами доблестные предки не были знатного происхождения⁷³. Щербатов «с крайним движением духа» восстал против попытки приписать русскому дворянству «подлое начало», низкое происхождение.

Эти речи выясняют перед нами тот интерес, который, не выступая в его сочинениях явно, все-таки направлял его интерес к прошедшему.

Исторические труды М. М. Щербатова

Щербатов писал много по разным вопросам права и текущей государственной жизни. Он был очень бойкий публицист в свое время. Некоторые из его сочинений до сих пор представляют живой интерес, например его «Рассмотрение о пороках и самовластии Петра Великого», «Рассуждение о голоде 1787 года». Многие изданы только в половине нынешнего века. Свою литературную деятельность он закончил знаменитой запиской «О повреждении нравов в России». Щербатов занялся изучением истории России также, вероятно, не без участия Екатерины, которая назначила его историографом, открыла ему доступ в архивы и библиотеки и поручила в 1768 г. разобрать архив Петра I. В 1770 г. появился I том его «Истории российской»⁷⁴ от древнейших времен». Рассказ его доведен почти до избрания Михаила (где остановился и труд Карамзина)⁷⁵. Щербатов приступил к своей работе без достаточной учено-технической подготовки⁷⁶ и потому допустил немало ошибок, за которые ему потом больно досталось; так, например, он не умел различить двух Переяславлей,

Южного и Залесского, и пр. Таких ошибок можно найти обильный запас в его рассказе. Но для нас важны не они, а взгляд автора на задачи русского историографа. Щербатов не просто излагает события, на каждом шагу он их обсуждает и часто сопоставляет их с событиями западноевропейской истории, которую он знал лучше русской. Его рассказ есть сравнительно-историческое изложение событий⁷⁷. Сравнением старается он подменить особенности русской жизни⁷⁸. Зато поражают его черты быта, которые бросаются ему в глаза при первых достоверных известиях летописи. Он очень жалеет, что не находит у летописца мифов, потому что они, заключая в себе зерно истины, могут служить важным пособием для древнейшей истории. Но больше всего его поражает самый факт отсутствия этих мифов: оно объясняется тем, что русский народ не постепенно переходил из грубого быта к высшей культуре, как западные, но, приняв христианство, вместе с тем вдруг смягчил свои нравы. Летописец-христианин игнорировал языческие предания. Далее, его поражает странный порядок престолонаследия в роде Ярослава по старшинству. Он первый делает попытку объяснить это явление, хотя и без успеха; он не раз возвращается к нему, подходя к нему то с той, то с другой стороны. Наконец, ему показалось, что он нашел разгадку. В XI и XII вв. Россия направляла все свои силы на защиту своей самостоятельности против внешних врагов. Это вызывало необходимость иметь всегда на княжеском столе взрослого человека, а при обыкновенном порядке престолонаследия возможен наследник-ребенок; отсюда и такой порядок престолонаследия. Далее, он замечает быстрый поворот в русской истории с Андрея Боголюбского. С этой минуты (т. е. со смерти Юрия) все события направляются к одной цели: к сосредоточению народных сил, к политическому объединению и к установлению единодержавия. Он чуял здесь грань нового периода. Вот почему после рассказа о смерти Юрия Долгорукого он помещает очерк внутреннего состояния России: «Рассмотрение о состоянии России, ее законов и правлений». Это первая в нашей историографии попытка изобразить внутреннюю жизнь общества. Вообще Щербатов удачнее угадывал вопросы, чем разрешал их, — в этом его главная заслуга. Щерба-

тов — человек умный и очень образованный, но без особенных дарований, история его написана тяжелым языком. Это вместе с отзывами Болтина помешало успеху его истории в обществе.

Дидактическая
заметка
о внутренних
состояниях

Но она оказала заметное действие на груд Карамзина и Соловьева. Последний особенно ценил Щербатова, занимался у него заглавие, и оба — эту манеру заканчивать каждый отдел русской истории очерком внутреннего состояния и даже некоторые отдельные суждения. Для нас важно, что эта история вызвала полемическое сочинение Болтина, несравненно более важное.

И. Н. Болтин

Иван Никитич Болтин (1735—1792)
был почти сверстником Щербатова⁷⁹

и прошел служебную карьеру, довольно далекую от его ученых трудов. Он родился в 1735 г. в дворянской семье, которая принадлежала к старинному столбовому дворянству. Он получил домашнее воспитание, а потом поступил в конногвардейский полк в 1751 г.⁸⁰ В полку он приобрел товарища в графе А. Потемкине, и впоследствии эта дружба была ему очень полезна. Вышедши в отставку после 18-летней военной службы, он сначала поступил в таможенную службу, потом был прокурором военной коллегии и, наконец, ее советником, в каком звании оставался до смерти (1792). Потемкин очень дорожил умом и обширными практическими сведениями Болтина. При заселении Новороссии Потемкин вызывал его в Крым для советов.

Болтин получил очень широкую подготовку для занятий по русской истории, хотя не думал писать в этой области. Он был одним из самых образованных и начитанных людей своего времени, притом совершенно в духе XVIII в.: он был умеренный вольтеррианец. Если собрать выдержки из иностранных сочинений в его трудах, можно только удивляться его начитанности: это была ходячая библиотека. Он хорошо знал французских историков и публицистов XVI в. — Бадена (*Methodus ad facilius cognitione historiae*) и Беллярмина (*De romano pontifice*) и Потглицера (О рабстве у германцев). Но любимцами его были французские писатели XVIII в. и их родоначальник Бейль (умер в 1706 г.), словарь которого был ему отлично известен. Это — фундамент историче-

ских и философских воззрений⁸¹ Болтина. Бейль был враг папства, а не христианства, только это делало возможным такое сближение. Другой любимой книгой Болтина был Вольтеров «Опыт о нравах», и Болтин отлично понял основную мысль этого трактата. Вольтер выдвинул совершенно новый мир исторических фактов. Цари, полководцы, войны, сражения сменились обычаями, нравами, идеями, страстями, что — душа исторического процесса. Здесь сделана была попытка выяснить механику всемирной истории и физиологию общежития; силы, работающие над историей, по Вольтеру: климат, религия, образ правления. Особенную услугу оказала Болтину книга Мерсье («Tableau de Paris») — мрачная картина упадка нравов в мировом городе, т. е. чистый клад для наших апологетов; Болтин всегда прибегает к ней, когда является надобность⁸² сопоставить быт русский с западноевропейским.

Болтин отлично знал Россию: он изъездил ее вдоль и поперек во время **Подготовка русско-исторической** своей служебной деятельности. С таким запасом знаний и наблюдений приступил Болтин к занятиям по русской истории. На поприще писателя он вызван был, как бы сказать, случайно.

Леклерк В царствование Елизаветы и Екатерины несколько раз приезжал в Россию (в 1759 и 1769 гг.) французский авантюрист *Леклерк* (1726—1798). Он был врачом при Кирилле Разумовском, потом лейб-медиком при цесаревиче и занимал другие видные посты. В то время когда в Европе читали Екатеринин Наказ, там очень интересовались Россией. Леклерк хотел воспользоваться этим интересом и, набрав кое-какие материалы, в 1775 г. вернулся во Францию, где с 1783 г. стал издавать большое сочинение под названием «Естественная, политическая и гражданская история России» в 6 томах⁸³. Сочинение это было вроде путевых записок Шайна — легкомысленная французская книга. Потемкин, говорят, и подсказал Болтину мысль — двинуть боевой запас, хранившийся в письменном столе, против легкомысленного француза. Таким образом и появились «Примечания генерал-майора Болтина на книгу господина Леклерка» в двух больших томах, каждый — более 500 страниц.

ЛЕКЦИЯ VI

Примечания И. Н. Болтина на книгу Леклерка. — Взгляд И. Н. Болтина. — Социальные явления. — Исторические приемы И. Н. Болтина. — Метод и тенденция. — Метод И. Н. Болтина. — Заключение о И. Н. Болтине

Примечания И. Н. Болтина на книгу Леклерка В 1788 г. Болтин выпустил «Примечания на историю древней и нынешней России г-на Леклерка, сочинение генерал-майора Болтина в двух томах». Книга Леклерка отличалась необыкновенным задором и притязательностью, большим невежеством, незнакомством не только с предметом, но и с языком русско-исторических памятников. Леклерк часто пускался в объяснения русских слов и текстов; пословицу «воин воует, а жена дома горюет» он перевел: «а жена дом палит»; пословицу «все люди в избе, один черт на дворе» он перевел: «честные люди живут в избе, один черт занимает дворец»⁸⁴. С таким историком было легко бороться. В трех первых его томах изложена с некоторой связностью история России до Петра; зато в остальных томах, носивших название «Естественная, нравственная, гражданская и политическая история новой России», собрана была всякая всячина. Здесь есть компилятивная статья о русской литературе, такая же о дворянстве, о населенности, географии, топографии, этнографии России — все это компилировано довольно неискусно. Болтин был прав, говоря, что книга Леклерка вовсе не история, а сельская лавочка, в которой можно найти и бархат, и помаду, и микроскоп, и медное кольцо.

Болтин предъявлял к историку большие требования: обилие материалов, критический их разбор и художественное изложение. Прочсть много памятников и не сделать больше ничего — этого слишком мало для историка. Он даже сам себя считал неспособным к написанию истории: он был собирателем материалов и потом их критиком, он не думал и не мог воспользоваться ими для цельной повести. У него был трезвый, холодный ум, практическая сообразительность и меткость взгляда — качества, делавшие из него хорошего критика. Тонкость его критики еще усиливалась его природным юмором, которому он часто приносил в жертву даже чувство литературного приличия⁸⁵. Главная сила Болтина в его критике. Чем его труды получают важное значение в ходе нашей историографии — это его текстуальный и реальный комментарий наших памятников. Некоторые термины, учреждения, черты быта древней Руси объяснены им так основательно, что с небольшими поправками его объяснения имеют силу и теперь (например, толкование терминов Русской Правды). В этом ему помогло внимательное изучение языка наших памятников. Эти комментарии составляют главный интерес и достоинство его сочинения против Леклерка. Разные археологические и этнографические вопросы, поднятые в XVII и XVIII вв., не имеют цены в глазах Болтина. Этим объясняется его взгляд на центральный вопрос нашей археологии — на варяжский вопрос. Он склоняется ко мнению Ломоносова, но допускает, что первые князья были из Скандинавии, во всяком случае они были не немцы. Он даже смеется над важностью, которую придают этому вопросу. Русы, по его мнению, были, вероятно, кимвры, которые, смешавшись со славянами и варягами, утратили свои киммерийские черты. Теперь, говорит он, в нашем народе едва ли сохранилась хотя бы капля славянской крови. Мысль Болтина неохотно обращалась на вопросы такого рода; она любила держаться на почве достоверных исторических памятников.

В своей критике он приводит один цельный взгляд на ход нашей истории (может быть, впервые); в связи с этим взглядом стоят и основные приемы его изучения. Наша жизнь развивалась, может быть, не лучше и не быстрее, но и не хуже, не медленнее, чем

Взгляд
И. Н. Болтина

жизнь западноевропейских народов, и она развивалась естественно, без перерывов и скачков: вот основная мысль Болтина. Легко заметить полемическое положение его, направленное притом на два фронта: наружу — против господствовавшего в Западной Европе взгляда на Россию и внутрь — против взгляда, выраженного в известной речи канцлера Головкина после Ништадтского мира: трудами Петра мы из невежества на театр всемирной славы и, так сказать, из небытия в бытие произведены.

Из этой основной мысли вытекают приемы Болтина: чтобы правильно оценить *уровень* и темп нашей жизни в данный исторический момент, надо их сопоставлять с одновременным состоянием западноевропейской истории; чтобы правильно оценить *ход* нашей жизни, надо факты нашей древней истории сопоставлять с фактами современной русской действительности. Первый прием существенно полемический⁸⁶. Второй — существенно прагматический; он дает нам понять смысл древней истории и ее последовательность. Эти два приема он прилагает к объяснению тех явлений нашей жизни, на которые обращали его внимание Леклерк или Щербатов.

Социальные явления

Вопрос о происхождении крепостного права, кажется, впервые и был возбужден Болтиным. Любопытно, что самое законодательство не понимало и возможности такого вопроса, как будто крепостное право возникло по каким-то твердым физическим причинам, было вполне естественным и необходимым явлением. Это произошло оттого, что в вопросе о крепостном праве соединены вопрос о холопстве и вопрос о крепостном состоянии крестьян, которые постоянно смешивались. Болтин первый вник в состав крепостного права, отделил крепостное состояние крестьян от холопства и попробовал объяснить происхождение его у нас. Первый источник этого состояния он видит в падении крестьянского права перехода. Он только смешивает ограничение этого перехода с полным его запрещением, которое он относит к концу XVI в., к царствованию Феодора. Крестьяне, по мнению Болтина, сначала были прикреплены к земле-владельцу по земле; потом землевладельцы присвоили себе право переселять крестьян, а наконец, присвоили и бесконтрольное пользование самой личностью крестьян,

как холопами. Таким образом, крепостная неволя крестьян произошла из произвольного расширения землевладельцами своих прав над крестьянами, а расширение это произошло из запрещения перехода.

**Исторические
приемы**
И. Н. Болтина

Историко-критические приемы Болтина и даже его общий взгляд на ход нашей истории легко могут показаться тенденциозно патриотическими — так

на него и смотрят некоторые исследователи. Они обвиняют его в пристрастной идеализации древней русской истории. Так кажется им потому, что Болтин доказывает, что и древняя Русь вовсе не была дикой и не уступала в культурности западным народам.

Указывая в древних памятниках и учреждениях следы этой древней культуры, Болтин обнаруживает замечательный исторический и критический талант. Так он разбирает договоры русских князей X в. Это памятник автентичный; в нем отражается прямо действительный порядок, в нем нет личного взгляда летописца. Из этих договоров, говорит Болтин, явствует, что народ стоял уже на довольно высокой степени культуры — существовало государство, сословия, суд, промышленность, торговля, своего рода просвещение. Соловьев, разбирая это место Болтина, находит его рассуждение «знаменитым», потому что оно потом вошло в нашу историографию, и взгляд его с небольшими исправлениями удержался и впоследствии, когда уже забылось, от кого оно исходило.

**Метод
и тенденция**

Быть может, Болтин заходил слишком далеко в этом и в подобных рассуждениях. Но некоторые видят в них тенденцию, стремление к идеализации русской старины — справедливо ли это? Что такое эти приемы Болтина, которые усвоены были и некоторыми позднейшими исследователями? Что они *метод* или *тенденция*? А есть ли разница между методом и тенденцией? Метод и тенденция — эти понятия часто принимаются одно за другое или противопологают их одно другому, последнее чаще всего; это, говорят, понятия, никогда не совпадающие. Разберем эти понятия.

Метод и тенденция, конечно, — понятия различные, но не противоположные. Метод есть совокупность приемов для раскрытия какой бы то ни было истины; тенденция — стремление доказать каким бы то ни было

способом, что истина заключается только в этом, а не в другом мнении. Метод решает вопрос, не зная, в чем он состоит; тенденция предreshает вопрос, не зная, каким путем она его решит. Метод ищет результатов, тенденция добивается цели. Поэтому метод дает способ обнять предмет со всех сторон, тенденция стремится объяснить только одну сторону его. Метод имеет дело с умом, тенденция рассчитывает на волю; метод — необходимое орудие научного исследования, тенденция — ораторского убеждения. Ничего нельзя изучить, не зная, как изучать, но и ни в чем нельзя убедить, не зная, в чем убеждать. Методу не нужна тенденция, тенденция не может обойтись без метода. Но тенденция не разбирает методов — это дело науки.

Метод
И. Н. Болтина

Уяснив себе эту разницу, можно решить, что такое приемы Болтина. Главное место в составе метода Болтина занимает *аналогия*, т. е. сопоставление однородных и соизмеримых явлений для уяснения одного посредством другого. Соизмеримость явлений однородных определяется сходственностью условий, при которых возникают явления; условия сходственности очень разнообразны, отсюда разнообразие видов аналогий⁸⁷.

Заключение
о И. Н. Болтине

Болтин не изложил вполне цельного взгляда на ход нашей истории, не связал ее явлений в стройный, последовательный исторический процесс. Но он установил некоторые общие точки зрения и приемы, помощью которых указывал возможность и необходимость составить такой взгляд, восстановить такой процесс, и даже сделал несколько попыток установить частично такой взгляд, восстановить отдельные моменты этого процесса. Здесь обозначены: 1) общая научная задача исторического изучения, 2) сравнительный его метод, 3) выбор его фактического материала, 4) приемы исторической критики и, наконец, 5) практические результаты такого изучения.

1. Историческое изучение прошлой жизни должно иметь целью объяснить, как вырабатывалась и складывалась современная действительность.

2. Историческая жизнь народа должна быть изучаема сравнительно с однородными явлениями или одновременным ходом жизни других народов.

3. Предметом такого изучения должны быть такие исторические факты, в которых выражается закономерное и последовательное движение, органический рост народной жизни, как-то: природа страны, законы, учреждения, занятия, нравы, обычаи, понятия, поверия и т. п.

4. Для извлечения такого материала из исторических памятников необходимо восстановить их подлинный текст и истинный смысл, а для того сличать списки и изучать язык их времени.

5. Так направленное изучение вскроет постепенное образование народного «умоначертания», самородные основы и недостатки национального быта и характера и укажет задачи дальнейшей жизни, что нужно сберечь и развивать в накопленном содержании и чем его исправить и пополнить из общечеловеческого запаса.

В этих приемах изучения заключалась целая методика народного самопознания, которую можно выразить так: наблюдайте других, чтобы лучше знать самих себя, помните, чем вы были, чтобы понять, чем вы стали, и, пока не всмотритесь в себя, не спешите походить на других.

ЛЕКЦИЯ VII

Историографические приемы во второй половине XVIII в. — Вопрос о древней и новой России. — Записка князя М. М. Щербатова. — «Мысли о России»

Историографические Оценка изученных нами русских писателей во второй половине XVIII в., как мы видели, значительно зависит от свойства их историографических приемов. Любимым приемом была аналогия. Иногда сопоставляются явления одновременные, но возникшие не в одинаковой исторической среде; в основе этого сопоставления лежит мысль, что в известное время в различных обществах господствуют одинаковые условия; если же явления различные, значит, это происходит от различных местных условий. Иногда сопоставляются явления разновременные, но возникшие в одинаковой среде. Мысль этой второй аналогии та, что на явления в одном и том же обществе действуют однородные условия. Поэтому, изучая позднейшие явления, более доступные наблюдателю, получают возможность понять однородные явления в более раннее время. Таковы два главных вида аналогий. Болтин часто прибегает и к третьему приему, созданному французскими писателями XVIII в., — к обсуждению явлений с точки зрения отвлеченного разума. В основе этого приема лежит мысль, что человеческое общежитие направляется определенными законами, не теряющими действия ни в какое время, потому что основная сила человеческого общества всегда одна и та же — человеческий дух. На этом же приеме держится и

современное сравнительно-историческое изучение. Сопоставляя с этой точки зрения явления разных времен и разных условий, их сводят к общему источнику — к человеческому духу. Эта общность источника делает их соизмеримыми, поэтому прием этот состоит в сопоставлении явлений социологических с явлениями психологическими. Это, таким образом, *психологическая аналогия*. Ее особенно любят французы. К ней, например, прибегает Фюстель де Куланж, рассказывая о взгляде галльского населения на императорскую власть. Они благоговели перед римскими императорами, боготворили их единоличную власть. «Человеку свойственно, — говорит автор, — составлять себе религию из всякой идеи, наполняющей его душу». Здесь политические особенности масс объяснены индивидуальным свойством, свойством человеческого духа.

Различные причины обуславливают эту любовь наших писателей пользоваться исторической аналогией. Это происходит отчасти от условий их положения, отчасти от свойства специальных задач, которые они себе ставили. Полемизируя с иностранцами, они стали лицом к лицу с явлениями, малодоступными наблюдению, — с чертами умственной и нравственной жизни народа. Отсюда возникла для них потребность подыскивать аналогии, что придает их сочинениям субъективный, тенденциозный вид; получается представление, что они подыскивали явления, доступные [их пониманию?]. Но такое представление вызывается только случаями неудачного применения исторической аналогии. В своей деятельности они выработали определенный взгляд на ход русской истории, который является последним выводом всей русской историографии XVIII в.

**Вопрос о древней
и новой России**

В нем легко заметить влияние той двойственной связи, которую они себе ставили: они, во-первых, старались изучать явления прошедшего в причинной связи с явлениями современными; во-вторых, они в истории прошлого старались подыскать материал для аналогии, для защиты родной старины против иностранцев. Первое привело их к сопоставлению древней России с новой, второе — к идеализации русской старины. Вот основные черты взгляда. Он выработывался во всем русском обществе XVIII в., он перешел и в XIX в. и имел боль-

шое влияние на ход русской историографии. Он поставил вопросы, которые послужили предметом продолжительных споров.

Выражение этого взгляда мы находим в двух полемических трудах Болтина, в записке Щербатова и в одной анонимной записке.

Болтин выражал этот взгляд разбросанно. Основа этого взгляда — взгляд на реформу Петра. Болтин недоволен ею, как переломом в исторической жизни, который оставил болезненное ощущение. «Мы стали непохожими на себя и не сделали теми, чем быть желали». Сообразно с этим Болтин хвалит русскую старину, не знавшую таких скачков; он приводит место из Монтескье, где говорится о значении старых устойчивых обычаев; эта цитата избавляет Болтина от упрека в русском стародумстве. Отсюда у Болтина идет идеализация этих древнерусских устойчивых обычаев. Он доказывает, что древние русские люди жили уже в высокой форме общезнания, и хотя знали меньше нас, но их нравы были чище.

Совершенно на другой почве стоит Записка князя Щербатов в своей записке «О повреждении нравов в России». Записка писана незадолго до смерти автора (во время фаворита Мамонова, 1786—1789 гг.) не для печати. Она стала известна очень поздно, впервые была издана, да и то за границей, в 50-х годах этого века⁸⁸. Сочинение Щербатова начинается краткой и яркой картиной повреждения нравов в России в XVIII в., затем указывается общая его причина, которая заключается в развившейся жажде удовольствий.

Главное содержание этюда — изображение постепенного хода этого повреждения; это летопись пороков, прокрадывавшихся в русское (высшее) общество из этого источника. Точность хронологическая, как у старинного летописца; ход повреждения излагается по царствованиям. Для того чтобы это повреждение выступило ярче, для контраста Щербатов, изложив план своего сочинения, рисует идиллическую картину древнерусской жизни, выставляя на первый план почет, которым пользовались тогда роды (т. е. аристократия). Начало порчи Щербатов ведет, разумеется, от реформы Петра. Щербатов называет ее нужной, но излишней, т. е.

указывает на то, что она имела преувеличенный характер. Место древнерусской грубости заняли лесть и самство (эгоизм). Щербатов относится к Петру сдержанно; он признает его большие силы и громадные материальные успехи, достигнутые им, но он перечисляет громадные нравственные потери, которыми куплены были эти успехи. Порча продолжалась и при преемниках Петра. Он очень недоволен Екатериной. Он решается подсмеиваться над ней, несмотря на общий суровый тон, который выдержан в записке. Статья кончается соображениями о том, как можно исправить зло: Щербатов рисует идеал русского государя, который будет награждать добродетель без всякого пристрастия, *будет уметь разделять власть*: что принадлежит различным учрежденным правительствам и что на себя принять. Так вот тенденция автора! Он сын людей 1730 г.; он воспитан в традициях кружка верховников; он мечтает о том времени, когда Россия опять устроится в боярскую аристократическую монархию. Такова основная мысль его сочинения, которую он тщательно скрывает. Его картина порчи нравов нарисована очень тонко, но у него слишком звучат две тенденциозные струи: во-первых, он сетует о падении аристократического строя в России; во-вторых, все явления он рассматривает только с моральной точки зрения.

Князь Щербатов и Болтин подходили к своему предмету с различных сторон, но встретились на одном общем взгляде. Щербатов — историк-стародум, Болтин — историк-философ. Один весь живет в старине, другой разбирает ее, ищет в ней общечеловеческих мотивов. У Щербатова идиллическая картина древнерусской старины поставлена в стороне от изображения современной порчи нравов, подобно волшебному фонарю; Болтин хочет осветить русскую старину светом разума и знания. Таким образом, оба приходят различными путями к одному взгляду, что современная действительность мрачна. Но один хочет улучшить ее посредством возвращения к старому, другой — путем ума и науки, путем просвещения.

«Мысли о России» Как будто в пополнение к этому взгляду в конце XVIII в. была написана другая записка (в начале 90-х годов). Автор неизвестен; судя по намекам в самой записке, это был какой-то рус-

ский сановник, живший за границей для поправления здоровья. Записка составлена на французском языке и переведена была и напечатана в 1807 г. в «Вестнике Европы» (изд. Каченовского, т. 31) под заглавием «Мысли о России». Центр тяжести у автора перенесен на древнюю Россию. Это идиллическая картина ее, приуроченная, по-видимому, к половине XVII в., по крайней мере самым светлым лицом в ней является царь Алексей Михайлович. Древнерусский быт представляет, по мнению автора, совершенно самородный, своеобразный порядок; главное — народ имеет свой собственный характер, может быть, немного суровый для нашего времени, но прямой и честный. Все это падает с реформы Петра. Автор признает за ним творческое подражание, но не придает этому качеству большого значения. Автора не удивляет шум, возбужденный деятельностью Петра. Государии, которые тихо работают для общественного блага, не производят такого шума, как эти гиганты, вот где причины славы Петра. Только то существо, политическое или физическое, имеет цену и прочное существование, которое живет собственными силами. Силы, привитые со стороны, могут увлечь народ, но не могут дать содержание его жизни. Надо вернуть народ к его природе, приучить его жить собственными силами, и этим путем, по мнению автора, идет Екатерина.

Сама по себе записка не имеет значения в нашей историографии; она только служит дополнением к записке Щербатова, так как обращает главное внимание на русскую старину, которой Щербатов касается лишь кратко.

Таковы были взгляды, которые послужили точкой отправления для историографии XIX в. и прежде всего для ее передового представителя. Ясно, какой интерес должна представлять русская историография XIX в., которая нашла себе такое блестящее выражение в «Истории» Карамзина. В письме из Веймара (1791 г.) он отвергает народное перед общечеловеческим; он космополит-оптимист. Но, когда ему пришлось стать лицом к лицу с русской историей, он точно так же счел себя обязанным решить вопрос об отношении древней России к новой, т. е. вернулся к постановке вопроса XVIII в. Во всяком случае заслуга историографии XVIII в. состоит в том, что она точно указала явления, которые

прежде всего следовало изучить, указала их характер, отвлекла внимание от археологических вопросов и обратила его на вопросы юридические, экономические и бытовые. Ни Щербатов, ни Болтин не интересовались этими археологическими вопросами. Правда, в это время над теми же археологическими вопросами работал Шлецер, иностранец, но мы увидим, что он, презрительно отзывавшийся о русской историографии второй половины XVIII в., сам находился под сильным ее влиянием.

ЛЕКЦИЯ VIII

Критика исторических памятников. — Штрубе де Фирмонт. — А. Л. Шлецер. — Г. Ф. Миллер и А. Л. Шлецер. — Изучение русских летописей

Критика историографических памятников Писатели, с которыми мы до сих пор имели дело, были не профессиональные историки, а лишь любители отечественной старины, тем не менее они оставили ряд весьма важных работ, и прагматических и критических. Они собирали материал, издавали памятники с критическими примечаниями, обсуждали отдельные факты русской истории и, наконец, делали попытки цельного и связного изложения хода всей нашей истории. Они сделали несколько удачных опытов по критике памятников; таковы Судебник царя Ивана с примечаниями Татищева, Русская Правда, изданная Мусиным-Пушкиным с примечаниями, в которых нельзя не заметить руки Болтина. Но критика их отличалась своеобразным характером: она была главным образом фактическая, реальная, а не библиографическая, т. е. технико-филологическая⁸⁹. Больше занимались фактическим содержанием памятников, чем самими памятниками, их составом, происхождением, текстом. Это высшая критика дел. Брели факт исторический, как его давал исторический источник, но не разбирали качества самого источника, степени его чистоты и полноты.

Но одновременно с работами этих туземных исследователей шли труды иноземных ученых. Они преимущественно занимались критическим изучением источников.

Этому причиной было, во-первых, положение дела, во-вторых, положение исследователей. Русской истории действительно нужна была критика источников, и иностранцы, приступая к занятию русской историей, живо чувствовали эту нужду. Во-вторых, это были ученые по профессии: им не нужна была публика, они не интересовались тем, что не найдут читателей⁹⁰. Они и поставили на очередь дело низшей критики слов. Притом они занимались русской историей, так сказать, по долгу службы, официально, и много-много если под влиянием ученого честолюбия. Кроме того, приступая к русской истории, они, естественно, должны были заняться критикой источников по той причине, что существовали иностранные источники, занятие которыми было для них легче и приятнее всего.

Штрубе де Пирмонт Уже Миллер вступил на этот путь. Другой академик — *Штрубе де Пирмонт* (1704—1790)⁹¹, приглашенный на кафедру юриспруденции и политики в 1738 г. (из Ганновера), обратил свое внимание на источники по истории русского права. Свое вступление в академию он ознаменовал французским трактатом о естественном праве. В 1767 г. он издал «Исследование о происхождении и развитии русских законов» на французском языке⁹². Он был знатоком северогерманского и скандинавского права и первый стал искать источников русского права в праве скандинавском. С этой точки зрения он разбирал и Русскую Правду. Это очень характерно; с какой бы стороны иностранный исследователь не приступал к русской истории, он преувеличивал тот элемент, на котором сосредоточивал собственное изучение. В этом отношении все иностранцы походили друг на друга. Так же точно Шлецер преувеличивал значение для русских законов византийского права. Биография Шлецера тем интересна, что в ней мы можем увидеть, какое глубокое влияние условия деятельности иностранных исследователей клали на выбор предмета их работ, на ход их мышления и на результаты их деятельности.

А. Л. Шлецер *Август Людвиг Шлецер* (1735—1809)⁹³ родился в 1735 г. в каком-то маленьком княжестве (кажется, Гогенлоэ). Он был сын сельского пастора, рано осиротел и рано познакомился с нуждой. Живя в доме у мужа своей старшей сестры,

школьного учителя, он ночи просиживал за классиками. Он вышел из детства близоруким. С десятилетнего возраста он добывал себе хлеб уроками. В Виттенбергский университет он поступил привычным к труду молодым человеком с расстроенными нервами и сознанием тяжести пройденного пути. Нервное расстройство вместе с пламенным воображением сделало бы его визионером, а при содействии сильно развитого самолюбия, пожалуй, и миссионером: у Шлецера было чрезвычайно распухшее самолюбие. Университет указал ему и миссию. Из Виттенберга Шлецер перешел в Геттингенский университет и здесь попал под влияние знаменитого Михаэлиса, который читал еврейские древности. Михаэлис считается основателем новой школы исторической критики. Чтобы изучить давно минувшую жизнь, надо изучить текст памятников как можно внимательнее. Надо изучить тогдашнее значение каждого слова (лексикология), смысл слов языка и родственных ему (сравнительное языковедение), надо изучить все стороны быта народа. Это была необыкновенно сложная филологическая и археологическая критика, которая еще усложнялась тем, что факты отдаленной еврейской старины Михаэлис старался сопоставить с характером и бытом современного Востока. Приемы эти при обдуманном употреблении могут дать превосходные результаты. Но школа эта страдала одним недостатком. Михаэлис изучал древние тексты помощью строя той жизни, из которой они вышли. Но ведь мы для того и изучаем памятники, чтобы через призму их рассмотреть явления жизни, их породившей, а он сквозь явления этой жизни старался рассмотреть и понять памятники. Здесь вводится *y* для определения *x*; научная цель делается средством для достижения самой себя. Из этой школы и вышел Шлецер.

Став под обаяние учителя, молодой Шлецер решил посвятить себя изучению библейского Востока, он не только не испугался обширности предмета, но старался еще расширить его. Для этого изучения он считал необходимым личное знакомство с теми странами. Поездка на Восток стала его мечтой, а по свойству его характера она скоро стала для него провиденциальным призванием⁹⁴. Но это путешествие требовало больших средств, которых не было у Шлецера, и он поставил себе целью скопить их. Михаэлис доставил ему место домашнего

учителя в Швеции⁹⁵. В Упсале 1756 г. он познакомился со знаменитым шведским лингвистом Ире. Стокгольмский купец, в контору которого поступил Шлецер корреспондентом, дал ему возможность издать первые его труды, разнообразие которых показывает, что Шлецер тогда бросался от одного предмета к другому (это были новейшая история шведской литературы и история торговли и мореплавания). Деньги накопились, и Шлецер составил уже план своего путешествия на Восток, план с чрезвычайно сложной подготовкой, составленный совершенно в духе школы Михаэлиса. Шлецер прежде всего хотел изучить торговлю и промышленность, потом год изучать в Германии сельское хозяйство, затем в Геттингене математику и естественные науки, в Гамбурге изучать мореплавание, а затем поступить в какую-нибудь торговую контору в Смирне, а оттуда постепенно обойти пешком соседние края, особенно Палестину. Разумеется, жизнь разбила эти досужие мечтания. Это были 1750-е годы. Семилетняя война заставила его жить не там, где указывал план, а где это можно было сделать с некоторой безопасностью.

В Москве, где он жил домашними уроками, он продолжал разрабатывать свой восточный план; но случилось, что вместо Египта и Палестины он попал в Петербург.

**Г. Ф. Миллер
и А. Л. Шлецер**

Миллер был в постоянных сношениях со своим родственником геттингенским профессором Бюшингом. Этого родственника, содержавшегося на скудном профессорском жалованье, он уговорил прихожан петербургской Peter-*kirche* призвать к себе в пасторы. Вместе с тем он поручил Бюшингу отыскать какого-нибудь молодого человека, который мог бы помогать ему в его многообразных учебных работах. Бюшинг обратился к Михаэлису, а тот указал, конечно, на Шлецера. Миллер предлагал Шлецеру помогать ему в работах и заниматься с его детьми за 100 руб. В этом предложении — искушение для самолюбия Шлецера. Но он помирился со своей участью, вспомнив, что в одном романе, который он читал, герой, молодой маркиз, переодевшись, поступает на службу лакеем к отцу дамы своего сердца, для того чтобы иметь возможность постоянно находиться близ нее. Михаэлис убедил его, что из России он легче попадет на Восток,

Как видим, учитель и ученик умели помечтать. Таким образом, Шлецер поступил на службу к Миллеру в виде слуги, чтобы быть ближе к даме своего сердца — к Востоку. (Шлецер поступил к Миллеру в 1761 г.)

Шлецер не мог ужиться с Миллером. Миллер получал 1700 руб. жалованья (тысяч шесть на наши деньги), и жил барином средней руки. Дом его представлял собой вавилонское столпотворение — частью лингвистический музей, частью учебный пансион, притон для приезжих искателей счастья из Германии, что для Шлецера было очень удобно⁹⁶. Ему предстояла здесь двойная серьезная работа: во-первых, помогать Миллеру в его ученых трудах, прежде всего быть корректором издаваемой Миллером «Sammlung russischer Geschichte», для этого, собственно, он и был приглашен. Другая работа, которую он себе сам выбрал, была указана первой — изучение русских летописей.

Шлецер ехал в Россию, раздраженный прогив Миллера, который на путевые расходы прислал ему всего 10 дукатов. Но Миллер, кажется, ласково встретил Шлецера, хотя обращался с ним по-немецки⁹⁷. Шлецер принял за свою двойную работу. Миллер показывал ему громадный материал, который он думал опубликовать в своем издании, и говорил: «Вот, батюшка, здесь и для меня, и для вас, и для десятерых других работа на всю жизнь», но, когда Шлецер протягивал руку к этому неисчерпаемому источнику, Миллер тотчас прятал рукописи в стол, говоря: «Не горячитесь, молодой человек, еще будет время. Не надо торопиться»⁹⁸.

Изучение
русских
летописей

Шлецер скоро увидел, что он находится в положении Колумба, что перед ним область, которая сможет дать ему и деньги и ученую славу в Западной Европе. Эту ученую пищу обещали ему преимущественно древние русские летописи⁹⁹. Этому выбору помогало движение в русской историографии в первые годы [царствования] Екатерины II.

Шлецер принял за изучение церковнославянского языка и был восхищен его богатством: вот на какой язык лучше всего перевести Гомера, говорил он. Видя трудолюбие своего подмастерья и не разглядев еще размеров его честолюбия, Миллер решил пристроить его в Петербурге адъюнктом при академии на срок не менее

пяти лет за 300 руб. ежегодно. Этого было мало Шлецеру: он ценил себя недешево¹⁰⁰. Шлецер страшно обиделся и отказался. Тогда рассерженный Миллер сказал ему: если так, то вам больше делать ничего не остается, как с первым кораблем [отправиться] в Германию. Шлецер заметался; открыв Миллеру свой план поездки на Восток¹⁰¹, который не позволял ему долго оставаться в России, он стал просить у него домашних уроков или рекомендаций на место корректора при академической типографии¹⁰². Миллер ответил, что все эти планы — чистейший вздор. Тогда Шлецер обратился к библиотекарю академии и правителю академической канцелярии злейшему врагу Миллера Тауберту. Тауберт принял его с распростертыми объятиями. Шлецеру предложили место адъюнкта с жалованьем в 360 руб. на неопределенное время. Он принял место и прилежно принялся за изучение древних русских летописей¹⁰³. Он увидел, что его надежды не будут обмануты, что из русской летописи можно сделать настоящее ученое открытие для европейской науки. Плохо зная еще русский язык, он скоро увидел, что во избежание крупных погрешностей необходимо составить родословную росписи русских князей. Он стал собирать родословные Ломоносова, Феофана Прокоповича. Особенно полезны были для него таблицы в рукописном Татищеве. Чтение летописей представляло для Шлецера большие затруднения, но здесь его выручил датчанин монах Александро-Невской лавры Адам Селлий. Он долго занимался русскими историческими памятниками и оставил два труда: 1) *Schediasma litterarium de scriptoribus, qui historiam politico-ecclesiasticam Russiae scriptis illustrarunt*, второй его труд дошел до нас только в переводе, в «Вивлиофике» Новикова, под заглавием: «Зерцало историческо-российских государей». Здесь перечислены все русские князья с годами их княжений, а главные события их княжений изложены в русском переводе виршами, должно быть так же и в оригинале¹⁰⁴.

Тауберт доставил Шлецеру из академической библиотеки Селлиев немецкий перевод одного из русских летописных сводов в двух фолиантах. Точность перевода сделала эти фолианты драгоценным пособием для Шлецера в его занятиях русской летописью.

ЛЕКЦИЯ IX

А. Л. Шлецер и Академия наук. — Труды А. Л. Шлецера. — Приемы исторической критики. — «Нестор». — Заключение о А. Л. Шлечере

А. Л. Шлецер и Академия наук Вместе с местом адъюнкта Шлецер принял обязательство обучать детей президента академии графа Кирилла Разумовского¹⁰⁵. Разумовский хотел дать своим детям возможно лучшее воспитание, но этому мешала мать, которая видела в книгах язву. Разумовский решил удалить детей от матери, не удаляя их из Петербурга, нанял дом на Васильевском острове. Так устроился любопытный пансион Разумовского на Васильевском острове. Здесь, кроме его троих детей, учились дети других знатных людей. Штат преподавателей был большой, обер-инспектором пансиона, или института¹⁰⁶, был Тауберт, гувернером при детях — некто м-г Бурье, французский лакей, но человек начитанный, умевший писать по-французски почти без ошибок: ему же было поручено преподавание всеобщей истории. Шлецер был приглашен преподавать латинский язык. Он вскоре заметил большой пробел в образовательной программе института: в пансионе не преподавали географии. География была введена в число учебных предметов института, и Шлецер составил маленькое карманное руководство по этому предмету. Затем ему пришло в голову, что детям государственного человека, которым предстоит, может быть, занимать видное общественное положение, нельзя не знать своего отечества, и вот он начинает преподавать им отечествоведение, или статистику России. Вот

где родилась русская статистика — на Васильевском острове, в 10-й линии¹⁰⁷. Тауберт, имевший разнообразные сношения с казенными учреждениями, доставлял Шлецеру важные статистические данные, которыми пользовался тот для составления маленьких карманных рукописных книжек и по этому предмету и русской географии в таком же виде. Кроме того, Бурье вскоре отказался от преподавания всеобщей истории, находя его затруднительным для себя, Шлецер начал преподавать и всеобщую историю и¹⁰⁸ при этом составлять свой учебник, приуроченный к потребностям русских учеников, собиравал писать и русскую историю в виде учебника¹⁰⁹.

Место адъюнкта не удовлетворяло Шлецера. Он думал или в Петербурге прочно основаться при Академии наук, или покинуть Россию; высшее профессорское жалованье, 860 руб., казалось ему слишком ничтожным. В 1764 г. он обратился к академии с просьбой дать ему отпуск на три года за границу и вместе с тем просил сказать, находит ли академия его труды по русской истории полезными. Он представил по требованию академии два плана: план разработки русской истории и план распространения знакомства с историей в русском обществе. План разработки русской истории был¹¹⁰ [построен] на мысли¹¹¹ о предварительной критической обработке всех важнейших источников, особенно летописей и иноземных известий о России. Когда план этот был представлен в академию, Ломоносов пришел в крайнее раздражение. Он увидел в нем, во-первых, прямую интригу против него со стороны немецкой партии, во-вторых, внушение немецкого нахальства. Когда немецкие члены академии одобрили этот план, Ломоносов представил записку, где в очень резкой форме выразил свое мнение. Суждение иностранных профессоров по этому предмету, по словам Ломоносова, ничего не значит, ибо, как иностранцы, сами они о деле никакого понятия не имеют. Шлецеру, говорил он, нужно еще много учиться, чтобы быть профессором русской истории¹¹², и, наконец, для него нет места в академии. Ломоносова сердило, что Шлецер хочет с ним соперничать¹¹³. Поднялись горячие споры между академиками. [Было] решено положить им конец мотивированным письменным голосованием. Ломоносов представил свое мнение на латинском языке. Шлецер, занимаясь цер-

ковнославянским языком, тотчас принялся за составление русской грамматики с обильными словотолкованиями, и эта грамматика уже печаталась. Теперь Ломоносов добыл Корнеслов Шлецера и до крайности резко разобрал его ¹¹⁴. Он находил в нем «суждения ругательные и позорные для чести России». Действительно, странно было слышать от ученика Михаэлиса такие словопроизводства, как боярин от баран, дева от Диев, князя от Knecht ¹¹⁵.

Миллер в своем отзыве высказался решительно, что если Шлецер не хочет оставаться в России, то его не следует допускать к изучению русской истории, так как, собрав документы, он мог напечатать их за границей и причинить неприятности России. Узнав, что Шлецер недоволен ходом своего дела и собирается уехать за границу, Ломоносов представил в Сенат рапорт об опасности отъезда Шлецера. Было приказано ему паспорта не давать, а в его бумагах произвести обыск и отобрать неизданные исторические известия. Тауберт, который давал ему множество документов, рано утром прискакал и забрал их у него, посоветовав ему пересмотреть свои бумаги ввиду предстоящего обыска. Однако обыска у Шлецера не произвели ¹¹⁶.

Через отца одного воспитанника генерал-рекетмейстера Козлова Шлецер подал записку Екатерине и просил разрешения разрабатывать русскую историю под ее покровительством. Отец другого его воспитанника личный секретарь Екатерины Теплов устроил это дело. Шлецер предложил два плана: или отправить его на Восток для собирания коммерческих сведений, или оставить в России для разработки древней русской истории. Екатерина предпочла второе. Шлецеру дали звание ординарного академика по контракту на пять лет.

Покровитель [Шлецера] Тауберт вскоре после этого потерял значение при Академии. В 1767 г. Шлецер уехал в отпуск в Германию и не вернулся более ¹¹⁷.

Оттуда он заводил сношения с Академией и предлагал назначить его руководителем за границей русских молодых людей для изучения исторической критики с жалованием в 1 тыс. руб. Академики обиделись: их младший сочлен хочет устроиться лучше их самих. Шлецер отказался от звания русского академика и сделался профессором в Геттингене.

Труды
А. Л. Шлецера

В России и за границей Шлецер исполнил несколько работ по русской истории. Вместе с переводчиком академии Башиловым он издал в 1767—1768 гг. Русскую Правду, Судебник царя Иоанна, две первые части Никоновой летописи. Он напечатал в 1769 г. на французском языке карманный Tableau, очерк русской истории и на немецком «Русскую историю до основания города Москвы (1147 г.)». Оба эти руководства были переведены на русский язык и долго служили для школьного употребления. Но, преподавая в Геттингене всеобщую историю и статистику, Шлецер не переставал заниматься русской Начальной летописью. В 1800 г. он приступил к печатанию своего критического исследования о Начальной летописи; оно было окончено печатанием уже незадолго до его смерти, в 1809 г., в пяти томах. Русский переводчик слил их в три тома¹¹⁸. Сочинение это Шлецер посвятил императору Александру, который в благодарность прислал ему бриллиантовый перстень при собственноручном письме, а позже пожаловал орден Владимира и, наконец, по просьбе Шлецера герб с изображением инока, т. е. Нестора. Это сочинение имело большое влияние на ход нашей историографии в XIX в. Начиная с Карамзина и кончая Соловьевым все русские историографы XIX в. смотрели на Шлецера, как на первоучителя, родоначальника своей науки, и руководились его приемами. Вот почему это сочинение так важно.

Приемы
исторической
критики

На приемах его исторической критики легла печать общего мирозерцания Шлецера. Трудно сказать, свойством ли ума объясняются его историографические приемы или из свойств ума вышло его увлечение *статистикой*, которое имело влияние на его историографические приемы. Сочинение его написано историко-статистическим методом. В фактах его интересуют только размеры, цифры, количества. На явления экономической, хозяйственной жизни народа он смотрит не с методологическим интересом, не как на средство проникнуть в культурную жизнь народа, нет, он видит в них сущность исторического процесса. Вот почему народ, многочисленный независимо от степени своего развития, для него кажется важнее какого-нибудь маленького государства, которое достигало высокой степени куль-

туры. Что такое Алквиад перед Чингис ханом? Сельский староста, не более. Шлецер совершенно был лишен чувства нравственно-культурного развития. Качество жизни, проявление личного совершенства, внутренние силы духа, своеобразность склада общественного и напряженность исторического движения — все это для него вещи малой цены. И мы ценим количественные данные; в *количествах* выражаются *отношения*, потому они для методологии пособия, средства для *понимания* жизни, а для Шлецера они основания для ее *оценки*, сущность исторического процесса. Это своего рода теория экономического, лучше — статистического материализма. Этим, между прочим, объясняется и интерес Шлецера к русской истории. Что могло приковать сухого немецкого статистика к истории страны, из которой он бежал с таким удовольствием? Причина тому была двоякая: 1) русская история была для него предметом его ученого честолюбия: открыть ученому миру богатство неведомых ему исторических памятников народа, начавшего возбуждать общее любопытство. Единственная в своем роде историческая словесность во всем ученом свете. Но 2) — и это главное — история этого народа поражала Шлецера размерами сцены, на которой она разыгрывалась. Этот последний взгляд он выразил еще в своей ранней брошюре 1767 г. (еще петербургского времени) «Probe der rassischen Annale...» Но это воздержание понятно: Шлецер не был достаточно подготовлен к научному изучению истории России. Он сам признается, что неспособен написать сколько-нибудь хорошую историю России для серьезных читателей. Но он имел превосходную подготовку к историко-критической работе; вот почему все его внимание сосредоточилось на критическом изучении русской истории. Выше было замечено, с каким пренебрежением Шлецер относился к трудам туземных русских писателей, предшествовавших ему и ему современных. Из русских писателей, занимавшихся русской историей, замечает он в своем Nestor'e, не было ни одного ученого-историка. Все, что написано в этой области туземными любителями, по его взгляду, замечательно дурно, недостаточно и неверно. Только одному изданию отдает он справедливость — это издание Русской Правды Мусина-Пушкина с товарищами ¹¹⁹.

«Нестор» План, основанный на его мнении о Несторе как основном и древнейшем источнике истории не только России, но и всего европейского Севера, изложен в одном из прибавлений, где он рассматривает вопрос о том, как надо далее вести изучение русской истории. Ее надо еще создать; чтобы поставить ее на достаточную высоту, понадобится лет 20. Это изучение должно начаться с Нестора; поэтому первым шагом в деле этого создания должно быть критическое издание Нестора. Над Нестором надо исполнить три главные операции. Они состоят в последовательном разрешении трех вопросов: 1) что в труде Нестора принадлежит действительно ему, а не его продолжателям и переписчикам. Это малая или низшая критика (критика текста); 2) что разумел Нестор под тем, что он написал (изучение археологии, языка и т. д.): лексическое, грамматическое и историческое истолкование Нестора; 3) правильна ли мысль Нестора, т. е. критическое изучение его самого¹²⁰; для этого надо принять в расчет степень образования и характер исторических воззрений Нестора. Шлецер, собственно, предпринял разрешение только первого вопроса: как восстановить действительный, подлинный текст Нестора; все другие вопросы могут быть решены только после решения этой начальной задачи. Для этого нужно собрать все списки, сравнить их, разбить летопись на главы или параграфы и, наконец, напечатать слово в слово. Очень трудный вопрос, как печатать? Что значит слово в слово? Значит ли это издать исправленный текст или каждый из списков порознь? Здесь Шлецер делает несколько ценных замечаний, которые важны для нас потому, что ими, очевидно, руководствовалась Археографическая комиссия при издании летописи¹²¹. В основание надо положить наиболее надежный, т. е. самый древний, список, а из остальных выбирать только варианты. Но такое сводное издание не есть еще конец. Путем сравнения надо выделить все прибавки, пояснения, восстановить все пропуски, исправить все искажения: только над таким *очищенным* Нестором можно будет предпринять высшую критику. Этим планом руководился и сам Шлецер в своем сочинении. Это — именно критическая очистка текста Нестора. У Шлецера за границей было под руками 12 печатных и 9 рукописных списков. Это скудный запас, но Шлецеру

из-за границы трудно было доставать больше¹²². Прежде всего в черновой обработке он разбил текст Нестора на сегменты, т. е. на отдельные небольшие главы по содержанию. Все списки он распределил на три группы, или редакции, по степени их близости друг к другу. Каждый сегмент он выписывал из трех рукописей, которые казались ему наиболее типичными для каждой редакции. К каждому сегменту он приписывал варианты из других, наиболее близких списков. В каждом сегменте он путем сличения восстанавливал подлинный, очищенный текст Нестора. Потом этот текст он переводил на немецкий и, наконец, к переводу прибавлял комментарий. Вот общий план его работы: сличение текста по спискам, восстановление подлинного чтения, точный перевод и комментарий¹²³.

Работе предпослано длинное введение в древнюю русскую историю, где он говорит о Несторе, о его летописи, о других современниках и сборниках и т. п.

Разбирая текст Нестора таким образом до половины XI в., Шлецер в разных местах исследования высказывает свои суждения о начале нашей истории. Эти суждения легли в основание целого ряда общих сочинений по нашей истории, появившихся в XIX в.

Как Шлецер представляет себе начало нашей истории? Легко заметить источники этого взгляда. Это не результат научного исследования, а просто повторение взгляда Нестора, которое говорит то же самое и даже в сходных словах. Там, где взгляд Нестора мутился и требовал ученого комментария, Шлецер черпал пояснения у Байера, частью у Миллера. Трудно отыскать в изложении Шлецера даже новый аргумент в оправдание этой теории. А самая эта теория была создана для объяснения того памятника, который Шлецер называет летописью Нестора.

Итак, Шлецер, разбирая текст Нестора для объяснения Нестора, понемногу усвоил его взгляды и проверял его им же. Так сказался методологический недостаток всей школы Михаэлиса. Шлецер — критик, а не историк во всем своем исследовании, ибо он, собственно, не двинулся ни на шаг вперед сравнительно с самим Нестором в понимании фактов. Это произошло оттого, что он имел дело не с историей, а с историческим памятником. Взор

его никогда не проникал до фактов; ему нужны были факты только для объяснения памятника.

Заключение Шлецер оказал русской историографии
о А. Л. Шлещере две важные методологические услуги.

1) В самородную русскую критику Шлецер внес правила, многие, если не общепризнанные, и во всяком случае более надежные и полезные; 2) Шлецер высказал очень много догадок о том, как надо читать и исправлять текст, и сделал много поправок в тексте летописи. Но основная точка зрения была им недостаточно проверена. Он думал, что имеет дело с одним лицом — с летописцем Нестором; кроме того, он видел в Несторе наиболее надежный источник для истории не только Руси, но и всего севера. Но ведь этого ничего нет. Перед Шлецером лежал не Нестор и не летописец, а ученая историческая диссертация, написанная в начале XII в., со всеми приемами диссертации. Нестор — это отдельные разбрызганные капли, перемешанные с примесями совсем не летописного свойства. Выписка из Амартола стоит рядом с народной песней и с личным мнением составителя. Это был не летописец, и не баснописец, а ученый исследователь.

Таким образом, Шлецер не уяснил себе предварительно самого свойства своего памятника и прилагал к нему приемы, к нему не идущие ¹²⁴.

КОММЕНТАРИИ

Восьмой том «Сочинений» В. О. Ключевского содержит статьи и речи, написанные им в 1890—1905 гг. Это было время распространения марксизма в России, ознаменованное появлением гениальных трудов В. И. Ленина, которые представляли собою новый этап в развитии исторического материализма, давали ключ к пониманию основных моментов русского исторического процесса.

Буржуазная наука в период империализма переживала серьезные кризисы, который отразился и на творчестве В. О. Ключевского. Он постепенно отходит от позиций буржуазного экономизма, воскрешая некоторые уже безнадежно устаревшие построения более оригинальной историографии.

Том открывается большим исследованием «Состав представительств на земских соборах древней Руси» (1890—1892 гг.). Эта работа Ключевского долгое время являлась крупнейшим обобщающим трудом по истории соборов XVI в. Широкое привлечение источников, источниковедческий анализ, прекрасная осведомленность в истории государственных учреждений, яркость изложения конкретного материала отличают статью Ключевского, которая оказала заметное влияние на последующую историографию вопроса.

Вместе с тем работа В. О. Ключевского свидетельствовала о том, что историк в ряде общих вопросов истории России XVI в. возвращался назад, к представлениям «государственной» школы. Не случайно и сам его труд был посвящен виднейшему представителю этой школы Б. Н. Чичерину.

Свое исследование Ключевский начинает с резкого противопоставления земских соборов сословно-представительным учреждениям Запада, вступая тем самым в полемику с В. Н. Латкиным и другими учеными, говорившими о чертах сходства между этими учреждениями. «На земских соборах, — пишет Ключевский, — не бывало и помину о политических правах, еще менее допускалось их вмешательство в государственное управление, характер их всегда оставался чисто совещательным; созывались они, когда находило то нужным правительство; на них не видим ни инструкций, данных представителям от избирателей, ни обширного изложения общественных нужд, ни той законодательной деятельности, которой

отличались западные представительные собрания... Вообще земские соборы являются крайне скудными и бесцветными даже в сравнении с французскими генеральными штатами, которые из западноевропейских представительных учреждений имели наименьшую силу»¹.

Вслед за Б. Н. Чичериным В. О. Ключевский связывал происхождение земских соборов не с социально-экономической жизнью общества, ростом дворянства и городов, заявлявших свои политические требования, а с нуждами государства. Соборное представительство, по мнению Ключевского, «выросло из начала государственной ответственности, положенного в основание сложного здания местного управления»². Развивая свою антитезу России Западу, Ключевский писал, что «земское представительство возникло у нас из потребностей государства, а не из усилий общества, явилось по призыву правительства, а не выработалось из жизни народа, наложено было на государственный порядок действием сверху, механически, а не выросло органически, как плод внутреннего развития общества»³. Земский собор, — резюмировал Ключевский, — «родился не из политической борьбы, а из административной нужды»⁴.

Работа В. О. Ключевского писалась в обстановке политической реакции, в годы осуществления земской контрреформы 1890 г., которая фактически упразднила даже элементы самостоятельности земских учреждений, подчинив их правительственным чиновникам. В таких условиях работа Ключевского, утверждавшего решающую роль государства в создании земских соборов, приобретала особый политический смысл, ибо она как бы исторически обосновывала незбылемость существовавших порядков. Не обострение классовый борьбы, не усиление дворянства и рост городов, оказывается, породили земские соборы, а всего лишь «административная нужда».

Эта общая концепция В. О. Ключевского проводилась им и при конкретном разборе сведений о земских соборах 1550, 1566 и 1598 гг. Так, говоря о соборе 1566 г., Ключевский считает, что он был «*сообщением правительства со своими собственными агентами*»⁵. Таким образом, Ключевский замаскированно становился на позиции тех, кто доказывал, что Россия никогда не имела представительных учреждений.

Впрочем, Ключевский уже отмечал присутствие на соборе 1598 г. выборных представителей местных дворянских обществ⁶.

Концепция Ключевского вызвала возражение еще при его жизни. С. Авалиани в особом исследовании о земских соборах опроверг многие его тезисы. Советская историческая наука продвинула вперед дело изучения земских соборов XVI в. С. В. Юшков отмечал, что земские соборы XVI—XVII вв. являлись сословно-представительными учреждениями⁷, игравшими видную роль в политической жизни Русского государства. М. Н. Тихомиров отметил и то, что сведения В. О. Ключевского о действительно состоявшихся земских

1 См. выше, стр. 9.

2 Там же, стр. 104 (ср. стр. 101—102).

3 См. там же, стр. 71.

4 Там же, стр. 110.

5 Там же, стр. 49.

6 Там же, стр. 64—66.

7 См. С. В. Юшков, К вопросу о сословно-представительной монархии в России, «Советское государство и право», 1950, № 10, стр. 40 и след.

соборах XVI в. очень неполны¹. Это подтвердилось новыми находками материалов о соборных заседаниях 1549, 1575, 1580 гг. и др., которые не были известны Ключевскому².

Если общая концепция Ключевского о характере земских соборов в России XVI—XVII вв. даже для своего времени была шагом назад, то многие его конкретные наблюдения, несомненно, интересны. Мысль о связи «соборного представительства с устройством древнерусских земских миров и общественных классов»³ заслуживает внимания. Ключевский показал, как дворянский участник соборных заседаний был по существу «естественным представителем на соборе уездной дворянской корпорации»⁴.

Исследование В. О. Ключевского о земских соборах в дальнейшем было широко использовано автором при подготовке к печати окончательного варианта «Курса русской истории»⁵.

В статье «Петр Великий среди своих сотрудников» В. О. Ключевский, очерчивая яркий образ этого деятеля XVIII в., стремился показать, что Петр I будто бы в своей деятельности как правитель проявил новые черты: «это — неослабное чувство долга и вечно напряженная мысль об общем благе отечества, в служении которому и состоит этот долг»⁶.

Установление самодержавия в России, конечно, привело к некоторому изменению в формулировках идеологического оправдания самодержавия; в частности, понятие «общего блага», столь характерное для «просвещенного абсолютизма», проповедовалось не одними российскими самодержцами. Однако под этим «общим благом» понимались узкие классовые интересы, в первую очередь дворянства. Личные высокие качества Петра I вызвали стремление дворянской и буржуазной историографии резко противопоставлять деятельность Петра I его предшественникам. Не избегал этого и В. О. Ключевский, нарисовавший явно идеалистический образ царя, будто бы подчинявшего все свои помыслы служению государству.

В восьмом томе впервые публикуется речь, произнесенная В. О. Ключевским на торжественном заседании в Московском университете 26 мая 1899 г., посвященном столетию со дня рождения А. С. Пушкина⁷. В ней В. О. Ключевский подчеркнул не только глубоко национальный характер творчества А. С. Пушкина, но и его значение в развитии мировой культуры, связывая деятельность гениального поэта с развитием русской культуры XVIII в. «Целый век нашей истории работал, — пишет Ключевский, — чтобы сделать русскую жизнь способной к такому проявлению русского художественного гения»⁸. И в своей речи В. О. Ключевский вновь осо-

¹ См. М. Н. Тихомиров, Сословно-представительные учреждения (земские соборы) в России XVI в., «Вопросы истории», 1958, № 5, стр. 2—22.

² См. С. О. Шмидт, Продолжение хронографа редакции 1512 г., «Исторический архив», т. VII, М.—Л. 1951, стр. 295. В. И. Корецкий, Земский собор 1575 г. и поставление Симеона Бекбулатовича «великим князем всея Руси», «Исторический архив», 1959, № 2, стр. 148—156. См. также В. Н. Автократов, Речь Ивана Грозного 1550 года как политический памфлет конца XVII века («Труды Отдела древнерусской литературы», т. XI, М.—Л. 1955, стр. 255—259).

³ См. выше, стр. 15.

⁴ Там же, стр. 35.

⁵ См. В. О. Ключевский, Сочинения, т. II, М. 1957, стр. 373—398; т. III, М. 1957, стр. 289—291, 300—318.

⁶ См. выше, стр. 315.

⁷ См. статью «Памяти А. С. Пушкина», стр. 306—313.

⁸ Там же, стр. 309.

бенно подчеркивает то, что толчок к развитию русской культуры целиком и полностью принадлежал инициативе одного лица — Петра I, который своими реформами, всей своей государственной деятельностью добился того, что Россия впервые почувствовала «свою столь неожиданно и быстро создавшуюся международную и политическую мощь». Россия будто бы откликнулась на «призыв, раздавшийся с престола», и выдвинула таких деятелей культуры, как М. В. Ломоносов и А. С. Пушкин¹.

Исследования, посвященные культуре XVIII в., занимают у В. О. Ключевского специальный раздел в его научном творчестве. Среди них прежде всего выделяются две статьи, посвященные крупному дворянскому историку XVIII в. — И. Н. Болтину. В них Ключевский пытается проследить последовательное развитие русской исторической науки, начиная с первой половины XVIII в. Продолжая начатые С. М. Соловьевым исследования о научной деятельности Болтина, Ключевский верно отметил роль последнего в развитии русского исторического знания, стремление Болтина отразить своеобразие русской истории одновременно с применением сравнительного метода при рассмотрении истории России и истории Западной Европы. «Его патриотическая оборона русской жизни превращалась в спокойное сравнительное изучение русской истории, а такое изучение побуждало искать законов местной народной истории и тем приучало понимать закономерность общего исторического процесса»², — в таких словах писал В. О. Ключевский о И. Н. Болтине. Необходимо отметить, что В. О. Ключевский идеализировал взгляды И. Н. Болтина, совершенно опуская из вида его апологетику самодержавного строя России.

В другой работе, посвященной истории XVIII в., — «Недоросль Фонвизина» — В. О. Ключевский основное внимание уделил уровню образования в среде дворянского общества того времени, используя в качестве примера собирательные образы комедии Д. И. Фонвизина. В этом произведении В. О. Ключевский справедливо увидел прекрасный источник по истории XVIII в. Верно признавая комедию бесподобным зеркалом русской действительности, В. О. Ключевский отметил, что духовные запросы в среде дворянского общества находились на крайне низком уровне и идеи просвещения очень туго усваивались им. Ключевский пытался объяснить это обстоятельство слабостью общественного сознания в среде дворянства, его нежеланием откликаться на предначертания правительства, направленные к тому, чтобы дворянство на себе самом показало «другим классам общества, какие средства дает для общежития образование, когда становится такой же потребностью в духовном обиходе, какую составляет питание в обиходе физическом»³.

Давая яркие картины дворянского воспитания XVIII в., Ключевский тем не менее не захотел разобраться в том, что вся система образования XVIII в., как и позднее, строилась в царской России на сугубо классовой основе. Молодое поколение дворянства получало воспитание в направлении, отвечающем нуждам своего класса, но отнюдь не «общественного сознания».

¹ См. выше, стр. 307, 308.

² Там же, стр. 156.

³ Там же, стр. 285.

В явной связи с этюдом о «Недоросле» находится и статья Ключевского «Воспоминание о Н. И. Новикове и его времени». Следуя установившемуся в буржуазной историографии взгляду на Н. И. Новикова как книгоиздателя, Ключевский связывал эту сторону деятельности Новикова с состоянием просвещения в России во второй половине XVIII в. В. О. Ключевский видел в Новикове редкий тип передового русского дворянина, посвятившего свой организаторский талант распространению в России просвещения путем издания сатирических журналов и книгоиздательства¹. Однако Ключевский оставил в стороне деятельность Новикова как русского просветителя XVIII в., вовсе не ограничивавшегося только книгоиздательской деятельностью. Ведь Н. И. Новикову принадлежал целый ряд полемических статей и философских произведений, в которых была заложена прежде всего антикрепостническая, антидворянская идея.

Ряд статей и этюдов В. О. Ключевский посвятил деятелям культуры и науки XIX в. Среди них — воспоминания об его учителях по Московскому университету С. М. Соловьеве и Ф. И. Буславье, статьи и наброски, посвященные Т. Н. Грановскому, М. Ю. Лермонтову, А. С. Пушкину и др. В. О. Ключевский в публикуемых в настоящем томе воспоминаниях о С. М. Соловьеве характеризует своего учителя как выдающегося педагога, уделявшего много внимания университетскому преподаванию. Большой интерес представляет высказывание Ключевского о замысле основного труда С. М. Соловьева — «История России с древнейших времен». Ключевский считал, что основная идея Соловьева заключалась в том, чтобы написать историю России за «120 лет нашей новой истории с последней четверти XVII до последних лет XVIII в.» Первые 12 томов труда — «только пространное введение в это обширное повествование о петровской реформе»². Ключевский очень сожалел, что Соловьев не успел завершить работы над своим трудом и не показал путь, пройденный Россией «между началом и концом XVIII в.»³

Пробел в монографическом изучении России XVIII в. В. О. Ключевский пытался в какой-то мере завершить сам, сделав это в IV и V частях своего «Курса русской истории». Для характеристики взглядов Ключевского на историю России XVIII в. важно отметить, что в данном вопросе он существенно отошел от точки зрения Соловьева. Говоря о дальнейшей судьбе реформ Петра I (после его смерти и до 1770-х годов), как это показано в «Истории России» Соловьева, Ключевский писал: «...мысль о реформе, как связующая основа в ткани, проходит в повествовании из года в год, из тома в том. Читая эти II томов, иногда как будто забываешь, что постепенно удаляешься от времени Петра»⁴. Действительно, С. М. Соловьев видел в буржуазных реформах 60-х годов непосредственное продолжение и развитие реформ Петра I, против чего уже возражали В. Г. Белинский и другие революционные демократы⁵. В. О. Ключевский в своем «Курсе русской истории», пытаясь

1 См. выше, стр. 249, 251.

2 Там же, стр. 359.

3 Там же, стр. 367.

4 Там же, стр. 365—366.

5 См. «Очерки истории исторической науки в СССР», т. I, М. 1955, стр. 358.

проследить судьбы реформ Петра I после его смерти, видел в «начале дворяновластия» реакцию против этих реформ¹, считал, что «редко когда идея исторической закономерности подвергалась такому искушению, как в последней его четверти» (XVIII в.)². В. О. Ключевский не связывал установление «дворяновластия» в России с развитием феодализма, хотя уже в работе о земских соборах сам же показал, что дворянство делается силой задолго до XVIII в. Но, несмотря на отрицание классовой основы самодержавия, стремление В. О. Ключевского уловить новые явления в историческом развитии России XVIII в. сохраняет историографический интерес.

Воспоминания В. О. Ключевского о знаменитом русском филологе Ф. И. Буслаеве, под руководством которого он занимался в Московском университете, просто и вместе с тем очень четко вскрывают значение Буслаева как крупнейшего ученого, поставившего в неразрывную связь развитие письменности и литературы на Руси с языком народа, с памятниками народного творчества. «Так рост языка приводился в органическую связь с развитием народного быта, а письменная литература — в генетическую зависимость от устной народной словесности», — писал Ключевский в своих набросках к статье о Ф. И. Буслаеве³.

Статья о Т. Н. Грановском, написанная Ключевским к пятидесятилетию со дня его смерти, в момент подъема революции 1905 г., отражала скорее политические взгляды автора, нежели оценку научной деятельности Т. Н. Грановского. В. О. Ключевский, близкий в то время к партии кадетов, противопоставлял в этой статье преобразовательную деятельность Петра I деятельности самодержцев России вплоть до конца XIX в., которые «обманули надежды» людей «меры и порядка»⁴.

Наконец, в статье «Грусть» В. О. Ключевский попытался в плане излюбленного им психологического анализа рассмотреть творчество М. Ю. Лермонтова. Он верно связал противоречивость творчества Лермонтова с условиями дворянского быта и среды, вызывавшими у поэта горькую досаду и чувство ненависти и презрения к окружающему его обществу. Но далее В. О. Ключевский, игнорировавший развитие демократической направленности общественной мысли, пытался доказать, что М. Ю. Лермонтов превратился в «певца личной грусти», сугубого индивидуалиста, в конце своего короткого жизненного пути подошедшего к примирению с «грустной действительностью», проникнутого христианским чувством смирения⁵. Это мнение резко противоречит тому огромному общественно-политическому звучанию, какое в действительности имели произведения великого русского поэта.

Большой интерес представляют публикуемые в настоящем томе обстоятельные отзывы В. О. Ключевского на исследования П. Н. Миллюкова, Н. Д. Чечулина и Н. А. Рожкова.

Несмотря на то что в 1890—1900 гг. В. О. Ключевский не создал ни одной монографической работы, посвященной социальным или экономическим вопросам истории России, он продолжал интересо-

1 Об этом см. В. О. Ключевский, Сочинения, т. IV, М. 1958, стр. 345.

2 См. выше, стр. 367.

3 См. ниже, стр. 475.

4 См. выше, стр. 394, 395.

5 См. там же, стр. 113, 120, 124, 128, 131, 132.

ваться этими вопросами и в своих отзывах выдвигал интересные положения, не утерявшие своего значения до настоящего времени и важные для освещения его личных взглядов.

В трактовке реформ Петра I, их причин и характера осуществления, В. О. Ключевский был близок к взглядам П. Н. Миллюкова, которые тот высказал в исследовании — «Государственное хозяйство России в первую четверть XVIII в. и реформы Петра I». И сам Ключевский в своем «Курсе русской истории»¹ смотрел на совершившиеся изменения в социально-экономической жизни страны в начале XVIII столетия главным образом сквозь призму правительственных преобразований. Тем не менее и Ключевский вынужден был признать крайний схематизм построений Миллюкова, ядовито отметив, что многие выводы последнего получились в результате излишнего доверия к денежным документам XVIII в. В. О. Ключевский ставил государственные преобразования во взаимосвязь с состоянием народного хозяйства, упрекая Миллюкова в том, что тот «в своем исследовании строго держится в кругу явлений государственного хозяйства, в трафарете финансовой росписи;.. а такую близкую к государственному хозяйству область, как хозяйство народное, оставляет в тени»².

В отзыве на исследование Н. Д. Чечулина «Города Московского государства в XVI в.» Ключевский, давая целый ряд интересных соображений о критике писцовых книг как основного вида источников, использованных Чечулиным, высказывал ценные соображения относительно значения городов «как факторов общественной жизни». Так, В. О. Ключевский пишет о необходимости изучения состава городского населения в тесной связи с уездным, требует прежде всего учитывать посадское население в городах, а также не обходить молчанием иных поселений, «не носивших звания городов, но с посадским характером»³.

В том же плане В. О. Ключевский построил свой отзыв о другом труде социально-экономического характера — «Сельское хозяйство Московской Руси в XVI в.» Н. А. Рожкова. В своем отзыве В. О. Ключевский ставил в большую заслугу автору постановку вопроса о сельскохозяйственном кризисе во второй половине XVI в. Однако Ключевский не соглашался с мнением Рожкова, что этот кризис был вызван системой землевладения и хозяйства, ростом поместного и крупного монастырского земледелия. Он считал нужным ставить вопрос более широко: «Условия, создавшие этот кризис, не ограничивались сферой сельского хозяйства, произвели общий и один из самых крутых переломов, когда-либо испытанных русским народным трудом, и когда вопрос будет обследован возможно разностороннее, тогда, может быть, и самый процесс получит иное освещение и иную оценку»⁴. Следует отметить, что вопрос о причинах сельскохозяйственного кризиса второй половины XVI в. до настоящего времени не получил окончательного разрешения. В частности, причины этого кризиса по-разному объяснены в трудах Б. Д. Грекова и М. Н. Тихомирова⁵.

1 В. О. Ключевский, Сочинения, т. IV, стр. 360, 361.

2 См. выше, стр. 182.

3 Там же, стр. 201—203.

4 Там же, стр. 386.

5 О историографии вопроса см. Б. Д. Греков, Крестьяне на Руси, кн. 2, М. 1954, стр. 233—242.

Восьмой том «Сочинений» В. О. Ключевского завершается лекциями по русской историографии, читанными историком в конце 80-х — начале 90-х годов в Московском университете. «Лекции» представляют собою основную часть специального курса, который читался Ключевским как непосредственное продолжение его курса по источниковедению¹. Полностью сохранились и воспроизводятся в настоящем издании девять лекций по историографии XVIII в. Вводная лекция к курсу, разделы по историографии летописного периода, XVII в. и о В. Н. Татищеве сохранились только в набросках, которые в настоящем издании не публикуются.

Курс лекций Ключевского находится в тесной связи с его исследованиями по историографии XVIII в., в частности со статьями о Н. И. Новикове и И. Н. Болтине. В курсе В. О. Ключевский широко использовал как труды самих историков XVIII в., так и специальные исследования С. М. Соловьева, Пекарского и др. Ему удалось дать ряд интересных характеристик русских и немецких ученых XVIII в., занимавшихся историей России. Вместе с тем «Лекции» не свободны от целого ряда серьезных недочетов. Односторонней являлась оценка историографического наследия М. В. Ломоносова, труды которого сыграли крупную роль в изучении древней русской истории, в борьбе с норманистическими построениями Байера и Миллера². Вывод Ключевского о том, что «Древняя Российская история» Ломоносова не оказала большого влияния «на ход историографии»³, не соответствует действительному положению вещей.

Тем не менее публикуемый курс В. О. Ключевского при всем его конспективном характере представляет научный интерес, как один из первых опытов освещения истории русской исторической науки XVIII в.

Кроме издаваемых в «Сочинениях», а также опубликованных в других сборниках и журналах статей, рецензий и речей В. О. Ключевского, значительное число подобных материалов (большей частью незавершенных автором) сохранилось в рукописном виде⁴. К их числу относятся две студенческие работы Ключевского, написанные в 1862—1863 гг.: «Сочинения Дюрана, епископа Мендского о католическом богослужении» (2 п. л.) и «Сравнительный очерк народно-религиозных воззрений» (около 0,5 п. л.). Последняя работа, написанная в семинаре Ф. И. Буслаева, весьма интересна для изучения вопроса о формировании исторических взглядов Ключевского. Ключевский в ней подчеркивает, что человек «в естественном состоянии... находится под постоянным, неотразимым и непосредственным влиянием природы, которая могущественно действует на всю его

¹ Курс лекций Ключевского по источниковедению см. в кн.: В. О. Ключевский, Сочинения, т. VI, М., 1959.

² См. Б. Д. Греков, Ломоносов-историк, «Историк-марксист», 1940, № 11, стр. 18—34; М. Н. Тихомиров, Русская историография XVIII в., «Вопросы истории», 1948, № 2, стр. 94—99; «Очерки истории исторической науки в СССР», т. I, стр. 193—204.

³ См. выше, стр. 409.

⁴ Основная их часть хранится в фонде Ключевского Рукописного собрания Института истории АН СССР, папка 25 (в дальнейшем при указании материалов, место хранения которых специально не оговаривается, следует иметь в виду, что они находятся в этой папке).

жизнь» и, в частности, ее явления определяют «все содержание религиозных верований». Это утверждение вызвало возражения Буслаева, который на полях написал, что «главное — в зависимости от условий и обычаев самой жизни народа». «Быт иногда сильнее природы оказывает действие на образование мифов, ибо через условия быта природа входит в мифологию».

К 1865 г. относится незавершенная работа Ключевского «О церковных земельных имуществах в древней Руси» (около 2 п. л.). Этой теме позднее автор посвятил ряд работ и уделил значительное внимание в «Курсе русской истории». Очевидно, в связи с первоначальным планом изучения «житий святых» как источника по истории землевладения и хозяйства, в конце 60-х годов XIX в. написано Ключевским исследование об участии монастырей в колонизации Северо-Восточной Руси, также оставшееся незаконченным, но давшее позднее материал автору для «Курса».

В 70-х годах XIX в. Ключевский пишет ряд рецензий на вышедшие тогда большие исторические труды. В «Заметках о ереси жидовствующих» (1870 г., около 1 п. л.), написанных в связи с выходом в свет «Истории русской церкви» Макария (т. VI), Ключевский говорит о необходимости изучать ересь как определенное движение, в глубине которого действовали «практические мотивы, направленные против всего строя русской церковной жизни XV в.»¹

Резкой критике подвергает он труды ученых-славянофилов и представителей официального направления. Им были написаны: в 1872 г. рецензия на книгу М. П. Погодина «Древняя русская история домонгольского ига», т. I—III (около 0,5 п. л.); рецензия на «Русскую историю», т. 1, К. Н. Бестужева-Рюмина (около 0,5 п. л.); в 1879 г. набросок рецензии на «Лекции по истории русского законодательства» И. Д. Беляева под заглавием «Русский историк-юрист недавнего прошлого» (Государственная библиотека им. В. И. Ленина [далее — ГБЛ], папка 14, дело 16); наброски рецензии на книгу И. Е. Забелина «История русской жизни», т. II (ГБЛ, папка 12, дело 2, около 0,5 п. л.). К этого же рода полемическим материалам относится письмо (начало 70-х годов XIX в.) в газету о роли Москвы в русской истории (0,4 п. л.). В этом письме Ключевский саркастически высмеивает славянофильское представление о том, что Москва была «городом нравственного мнения».

В связи с выходом в свет в 1876 г. книг Д. Иловайского «Розыскания о начале Руси» и «История России», т. I, Ключевский начал полемическую статью по варяжскому вопросу, к которой он вернулся в 90-х годах XIX в. (0,75 п. л.).

В этой работе Ключевский подвергает критике норманскую теорию Погодина и роксоаланскую гипотезу Иловайского, а в 90-х годах коснулся также возникновения «варяжского вопроса» в историографии XVIII в.

Вероятно, в связи с работой над «Курсом русской истории» Ключевский написал в конце 70-х годов небольшой труд «О племенном составе славян восточных» (около 0,8 п. л.; ГБЛ, папка 15,

¹ Подробнее об этих заметках см. в книге Н. А. Казаковой и Я. С. Лурье, «Антифеодальные еретические движения на Руси XIV — начала XVI в.», М.—Л. 1955, стр. 7, 9

дело 20), в котором исходил из тезиса С. М. Соловьева о том, что «История России есть история страны, которая колонизируется».

От 80—90-х годов сохранился ряд отзывов Ключевского, в том числе на диссертации Н. Кедрова «Духовный регламент в связи с преобразовательной деятельностью Петра Великого» (1883, около 0,3 п. л.), В. Е. Якушкина «Очерки по истории русской поэтической политики в XVIII—XIX вв.» (1890, 0,1 п. л.; ГБЛ, папка 14, дело 18), М. К. Любавского «Областное деление и местное управление Литовско-Русского государства» (1894, 0,2 п. л.; ГБЛ, папка 14, дело 27), А. Прозоровского «Сильвестр Медведев» (1897, 0,4 п. л.; ГБЛ, папка 14, дело 23), Н. Н. Фирсова «Русские торгово-промышленные компании в 1 половине XVII ст.» (1897, 0,1 п. л.). Все эти отзывы сохранились, как правило, не в законченном, а черновом виде. Тот же характер имеют и наброски речей, произнесенных Ключевским в связи с юбилейными датами, похоронами и т. п., например речь памяти И. С. Аксакова (1886, 0,2 п. л.), речь при закрытии Высших женских курсов (1888, 0,1 п. л.), речь памяти А. Н. Оленина (1893, 0,25 п. л.; ГБЛ, папка 13, дело 14), наброски речи о деятельности Стефана Пермского (1896, 0,25 п. л.), памяти П. И. Шафарика (1896, 0,1 п. л.; ГБЛ, папка 15, дело 2), памяти К. Н. Бестужева-Рюмина (1897, 0,2 п. л.; ГБЛ, папка 14, дело 6), памяти А. Н. Зерцалова (1897, 0,1 п. л.), памяти А. С. Павлова (1898; ГБЛ, папка 15, дело 4), речь на чествовании В. И. Герье (1898, 0,1 п. л.; ГБЛ, папка 15, дело 3), речь на столетнем юбилее Общества истории и древностей российских (1904, 0,7 п. л.), набросок речи, посвященной 150-летию Московского университета (1905, 0,1 п. л.).

В фонде Ключевского в ГБЛ сохранились также рукописи неизданных статей и рецензий, а также ряда статей, опубликованных Ключевским, но не вошедших в настоящее издание: «Рукописная библиотека В. М. Ундольского» (1870; ГБЛ, папка 14), рецензия на Т. Ф. Бернгарди (1876, ГБЛ, папка 14, дело 12), копия отчета «Докторский диспут Субботина» (1874; ГБЛ, папка 14, дело 13), рецензия на книгу Д. Д. Солнцева (1876; ГБЛ, папка 14, дело 14), наброски статьи о Н. Гоголе (1892, 0,25 п. л.). «Новооткрытый памятник по истории раскола» (1896, 0,5 п. л.; ГБЛ, папка 13, дело 22), «О хлебной мере в древней Руси» (1884; ГБЛ, папка 13, дело 6), «Добрые люди Древней Руси» (1892; ГБЛ, папка 13, дело 12), «Значение Сергия Радонежского для истории русского народа и государства» (1892; ГБЛ, папка 15, дело 1), «Два восстания» (1893; ГБЛ, папка 13, дело 13), «М. С. Корелин» (1899; ГБЛ, папка 14, дело 7), «Смена» (1899; ГБЛ, папка 14, дело 8), «О судебнике царя Федора» (1900; ГБЛ, папка 14, дело 9), отзывы на сочинения студентов Московской духовной академии и др.

В Институте истории АН СССР хранятся материалы и дополнения Ключевского к книге П. Кирхмана «История общественного и частного быта», М. 1867 (папка 25); в папке 24 находятся рукописи и корректуры следующих опубликованных в разных изданиях работ Ключевского: «Докторский диспут г. Субботина» (1874), корректура статьи «Содействие церкви успехам русского гражданского права и порядка» (1888), наборный экземпляр статьи «Значение Сергия Радонежского для русского народа и государства» (1892), наброски речи, посвященной памяти Александра III (1894), наброски статьи «М. С. Корелин» (1899).



При подготовке текста работ В. О. Ключевского и комментариев соблюдались правила, указанные в первом томе.

Текст восьмого тома Сочинений В. О. Ключевского подготовили к печати и комментировали В. А. Александров и А. А. Зилин. В подготовке к печати текста лекций по русской историографии В. О. Ключевского и комментариев к ним принимала участие Р. А. Киреева.

Том выходит под общим наблюдением академика М. Н. Тихомирова.

СОСТАВ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА НА ЗЕМСКИХ СОБОРАХ ДРЕВНЕЙ РУСИ

(Посвящается Б. Н. Чичерину)

Исследование впервые опубликовано в журнале «Русская мысль», 1890, № 1, стр. 141—178; 1891, № 1, стр. 132—147; 1892, № 1, стр. 140—172; переиздано в первом сборнике статей В. О. Ключевского — «Опыты и исследования», М. 1912, стр. 417—551. В архиве В. О. Ключевского сохранились черновой автограф и материалы к статье (ГБЛ, ф. Ключевского, папка 13, дело 8), а также вырезка из третьей главы первой статьи, стр. 147—170, с пометами Я. Л. Барскова, готовившего текст к переизданию (рукописное собрание Института истории АН СССР, ф. Ключевского, дело 24).

¹ Б. Чичерин, О народном представительстве [далее — Чичерин], М. 1866.

² И. И. Дитятин, К вопросу о земских соборах XVII ст., «Русская мысль», 1883, № 12, стр. 84—106; В. Латкин, Материалы для истории земских соборов XVII столетия, СПб. 1884; его же, Земские соборы древней Руси [далее — Латкин, Земские соборы], СПб. 1885; А. Н. Зерцалов, Новые данные о земском соборе 1648—1649 гг., Чтение в Обществе истории и древностей российских, 1887, кн. 3, IV.

³ Чичерин, стр. 363 и след.

⁴ Н. Костомаров, Исторические монографии и исследования, т. XIX, СПб. 1887, стр. 324, 403.

⁵ Чичерин, стр. 381.

⁶ «В 1662 г. было указано торговым людям столицы, чтобы они, «меж себя поговоря», помыслили о том, какие меры надобно принять для устранения дороговизны, наступившей вследствие падения курса медных денег. Торговые люди Кадашевской слободы закончили поданную ими на запрос правительства сказку словами: «А о сем великаго государя милости просим, чтоб великий государь изволил взять сказки у городских земских людей, что то дело всего его великаго государства». Еще яснее высказалось высшее столичное купечество; описав затруднения, от которых страдала торговля, оно прибавило: «А чем тому помочь, и о том мы ныне одни сказать подлинно недоумеемся для того, что то дело всего государства, всех городов и всех чинов, и о том у великаго государя милости просим, чтоб пожаловал великий государь, указал для того дела

взять изо всех чинов на Москве и из городов лутчих людей по пяти человек, а без них нам одним того великаго дела на мере поставити невозможно». Столичное купечество ясно отличает совещанье с отдельными классами общества от собрания лучших земских людей всего государства и знает, какие дела могут быть решаемы таким сепаратным совещанием и какие — общим земским собранием. (Из дела 1662 г. о медных деньгах, приготовляемого Московским архивом министерства юстиции к изданию).

⁷ Чичерин, стр. 357 и след.

⁸ С. М. Соловьев, Шлецер и антиисторическое направление [далее — Соловьев, Шлецер и антиисторическое направление], Русский вестник, 1857, т. VIII, кн. 2, стр. 444; В. И. Сергеевич, Земские соборы в Московском государстве, Сборник государственных знаний, т. II, СПб. 1875, стр. 5.

⁹ Н. Загоскин, История права Московского государства [далее — Загоскин], Известия и ученые записки Казанского университета, Казань 1877 г., № 4, стр. 768.

¹⁰ И. Беллев, Земские соборы на Руси. Московские университетские известия, М. 1867, [стр. 246 и след.]; Загоскин, [стр. 761 и след.]

¹¹ Собрание государственных грамот и договоров [далее — СГГД], ч. 2, М. 1819, № 37.

¹² Витебская старина, изд. А. Сапунов, т. IV, ч. I [далее — Витебская старина], Витебск 1885, стр. 27, 33.

¹³ Соловьев, Шлецер и антиисторическое направление, стр. 445, К. С. Аксаков, Полное собрание сочинений, т. I, М. 1889, стр. 198, 204;

¹⁴ Загоскин, стр. 772 и след.

¹⁵ Чичерин, стр. 365.

¹⁶ Временник Московского общества истории и древностей российских [далее — Временник], кн. 20, М. 1854, Смесь, стр. 41—55.

¹⁷ «Так, например, в тульском походе 1555 г. поручения столичной службы исполняли рядом с записанными в Тысячной книге князем П. И. Татевым, А. И. Прозоровским, Л. Раковым, Ф. Зезевитовым и дворяне, в ней не записанные, но бывшие потом на соборе 1566 г., Л. Колтовской, князь И. Ю. Голицын, князь Ф. В. Сисеев и другие».

¹⁸ «Псков, Вотьская, Шелонская, Деревская и Бежецкая пятинны Новгородо Великого, оба Ржевы, Великие Луки, Торопец, Белая, Дорогобуж, Вязьма, Боровск, Малый Ярославец, Калуга, Масальск, Воротыньск, Гаруса, Тула, Рязань, Коломна, Москва, Можайск, Волок, Дмитров, Тверь, Торжок, Бежецкий Верх, Кашин, Ярославль, Ростов, Переяславль, Юрьев, Суздаль, Стародуб Ряполовский, Муром, Кострома, Галич».

¹⁹ «Впрочем, трудно сказать, насколько изложенный в соборной грамоте порядок подачи мнений соответствовал действительности и насколько он был делом дьяка, составлявшего грамоту и сводившего соборные мнения по соображениям редакционного удобства. Следы этих соображений можно было бы отметить как в этой, так и в других соборных грамотах, если бы это входило в состав рассматриваемого вопроса. Ввиду этого можно объяснить, почему составитель приговорной грамоты 1566 г. не соединил девять луцких и торопецких помещиков в третью статью. Помещики новгородские, псковские, ржевские, луцкие и торопецкие в книге 1550 г. разделены не на три, а только на две статьи, которые по размерам назначен-

ных им подмосковных поместий соответствовали второй и третьей статьям. Девять лужских и торопецких представителей на соборе значились во второй статье своего местного деления, соответствовавшей третьей статье общего деления. Составитель приговорной грамоты, руководившийся классификацией 1550 г., и не знал, по какому делению числить их, по общему или местному».

²⁰ «В-больших генеральных походах составлялись и смешанные сотни из обрывков, какие «за расходом оставались» от сотенного распорядка отрядов разных уездов».

²¹ Временник, кн. 5, М. 1850, Материалы, «Книга, глаголемая летописец Федора Кириловича Нормантского», стр. 117—134.

²² Московский архив министерства иностранных дел, Разрядная книга № 99/131 [далее — Разрядная книга № 99/131], л. 344.

²³ Синбирский сборник, т. I, М. 1844, Разрядная книга, стр. 7.

²⁴ «Нет прямых указаний на порядок выбора или назначения представителей на собор 1566 г. и приходится ограничиться догадками. По-видимому, на этот собор были призваны дворянские представители только тех уездов, дворянство которых было мобилизовано. Дворянство каждого уезда делилось на неодинаковое количество сотен и не все сотни уезда поднимались в поход. Судя по большому числу соборных представителей от некоторых уездов, можно подумать, что на собор призваны были головы всех сотен, в минуту призыва сидевших на конях. Если же число вызывавшихся представителей известного уезда было меньше количества мобилизованных сотен этого уезда, дворянству последнего приходилось выбирать требуемое число представителей из наличных своих голов. Может быть, этим и ограничивались соборные выборы дворянства в 1566 г.»

²⁵ А. Павлов, Земское (народное и общественное) направление русской духовной письменности, Православный собеседник, Казань 1863, март, стр. 304.

²⁶ Дополнения к актам историческим, собранные и изданные Археографической комиссией [далее — ДАИ], т. 3, СПб. 1848, № 47, III, стр. 156.

²⁷ Полное собрание русских летописей [далее — ПСРЛ], т. 8, СПб. 1859, стр. 43; Русская летопись по Никонову списку [далее — Никоновская летопись], ч. IV, СПб. 1788, ((стр. 101)).

²⁸ Изборник славянских и русских сочинений и статей..., изд. А. Попов, М. 1869, стр. 184, 185.

²⁹ «В челобитной 1649 г. гости и гостиной сотни торговые люди писали царю: «А наперед, государь, сего, блаженные памяти при прадеде твоём государеве при государе царе и великом князе Иване Васильевиче всеа Русии и при деде твоём государеве при государе царе и великом князе Федоре Ивановиче всеа Русии и при иных прежних государех, даваны были из городов и из московских из черных сотен и из слобод и из патриарших лутчие люди в гостиную сотню, для того что из гостиные сотни выбираются в твои государевы службы в головы и в целовальники первыми людьми». ДАИ, т. 3, № 47, III, стр. 158.

³⁰ Писцовые книги XVI века, ред. Н. В. Калачов, ч. I, отделение I, СПб. 1872, стр. 381; Сборник грамот Троицко-Сергиева монастыря, № 532, по г. Ярославлю грамота № 125.

³¹ ПСРЛ, т. 4, СПб. 1848, стр. 335.

³² «Эти известия сведены» — Латкин, Земские соборы, стр. 86 и след.

³³ Г. Котошихин, О России в царствование Алексея Михайловича, СПб. 1859, стр. 104.

³⁴ «У Карамзина встречаем два счета. В одном месте своей *Истории* он пишет, что, кроме духовенства, синклита, двора, на соборе присутствовало не менее 500 чиновников и людей выборных, а в другом месте всех членов, подписавших избирательную грамоту, он считает около 500» [Н. М. Карамзин], *История государства Российского*, т. X, СПб. 1824, стр. 228; т. XI, СПб. 1824, стр. 20.

³⁵ Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской империи Археографической экспедицией Академии наук [далее — ААЭ], т. 2, СПб. 1836, № 7.

³⁶ «В списке членов, внесенном в текст грамоты, помеченной 1 августа, некоторые члены обозначены чинами, которые они получили уже в сентябре того года по случаю коронации царя Бориса: так, князь М. П. Катырев-Ростовский, Ф. И. Ноготков, А. Н. Романов и другие помещены в списке в числе бояр, которыми они стали не раньше 1 сентября, дня коронования».

³⁷ Разрядная книга № 99/131, л. 831.

³⁸ «Группа, помеченная в соборном списке словом у *жильцов*, состояла также из дворян, бывших начальными людьми жилецкого отряда; в рукоприкладствах их имена помещены в одной группе с дворянами».

³⁹ СГГД, ч. III, М. 1822, № 113; Акты Московского государства, ред. Н. А. Попов [далее — Акты Московского государства], т. I, СПб. 1890, № 26, 108.

⁴⁰ Разрядная книга № 99/131, л. 834 и след.

⁴¹ «Князь А. Д. Хилков из г. Новосила, князь Ф. В. Туренин из Орла, Г. И. и Т. Г. Вельяминовы из Михайлова и Ряжска».

⁴² Витебская старина, т. IV, ч. I, стр. 27, 33.

⁴³ Сказания современников о Димитрии Самозванце, ч. III, СПб. 1832, стр. 52.

⁴⁴ Московский архив министерства юстиции, Десятия № 207, л. 144.

⁴⁵ Акты Московского государства, т. I, № 60, 101, 134, 185; СГГД, ч. III, № 8 (стр. 37).

⁴⁶ «В упомянутой выше рукописи г. Барсова».

⁴⁷ СГГД, ч. I, М. 1813, стр. 640 и след.

⁴⁸ «От некоторых уездов было по одному выборному, как видно по списку каширских дворян и детей боярских 1599 г., из которых был на соборе один Тутолмин, носивший чин выборного дворянина, хотя в списке только дворян этого чина поименовано 18 человек (Московский архив министерства юстиции, Десятия № 247). Но из списка 1607 г. можно видеть, что от г. Медыни было два выборных представителя, столько же от Юрьева-Польского».

⁴⁹ «В подписи шестого запоздалого представителя Ивана Кобелева не указано, кого представлял он. Может быть, это сын боярский Вотской пятины И. Д. Кобелев, который по десятию 1607 г. является сотником стрелецким в г. Орешке». Московский архив министерства юстиции, Десятия, № 120; № 123, л. 27; Акты исторические, собранные и изданные Археографической комиссией [далее — АИ!], т. I, СПб. 1841, № 198.

⁵⁰ «Предполагаем это потому, что пятерых из этих семи голов находим в сохранившемся списке (известен нам по упомянутой выше рукописи г. Барсова XVII в.) царя и сотников, командовавших московскими стрельцами при царях Иоанне Грозном и Феодоре».

⁵¹ Временник, кн. 16, М. 1853, Материалы, стр. 7 и след.

⁵² Чичерин, стр. 358—363.

⁵³ Соловьев, Шлецер и антиисторическое направление, стр. 444.

⁵⁴ «Так *соборами* назывались соединенные заседания Освященного собора и Боярской думы в конце XVI в., обыкновенно бывавшие по пятницам. Может быть, потому же у нас в XVII в. называли английский парламент, собственно палату общин, *земским собранием*, а не *собором*».

⁵⁵ Акты юридические, или собрание форм старинного делопроизводства, изд. Археографической комиссии, СПб. 1838, № 161.

⁵⁶ Никоновская летопись, ч. VII, СПб. 1791, стр. 258 и след.; «Сравнить» — Судебник государя, царя и великого князя Иоанна Васильевича., изд. В. Н. Татищев [далее — *Татищев*, Судебник], М. 1786, стр. 131 и след. [ст. 105].

⁵⁷ Архив историко-юридических сведений, относящихся до России, изд. Н. Калачов, кн. 2, половина 2, М. 1854, отделение V, стр. 56, 57.

⁵⁸ ААЭ, т. I, СПб. 1836, № 187, 192, 250; Акты Московского государства, т. I, № 30 (стр. 54).

⁵⁹ ПСРЛ, т. 4, стр. 304 и след.

⁶⁰ ААЭ, т. I, № 224; «Сравнить» — *Татищев*, Судебник, стр. 70, 71 (ст. 60).

⁶¹ Никоновская летопись, ч. VII, стр. 197; Временник, кн. 5, стр. 69; Царств. книга, стр. 330, 337.

⁶² «Думаем, что летописец поставил слово *возжелеша*, если только эта форма принадлежит его перу, в смысле *возделеша* или *возжелаша*, а не *возжалеша*, что сделало бы его рассказ непонятным. Бояре возжелали богатств, которых ожидали от отмены кормлений, а не жалели о богатствах, которых лишала их эта отмена; в последнем случае они не стали бы и обсуждать дела о кормлениях, а оставили бы его в прежнем положении, отсрочив его обсуждение, вместо того чтобы отсрочивать вопрос о казанском строении».

⁶³ ((*Калачов*, Архив историко-юридических сведений, кн. 3, II, стр. 27—80)). «Из замечания о Гр. Курчове (л. 79), что на рождение Христова 64 года *будет* 2 года, как он сидит на Слободском на Вятке, видно, что книгу начали составлять еще до 25 декабря 1555 г. Но она была закончена или пополнялась в следующем году, потому что о благоवेशенье и пасхе 1556 г. говорится в ней как о пережитых праздниках (л. 72 и 122)».

⁶⁴ «Такое происхождение приписываем мы приговору царя с боярами о «кормлениях и о службе», помещенному в так называемой Летописи по Никонову списку (ч. VII, стр. 258—262; в *Летописце* Нормантского уцелел только конец приговора — *Временник*, кн. 5). В читаемом здесь тексте следы парафразы очевидны, по легко заметить и черты подлинного закона, сходные с уставными, или откупными, грамотами того времени, а в конце приговора изложены те самые постановления или правила об *уложенной службе*, которыми руководились при составлении *Кормленной книги* 1555—

56 г. для определения служебной повинности и денежного вознаграждения служилых людей и которые в этой книге называются *уложением*. Татищев (*Татищев*, Судебник, стр. 131 и след., § 103 и след.) пытался исправить несправный летописный текст приговора и вносил в него пояснительные вставки. В его изложении закон 1555 г. помечен 20 сентября. Нам неизвестно, откуда заимствована эта дата, но она оправдывается ходом дела: именно с сентября 1555 г. и по отрывку *Кормленной книги* заметно учащаются переходы земских обществ на откуп. Можно подумать, что 20 сентября приговорено было обнародовать закон, решенный ранее.

⁶⁵ ААЭ, т. I, № 230, 282; ДАИ, т. I, СПб. 1846, № 95, 116.

⁶⁶ ААЭ, т. I, № 223. «В этой грамоте 1549 г. одним из торговых сведенцов смолян, панов московских, назван Тиша Смывалов, а этот Тимофей Смывалов присутствовал на соборе 1566 г. в числе купцов смолян, чем еще более подтверждается высказанная в первой статье настоящего опыта мысль, что смоляне соборного акта 1566 г. были представители не г. Смоленска, а столичного московского купечества».

⁶⁷ Русская историческая библиотека, [Далее — РИБ], т. 3, СПб. 1876, стб. 278; т. 8, СПб. 1884, стб. 74.

⁶⁸ РИБ, т. 8, стб. 74.

⁶⁹ «По изданию 1669 г., стр. 127».

ГРУСТЬ

(памяти М. Ю. Лермонтова, умер 15 июля 1841 г.)

Статья впервые была опубликована без подписи, с указанием одной лишь начальной буквы фамилии автора в журнале «Русская мысль», 1891, № 7, стр. 1—18; переиздана во втором сборнике статей В. О. Ключевского — «Очерки и речи», М. 1913, стр. 117—139. В архиве В. О. Ключевского сохранились черновые наброски статьи (ГБЛ, ф. Ключевского, папка 13, дело 9).

И. Н. БОЛТИН

(умер 6 октября 1792 г.)

Статья впервые опубликована в журнале «Русская мысль», 1892, № 11, стр. 107—130; переиздана во втором сборнике статей В. О. Ключевского — «Очерки и речи». М. 1913, стр. 163—198; а также в книге В. О. Ключевского «Курс русской истории». ч. V, М. 1937, стр. 456—488. В архиве В. О. Ключевского сохранилась вырезка из журнала с небольшой авторской правкой и наброски статьи (Рукописное собрание Института истории АН СССР, ф. Ключевского, дело 24).

¹ Критические примечания генерал-майора Болтина на первый том Истории князя Щербатова, СПб. 1793, стр. 251, 252.

² Примечания на историю древняя и нынешняя России г. Леклерка, сочиненные генерал-майором Иваном Болтиным [далее — *Болтин*], т. I, 1788, стр. 76.

³ *Болтин*, т. II, 1788, стр. 141 [и след.].

Речь В. О. Ключевского «Памяти И. Н. Болтина» издается впервые; читана 21 декабря 1892 г. на заседании Общества истории и древностей российских при Московском университете (см. Чтения в Обществе истории и древностей российских, М. 1894, кн. 1, IV, Смесь. Протоколы заседаний Общества, стр. 31). В архиве В. О. Ключевского сохранились черновые материалы и автограф речи (ГБЛ, ф. Ключевского, папка 13, дела 10, 11).

¹ [См. статью В. О. Ключевского «И. Н. Болтин», публикуемую в данном томе].

² Ответ генерал-майора Болтина на письмо князя Щербатова. сочинителя Российской истории, СПб. 1793, стр. 158.

³ [Далее страница с четвертью оставлены чистыми].

⁴ [На полях рукописи — зачеркнутая вставка автора]: «Изучая эту опись, чувствуешь себя в положении человека, приглашенного описывать только что распечатанный кабинет скоропостижно умершего ученого».

⁵ [Над этим словом в автографе написано]: «Татищева».

ОТЗЫВ О ИССЛЕДОВАНИИ П. Н. МИЛЮКОВА
«ГОСУДАРСТВЕННОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ
В ПЕРВУЮ ЧЕТВЕРТЬ XVIII в.
И РЕФОРМА ПЕТРА ВЕЛИКОГО»

Отзыв публикуется впервые. Подробное изложение диспута по диссертации П. Н. Милюкова, на котором В. О. Ключевский выступал в качестве оппонента, см. в журнале «Историческое обозрение», 1892, т. V, стр. 198—215. В архиве В. О. Ключевского сохранились черновые материалы и автограф отзыва (ГБЛ, ф. Ключевского, папка 4, дела 20, 21).

¹ П. Милюков, Государственное хозяйство России в первую четверть XVIII в. и реформа Петра Великого [далее — Милюков], СПб. 1892, стр. XIV.

² Милюков, стр. 105.

³ Там же, стр. 54.

⁴ Там же, стр. 104, 105.

⁵ Там же, стр. 709.

⁶ Там же, стр. 713.

⁷ Там же, стр. 732—735 [курсив В. О. Ключевского].

ОТЗЫВ О ИССЛЕДОВАНИИ Н. Д. ЧЕЧУЛИНА
«ГОРОДА МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВА В XVI В.»

Отзыв впервые опубликован в книге «Отчет о 33-м присуждении наград графа Уварова», СПб. 1892, стр. 276—315; перенздан в третьем сборнике статей В. О. Ключевского — «Отзывы и ответы», М. 1914, стр. 406—454. В архиве В. О. Ключевского сохранились отрывки из белого экземпляра рукописи и наброски текста статьи (Рукописное собрание института истории АН СССР, ф. Ключевского, дело 24).

¹ Н. Д. Чечулин, Города Московского государства в XVI в. [далее — Чечулин], СПб. 1889, стр. 22.

² В. Берх, Путешествие в города Чердынь и Соликамск, СПб. 1821, стр. 188—195.

³ А. Востоков, Описание русских и словенских рукописей Румянцевского музеума, СПб. 1842, № 308, стр. 437—438.

⁴ Чечулин, стр. 24, 25.

⁵ «См., например»: Чечулин, стр. 61, 71, 232.

⁶ «Ограничимся немногими примерами. Определяя развитие ремесел в новгородских пригородах, автор по книге 1500 г. насчитывает в Ивангороде ремесленников 39 человек, или 23% общего числа населения города. Но выше в описании этого города общее число его населения не было выведено. По перечню автора мы считаем 201 человек; но 39 не составит 23% этой суммы. Вероятно, автор принял в расчет только 169 торговых людей и казаков, отбросив почему-то 4 купцов, 1 попа и 27 дворников. В Орешке автор считает только двух указанных в книге ремесленников, пастуха и скомороха. Положим, что других и не было. Общий итог людей и здесь не выведен (Чечулин, стр. 37, 38, 50). По частным итогам автора тяглых и нетяглых выходит 261. Но 2 не составит полного 1% этой суммы, как выводит автор. Впрочем, и частные итоги не совсем ясны. Автор считает в Орешке 245 тяглых людей в 174 дворах; мы по книге 1500 г. не могли насчитать более 235 человек в 169 дворах. В описании г. Орешка мы заметили несколько и других сомнительных цифр. Или, например, из отношения 77 к 297 по сотной г. Каргополя автор выводит 27,3% ремесленников вместо 25,9%. Может быть, здесь есть опечатки? Самое свойство исследуемых автором данных требовало особой осмотрительности как в их обработке, так и в корректуре книги».

⁷ Чечулин, стр. 60, прим. 2.

⁸ Там же, стр. 35, прим. 1.

⁹ Там же, стр. 27—31.

¹⁰ Там же, стр. 46.

¹¹ Там же, стр. 47.

¹² Там же, стр. 242.

¹³ Н. Чечулин, Начало в России переписей и ход их до конца XVI в., Библиограф, СПб. 1889, № 2, стр. 58.

¹⁴ Чечулин, стр. 30.

¹⁵ Там же, стр. 77, 78, прим. 2.

¹⁶ «В пояснение того, как мало зависела податная классификация тяглых городских дворов от состава семей, приведем одну мелкую черту из документа XVII в., когда городское тягло сохраняло свой прежний строй, какой оно имело в XVI в. По писцовой книге 1687 г. в г. Гороховце на посаде значилось тяглых дворов средней статьи 12, людей в них тож, а у них детей, братьев и племянников, взрослых и малолетних 21, молодых дворов 7, людей в них столько же, а у них детей, братьев и племянников 104. Значит, на средний двор приходилось менее чем 3 человека мужского пола, а на молодой — почти по 16 человек, т. е. почти в шесть раз больше». (Владимирские губернские ведомости, 1865, № 29—31).

¹⁷ Чечулин, стр. 236.

¹⁸ Там же, стр. 28, 236.

¹⁹ Там же, стр. 47.

²⁰ Там же, стр. 283, 284

²¹ Там же, стр. 178

²² Там же, стр. 241.

²³ Там же, стр. 242, прим. 1.

²⁴ «См., например», *Чечулин*, стр. 151, прим. 1.

²⁵ Там же, стр. 210, 267.

²⁶ Там же, стр. 213, прим. 2.

²⁷ Там же, стр. 220—222.

²⁸ Там же, стр. 205, прим. 1.

²⁹ Там же, стр. 212.

³⁰ Там же, стр. 119, прим. 1.

³¹ «Он на себе самом испытал неудобство такой опоры. Ямщики обыкновенно жили слободами и обозначались в писцовых книгах только жильцами «во дворах», а не собственниками их. Так они описаны и в писцовой книге Казани. Но в книге Свяжска они обозначены как собственники дворов выражением «двор такого-то», и автору пришлось делать новое предположение о каком-то особом устройстве их слободы. По его словам (*Чечулин*, стр. 222), формула «во дворе такой-то» без всяких исключений всегда прилагается при описании дворов черных тяглых людей, а на стр. 233 оказались исключения. Притом в книгах других городов эти формулы имеют другое значение (см., например: *Чечулин*, стр. 50)».

³² *Чечулин*, стр. 203, 207.

³³ Там же, стр. III, 9, 32.

³⁴ «В списке поименовано, собственно, 42 города, описание которых нашел автор; но об одном из них, Олонце, замечено в книге, что по его описанию 1556 г. он на город не похож и городом не назван (*Чечулин*, стр. 19, прим. 3); автор и не пользовался этим описанием в своем исследовании. Вообще соображения, которыми руководился автор при составлении списка, не вполне ясны. Он изучал и помещал в списке только поселения, носившие в XVI в. название городов; но между ними встречаем в списке и некоторые посады. В список занесены многие селения, которые в духовных грамотах Ивана III и Ивана Грозного названы городами или городками, хотя некоторые из них, например Деман, Курск-на-Ловати, Хотунь, Стародуб-Ряполовский, в XVI в. превратились в городища, погосты или села; но другие селения, упомянутые в тех же документах и под теми же званиями, как Кременск, Опаков, Старая Рязань, Шерна, почему-то в список не попали (Собрание государственных грамот и договоров, ч. 1, М. 1813, № 144, стр. 390 и 396; Дополнения к актам историческим, изд. Археографической комиссии [далее — ДАИ], т. I, СПб. 1846, № 222, стр. 379, 380, 386). Вообще этот список нуждается в пересмотре и пополнении, хотя по задаче исследования он не имеет особенно важного значения в книге г. *Чечулина*. Так, не видно, почему автор принимает Мезецк и Мещовск за два города, а не за разный название одного города».

³⁵ *Чечулин*, стр. 21, 22.

³⁶ «Чтобы принять неожиданность этого соображения автора, достаточно припомнить хотя бы по *Сибирской летописи*, изданной Спасским, нападения черемисов, вотяков и других уральских инородцев на русские поселения Камского края во второй половине XVI в. О положении Поморского севера говорят меры правительства для защиты его от шведских нападений и жалобы Соловецкого

монастыря в челобитных царям, что то место украиное, прилегли близко немецкие земли и в монастыре и в Сумском остроге от немецких людей живут осады частые и т. п.»

³⁷ *Чечулин*, стр. 11, 45, 267.

³⁸ Там же, стр. 332, 333.

³⁹ Новгородские писцовые книги, изд. Археографической комиссии [далее — Новгородские писцовые книги], т. I, СПб., 1859, стб. 640.

⁴⁰ *Чечулин*, стр. 51, 52.

⁴¹ Московский архив министерства юстиции, Писцовая книга № 965. «Напечатана с сокращениями» — Временник Московского Общества истории и древностей российских [далее — Временник], кн. 6, М. 1850, Материалы, Новгородские писцовые книги (о осаде — стр. 65).

⁴² Новгородские писцовые книги, т. 2, СПб., 1862; стб. 499.

⁴³ *Чечулин*, стр. 114.

⁴⁴ Там же, стр. 245.

⁴⁵ «Пример подобного отношения автора к источнику встречаем еще на стр. 290. Передавая известие писцовой книги г. Венева, что осадный голова «писал ко государю о стрельцах (Писцовые книги XVI в., ред. Н. В. Калачов, ч. 1, отд. II, СПб., 1877, стр. 1540), автор находит это выражение, «очевидно», неточным: «голова писал, конечно, в какой-нибудь приказ». Ничего неточного здесь нет: местные начальники в сношениях с центральным правительством обыкновенно писали на государево имя».

⁴⁶ *Чечулин*, стр. 116—118.

⁴⁷ Московский архив министерства юстиции, Писцовая книга № 355, л. 657 и след.

⁴⁸ *Чечулин*, стр. 110.

⁴⁹ Там же, стр. 63—65, 152, 324.

⁵⁰ Там же, стр. 147.

⁵¹ Там же, стр. 35.

⁵² Временник, кн. 12, М. 1852, Материалы, стр. 139.

⁵³ «В счете дворов своеземцев здесь у автора, вероятно, по корректурному недосмотру, слагаемые (30, 2, 47, 3, 59 и 8) не сходятся с суммой 146, которая согласна с источником (*Чечулин*, стр. 36 и след.)».

⁵⁴ *Чечулин*, стр. 43.

⁵⁵ Новгородские писцовые книги, т. 3, СПб. 1868; Временник, кн. 11, М. 1851, Материалы (в разных местах); Полное собрание русских летописей [далее — ПСРЛ], т. 4, СПб. 1848, стр. 289.

⁵⁶ Рукопись Соловецкого монастыря в библиотеке Казанской духовной академии № 18.

⁵⁷ Временник, кн. 12, Материалы, стр. 64; Новгородские писцовые книги, т. 3, стб. 73, 75.

⁵⁸ ДАИ, т. 1, № 57; Новгородские писцовые книги, т. 4, СПб. 1886, стб. 507.

⁵⁹ ПСРЛ, т. 6, СПб. 1853, стр. 299; Московский архив министерства юстиции, Писцовая книга № 707, л. 1 и след.

⁶⁰ Новгородские писцовые книги, т. 4, стб. 539, 547, 552.

⁶¹ «Сравнить»: Новгородские писцовые книги, т. 3, стб. 75 и след., и рукописную писцовую книгу Вотской пятины 1582 г. (Московский архив министерства юстиции, Писцовая книга № 958, л. 8 и след.). «Следы земецких вотчин см.»: Новгородские писцовые

книги, т. 4, стб. 547, в рукописных писцовых книгах (Московский архив министерства юстиции, Писцовые книги № 967, л. 353; № 963, л. 532 и след.).

⁶² Московский архив министерства юстиции, Десятни № 131 и 141, в разных местах; Временник, кн. 6, Материалы, стр. 21; ДАИ, т. I, № 52, VI, стр. 40. «Корпоративная связь новгородских земцев с местными дворянами и детьми боярскими видна из того, что им по верстанью указывали «служить с пятиною вместе» и что они бывали городовыми приказчиками, которых обыкновенно выбирало все общество дворян и детей боярских округа (Московский архив министерства юстиции, Десятни № 123, л. 29, 31 и 38). Слово *земцы* известно было и в других областях, кроме Новгорода и Пскова. В Тамбовском краю по актам XVII в. так назывались и крестьяне и полковые казаки в смысле совместных владельцев земли или угодий и притом с значением туземцев-старожилов». Материалы, относящиеся к истории Тамбовского края, вып. I, сост. И. Н. Николев, Тамбов 1884.

⁶³ *Чечулин*, стр. 312.

⁶⁴ Там же, стр. 12.

⁶⁵ Там же, стр. 322, 336.

⁶⁶ «Именно 204 чел. из 570 (*Чечулин*, стр. 313, 157, 158). К сожалению, здесь приходится еще раз указать на неисправность корректуры у автора именно в цифрах, составляющих главный интерес его книги. По одной и той же описи в Можайске показано дворов посадских людей на стр. 157 — 116 и 85, а на стр. 173 — 205, в Коломне на стр. 156 — 11¹/₂ и 22, а на стр. 173 — 32¹/₂ дворов».

⁶⁷ *Чечулин*, стр. IV.

⁶⁸ Там же, стр. 10.

⁶⁹ Там же, стр. 270 и след., 285.

⁷⁰ Там же, стр. 343—349.

⁷¹ Там же, стр. 312.

ВОСПОМИНАНИЯ О Н. И. НОВИКОВЕ И ЕГО ВРЕМЕНИ

Статья читана на заседании Общества любителей российской словесности, 13 ноября 1894 г.; впервые издана в «Русской мысли» 1895, № 1, стр. 49—60; переиздана во втором сборнике статей В. О. Ключевского — «Очерки и речи», М. 1913, стр. 248—282; а также в книге В. О. Ключевского «Курс русской истории», т. V, М. 1937, стр. 424—455. В архиве В. О. Ключевского сохранились вырезка статьи из журнала, ее черновой автограф, помеченный 17 июня — 13 августа, черновые материалы статьи (ГБЛ, ф. Ключевского, папка 13, дело 16), а также белой автограф статьи (Рукописное собрание Института истории АН СССР, ф. Ключевского, дело 24).

¹ *Иоанн Массон*, Познание самого себя, перевел с немецкого И. Т., М. 1783, ч. I, стр. 12; ч. II, стр. 32.

² «Первым можно считать Общество любителей русской словесности, составившееся из кадетов сухопутного шляхетного корпуса еще в 1730-х годах, когда там учился Сумароков».

С. М. СОЛОВЬЕВ КАК ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

Воспоминания В. О. Ключевского о С. М. Соловьеве читаны 4 октября 1895 г. на заседании Исторического общества при Московском университете в годовщину смерти С. М. Соловьева и Т. Н. Грановского. Впервые изданы в книге «Издания исторического общества при Московском университете», М. 1896, стр. 184—194; переизданы во втором сборнике статей В. О. Ключевского — «Очерки и речи», М. 1913, стр. 24—35. В архиве В. О. Ключевского сохранился наборный экземпляр статьи (автограф) (ГБЛ, ф. Ключевского, папка 13, дело 15).

НЕДОРΟΣЬ ФОНВИЗИНА

(*опыт исторического объяснения учебной пьесы*)

Статья впервые опубликована в журнале «Искусство и наука», 1896, № 1, стр. 5—26; переиздана во втором сборнике статей В. О. Ключевского — «Очерки и речи», М. 1913, стр. 283—311; а также в книге В. О. Ключевского «Курс русской истории», ч. V, М. 1937, стр. 489—514. В архиве В. О. Ключевского сохранились наборная рукопись (автограф) и черновые наброски статьи (ГБЛ, ф. Ключевского, папка 13, дела 1, 2).

Ф. И. БУСЛАЕВ КАК ПРЕПОДАВАТЕЛЬ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬ

Речь, посвященная памяти Ф. И. Буслаева, была произнесена В. О. Ключевским 27 сентября 1897 г. в Обществе истории и древностей российских (см. Чтения в Обществе истории и древностей российских, 1898, кн. 2, IV, Смесь. Протоколы заседаний Общества, стр. 53); печатается впервые. Черновой автограф речи хранится в Рукописном собрании Института истории АН СССР. Там же хранятся нижеследующие наброски статьи, помеченные 8 января 1898 г. (ф. Ключевского, дело 26):

«Словесность искусственная, «верстовые столбы», на произведениях ее печать личного творчества, личной силы. Блестящие капризы индивидуальности. Случайности, яркие мимолетные метеоры. Их связь с народной жизнью по их художественному действию на народную мысль и чувство, не по генетической связи с ними.

Известны были, собирались и записывались памятники безыскусственной народной словесности: былины, духовные стихи, песни, сказки, пословицы, приметы, загадки, заговоры и т. п. Но все это какой-то балласт, с которым не знали, что делать: 1) как понимать это, 2) какая связь всего этого с искусственной литературой. Отводили особый отдел в начале обзоров истории литературы, описывали *виды* или формы и, не вникая в содержание, бросали, чтобы не вспоминать в обзоре *настоящих* литературных произведений. Народная словесность рассматривалась как простонародное, устное, т. е. безграмотное, словесное творчество невежества и суеверия или детский лепет народного духа при самом снисходительном отношении.

Ключ к пониманию значения и исторического взаимоотношения обеих словесностей — в росте народного *слова*, в истории языка.

Слово растет вместе с духом и жизнью народа, отражая в себе его наблюдения, впечатления, верования, чувства, понятия, обычаи, общественные отношения, даже приемы мышления и стремления, воззрения и наклонности, складывающиеся в народе под влиянием этих наблюдений, впечатлений, отношений, как их осадок, — словом грамматика и лексика народного языка — это древнейшие летописи народной жизни, предшествовавшие летописям его исторических деяний, да с появлением этих летописей не перестававшие отмечать движения народной жизни, оставшиеся неуловимыми для них.

Такая связь языка с жизнью народа вскрывалась в таком порядке изучения.

1. В первобытных значениях корней открывались первоначальные наблюдения и впечатления от явлений природы и человеческой жизни.

2. В образовании производных слов синонимов — [развитие] понятий о предметах, складывавшееся из наблюдений и впечатлений, соотношений, какие устанавливались между предметами по этим понятиям.

3. В различных значениях одного и того же слова вскрывалось движение народной наблюдательности и мысли, расширение и осложнение первичных понятий и представлений, отражение чувств и умозаключений, отлагавшихся от этой работы (семасиология языка — логика и эстетика народного творчества).

4. Переходя от образования слов к строению речи обычным первобытным ее оборотам, описывались первобытные простейшие формы народной поэзии, поговорки, пословицы, притчи, мифы, загадки, заклинания, приметы и т. п. В них отразились первые попытки народа построить из отдельных понятий и сопоставлений цельное мирозерцание, представление о том, как мир божий стоит и как мир людской стоять должен, а также первые навыки народного мышления и морализирования (народная космогония и мифологическая этика).

Изложенные моменты — «эпическая поэзия» в истории словесности, отразившая первобытный склад народной психологии. Эти первые параллельные моменты роста народного слова и духа у Буслаева являлись основными мотивами и в дальнейших более сложных формах словесного творчества народной мысли и фантазии, отразивших более поздние формации народного быта, в песнях, сказках и разнообразных видах искусственной письменной словесности.

Так рост языка приводился в органическую связь с развитием народного быта, а письменная литература — в генетическую зависимость от устной народной словесности. У грамматики открывалась бытовая основа, у произведений личного гения отыскивалась безличная и безыменная народная генеалогия... История литературы получала совсем другой научный склад и характер: из критико-библиографического обзора отдельных памятников письменности без внутренней связи, без указания народных источников литературного творчества она...¹ в картину народного духа и быта, насколько она в памятниках устной и письменной словесности и искусства».

¹ Далее почти целый лист оставлен чистым.

¹ [Далее 1½ страницы оставлены чистыми, после чего идет заметка]: «...Недостаточно подумал об этом. Потому отмечу лишь то, что испытал на первых шагах по пути изучения русской истории...»

² [Далее следовала заметка]: «Статья вводила в круг понятий, внушавших совсем непривычные представления о содержании, границах и приемах изучения той отрасли знания, которую мы называли историей словесности».

³ Ф. Буслаев, Исторические очерки русской народной словесности и искусства, т. I, СПб. 1861, стр. 355.

О ВЗГЛЯДЕ ХУДОЖНИКА НА ОБСТАНОВКУ И УБОР ИЗОБРАЖАЕМОГО ИМ ЛИЦА

Лекция, прочитанная В. О. Ключевским в Училище живописи, ваяния и зодчества весною 1897 г., печатается впервые. Рукопись хранится в Рукописном собрании Института истории АН СССР, ф. Ключевского, дело 26. Сохранились следующие наброски В. О. Ключевского, относящиеся к данной лекции и помеченные февралем 1898 г.:

«Нарядные иконостасы, пышные костюмы, обремененные жемчугом, металлом, камнями, формы отношений, *столы* с неодолимыми кучами яств и *права постельного жильца*. Подробности. Нищие и арстанты. Впечатление суетности, тщеславия, грубого великоколения, низкопоклонства, раболепия.

[Все это производит] на нас, блюстителей, на расстоянии веков, не живущих мотивами этой жизни, впечатление чего-то тяжелого, громоздкого и неуклюжего; дела страстей и инстинктов, нехристианских чувств и интересов. Готовы дивиться, как это люди, знавшие I главу пророка Исаии, [так поступали]. Но мы не обличаем, а изучаем.

Чтобы понять быт или человека, прежде всего надо быть справедливыми, а для того снисходительно и доброжелательно войти в их чувства и потребности, войти с мыслью, что и мы в этом положении, на той ступени развития жили бы не лучше.

Мы, сторонние и равнодушные наблюдатели склада и формы чуждой нам и отдаленной от нас жизни, расположены судить о ней по впечатлению, какое она на нас производит. Не будет ли справедливее, человечнее и *научнее* брать во внимание при этом суждения и те чувства и соображения, с какими работали над этой жизнью ее строители, и те впечатления, которые на них производила их *собственная* работа? Чтобы понимать своего собеседника, надобно знать, как сам понимает он слова и жесты, которыми с вами объясняется, а обычаи и порядки старой жизни — это язык понятий и интересов, которым старинные люди объяснялись друг с другом и объясняются с нами, их потомками и наблюдателями.

Могучим стимулом, возбуждающим деятельность человека, служит его вера в себя, уверенность, что в нем есть качества, в которых он полагает свою силу и которые оправдывают его житейские стремления и притязания. Ему мало уверить других, что он действительно таков, каким хочет им казаться; еще важнее для него убедить самого себя, что он и другим хочет казаться таким,

каков он на самом деле. Я не решаюсь сказать, что более льстит нам, доброе ли мнение других о нас или наше собственное мнение о себе самих. По крайней мере преувеличенное чужое мнение едва ли удовлетворяет, если не поддерживается самомнением. Но и без преувеличения можно ли по одной наружности чужого дела судить о его мотивах? Начинаящий художник... Люди нами изучаемых веков полагали свою силу и задачу между прочим в развитии своего религиозного чувства, набожности и благочиния. Известно, как в древней Руси богатые люди заботились об умножении и украшении своего «божия благословения», своих домовых божниц. Здесь не могло действовать религиозное тщеславие, желание шегольнуть перед другими своим набожным усердием: в моленные не пускали посторонних людей. Русский человек тех веков был уже и настолько христианином, что не мог любоваться своим нарядным богом, как любитесь дикарь-язычник. Но когда он, истрепанный житейской суетой, становился перед своими образами, богато изукрашенными золотом и дорогим камнем, он не жалел о своем богатстве, потраченном на их украшение, и только был доволен собой за то, что оно нашлось у него; строгие лики на иконах, глядевшие на него при свете лампад из своих массивных дорогих окладов, напоминали ему о суете земного, и он опять был доволен собой, что потратил свое богатство не на суетные блага, а на пользу душевную, на жертву благодарности святым устроителям нравственного порядка, строгие лики которых так кротко смотрели на него из своих дорогих окладов: скажи ему эти устроители, что надо отдать эти дорогие оклады на пользу бедных, — и он охотно готов был отнести их по назначению. Значит, иконная пышность воспитывала его к самопожертвованию, будила в нем сонное религиозное чувство. Не то же ли делаем и мы с собой, только другим подбором средств, когда, например, обращаемся к искусству и музыке, чтобы привести себя в желаемое настроение, которого не умеем устроить себе без этого искусственного возбуждения? Человек дорожит средствами, пробуждающими в нем чувство своих сил, потому что это чувство заставляет его уважать себя, а уважение к себе воздерживает от поступков, за которые перестанут уважать нас другие.

¹ [Над строкой приписка]: «Ларошфуко».

² [Фраза не окончена].

³ [Над строкой приписка]: «Борода. Петр I».

⁴ [Далее приписка]: «Типы и индивидуальные личности».

ПАМЯТИ А. С. ПУШКИНА

Речь, прочитанная В. О. Ключевским на торжественном заседании в Московском университете 26 мая 1899 г. в связи со столетием со дня рождения А. С. Пушкина, публикуется впервые по черновому автографу, хранящемуся в ГБЛ, ф. Ключевского, папка 15, дело 5. Там же в делах 6 и 7 хранятся наброски статьи и выписки из источников. (Среди набросков есть следующий: «стихи его — что чуткий термометр. Необычайная гибкость его стиха соответствует столь же необычайной подвижности его настроения. Его бурный *Зимний вечер* поселяет в душе какой-то теплый покой; людскому горю он находил примиряющие выраже-

няя, и самая грусть отливается у него в веселые, ободряющие звуки»).

Сохранились три письма редактора «Русской мысли» В. А. Гольцева (май — сентябрь 1899 г.) Ключевскому с просьбою передать его речь о Пушкине для ее публикации (ГБЛ, ф. Ключевского, папка 31, дело 68).

ПЕТР ВЕЛИКИЙ СРЕДИ СВОИХ СОТРУДНИКОВ

Статья впервые издана в «Журнале для всех», 1901, № 1, стр. 53—72; № 3, стр. 321—334; № 4, стр. 445—454; переиздана во втором сборнике статей В. О. Ключевского — «Очерки и речи», М. 1913, стр. 471—514. В архиве В. О. Ключевского сохранились черновой автограф статьи (неполностью) и подготовительные материалы (ГБЛ, ф. Ключевского, папка 14, дело 10), а также черновой вариант конца статьи (Рукописное собрание Института истории АН СССР, ф. Ключевского, дело 24).

ПАМЯТИ С. М. СОЛОВЬЕВА

(умер 4 октября 1879 г.)

Статья впервые напечатана в журнале «Научное слово», 1904, кн. 8, стр. 117—132; переиздана во втором сборнике статей В. О. Ключевского — «Очерки и речи», М. 1913, стр. 35—36. В архиве В. О. Ключевского сохранилась наборная рукопись (автограф) (Рукописное собрание Института истории АН СССР, ф. Ключевского, дело 24). Раздел первый данной статьи представляет собой перепечатку некролога на смерть С. М. Соловьева, опубликованного В. О. Ключевским без подписи в «Критическом обозрении», 1879, № 20, стр. 37—40.

ОТЗЫВ О ИССЛЕДОВАНИИ Н. А. РОЖКОВА

«СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО МОСКОВСКОЙ РУСИ В XVI в.»

Отзыв впервые был опубликован в книге «Отчет о 44-м присуждении наград графа Уварова», СПб. 1904, стр. 19—37; переиздан в третьем сборнике статей В. О. Ключевского — «Отзывы и ответы», М. 1914, стр. 455—481. В архиве В. О. Ключевского сохранились наборная рукопись рецензии, черновой автограф первоначального варианта рецензии, черновые материалы к ней, выписки и т. п. (ГБЛ, ф. Ключевского, папка 14, дела 24—26).

Описание магистерского диспута Н. А. Рожкова, на котором В. О. Ключевский выступал в качестве официального оппонента, дано в газете «Русские ведомости», 1900, № 139, 20 мая, и в журнале «Исторический вестник», 1900, июль, стр. 346.

¹ «Так, подробно говоря о распределении лесов в России XVI в., он ссылается на карту России, составленную будто бы в конце XVI или в самом начале XVII в. для царевича Федора Борисовича, хотя на ней значится уже Иверский монастырь, основанный в 1653 г. (Н. Рожков, Сельское хозяйство Московской

Руси в XVI в. Ученые записки Московского университета. Отдел историко-филологический [далее — *Рожков*], вып. 26, М. 1899, стр. 16). По этой карте рассеяны группы знаков, изображающие русские леса. Но это скорее картинка, чем географическая карта».

² Труды Археографической комиссии Московского археологического общества, ред. М. В. Довнар-Запольский, т. I, вып. 2, М. 1900.

³ «Этот строгий приговор, кажется, имел в виду преимущественно дозорные и другие книги, составленные в Смутное время и в начале царствования Михаила, до указа 12 марта 1620 г., который говорит о неправильном захвате по этим книгам дворцовых и черных земель». Временник Общества истории и древностей российских, кн. 20, М. 1854, Материалы, стр. 129—131; Описание документов и бумаг, хранящихся в Московском архиве министерства юстиции [далее — Указная книга Поместного приказа], кн. 6, М. 1889, отд. III, стр. 54.

⁴ *Рожков*, стр. 500—507.

⁵ Там же, стр. 148—151.

⁶ А. *Фортунатов*, Сельскохозяйственная статистика Европейской России, М. 1893, стр. 105—110.

⁷ *Рожков*, стр. 166 и след.

⁸ Судебник царя Федора Иоанновича, М. 1900, стр. 55, ст. 225.

⁹ *Рожков*, стр. 192.

¹⁰ Новгородские писцовые книги, изд. Археографической комиссии, т. 4, СПб. 1886, стб. 37, 38.

¹¹ Писцовые книги XVI в., ред. Н. В. Калачов, ч. 1, отд. II, СПб. 1872, стр. 69, 71; «сравнить»: П. *Иванов*, Заметка о размере окладной пашни и населенности дворов в Кеврольском у. XVII в. Таблица I. Труды Археографической комиссии Московского археологического общества, ред. М. В. Довнар-Запольский, т. 2, вып. 1, М. 1900, стр. 157.

¹² Писцовые книги XVI в., ч. 1, отд. II, стр. 318; «случай этот отмечен и в труде» — И. И. *Ланно*, Тверской уезд в XVI в., Чтения в Обществе истории и древностей российских, М. 1894, кн. 4, I, стр. 49.

¹³ «Льготная на вотчину И. Нагово 1575 г.» — Сборник грамот Троице-Сергиева монастыря, № 530, л. 1000.

¹⁴ *Рожков*, стр. 7.

¹⁵ «Об этой писцовой книге см. замечание» — Указная книга Поместного приказа, стр. 79; *Рожков*, стр. 8.

¹⁶ Статистический Временник Российской империи, сер. III, вып. IV, стр. 24.

¹⁷ *Рожков*, стр. 478 и след.

¹⁸ Там же, стр. 9.

¹⁹ Там же, стр. 12.

²⁰ Там же, стр. 33.

²¹ Там же, стр. 64.

²² Там же, стр. 61.

²³ Там же, стр. 64, 65.

²⁴ Там же, стр. 473.

²⁵ «По отношению к Центру этот тезис для нас не совсем ясен. Изложение его на стр. 67 показывает, что по краям этой области на севере и юго-западе одни уезды (Можайский, Верей-

ский, Ржевский, Серпуховской) «представляли мало утешительную картину», а в других (Бежецком, Кашинском, Углицком, Новоторжском, Зубцовском) наряду с переложной системой заметна «нередко» и паровая зерновая, хотя в таблице на стр. 70—71 отмечено только два случая второго порядка из 18-ти — в уездах Углицком и Зубцовском, всего на 778½ десятинах. Но немного ниже сказано, что все эти уезды представляли из себя сплошной полукруг «с преобладанием паровой зерновой системы», а окончательная редакция тезиса констатирует на северо-западе Центра «преобладание переложной системы».

²⁶ Рожков, стр. 128, 200, 265, 290, 365.

²⁷ Там же, стр. 455.

²⁸ Там же, стр. 148—151.

²⁹ Там же, стр. 452—454.

³⁰ Там же, стр. 147 и след.

³¹ Там же, стр. 455 и след.

³² Там же, стр. 111—116.

³³ Там же, стр. 266 и след.

ПАМЯТИ Т. Н. ГРАНОВСКОГО

(умер 4 октября 1855 г.)

Статья впервые напечатана в газете «Русские ведомости», 1905, № 263, 8 октября. Наброски статьи хранятся в Рукописном собрании Института истории АН СССР, ф. Ключевского, дело 24.

¹ [В рукописи имеются варианты начала статьи]: «Что, какая идея, какое воспоминание привело нас к этой могиле, закрывшейся полвека назад? Та же идея, которая влекла наших отцов и ваших дедов в аудиторию Грановского». «50-й день памяти Грановского невольно вызывает рой светлых воспоминаний о том времени, когда сквозь молчаливую мглу русской ежедневной жизни...

В каждом поборнике русского просвещения и русской общественной самостоятельности таится большая или меньшая доля Петра Великого, потому что все такие борцы суть духовные потомки преобразователя. Он действовал, ожидая их; они продолжали его дело, благоговея перед ним.

Мертвые головы Петра I, бюст Грановского с трупа, Чичерин и его последний разговор со мной — предчувствие последствий японской войны и Трубецкой — наша новая история — род теней — юдоль печали и вздыханий».

² [В рукописи имеются варианты и наброски, относящиеся к данному тексту]: «Вы, господа, можете еще увидеть стариков, которые, попав в Москву из уездного захолустья, набожно крестятся, проезжая мимо полукруглого здания на углу Моховой и Никитской. Были годы, когда в Московском университете, вешая правду и свободу, он один стоял в Московском университете прямо и твердо, как стоит этот обелиск над его могилой. Имя Грановского стало символом, лозунгом общественного возрождения, совершаемого превращением слова науки в дело жизни. Вот идея, отлившаяся в преподавательской и литературной деятельности Грановского; она стала для нас его заветом и его пророчеством; «слово плоть бысть».

Так изображает Грановского добродушное предание, складывавшееся до нас. Это идиллия счастливого профессора, покоившегося на лаврах студенческого обожания, как бы сказал про такое положение красноречивый товарищ Грановского по службе профессор русской словесности Шевырев. Не мог укрыться от живой действительности в своей академической келье.

Аудитория, где воспринял и передумал свои лучшие мысли. [Его] имя встретило и провожало меня в университете; оно еще звучало во всех аудиториях.

³ [В рукописи к данному тексту относится вариант:] «Побережем себя, — сказал в заключение Грановский, — на великое служение». Из этих слов видно, что Грановский искал и в русской истории моментов, которые бы могли поддержать его веру в успех его дела. Конечно, прежде всего его мысль остановилась на реформе Петра. За нее ухватился Грановский как за опору. Свое отношение к преобразователю он выразил незадолго до смерти. Шла Восточная война, которая безжалостно обнажила порядок, прикрытый николаевским фасадом. Эмигрировавший Герцен с тоски по родине начал славянофильствовать на чужбине и что-то написал против Петра. Это возмутило Грановского, и он в письме к Герцену 1854 г. горько упрекал, зачем он бросил камень в преобразователя. «Пожил бы ты здесь, и ты бы сказал другое». Такое отношение к Петру, как и все, во что вживалась мысль Грановского, выразилось у него в обычной изящной и глубоко грустной форме. Годом смерти Грановского была столетняя годовщина Московского университета, который был ему обязан таким подъемом своего нравственного и общественного значения».

⁴⁻⁴ [В рукописи к данному тексту имеется вариант]: «в другое время».

⁵ [В рукописи к данному тексту имеется вариант]: «Никитенко был незаурядный профессор и писатель, но, очарованный талантами и чувствами Грановского, он позволил себе написать о нем в своем дневнике, что «он вполне очеловечен наукою». Стало быть, без науки... Щадя память Никитенко, не хочется договаривать. Грановский разошелся с Герценом; поборники русской старины, «ветхого призрака», ославили его чуть не безбожником и революционером. Наверху ему оказывали благоволение, внимательно выслушивали его, порой давали поручения по части народного образования; но ласковая улыбка сопровождалась косым, подозрительным взглядом. А какие люди стояли наверху, об этом достаточно припомнить горькое письмо Кавелина, писанное месяца четыре спустя по смерти Грановского. Его в ужас приводит мысль, что скоро вымрут последние александровцы, воспитанные в духе первых лет царствования Александра I. «Побывайте на кухне, где...» (стр. 212)). С такими людьми невозможно было примирение. И в душе Грановского сменялась борьба уныния и бодрости. Он то хотел жить и работать, то собирался поступить в ополчение, не для того, чтобы сражаться, а чтобы умереть».

⁶ [В рукописи к данному тексту относится вариант]: «Сколько разбитых надежд! Лучшим венком, которым могло бы украсить русское общество память славнейшего из профессоров русских, было бы лишний просвет, лишние вспышки убеждения в необходимости неотступной идейной борьбы за пре... [конец слова не разобран] надежды и успеха».

ЛЕКЦИИ ПО РУССКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ

Курс лекций В. О. Ключевского по историографии печатается впервые. Рукопись хранится в ГБЛ, в Рукописном отделе, ф. 131, д. 12, ед. хр. 1 (три шитые тетради на 76 л.). Рукопись представляет собой студенческую запись, которая впоследствии проверялась самим В. О. Ключевским. Названия разделов лекций частично сохранились в тексте лекций, частично добавляются при публикации, проведена необходимая археографическая обработка и унификация.

¹ «Доклад Бломентроста 22 янв. 1724. П. Пекарский, История императорской Академии наук [далее — Пекарский], т. 1, СПб. 1870, стр. XXX; Первое торж. заседание 27 дек. 1725 (там же, стр. XXXVII)».

² Пекарский, т. 1, стр. 184.

³ С. М. Соловьев, История России с древнейших времен [далее — Соловьев], т. 20, М. 1870, стр. 239—240.

⁴ См. Commentarii Academiae scientiarum imperialis petropolitanae [далее — Сомм.], t. IV, p. 275—311. Русский перевод — СПб. 1767, под заглавием «О варягах».

⁵ В. Н. Татищев, История российская с самых древнейших времен [далее — Татищев], кн. 1, ч. 2, М. 1769, стр. 393.

⁶ [Далее зачеркнуто:] «Борьба эта начинается уже в царствование Елизаветы Петровны».

⁷ Татищев, кн. 1, ч. 2, стр. 418.

⁸ Пекарский, т. 1, стр. 319.

⁹ [Сомм., t. IV, p. 275. В русском переводе: «От начала руссы, или россияны владетелей варягов имели. Выгнавши ж оных, Гостомысл от славянского поколенья, правил владением, и ради междусобных мятежей ослабевшим, и от силы варягов устесненным. По его совету россияне владетельский дом от варягов опять возвратили, то-есть: Рурика и братьев». Байер. О варягах, СПб. 1767, стр. 1.]

¹⁰ «Происхождение сказки от ошибочной догадки Викентия Кадлубка (XIII в.), смешавшего Люблин с Юлином городом (Юлий Цезарь и сестра его Юлия за Лешком — *Lestco Stomachum haec movere possunt, cum viscerum omnium doloribus, donec illatum cruda ejecta fuerint.* Сомм. V. IV, p. 277».

¹¹ Сомм., t. IV, p. 280; Татищев, кн. 1, ч. 2, стр. 410 и след.

¹² Татищев, кн. 1, ч. 2, стр. 397.

¹³ «Напр. Сомм., t. IV, p. 285, о Святославе. сканд. *sven* видит $\Sigma\varphi\epsilon\upsilon\delta\omega\sigma\lambda\acute{\alpha}\beta\omicron\varsigma$ ».

¹⁴ О значении этого слова, см. Сомм., t. IV, p. 295; Татищев, кн. 1, ч. 2, стр. 409.

¹⁵ Татищев, кн. 1, ч. 2, стр. 410.

¹⁶ Сомм., t. IV, p. 297; Татищев, кн. 1, ч. 2, стр. 411.

¹⁷ «Тогда это не было бесчестным ремеслом».

¹⁸ Сомм., t. IV, p. 301 и 304; Татищев, кн. 1, ч. 2, стр. 413 и 418.

¹⁹ Выписка: Сомм., t. IV, p. 303—304, Татищев, кн. 1, ч. 2, стр. 418.

²⁰ «Главные статьи Байера в Commentarii Academiae scientiarum imperialis petropolitanae, t. I—IX, СПб. 1726—1739. Смотри подробнее у П. Пекарского «История Академии», т. 1, стр. 180—196».

- ²¹ «О Миллере у Пекарского. История Академии, т. 1, стр. 308—430. О нем же статьи С. М. Соловьева в «Современнике» 1854, том 47 (№ 10, стр. 115—150)».
- ²² Sammlung russischer Geschichte, St.-Pb., 1732—1765.
- ²³ ((Летопись Феодосия, стр. 319)).
- ²⁴ [На полях:] «Акты, собранные Миллером в сибирских архивах, до сих пор печатаются в Дополнениях к актам историческим».
- ²⁵ Пекарский, т. 1, стр. 338.
- ²⁶ «Фишер академик, 1697—1771, по материалам Миллера состав[ил] Sibirische Geschichte, Spb. 1768, 2 Bd. Русский перевод СПб. 1774».
- ²⁷ [Последние три фразы были позднее зачеркнуты Ключевским.]
- ²⁸ «Пекарский, т. 1, стр. 359 и 405. Шумахер о Миллере: «громкий голос и присутствие духа, очень близкие к нахальству».
- ²⁹ Пекарский, т. 1, стр. LXVII.
- ³⁰ Там же, стр. 343. «Это было в 1746 г.»
- ³¹ Там же, стр. 360.
- ³² Соловьев, т. 23, СПб. 1873, стр. 331.
- ³³ Пекарский, т. 1, стр. 361 и 380.
- ³⁴ Там же, стр. 361.
- ³⁵ [Далее зачеркнуто:] «Сказал мало нового, он изложил только взгляды и доказательства Байера».
- ³⁶ М. О. Коялович, История русского самосознания [далее — Коялович], СПб. 1884, стр. 109—110.
- ³⁷ [Далее зачеркнуто:] «возражения со стороны академиков».
- ³⁸ Соловьев, т. 23, стр. 330—331.
- ³⁹ Коялович, стр. 110.
- ⁴⁰ «Лаврентьевская летопись, стр. 19; ср. стр. 28. «И от тех Варяг прозвася Руская земля, новгородьци, ти суть людье иовгородьци от рода варяжьска, прежде бо беша словени». Русская летопись по Никонову списку, ч. 1, 1767, стр. 15. «И от тех варягов находников прозвашась Русь, и оттоле словоет Руская земля, иже суть навгородстии людие и до нынешняго дне. Преже бо нарицахусь словене, а ныне Русь от тех варяг прозвашась; сице бо Варяги звахуся Русью».
- ⁴¹ Коялович, стр. 111.
- ⁴² Соловьев, т. 23, стр. 332.
- ⁴³ Ср. Пекарский, т. 1, стр. 380.
- ⁴⁴ Там же, стр. 57.
- ⁴⁵ Там же.
- ⁴⁶ «Ежемесячные сочинения к пользе и увеселению служащие». С 1758 г. изменяется название журнала: «Сочинения и переводы к пользе и увеселению служащие [далее — Сочинения и переводы], т. 1—20, СПб. 1755—1764, продолжение их: Новые ежемесячные сочинения, издавались Академией с 1786 по 1796 г.
- ⁴⁷ Пекарский, т. 1, стр. 409.
- ⁴⁸ Там же, стр. 380.
- ⁴⁹ Опыт новейшей истории о России. Сочинения и переводы, СПб. 1761, январь, стр. 3—63; февраль, стр. 99—154; март, стр. 195—244.
- ⁵⁰ «Миллер первым познакомил Западную Европу с историей России посредством своей Sammlung russischer Geschichte, 9 Bd.

Срб. 1732—1765. Он издал также много памятников и сочинений русских ученых: Историю российскую В. Н. Татищева 4 тома, М. 1768—84; Судебник царя Иоанна, [изд.] Татищева, М. 1768; Степенную книгу, 2 ч., М. 1771—75; Географический лексикон Российского государства... Ф. Полунина, М. 1773; Письма Петра Великого, писанные к... Б. П. Шереметеву, М. 1774; Описание земли Камчатки С. П. Крашенинникова, т. 1—2, СПб. 1755».

⁵¹ «Ломоносов предпринял вторую попытку полного и связного изложения русской истории. Эта попытка была смелее татищевской, но гораздо неудачнее.

Одна из самых бурных и поучительных русских жизней XVIII в. А. Галахов, История русской словесности, древней и новой, т. I, СПб. 1863 [далее — Галахов], стр. 359. Побег в Москву и ученье в Славяно-греко-латинской академии (1729—1734). Вызов в академическую гимназию (1736). Ломоносов в Марбурге (1736—39). Занятия металлургией, увлечение и побег в Голландию. Возврат в отечество (1741). Адъюнкт и профессор химии и экспериментальной физики (с 1745 г).

Академическая жизнь Ломоносова слагалась из двух главных дел: из непрерывной и непримиримой войны с немцами в академии и из разнообразных и неутомимых учено-литературных работ. Опыт Ломоносова по русской истории тесно связан и с этой борьбой, и с этими работами.

Война с немцами-академиками испортила много крови Ломоносову; зато и он иногда доводил своих противников до отчаяния. Едва ли справедливо искать причины этой вражды только в личных несочувствиях Ломоносова или в его раздражительном ученом высокомерии, вообще в его упрямом, неуживчивом характере, «мужиковатом» нраве, какой приписывали ему его друзья и товарищи. Истинным источником вражды было патристическое негодование, какое возбуждалось в Ломоносове отношением академических немцев к делу просвещения в России. Петербургская академия наук была тогда немецкой ученой колонией на Васильевском острове и на содержании русского народа. Немцы в ней хозяйничали и находили, что иначе и быть не могло и не должно. Они присвоили себе монополию научного знания в России и считали себя апостолами русского просвещения, убежденные, что русские сами без них, немцев, не способны вырабатывать научное знание и только от них могут воспринять просвещение, как соску от няньки. Они делали большую честь России, что получали от ее правительства свои оклады по контракту и производили ученые работы, которые оставались никому не известными в России, кроме академической канцелярии. Ломоносов смотрел на их деятельность несколько иначе, по-своему. Он думал, что они только эксплуатируют свою ученую фирму, а не служат успехам русского просвещения, «употребляют дело божие для своих пристрастий, не заботясь о приращении наук в России», что, монополизировав науку в своих руках, они мешали ее распространению среди русских, довели академические университет и гимназию до такого состояния, что первый «ниже образа университетского не имел, а из гимназии в семь лет ни один школьник в достойные студенты не доучился». Такое отношение немцев-академиков к русскому народу и просвещению до глубины души возмущало Ломоносова как ученая недобросовестность и как обида России. Наемных про-

светителей ее он иначе не называл, как неприятелями наук российских, гонителями русского просвещения, успехи которого, по его словам, были ему всего в жизни дороже, и бороться с этими гонителями он считал своим священным долгом перед всемогущим промыслом, так богато его одарившим. «За общую пользу, — писал он в 1761 г., — а особливо за утверждение наук в отечестве и против отца своего родного восстать за грех не ставлю... Я к сему себя посвятил, чтоб до гроба моего с неприятелями наук российских бороться, как уже борюсь 20 лет; стоял за них смолода, на старость не покину». Мнение немцев о научной неспособности и беспомощности русских оскорбляло его как личная обида. Как смеют они думать так, когда перед ними стоит живая улика их неправды — он, Ломоносов, которого они же сами и их заграничные авторитеты признали первоклассным ученым «с замечательным умом и отличным пред прочими дарованием!» А он — русский человек и только. Так честь отечества для Ломоносова слилась с чувством собственного достоинства его. Без излишней скромности называя себя украшением Академии, он ценил в себе не профессора химии Ломоносова, а русского ученого (*Соловьев*, т. 23, стр. 326); он хотел, чтоб по нему, его способностям судили о русских людях, а не считали его исключительным явлением; указывая на свои учено-литературные заслуги, он мог сказать: вот что в состоянии сделать русский человек, когда ему дадут средства и не будут мешать. Потому его заветной мечтой было составить русскую Академию наук исключительно из русских ученых. В похвальном слове Елизаветы читаем такое обращение императрицы к русскому юношеству: «Обучайтесь прилежно; я видеть Российской академию из сынов российских состоящую желаю» (*Соловьев*, т. 23, стр. 319). Незадолго до смерти он подавал президенту академии графу Разумовскому записку (1764) «о невыписывании из-за моря в академию иностранных профессоров, о научении и произведении природных россиян, посылая их в иностранные университеты».

⁵² *Соловьев*, т. 23, стр. 332.

⁵³ [Абзац был позднее зачеркнут Ключевским.]

⁵⁴ *Соловьев*, т. 23, стр. 323—324.

⁵⁵ [Далее идет текст:] «Шувалов торопил его. Ломоносову жалко было покидать свои занятия», [со слова «Ломоносову» зачеркнуто].

⁵⁶ *Соловьев*, т. 23, стр. 324.

⁵⁷ «Вступление в историю, стр. 79. Взгляд на дело. С. М. Соловьев, Писатели русской истории XVIII в. Архив историко-юридических сведений. Изд. Н. Калачов [далее — *Соловьев*, Писатели русской истории], кн. II, половина I, М. 1855, отд. III, стр. 41—42».

⁵⁸ К. Бестужев-Рюмин, Русская история [далее — *Бестужев*], т. 1, СПб. 1872, стр. 211.

⁵⁹ *Соловьев*, т. 23, стр. 319; *Галахов*, т. I, стр. 349.

⁶⁰ *Соловьев*, Писатели русской истории, стр. 42.

⁶¹ Там же, стр. 43.

⁶² Там же, стр. 45.

⁶³ *Галахов*, т. I, стр. 424—425.

⁶⁴ «Изданы по-английски в 1840 г., по-немецки — в 1857 г. и по-французски — в 1860 г. Из них подробные извлечения Д. И. Ило-

вайского в «Отечественных записках», т. СХХVI и СХХVII, СПб. 1859».

⁶⁵ «О нем см. К. Ф. Калайдовича в Записках и трудах общества истории и древностей российских», ч. II, отд. II, М. 1824, стр. 3—48».

⁶⁶ [Далее зачеркнуто:] «автором его мог быть Щербатов».

⁶⁷ *Бестужев*, т. 1, стр. 214, прим. 26. С. М. Соловьев, Август Людвиг Шлецер [далее — *Соловьев*, Шлецер], «Русский вестник», М. 1856, т. II, стр. 527.

⁶⁸ Древняя российская вивлиофика, т. 1—10, СПб. 1773—75, 2-е изд., М. 1788—91, т. 1—20.

⁶⁹ «Перевод Антидота», см. Осьмнадцатый век, Исторический сборник, кн. 4, М. 1869, стр. 225—463.

⁷⁰ ((Письмо к Мордвинову 1790 г. Указ 4 декабря, 1783 г.))

⁷¹ [Слова: «и даже боярам» позднее заключены Ключевским в скобки.]

⁷² О нем см. *Соловьев*, Писатели русской истории, стр. 49—63. [См. также] Московское обозрение, 1859, кн. I, Современное состояние русской истории как науки, стр. 11—18.

⁷³ [Далее зачеркнуто:] «И что закон Петра именно направлен к тому, чтобы вызвать к жизни эти знатные роды, т. е. произвести доблестных предков».

⁷⁴ [*М. Щербатов*, История Российская от древнейших времен., т. I—VII, СПб. 1770—1791.]

⁷⁵ «Характеристика Соловьева. См. *Соловьев*, Писатели русской истории, стр. 51».

⁷⁶ «Предисловие — источники. Введение — вывод 87».

⁷⁷ [Далее зачеркнуто:] «Человек трезвый и рационалист, он не охотник производить исследования, которые не могут привести ни к чему более, как к гипотезе». [На полях приписка]: «Введение — задача».

⁷⁸ [Далее зачеркнуто:] «Древнейшие известия о славянах он излагает с чужих слов: эти гипотезы его, делового человека, занимают очень мало». [На полях]: «Образчик его сравнительно исторического прагматизма. *Соловьев*, [Писатели русской истории], стр. 51».

⁷⁹ О нем: *Соловьев*, Писатели русской истории, стр. 63—73.

⁸⁰ [Далее зачеркнуто:] «совершенно как древнерусские недоросли делались новиками».

⁸¹ [Фраза написана над зачеркнутым:] «Миросозерцание Бейля стало миросозерцанием (Болтина)».

⁸² [Далее зачеркнуто:] «поставить в безвыходное положение Леклерка».

⁸³ Histoire de la Russie ancienne et moderne, 6 vols. 1783—1794.

⁸⁴ [Далее зачеркнуто:] «Еще страннее смелость, с которою он решился перевести I-ую «Песнь Петриады» Ломоносова».

⁸⁵ [Далее зачеркнуто:] «Это способствовало популярности сочинений Болтина».

⁸⁶ [Далее зачеркнуто:] «он открывает темы нашей жизни».

⁸⁷ [Ниже следующее заключение VI лекции — позднейшая приписка Ключевского.]

⁸⁸ «В Лондоне. См. в Чтениях в Обществе истории и древностей российских [далее — Чтение ОИДР], 1860, кн. 1, отд. II. Ис-

правно издано в «Русской старине», СПб. 1870, т. II, стр. 13—56, 99—116».

⁸⁹ [Далее зачеркнуто:] «Во-первых, они недостаточно еще ценили значение критики источников, во-вторых, они занимались этой критикой тайком и мало публиковали их за отсутствием публики».

⁹⁰ [На полях 2 приписки:] «Для них, как профессионалов ученых, важнее метод, чем...»

⁹¹ «О нем» см. *Пекарский*, т. 1, стр. 671—689.

⁹² «Sur l'origine, et les changements des loci russiennes, Spb. 1766, тогда же русский перевод под заглавием: «Слово о начале и переменах российских законов»».

⁹³ «О нем см. С. М. Соловьева в Русском вестнике, т. II, М. 1856, стр. 489—533, и т. VIII, кн. 2, М. 1857, стр. 431—480; еще у Г. Головачева в Отечественных записках, СПб. 1844, т. XXXV, отд. II, стр. 39—66; August Ludwig von Schlözer öffentliches und Privatleben beschrieben von dessen ältesten Sohne Christian von Schlözer. 1828.

⁹⁴ [Над строкой:] «миссией». На полях: *Соловьев*, стр. 492: «божественное призвание», «божие дело».

⁹⁵ [На полях:] «Линией и студенты».

⁹⁶ *Соловьев*, Шлецер, стр. 497—498.

⁹⁷ [Далее зачеркнуто:] «Все это, разумеется, раздражало Шлецера».

⁹⁸ [Далее зачеркнуто:] «Таким образом, Шлецер, как он сам признается, в течение полугода не получил ни одной ценной рукописи».

⁹⁹ [Далее зачеркнуто:] «Разумеется, еще не прочитав ни строчки в них, он смотрел на них уже с презрением».

¹⁰⁰ *Соловьев*, Шлецер, стр. 500—501.

¹⁰¹ Там же, стр. 501—502.

¹⁰² Там же, стр. 506.

¹⁰³ Там же, стр. 510.

¹⁰⁴ [Далее зачеркнуто:] «В Лавре, где жил и умер Селлий и удалось Шлецеру достать».

¹⁰⁵ *Соловьев*, Шлецер, стр. 512.

¹⁰⁶ «Академия X линии».

¹⁰⁷ *Соловьев*, Шлецер, стр. 514.

¹⁰⁸ [Далее зачеркнуто:] «Составил по русской истории маленькое руководство».

¹⁰⁹ *Соловьев*, Шлецер, стр. 518.

¹¹⁰ [Далее зачеркнуто:] «план очень широкий, обнимающий изучение памятников, древностей, языка и проч».

¹¹¹ *Соловьев*, Шлецер, стр. 518.

¹¹² Там же, стр. 520.

¹¹³ Там же, стр. 520—521.

¹¹⁴ Там же, стр. 521.

¹¹⁵ [Далее приписка:] «Суд по Ломоносову и Шлецеру».

¹¹⁶ *Соловьев*, Шлецер, стр. 523—524.

¹¹⁷ Там же, стр. 531.

¹¹⁸ «*Nestor, Russische Annalen*, 5. Bd. 1—4. 1802—1805. Рус. перевод Д. И. Языкова в 3 ч., СПб., 1809—19».

¹¹⁹ [Далее приписка:] «Отзыв о ней см. А. Л. Шлецер, *Нестор*, ч. 1, СПб. 1809, введение, стр. 173; о Болтине, стр. 380. Про-

исхождение труда в связи с упадком русской историографии после Байера, введение, стр. 173 и след.»

¹²⁰ «Высшая критика дел».

¹²¹ А. Л. Шлецер, *Нестор*, ч. 1, стр. 395—396. «Сводный и коренной тексты», стр. XVII и XVIII, 410—414.

¹²² Там же, стр. IX.

¹²³ «Критика текста», там же, стр. 315 § 2.

¹²⁴ «Выводы: Три вопроса критики, Шлецер, *Нестор*, ч. 1, стр. 395—397. Решен и то не вполне первый — текстуальный пересмотр, сличение списков и даны правила для издания *сводного* текста (стр. 410—412). Вторая половина задачи — по сводному восстановить подлинный текст очищенного *Нестора* — не исполнена, но также даны указания, как это сделать. Необходимы предосторожности и поправки».

1. «Настоящие подлинники» XIII [в.], настоящий древний, неспорченный *Нестор* (стр. 413). *Коренной текст*. Правила его восстановления (стр. 414): а) из нескольких разночтений выборка *настоящего*, подлинного чтения; б) *пропуски*, с) *вставки*. Общие правила, как отличать подлинные места от неподлинных (стр. 415). Но его собственные оговорки против правила — *чем старее, тем лучше* XIII и XIV; настоящее чтение в дурном списке и пропуски в древних [(Никоновских)], ср. Шлецер, *Нестор*, ч. 1, стр. 357—358]. — Возможно ли найти или восстановить подлинного *Нестора*? *Что такое Начальная летопись по сохранившимся спискам?* Не единичное, а коллективное дело многих сводчиков XII и XIII вв., даже более поздних. Как оно велось? Замечание Шлецера о совсем «особенной критике» для русских летописей XVI в. и общее правило для нее из взгляда на древнерусского переписчика (стр. XVI и 415).

Переписчик и сводчик. Приемы первого: пропуски, сокращения и подновления. Приемы второго: механическое сведение источников подлинными их словами и толкование от *писания*, текстами и примерами, безопасными вставками. Ни *переделок*, ни *подделок*, а фактические сокращения или нравоучительные компилятивные толкования. Появление позднейших сокращенных *редакций и летописей — хронографов*».

3) «Правила высшей критики (стр. 418 и след.)».

ОГЛАВЛЕНИЕ

Состав представительства на земских соборах древней Руси (посвящается Б. Н. Чичерину)	5
Грусть (Памяти М. Ю. Лермонтова, умер 15 июля 1841 г.)	113
И. Н. Болтин (умер 6 октября 1792 г.)	133
Памяти И. Н. Болтина	164
Отзыв о исследовании П. Н. Милюкова «Государственное хозяйство России в первую четверть XVIII в. и реформа Петра Великого»	177
Отзыв о исследовании Н. Д. Чечулина «Города Московского государства в XVI в.»	184
Воспоминание о Н. И. Новикове и его времени	223
С. М. Соловьев как преподаватель	253
Недоросль Фонвизина (Опыт исторического объяснения учебной пьесы)	263
Ф. И. Буслаев как преподаватель и исследователь	288
О взгляде художника на обстановку и убор изображаемого им лица	295
Памяти А. С. Пушкина	306
Петр Великий среди своих сотрудников	314
Памяти С. М. Соловьева (умер 4 октября 1879 г.)	351
Отзыв о исследовании Н. А. Рожкова «Сельское хозяйство Московской Руси в XVI в.»	368
Памяти Т. Н. Грановского (умер 4 октября 1855 г.)	390

ЛЕКЦИИ ПО РУССКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ

Лекция I	396
--------------------	-----

Г. З. Байер. — Его трактат о варягах. — Г. Ф. Миллер. — Сибирская экспедиция. — Речь «О происхождении народа и имени российского».

Лекция II	402
Г. Ф. Миллер и варяжский вопрос. — Возражения академика. Доводы М. В. Ломоносова. — Дальнейшая деятельность Миллера. В. К. Тредьяковский — М. В. Ломоносов.	
Лекция III	409
Исторические труды М. В. Ломоносова. — Исторические взгляды М. В. Ломоносова. — Направления в историографии в середине XVIII в. — Скептицизм западников. — Люборусы. — Стародумы. Сравнительно-апологетическое направление.	
Лекция IV	415
Новые идеи. — А. И. Мусия-Пушкин. — Издания Н. И. Новикова.	
Лекция V	420
Направления в историографии во второй половине XVIII в. — Записки по русской истории Екатерины II. — М. М. Щербатов. — Теория историко-политической миссии дворянства. — Исторические труды М. М. Щербатова. — Дидактическая заметка о внутренних состояниях. — И. Н. Болтин. — Подготовка русско-историческая. Леклерк.	
Лекция VI	427
Примечания И. Н. Болтина на книгу Леклерка. — Взгляд И. Н. Болтина. — Социальные явления. — Исторические приемы И. Н. Болтина. — Метод и тенденция. — Метод И. Н. Болтина. — Заключение о И. Н. Болтине.	
Лекция VII	433
Историографические приемы во второй половине XVIII в. — Вопрос о древней и новой России. — Записка князя М. М. Щербатова. — «Мысли о России».	
Лекция VIII	439
Критика исторических памятников. — Штрубе де Пирмонт. — А. Л. Шлецер. — Г. Ф. Миллер и А. Л. Шлецер. — Изучение русских летописей.	
Лекция IX	445
А. Л. Шлецер и Академия наук. — Труды А. Л. Шлецера. — Приемы исторической критики. — «Нестор». — Заключение о А. Л. Шлещере.	
Комментарии	453

КЛЮЧЕВСКИЙ ВАСИЛИЙ ОСИПОВИЧ
Сочинения, том VIII

Редактор *О. Бочкова*

Оформление художника *Н. Симагина*

Технический редактор *О. Чепелева*

Корректор *В. Смирнова*

Сдано в набор 10 июля 1959 г. Подписано в печать 16 октября 1959 г. Формат бумаги 84×108^{1/32}. Бумажных листов 7,69. Печатных листов 25,2. Учетно-издательских листов 26,65. Тираж 53 000 экз. А 08618. Цена 11 р. Заказ № 751.

Издательство социально-экономической литературы.
Москва, В-71, Ленинский проспект, 15.

Типография № 5 УПП Ленсовнархоза.
Ленинград, Красная ул., 1/3.

